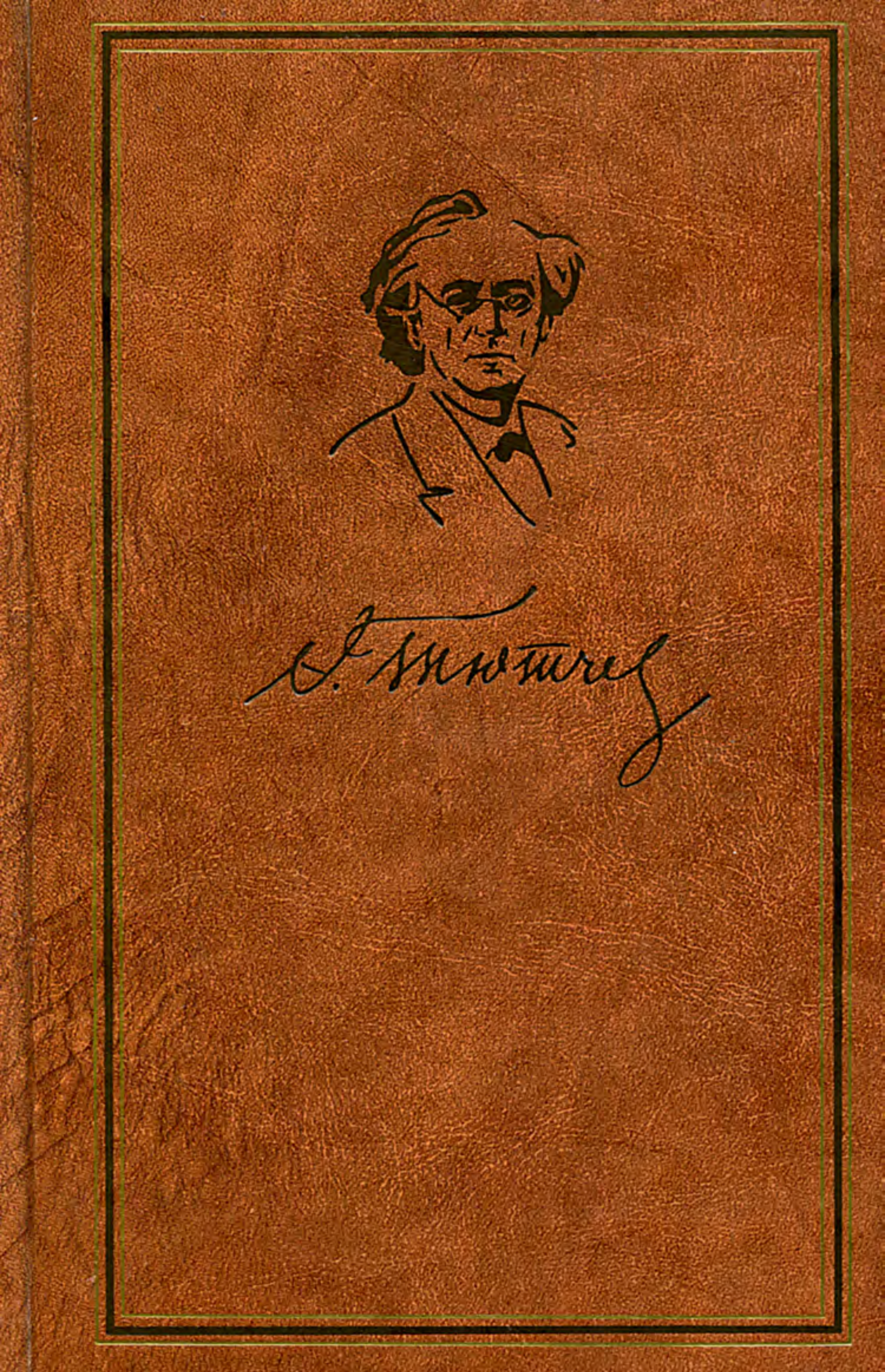

Ф. Тютчев

К 200-летию
со дня рождения
Ф. И. Тютчева



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Полное собрание сочинений и письма в шести томах



Издательский Центр «Классика»

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Том пятый



Письма
1850–1859

Москва
2005

ББК 84Р1
Т 98

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт мировой литературы им. М. Горького

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

Ответственный редактор тома
Н.Н. Скатов

Составление
Н.И. Цимбаев

Подготовка текстов
Л.В. Гладкова, Н.В. Кислова

Комментарии
Л.В. Гладкова, Н.И. Цимбаев

Федеральная программа книгоиздания России

Издательский проект «Ваш Тютчев»
Международного Пушкинского Фонда «Классика»

ISBN 5-7735-0146-5

ОТ РЕДАКЦИИ

В пятый том настоящего издания вошли письма Ф.И. Тютчева 1850–1859 гг.

Этот период в жизни Тютчева характерен ростом его творческой активности как поэта и публициста, успешным продвижением по служебной лестнице, все бóльшей популярностью в великосветском обществе и при дворе. И в то же время это десятилетие было омрачено осложнениями в семейной жизни. Тютчевские письма этой поры, значительная часть которых адресована жене поэта Эрн. Ф. Тютчевой, — незаменимый источник, дающий богатый материал для понимания его поэтического и идейного наследия, а также внутреннего мира, отношений с детьми, женой.

В том вошли 92 письма к 20 корреспондентам. 11 писем написаны на русском языке, остальные, в том числе все, адресованные жене, — на французском. 15 писем публикуются впервые.

Все письма печатаются по автографам, а в случае их отсутствия — по первым публикациям. Сверка с автографами позволила внести необходимые исправления в тексты как на французском, так и на русском языках.

Письма расположены в хронологическом порядке. Имеющаяся авторская дата поставлена в начале или конце письма — в соответствии с подлинником. Каждое письмо снабжено редакторской датой и обозначением места написания письма, которые помещены ниже имени адресата. Обоснование редакторских дат дано в комментариях к соответствующим письмам. Недописанные слова, сокращения раскрыты полностью и заключены в угловые скобки, а неразобранные обозначены пометой <нрзб>. Слова, подчеркнутые Тютчевым, воспроизведены курсивом. Сохранены основные устойчивые особенности тютчевской орфографии и пунктуации.

Комментарии содержат данные о месте хранения автографа и о первой публикации письма. В них даны краткие характеристики адресатов поэта и лиц, входивших в его ближайшее окружение. В необходимых случаях раскрываются обстоятельства личной жизни Тютчева, позволяющие понять умолчания, которых немало в переписке этого периода.

В конце тома дан перечень условных сокращений архивных хранилищ и основных изданий, которые используются в текстологических и историко-литературных комментариях к тютчевским письмам.

Письма
1850–1859





1. Д.И. СУШКОВОЙ

4 января 1850 г. Петербург

4 janvier 1850

Bonjour et bon an, ma chère Dorothée, à vous et à votre mari, qui m'a fait un très joli cadeau pour mes étrennes, en m'envoyant sa comédie-proverbe[1].

C'est très joli, en effet, très spirituellement élégant. Mais par qui fera-t-il jouer cette petite pièce? Des actrices russes, chargées de la jouer, ressembleraient à des servantes affublées des robes de leurs maîtresses – et quant à nos élégantes, elles trouveraient une double difficulté à le faire. D'abord elles ne savent pas assez de russe pour cela, et puis elles ne savent pas dire les vers.

Une comédie russe vraiment nationale devrait être écrite en mauvais français et débitée avec des inflexions de voix antifrançaises. A cette double condition elle aurait la chance d'être une reproduction assez fidèle de notre monde fashionable[2]. – Quant à votre poétique et excentrique nièce, je n'ai pas lu encore son nouvel œuvre[3]. Mais je doute fort qu'elle réussisse dans le drame. Elle a l'esprit trop faux pour cela. Elle a beaucoup de peine à être elle-même. Comment réussirait-elle à s'identifier avec un autre *moi* que le sien?

J'ai vu votre amie, la P<rinc>esse Lwoff et sa jolie fille[4], qui ressemble beaucoup à sa jolie cousine la P<rinc>esse Michel Gallitzine[5]; elles ont toutes les deux un air de niaiserie qui n'est pas sans charme.

Dites donc à *Чадаев* qu'il se presse de faire faire un nouveau tirage de sa lithographie[6]. Tous les magasins de marchands d'estampes sont assiégés par la foule, et il ne serait pas impossible qu'un plus long retard ne fût la cause, par le temps qui court, de quelque mouvement dans les masses, qu'il vaudrait mieux prévenir.– En attendant mille amitiés à l'original.

Enfin, Dieu soit loué, Nicolas est avec vous. Il en était temps. S'il continue ainsi, il finira par me faire croire à l'histoire de

Siméon le *Stylite* (Столпника) dont la station au bout de la colonne ne me paraît pas accuser plus d'énergie de volonté que celle dont il vient de faire preuve...[7] Si l'ancien Stylite l'emporte sur le nôtre, ce ne serait tout au plus que sous le rapport de la tempérance. — En attendant j'ai une bonne nouvelle à lui apprendre, s'il ne la sait déjà. L'interdiction qui pesait sur Paris vient d'être levée, et rien, p<eut>-ê<tre>, ne l'empêche à retourner aux *Batignoles*[8]. Je reçois à l'instant l'annonce des 750 r<oubles> d'a<rgent> qu'il m'a envoyés.

Adieu, ma bonne Dorothée. Rappelez-moi au souvenir de tous ceux qui ne songent pas à moi.

T. T.

Перевод:

4 января 1850

Здравствуй, любезная Дашинька, желаю счастливого года тебе и твоему мужу, который сделал мне очень милый новогодний подарок, прислав свою комедию-пословицу[1].

Она вправду очень мила, очень остроумно-изящна. Но кому даст он разыграть эту пьеску? Если исполнение ее возложить на русских актрис, они будут походить на служанок, вырядившихся в платья своих хозяек, — что же до наших щеголих, то для них это дело оказалось бы вдвойне трудным. Прежде всего, для этого они недостаточно знают русский язык, а потом они не умеют произносить стихи.

Подлинно национальную русскую комедию следовало бы писать на плохом французском языке, а произносить — с антифранцузскими интонациями. При этом двойном условии она могла бы стать довольно верным отражением нашего модного света[2]. — Что касается вашей поэтичной и эксцентрической племянницы, то я еще не прочитал ее нового произведения[3]. Но весьма сомневаюсь, чтобы она преуспела в драме. Для этого ее ум слишком ненатурален. Ей весьма трудно быть самой собой. Как же сможет она отождествить себя с чужим *я*?

Я видел твою приятельницу княгиню Львову и ее хорошенькую дочку[4], очень похожую на свою хорошенькую кузи-

ну, жену князя Михаила Голицына[5]; у обеих наивно-глупенький вид, не лишенный прелести.

Да скажите же *Чадаеву,* чтобы он заказал новые оттиски своих литографий[6]. Все лавки, торгующие гравюрами, осаждаются толпой, а по нынешним временам дальнейшее промедление может послужить поводом к какому-либо волнению в массах, а этого лучше было бы избежать. А покуда передайте самые дружеские приветствия оригиналу.

Наконец-то, благодарение Богу, Николушка с вами. Пора! Если он будет продолжать в том же духе, он заставит меня уверовать в историю Симеона *Столпника,* чье стояние на верху столпа требует, по-моему, не более силы воли, чем та, которую он только что обнаружил...[7] Если древний Столпник и превосходит нашего, то разве только воздержанием. — Пока я имею сообщить ему приятную новость, если она ему еще не известна. Запрещение, тяготевшее над Парижем, только что снято, и ничто, наверное, уже не препятствует ему вернуться на *Батиньоль*[8]. Сию минуту получил извещение о 750 рублях серебром, которые он мне послал.

Прости, моя добрая Дашинька. Напомни обо мне всем, кто обо мне и не думает.

Ф. Т.

2. Ф. Н. ГЛИНКЕ

16 февраля 1850 г. Петербург

Почтеннейший Федор Николаевич,

Много вы утешили меня письмом вашим. Душевно рад, что статья вам понравилась[1]. Впрочем, — простите мне самолюбивое признание, — я и не сомневался в вашем сочувствии и одобрении. Вы из малого, малого числа весьма зрячих и разумеющих.

Не на Западе — поверьте мне — все эти горькие, противные веку истины встретят совершенное, безусловное непонимание — а здесь, в так называемом *образованном* кругу нашего отечественного общества. На Западе — слишком поздно, может быть, для его спасения, но не поздно для истины — найдутся многие самостоятельные умы, которые, вопреки

вековым предрассудкам, не откажут в сочувствии и русской мысли, — но для русских, охмелившихся на чужом пиру, она недоступнее, чем для кого-либо.

И вот почему все, что теперь ни совершается на Западе, этот окончательный кризис тысячелетнего уклонения — все это для нашего образованного люда — не что иное, как тарабарская грамота. И как хотеть, чтобы там, где сам учитель стал в тупик, несчастный школьник совершенно не растерялся!..

Стихи ваши, как и все ваши стихи, я читал с особенным наслаждением. В вас русский язык живет и дышит. Между тем как почти для всей нашей современной литературы он сделался каким-то мертвым, переводным языком — для чего бы вам их не напечатать?

За сим, прося вас о передаче моего усердия почтеннейшей супруге вашей[2], поручаю себя вашему дружескому расположению.

Ф. Тютчев

16 февраля 1850

3. М. П. ПОГОДИНУ

Март 1850 г. Петербург

В числе сообщенных вам пьес[1] была одна с пропуском четырех стихов. Вот вам она сполна[2].

Вы меня балуете вашими одобрениями и могли бы опять пристрастить к виршам, но какой может быть прок в гальванизированной музе?

Весь вам пред<анный>

Ф. Тют<чев>

4. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Конец марта 1850 г. Петербург

St-Pétersbourg. Ce mars 1850

Je vais essayer, mon Prince, de répondre à quelques des doutes et objections que vous a suggérés l'article sur la Papauté[1], tout en vous remerciant de la peine que vous avez prise de les écrire.



Bien des personnes après avoir lu le dit article m'ont dit comme vous: «Mais est-ce le moment de songer à la réunion des Eglises? la chose est-elle possible? Et en la supposant possible n'aurait-elle pas pour nous plus d'inconvénients que d'avantages?»

Il faut que je me sois mal expliqué dans l'article en question. Autrement personne ne se serait imaginé qu'il s'agisse, à mon point de vue, de la reprise du Concile de Florence...[2] Non, certes, ce n'est pas, dans ces termes, que la question se pose maintenant. C'est bien la même question, quant au fond. Mais elle s'est démesurément aggravée depuis le 15ème siècle.

Avant toute chose il faudrait pour s'orienter un peu dans la question se faire une idée vraie de la crise actuelle de l'Occident. Car ce n'est qu'après avoir reconnu où il en est vis-à-vis de lui-même que nous pouvons pressentir de quelle nature sont et seront ses rapports vis-à-vis de nous.

Cette appréciation, toute difficile qu'elle est, devrait l'être moins pour nous que pour d'autres. Car — tout jeu de mots à part — il suffirait, pour *nous orienter*, que nous restions à la place où le Sort nous a mis. — Mais telle est la fatalité des circonstances que depuis plusieurs générations a pesé sur nos intelligences qu'au lieu de maintenir à notre pensée vis-à-vis de l'Europe le point d'appui qui nous était tout naturellement donné nous l'avons, bon gré, mal gré, attachée, pour ainsi dire, à la queue de l'Occident. Je dis *nous*, mais pas la Russie. Car on ne saurait assez le reconnaître, les esprits en Russie n'ont cessé depuis 60 ans de marcher en sens inverse de celui, dans lequel l'emportaient ses destinées. Notre avenir intellectuel à nous, c'était l'Occident[3]. La Russie par le seul fait de son existence niait l'avenir de l'Occident. Mais j'ai hâte de sortir de toutes ces généralités qui, à force de vouloir embrasser trop de choses, ne réussissent à rien étreindre. — Venons au fait.

Nous entendons répéter tous les jours que la crise qui travaille actuellement l'Europe est sans précédent, sans exemple dans l'histoire des sociétés. Qu'y a-t-il de vrai dans cette assertion?.. Des catastrophes politiques, des renversions de pouvoirs, il y en a eu à toutes les époques. C'est là le fond de toutes les

Révolutions. Ce n'est donc pas là ce qui constitue le caractère distinctif du mouvement actuel. – En d'autres termes, où est la différence entre ce qui s'appelait autrefois de ce nom de Révolution – et ce qui s'appelle maintenant la *Révolution* p<ar> excellence. Tout le problème est là...

Ce quelque chose, donc, que l'on dit être sans précédent dans l'histoire de l'humanité et qui l'est en effet, ce n'est ni plus ni moins que la négation réfléchie et rationnelle non pas de telle ou telle autorité, mais du principe même de l'autorité parmi les hommes... Tout ceci, je le sais, a déjà été dit cent fois. Mais que l'on est loin en général, tout en énonçant ce fait, de lui attribuer l'immense portée qu'il a[4]. Ce qui lui donne cette portée, c'est que cette doctrine qui nie, d'une manière absolue, le principe même de l'autorité n'est pas une doctrine isolée, accidentelle, arbitraire, mais bien le dernier terme, le dernier mot de ce long développement intellectuel que l'on est convenu d'appeler la Civilisation moderne[5]. Oui, il faut avoir le courage de se l'avouer que littérature, philosophie, toute cette tradition de la pensée moderne, tout ce milieu intellectuel dans lequel nos intelligences ont été, pour ainsi dire, engendrées, dans lequel elles ont grandi et vécu, que tout cela a abouti et devait forcément, inévitablement aboutir au résultat que nous venons d'énoncer. Car c'était là le fond même de la pensée moderne: l'homme ne relève que de lui-même. C'est donc en lui-même, en lui seul et non ailleurs qu'est la source de toute autorité... Quand nous qualifions de moderne cette pensée qui est aussi vieille que l'humanité, nous voulons dire que ce n'est que dans le monde moderne, que ce n'est qu'en présence de la loi chrétienne et par opposition à elle que cette pensée a dû prendre tout son développement et acquérir son incommensurable valeur pratique. Et pourquoi cela?.. En principe, la raison humaine se suffisant à elle-même, l'autonomie de la raison de l'homme, c'était là le fond même de toute la philosophie de l'Antiquité. Pas une opinion, pas une doctrine, émanant de ce principe, depuis l'idéalisme le plus transcendant jusqu'au matérialisme le plus grossier[6] qui n'ait été prêché dans les écoles des philosophes, et cependant de tout ce mouvement des esprits il n'est jamais fait rien d'analogue à cette doctrine, à ce



Pouvoir, à cette Force que nous avons appelé la Révolution. C'est qu'à cet âge du monde et avant la venue du Christianisme, la pensée philosophique, en s'attaquant à l'homme dans l'individu, ne réussissait qu'à s'approprier, pour ainsi dire, la moindre partie de lui-même. Car le citoyen, cet esclave de l'Etat, cette chose de l'Etat, mais qui était l'homme p<ar> ex<cellence> de l'Antiquité, lui échappait nécessairement. En présence de l'Etat, de l'autorité de l'Etat, ce n'est pas seulement l'individu, mais c'est la pensée humaine elle-même qui était sans droit. Il n'y avait que le Christianisme qui ait mit fin à cette incapacité légale de l'âme humaine, en venant proclamer, en face de l'individu, aussi bien que de l'Etat, Celui qui est leur véritable Maître à tous deux. La soumission de l'homme à Dieu a brisé la servitude de l'homme à l'homme, ou plutôt elle l'a transformée en une obéissance libre et volontaire, car telle est essentiellement l'obéissance du chrétien vis-à-vis du Pouvoir, auquel il ne reconnaît d'autre autorité qu'une autorité déléguée*. Et voilà pourquoi la pensée moderne, en émancipant l'homme de Dieu, enlève du même coup toute autorité à tout pouvoir quelconque. Ce qui revient à dire en d'autres termes, que nul principe d'autorité ne saurait subsister de nos jours pour une société qui, après avoir été chrétienne, aurait cessé de l'être...[7]

Перевод:

С.-Петербург. Март 1850

Я попробую, князь, ответить вам на некоторые сомнения и возражения, возбужденные в вас моею статьею о папстве[1], а вместе с тем благодарю вас за то, что потрудились их написать. Многие, прочитав эту статью, говорили мне, как и вы: «Но разве время теперь думать о соединении церквей? Возможно ли это дело? А если б и было возможно, не представит ли оно для нас более неудобств, чем выгод?..» Должно быть, я дурно выразился в моей статье, — иначе не могло бы прийти и в голову, чтоб я вел речь о возобновлении Флорентий-

* Далее зачеркнуто: par le Souverain véritable et réel.

ского собора...[2] Нет, не так становится теперь этот вопрос. Разумеется, в сущности, это все тот же вопрос, но он необъятно усложнился с 15-го века.

Прежде всего, чтоб несколько орьентироваться в вопросе, нужно дать себе ясный отчет в современном кризисе, переживаемом Западом, потому что, только понявши, в каком положении Запад относительно самого себя, будем мы в состоянии определить свойство его настоящих и будущих к нам отношений. Как ни трудна эта оценка, но она для нас трудна менее, чем для других, потому что нам, для того чтоб орьентироваться, достаточно было бы только оставаться там, где мы поставлены судьбою. Но такова роковая участь, вот уже несколько поколений сряду тяготеющая над нашими умами, что вместо сохранения за нашею мыслью относительно Европы той точки опоры, которая естественно нам принадлежит, мы ее, эту мысль, привязали, так сказать, к хвосту Запада. Я говорю — *мы*, но не Россия. Ибо, — и это нужно твердо помнить, — умы в России 60 уже лет не переставали двигаться в направлении совершенно обратном к тому направлению, куда увлекали Россию ее судьбы. Наше умственное будущее собственно для нас — это был Запад[3]. Россия же самым фактом своего существования отрицала будущее Запада...

Нам твердят теперь каждый день, что кризис, которым одержима современная Европа, небывалый, беспримерный в истории обществ. Что тут правды в этих уверениях? Политические катастрофы, свержения правительств случались во все эпохи: это принадлежность всех революций. Стало быть, еще не в этом отличительный характер настоящего движения. Другими словами, в чем именно разница между тем, что в прежние времена носило это название революции, и тем, что называется теперь *революцией* по преимуществу? Вся загадка здесь.

Это нечто (чему, говорят, не было прецедента в истории человечества, — и действительно нет), это нечто — не что иное, как сознательное и рациональное отрицание уже не только такой или другой власти, но самого принципа власти между людьми... Все это, я знаю, было уже сто раз сказано; но



как вообще часто, указывая факт, не умеют распознать его настоящего значения[4]. А значение его неизмеримо важно именно потому, что эта доктрина, отрицающая абсолютно самый принцип власти, не какая-нибудь доктрина частная, отдельная, случайная, произвольная, а последнее слово, крайний термин того долгого умственного развития, которое принято называть Современною Цивилизациею[5]. Да, надо иметь мужество сознаться в том, что литература, философия, все это предание современной мысли, вся эта умственная среда, в которой наши умы, так сказать, зачаты, выросли и жили, — все это пришло и неизбежно должно было прийти к результату, сейчас мною указанному. Потому что самая сущность современной мысли такова: человек зависит только от самого себя; в нем самом, а не в чем-либо другом, источник всякой власти... Когда я называю «современною» мысль, которая так же стара, как человечество, я хочу сказать, что только в мире современном, только в виду христианского закона и из противодействия ему могла эта мысль получить свое полное развитие и приобресть свою необъятную практическую важность. Почему же?.. Полагая за основание, что человеческий разум довлеет, так сказать, себе самому, — вся философия древности сводится, собственно, к одной сущности: к автономии человеческого разума. Нет такого мнения, нет такой доктрины, исходящей из этого начала, которая бы не была проповедана в школах философов, от идеализма самого трансцендентального до материализма самого грубого[6], и, однако же, все это движение умов ни разу не произвело на свет ничего подобного тому учению, той Власти, той Силе, которую я назвал Революцией. Потому что в том возрасте мира и прежде явления христианства философская мысль, добывая себе человека в индивидууме, могла завладеть, так сказать, только наименьшею его частью. Ибо гражданин — этот раб государства, эта вещь государства (но именно только поэтому, собственно, и человек, человек по преимуществу по понятиям древних) — необходимо ускользал из ее рук. Государству же подлежал по праву не только индивидуум, но подлежала и сама мысль человеческая. Только христианство положило конец этой, воз-

веденной в *закон*, неправоспособности человеческой души, провозвестив пред лицом индивидуума, как и пред лицом государства, Того, Кто один истинный Господин им обоим. Подчинение человека Богу сокрушило рабство человека человеку. Или, вернее, оно преобразило рабство в добровольное и свободное повиновение; ибо таково по существу своему отношение христианина к власти, за которою он не признает другого авторитета, кроме того, которым она облечена от Верховного Владыки всяческих. И вот почему новейшая современная мысль, освобождая человека из-под власти Божией, эмансипируя человека от Бога, отнимает тем самым всякий авторитет у власти земной, какая бы она ни была. То есть, другими словами, никакого принципа власти не может в наши дни существовать для общества, которое было христианским и перестало им быть...[7]

5. К. ПФЕФФЕЛЮ

12/24 ноября 1850 г. Петербург

Рукой Эрн. Ф. Тютчевой:

Voici ce que vous écrit ou plutôt ce que vous dit mon mari par l'entremise de ma plume.

Ici on est pour le moment rassuré sur les affaires de l'Allemagne[1]. Le Ministre de Prusse Mr de Rochow a apporté à l'Empereur de la part de son Maître les assurances les plus pacifiques. Déjà le retour de Mr de Rochow à Pétersbourg est un gage donné par le Roi de Prusse de dispositions semblables. Car ce Ministre, depuis le temps qu'il est ici, a toujours parlé et agi dans le sens d'une politique essentiellement différente de celle qu'il représentait officiellement, et le Roi l'ignorait si peu, qu'il lui écrivait encore dernièrement dans une lettre toute confidentielle et toute bienveillante, qu'il ne lui en voulait nullement de cette divergence d'opinions; que le seul dissentiment dans leur manière de voir qui lui fût pénible, à lui, Roi de Prusse, c'était que Mr de Rochow ne partageait point à l'égard du grand Radowitz la haute opinion qu'il avait de celui-ci. Et l'auguste correspondant ajoutait en propres termes que Radowitz était tout bonnement

un grand homme méconnu, tout comme l'avait été avant lui Christophe Colomb avant la découverte de l'Amérique.

J'ignore si à l'heure qu'il est le Roi de Prusse croit encore aussi fermement à la mission qu'avait Radowitz de découvrir ce nouveau monde dont il est en quête, mais il est certain que le langage dont il a chargé Rochow d'être l'interprète auprès de l'Empereur, témoigne des dispositions les plus conciliantes et les plus amicales. Il est allé même jusqu'à lui faire dire que bien qu'il fût décidé, dans le cas où ces dispositions n'aboutiraient pas, de défendre vigoureusement l'honneur du nom prussien contre toute attaque de quelque part qu'elle vint, néanmoins le jour où il verrait l'Empereur Nicolas se ranger au nombre de ses ennemis, il était tout aussi décidé ce jour-là à abdiquer.

Pour le moment donc l'opinion générale à Pétersbourg est que la guerre civile en Allemagne sera conjurée pour cette fois-ci, et comme un pareil résultat est vivement désiré par notre cabinet, on aime à se reposer dans le sentiment de cette sécurité provisoire, sans se préoccuper autrement des mauvaises chances que l'avenir tient en réserve. Pour moi, mon opinion personnelle est que ces mauvaises chances sont inconjurables. C'est l'accord, un accord sérieux et sincère qui me paraît être devenu une impossibilité, tandis que la lutte intestine aboutissant un peu plus tôt, un peu plus tard, à la guerre civile, me paraît être devenue le fond même de la situation de l'Allemagne. Les 33 années de paix et de bonne intelligence réciproque, dont elle a joui depuis 1815, ont contribué à faire illusion à tout le monde sur la vérité de cette situation. C'est de ces 33 années que l'on peut bien dire qu'elles ont été un heureux accident dans la vie historique de l'Allemagne. Ce ne sont pas les traités de 1815, c'est l'esprit qui avait prévalu à cette époque et qui a dominé plus ou moins tous les cabinets, qui a été la véritable formule de conjuration, à l'aide de laquelle le bon génie de l'Allemagne a pu pendant ce tiers de siècle suspendre l'action dissolvante du mal qui la travaille. Maintenant la formule de 1815[2] est épuisée; la solidarité des principes qui existait entre les trois cabinets de la Sainte Alliance n'existe plus. L'esprit révolutionnaire a blessé à mort cette solidarité qui seule était assez forte pour dominer la divergence des intérêts. La

Russie certainement n'a pas cessé d'être bienveillante pour l'Allemagne, mais son attitude vis-à-vis d'elle n'est plus la même et ne pourra jamais redevenir ce qu'elle a été. Et c'étaient pourtant ces anciens rapports de la Russie avec les deux grandes puissances allemandes qui étaient la clef de voûte de tout le système de 1815. C'était là ce troisième terme qui conciliait l'antagonisme des deux termes rivaux. Maintenant, quoique l'on fasse et que l'on espère, cet antagonisme s'est décidément affranchi de l'ascendant de cette influence conciliatrice, et rien désormais ne pourra l'empêcher d'accomplir son œuvre. La Prusse par la fatalité de sa destinée historique, est condamnée à essayer l'impossible, c'est-à-dire, à tenter l'absorption de l'Allemagne sous peine de se voir de jour en jour dépérir et annuler. L'Autriche, de son côté, est tout aussi rigoureusement condamnée à prévenir à tout prix ce développement de la Prusse, et l'effort qu'elle fait maintenant pour obliger cette puissance à rentrer dans sa cage, en retardant peut-être le moment de l'explosion, ne fera que rendre la lutte plus intense et plus acharnée. Ce n'est pas quand ces deux puissances se contrecarraient chacune de son côté, l'une à Erfurt et l'autre à Francfort, que l'antagonisme incurable qui les divise, pouvait accumuler assez de griefs réciproques pour déterminer une explosion; cela arrivera bien plus sûrement le jour où elles se rencontreront sur le terrain légal, pour travailler soi-disant à une œuvre commune.

L'unité de l'Allemagne peut bien être une chimère[3], mais c'est une de ces chimères qui dévorent bien des réalités. Une seule chose pourrait peut-être encore sauver l'Allemagne, ce serait une guerre avec l'étranger, amenée bien entendu par une agression du dehors. Mais cette chance de salut est plus improbable encore que toutes les autres, car la France dans l'état où elle est et où elle s'enfoncera de jour en jour davantage, ne peut songer à attaquer qui que ce soit, et quant à la Russie, bien loin d'attaquer elle-même l'Allemagne elle est bien décidée à ne pas souffrir qu'aucune puissance étrangère vienne l'attaquer.

Sur les conférences de Varsovie il n'y a de vrai que ceci: dans les questions allemandes proprement dites, comme celle de la Hesse[4] et autres, l'Empereur ne s'est point posé comme conseil; ce



n'est que dans la question du Danemark[5] qu'il a assumé un rôle plus actif dans les délibérations, et ce n'est aussi que sur ce seul point que le cas de guerre a été éventuellement posé au cabinet prussien.

En jetant les yeux sur l'ensemble de la situation, il est impossible de n'être pas frappé d'un fait qui comme une loi historique la domine toute entière. C'est le fractionnement progressif de tous les éléments de ces différentes sociétés par suite d'un antagonisme incurable qui se retrouve dans chacune d'elles. Ainsi en Allemagne, l'Autriche et la Prusse, et sous ces deux noms; d'une part la lutte de la tendance unitaire et de l'autonomie locale, et de l'autre, la lutte de deux races[6], la race slave, dont l'Autriche après tout n'est que le prête-nom, et de la race allemande. Lutte sans solution possible, attendu qu'*avec* l'Autriche, c'est l'unité allemande qui devient irréalisable, et que *sans* l'Autriche, c'est l'Allemagne elle-même qui cesse d'être une réalité.

En France, où la situation est plus franche sans être moins compliquée, c'est la guerre du socialisme et de la société, de la révolution et de l'autorité.

En Italie, c'est l'éternelle guerre de l'Italien contre le barbare, compliquée de cette guerre à mort que le catholicisme Romain traînant à son pied le boulet de l'autorité temporelle du pape, est obligé de faire à la révolution armée contre lui de toutes les exigences et de toutes les illusions du sentiment national[7].

Enfin en Angleterre, où nous venons de voir tout à coup le catholicisme surgir de terre, comme le Rhône après son cours souterrain, et où cette résurrection presqu'officielle du catholicisme en dépit de tous les cris de fureur qu'elle excite, ne fera que hâter le travail de décomposition qui mine la doctrine anglicane, sans être toutefois en état de substituer quelque chose de définitif et de généralement accepté à la place de la destruction qu'elle aura faite, même antagonisme. Car il ne faut pas s'y tromper, si les mesures que vient de prendre le pape à l'égard de l'Angleterre[8] ne sont rien moins qu'un coup de tête, d'autre part la réaction que ces mesures ont excitée, ne soit également rien moins qu'une démonstration factice. Si, d'une part, tout ce qu'il y a d'éléments conservateurs dans l'anglicanisme tend irrésistiblement à un retour vers Rome, d'autre

part, tout le passé historique de l'Angleterre est comme un abîme creusé entre elle et le pape, abîme qu'aucune révolution morale ou religieuse ne saurait combler.

St-Pétersbourg. 12/24 novembre 1850

Перевод:

Рукой Эрн. Ф. Тютчевой:

Вот что пишет или, вернее, что говорит вам мой муж посредством моего пера.

Здесь сейчас успокоились относительно германских дел[1]. Прусский посланник г-н Рохов от лица своего монарха привез государю самые миролюбивые заверения. Уже возвращение г-на Рохова в Петербург является залогом подобного отношения прусского короля, ибо этот министр, с тех пор как он здесь, на словах и на деле придерживался совершенно иной политики, чем та, которую он официально представлял, и король был об этом осведомлен настолько хорошо, что еще совсем недавно написал ему вполне конфиденциальное и благосклонное письмо о том, что он ничего не имеет против этого инакомыслия, что единственное несогласие в их взглядах, которое королю прусскому было неприятно, заключалось в том, что г. Рохов не разделял по отношению к великому Радовицу того высокого мнения, которое король имел о нем. И августейший корреспондент присовокупил доподлинно, что Радовиц — непризнанный великий человек, точно так же, как был Христофор Колумб до открытия Америки.

Я не знаю, верит ли в настоящее время прусский король так же твердо в назначение Радовица открыть отыскиваемый им новый мир, но достоверно, что выражения, в которых он поручал Рохову быть выразителем его мнений перед государем, свидетельствуют о самом миролюбивом и дружеском его расположении. Он даже дошел до того, что велел передать государю, что в случае, если его миролюбивые намерения не приведут ни к чему, он вознамерился отстаивать решительно честь прусского имени против всяких нападок, с чьей бы стороны они ни были, но тем не менее он готов отречься от престола в тот самый день, когда увидит, что император Николай станет в число его врагов.

В настоящее время общее мнение в Петербурге склоняется к тому, что междоусобная война в Германии на этот раз будет предотвращена, и поскольку подобного результата живейшим образом желает наш кабинет, то все охотно отдаются этому чувству временной безопасности, вовсе не задумываясь о невзгодах, которые готовит будущее. Что до меня, то мне сдается, что эти невзгоды неотвратимы. Мне кажется, что в данном случае соглашение серьезное и искреннее является невозможным, тогда как то, что внутренняя борьба окончится рано или поздно междоусобной войной, представляется мне сущностью настоящего положения в Германии. Тридцать три года мира, которыми Германия наслаждалась с 1815 г., содействовали в глазах всех созданию обманчивого представления относительно реальности этого положения; об этих тридцати трех годах можно сказать, что они были счастливой случайностью в исторической жизни Германии. Не трактат 1815 г., а дух, который господствовал в эту эпоху и который охватил более или менее все кабинеты, явился истинной формулой заклинания, с помощью коей добрый гений Германии мог в течение трети века тормозить разрушительное действие болезни, которая ее точит. В настоящее время формула 1815 г.[2] исчерпана, солидарность принципов, которая существовала у трех кабинетов Священного союза, не существует более. Революционный дух поразил насмерть эту солидарность, которая одна только была достаточно сильна, чтобы господствовать над противоречивостью интересов. Россия, конечно, не перестала проявлять благосклонность к Германии, но ее образ действий в отношении Германии уже не тот, каким был, и он уже никогда не может стать таким, каким был. А между тем прежние отношения России с двумя великими немецкими державами венчали свод всей системы 1815 г. Это и был третий член, который примирял антагонизм двух других членов-соперников. В настоящее время, что бы ни стали делать и на что бы ни надеялись, антагонизм освободился решительно из-под власти этого примирительного влияния, и ничто отныне не в состоянии помешать ему закончить свою

работу. Пруссия, по роковому предопределению своей исторической судьбы, обречена испробовать невозможное, то есть пытаться поглотить Германию, даже сознавая, что день ото дня сама она погибает и перестает существовать. Со своей стороны, Австрия столь же непреложно обречена на то, чтобы препятствовать во что бы то ни стало этому развитию Пруссии, и то усилие, которое она делает в данное время, чтобы принудить эту державу войти в свою клетку, задерживая, быть может, взрыв, сделает борьбу еще сильнее и ожесточеннее. Неизлечимый антагонизм, разделяющий эти державы, накопил достаточно обоюдных обид, чтобы вызвать вспышку — не тогда, когда эти державы подкапывались друг под друга — одна в Эрфурте, другая во Франкфурте — скорее это случится в тот день, когда они встретятся на легальной почве, чтобы, так сказать, работать на общее дело.

Единство Германии, — может быть, химера[3], но это одна из тех химер, которые пожирают действительность; одно еще могло бы спасти Германию — это война с чужеземцем, вызванная, разумеется, нападением извне. Но эта надежда на спасение еще менее реальна, чем все прочие, так как Франция в том положении, в каком она находится теперь и в которое она погружается все более и более, не может и думать о нападении на кого бы то ни было; что же касается России, то далекая от того, чтобы напасть на Германию, она полна решимости не допустить, чтобы какая-нибудь иностранная держава на нее напала.

Относительно варшавских переговоров достоверно только следующее: в вопросах чисто немецких, как то о Гессене[4] и других, государь не являлся третейским судьей; лишь в вопросе о Дании[5] он принял более деятельное участие в обсуждении, и только по этому пункту было указано прусскому кабинету на возможность войны.

Окидывая взором всю совокупность положения, нельзя не поражаться тому факту, который, подобно историческому закону, господствует над всем, — постепенному дроблению всех элементов этих различных обществ вследствие не-



излечимого антагонизма, который имеется в каждом из них. Таковы в Германии Австрия и Пруссия — два эти имени являются синонимами, с одной стороны, борьбы за объединение и за местную автономию, а с другой стороны — борьбы двух рас[6]: славянской, для которой Австрия есть подставное имя, и немецкой, — борьбы, которая не может ничем разрешиться, ибо *вместе с* Австрией неосуществимо германское единство, а *без* Австрии Германия перестает быть реальностью.

Во Франции, где все выглядит более явным, не будучи при этом менее запутанным, — налицо война социализма с обществом и революции с властью.

В Италии — вечная война итальянца против варвара, осложненная войной не на жизнь, а на смерть, которую римский католицизм, влачащий за собой обузу светской власти папы, принужден вести с революцией, вооружившейся против него всеми требованиями и всеми иллюзиями национального чувства[7].

Наконец, в Англии, где католицизм, как мы недавно могли убедиться, возник внезапно, подобно тому, как Рона выходит на поверхность из своего подземного русла, где это почти официальное воскрешение католицизма, несмотря на все крики злобы, вызванные им, лишь ускорит разложение, подтачивающее англиканскую доктрину, не будучи в состоянии выставить что-нибудь определенное и вообще приемлемое вместо того разрушения, которое оно произведет, даже антагонизм. Ибо если меры, принятые папой по отношению к Англии[8], являются только безрассудством, то, с другой стороны, — не следует заблуждаться на этот счет — реакция, вызванная этими мерами, является отнюдь не искусственной демонстрацией. Если, с одной стороны, все, что есть консервативного в англиканстве, устремлено неудержимо обратно к Риму, то, с другой стороны, все историческое прошлое Англии — как бы пропасть, выкопанная между ею и папой, пропасть, которую не в состоянии засыпать никакая революция: ни нравственная, ни религиозная.

С.-Петербург. 12/24 ноября 1850

6. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Начало января 1851 г. Петербург

Tout bien considéré, je crois qu'il vaudra mieux mettre, dans les vers en question:

И нет конца твоим стрелам —
И счету нет твоим стрелам

par cette raison que *конец стрел* pourrait à la rigueur signifier la *pointe* des flèches, la phrase présenterait ainsi un sens quelque peu louche.

Si dans la dernière strophe la répétition de *Душа* и *духовный* vous incommode, ne pourrait-on pas dire:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И вся проникнута она (т. е. жизнь)
Святым огнем духовной силы.

Tout à v<ous> T. T.

Ou bien aussi:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И жизнь твоя была полна
Духовной свежести и силы

и т. д.

Перевод:

Хорошенько сообразив все, я полагаю, что лучше будет в стихе: «И нет конца твоим стрелам» — поставить так: «И счету нет твоим стрелам», по той причине, что *конец стрел* может, пожалуй, означать *острие* стрел, и в таком случае фраза оказалась бы несколько двусмысленной.

Если в последней строфе вас смущает повторение слов *Душа* и *духовный,* нельзя ли сказать так:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И вся проникнута она (т. е. жизнь)
Святым огнем духовной силы.

Весь ваш Ф. Т.



Или еще так:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И жизнь твоя была полна
Духовной свежести и силы

и т. д.

7. К. ПФЕФФЕЛЮ

22 января 1851 г. Петербург

St-P<éters>b<our>g. 22 janvier 1851

Quant à moi, je suis persuadé que la catastrophe de février[1] par sa violence inattendue nous a quelque peu trompés sur la nature et sur les conditions de la marche que les événements allaient suivre. Elle avait l'air d'être le prélude d'un cataclysme général — et n'aura été que le point de départ d'une longue et lente dissolution. Il est évident qu'en France tous ces partis qui s'acharnent les uns contre les autres sont bien morts; il n'y a de vivant en fait de partis que le socialisme, c'est-à-dire il n'y a de vivant que la maladie qui dévore la société.

Cependant l'on ne saurait méconnaître dans cette société toute malade qu'elle est un fonds de vitalité bien remarquable assurément. — Une chose me paraît ressortir clairement des derniers débats, c'est que le provisoire en France, le provisoire républicain s'entend, sera beaucoup plus long, qu'on ne l'avait généralement supposé. Il y a une bonne raison à cela, c'est que le pouvoir en France ne peut plus se produire et se faire accepter que sous cette forme-là — ce qui n'empêche pas nécessairement l'ère des Césars — tout au contraire.

Перевод:

С.-Петербург. 22 января 1851

Что касается до меня, то я убежден, что февральская катастрофа[1] своей неожиданной неистовой силой несколько обманула нас относительно природы и условий развития даль-

нейшего хода событий. Она имела видимость прелюдии к всеобщей катастрофе — а оказалась только отправной точкой длительного и медленного разложения. Очевидно, что во Франции все партии, ожесточенно набрасывавшиеся друг на друга, совершенно умерли; из всех партий в живых остался социализм, то есть болезнь, разъедающая общество.

Однако нельзя не признавать того, что в этом обществе, каким бы больным оно ни было, имеется еще изрядный запас жизненных сил. — Мне кажется, что из последних дебатов ясно следует одно — переходное положение во Франции, имеется в виду республиканское переходное положение, затянется надолго, вопреки всеобщим ожиданиям. Для этого есть своя причина, а именно та, что власть во Франции не может осуществлять себя и заставить себя принять иначе, как в этой форме, что вовсе не мешает наступлению эпохи цезарей — совсем наоборот.

8. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

29 июня 1851 г. Москва

Moscou. Vendredi. 29 juin

Enfin, il y a trois jours de cela, la longue et blonde figure de votre courrier, entrant chez les Souchkoff, a mis fin à mes perplexités, et le lendemain j'ai eu ta première lettre d'Ovstoug...[1] Maintenant, si j'avais un miracle, rien qu'un seul miracle à ma disposition, je l'emploierais à faire en sorte de me réveiller un beau matin couché dans cette chambre, que tu m'as aimablement gardée auprès de la tienne, et d'apercevoir, en m'éveillant, la verdure du jardin et la petite église dans le fond. Car depuis que je te sais là, ce chien d'endroit[2] me paraît presque joli, et a revêtu dans mon imagination cette teinte des objets absents que je connais si bien et qui m'a déjà tant de fois tourmenté et berné dans ma vie...

Ce qui est parfaitement réel, néanmoins dans mes impressions, c'est le vide que ton absence me laisse. Je me sens parfois tout vieux, et je m'indigne contre moi-même de pouvoir si peu me suffire... Ah que l'on est une misérable créature, quand on se sent aussi complètement à la merci de ce qui n'est pas entièrement

notre propre et personnel *moi.* Ce n'est pas après tout que je me déplaise et m'ennuie beaucoup ici. — Je m'en vais un peu t'énumérer mes ressources. Avant tout, j'ai les Bloudoff[3], qui depuis deux jours sont établis au Parc. Je dois après-demain aller prendre le thé chez eux, avec les *S<ain>t-Priest,* père et fils[4]. Je suis très curieux de connaître ce dernier, qui est incontestablement un des hommes les plus spirituels de l'époque. Hier soir j'ai été chez une jeune et jolie veuve, Mad. *Nebolsine,* dont tu auras entendu parler, — très blanche, la taille souple et toute la personne passablement délurée. Aujourd'hui soir, nous irons, pour changer, faire une visite au Métropolitain[5], et dans la matinée j'irai complimenter l'ami *Чадаев,* dont en sa qualité de Pierre c'est la fête aujourd'hui[6]. Il m'a beaucoup encouragé à le faire, me déferrant, avec un air de nonchalance bienveillante, que je pouvais à peu près être sûr, *qu'en dépit de la saison,* je trouverais, ce matin, beaucoup de monde chez lui. Dimanche prochain il y a grande illumination au Parc. Le jour d'ensuite, lundi, il y a grande fête à la campagne du P<rinc>e Serge Gallitzine[7], l'oncle de *Michel*[8], que je compte aller voir à cette occasion... Tu vois donc bien qu'à la rigueur les distractions ne me manquent pas, et qu'il faut être aussi absurdement fait que je le suis, pour ne pouvoir pas, maintenant que je te sais en place, maîtriser pour quelque temps au moins cette continuelle inquiétude de mon esprit.

Quant à ma santé, je l'ai meilleure, depuis les dernières sangsues. Le sommeil est toujours bon, et l'appétit l'est quelquefois — à propos de santé, j'ai su par les Bloudoff, que Wiasemsky a été très souffrant depuis notre départ. C'était à ce qu'il paraît un de ses forts accès d'excitation cérébrale, qui lui font appréhender la folie. Il a été trois jours dans cet état, et sa femme s'est hâtée de l'emmener au *Лесной,* pour essayer de ce que pouvait sur son état, un changement d'air et de lieu.

Ce n'est certainement pas le bon air qui vous manque, dans le lieu que vous habitez... Et cela me paraît même constituer la plus vive des jouissances que l'endroit puisse offrir. Яковлев, selon moi, ne vient qu'à la suite. Maintenant que je me suis rassuré sur ton compte, je veux bien que tu me rappelles au souvenir de mes 4 filles, — et que tu leur dises, que je les autorise à m'écrire. Dis

aussi mille amitiés à Nicolas. N'est-ce pas une chose incroyable qu'il y a des gens qui peuvent te voir à chaque instant du jour et que moi, je ne sois pas de ce nombre...

P. S. Voici une nouvelle qui mérite la dépense et les honneurs d'un P. S. On vient d'apprendre ici que le ravisseur de la jolie Mad. Жадимировской[9], le P<rinc>e S<erge> Troubetzkoy a été finalement pris, lui et la belle fugitive, au moment où ils allaient s'embarquer pour Constantinople* dans un des ports de la côte du Caucase. C'est Solohoub entre autres qui mande cette nouvelle à sa femme. Il ajoute qu'ils ont passé huit jours à Tiflis, sans que personne s'en fût douté, et que ce qui a amené leur arrestation, c'est qu'une demi-heure avant que d'aller s'embarquer, cet absurde homme n'a pu résister à la tentation d'aller faire une partie de billard dans le café de l'endroit où, comme de raison, il avait les meilleures chances d'être reconnu et découvert. La pauvre jeune femme a été de suite acheminée vers Pétersb<ourg> sous bonne garde — et quant à lui, il sera, probablement, dans le cas de se chanter à lui-même un air d'opéra qui se chantait beaucoup autrefois: *Ah quel plaisir d'être soldat.* Voilà une belle équipée... Hier cette jeune veuve dont je te parlais, me disait à propos de l'aventure, qu'après tout elle ne trouvait pas la pauvre créature si fort à plaindre, que toutes les contrariétés qu'elle subissait en ce moment, tourneraient infailliblement au profit de ses prochaines amours, et leur imprimeraient une énergie toute particulière... C'est très probable.

Перевод:

Москва. Пятница. 29 июня

Наконец-то, три дня тому назад, я смог успокоиться, увидев, как ваш длиннолицый и белобрысый посланник входит в дом Сушковых, а на другой день я получил твое первое письмо из Овстуга...[1] Теперь, если бы мне было обещано чудо, всего одно только чудо в мое распоряжение, — я воспользовался бы им, чтобы в одно прекрасное утро проснуться в той комна-

* Далее несколько слов зачеркнуто.



те, которую ты так любезно приготовила мне рядом со своею, и, пробудясь, увидеть зелень сада, а в глубине его — маленькую церковку. Ибо с тех пор, как я знаю, что ты там, эта противная местность[2] стала казаться мне почти что красивой и облеклась в моем воображении в особые тона, свойственные отсутствующим предметам, столь хорошо мне знакомые и так часто мучившие и дразнившие меня в жизни...

Но что тем не менее вполне реально в моих впечатлениях — так это пустота, созданная твоим отсутствием. Порою я чувствую себя совсем стариком и возмущаюсь, что так мало могу довольствоваться самим собою. Ах, каким жалким созданием становишься, когда сознаешь себя во власти того, что не является твоим собственным, личным *я*... В конце концов, нельзя сказать, чтобы я очень скучал и чтобы мне очень не нравилось здесь. — Перечислю тебе мои развлечения: прежде всего у меня есть Блудовы[3], которые уже два дня как поселились в Парке. Послезавтра я поеду к ним пить чай, вместе с *Сен-При,* отцом и сыном[4]. Мне очень любопытно познакомиться с сим последним, который бесспорно является одним из умнейших людей нашего времени. Вчера вечером я был у одной молодой и красивой вдовы, госпожи *Небольсиной*, о которой ты слышала, — очень белокурой, тоненькой и весьма развязной. Сегодня вечером для разнообразия съездим в гости к митрополиту[5], а утром съезжу поздравить друга моего *Чадаева* — он Петр и, следственно, сегодня именинник[6]. Он очень уговаривал меня приехать, озадачив меня словами, сказанными со снисходительно-благодушным видом, что я могу быть почти уверенным, что *несмотря на такое время года* встречу у него в это утро много народу. В будущее воскресенье в Парке будет большая иллюминация. На другой день, в понедельник, — большой праздник в имении князя Сергея Голицына[7], дяди *Михаила*[8], которого я намереваюсь по этому случаю посетить... Как видишь, у меня — строго говоря — нет недостатка в развлечениях, и нужно быть столь нелепо созданным, как я, чтобы не уметь, — даже теперь, когда я знаю, что ты доехала,— обуздать хотя бы на некоторое время свое постоянное беспокойство.

Что до моего здоровья, то оно после последних пиявок улучшилось. Сон по-прежнему хорош, а аппетит хорош иногда. Кстати, о здоровье — я узнал от Блудовых, что после нашего отъезда Вяземский был сильно болен. Оказывается, с ним случился один из тех приступов сильного мозгового возбуждения, которые заставляют его опасаться за рассудок. Он пробыл в этом состоянии трое суток, и жена поспешила увезти его в *Лесной*, надеясь, что ему поможет перемена воздуха и места.

У вас-то уж, конечно, недостатка в хорошем воздухе нет... и в этом, думается мне, и заключается главная прелесть тех мест. Яковлев, по-моему, идет уже на втором месте. Теперь, когда я успокоился на твой счет, мне хотелось бы, чтобы ты передала от меня привет моим 4 дочерям и сказала им, что я велю им писать ко мне. Кланяйся от меня также Николаю. Право, невероятно, что есть люди, которые могут видеть тебя в любой час дня, и что я — не в их числе...

P. S. Вот новость, заслуживающая моих усилий и чести быть в постскриптуме. Тут только что получено известие, что похититель прекрасной госпожи Жадимировской[9] — князь Сергей Трубецкой наконец пойман вместе с хорошенькой беглянкой в одном из портов Кавказского побережья, в тот самый момент, когда они готовы были отплыть в Константинополь. Эту новость, между прочим, сообщает своей жене Соллогуб. Он добавляет, что они целую неделю прожили в Тифлисе и никто ничего не заподозрил, и что задержали их только потому, что за полчаса до отъезда этот нелепый человек не смог устоять против искушения сыграть партию в бильярд в местной кофейне, где его, по-видимому, опознали и разоблачили. Бедная молодая женщина была немедленно под надежной стражей отправлена в Петербург, а что до него, то ему, вероятно, придется спеть самому себе оперную арию, которую охотно певали в былое время: *«Ах, как сладко быть солдатом»*. Вот славная история!.. Вчера еще молодая вдова, о которой я тебе писал, говорила мне по поводу этого приключения, что она в конце концов не находит, чтоб это бедное создание заслуживало бы такой уж сильной жалости, что все



невзгоды, которые она переживает в настоящее время, пойдут ей на пользу в ее будущих романах и придадут им совершенно особую силу. Весьма возможно.

9. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

2 июля 1851 г. Москва

Moscou. *Lundi. 2 juillet*

Que fallait-il donc qui se fût passé dans le fond de ton cœur[1] pour que tu en fusses arrivée à douter de moi? à ne plus comprendre, à ne plus sentir que tu es *tout* pour moi et que comparativement à toi tout le reste n'est rien. – Je partirai demain, si c'est possible, pour aller te rejoindre. J'irai non pas à Ovstoug, j'irais, s'il le fallait, jusqu'en Chine, pour aller te demander si c'est bien sérieusement que tu doutes et si tu t'imagines par hasard, que je puisse vivre en présence d'un pareil doute. Vois-tu, ma chatte chérie, il y a quelque chose qui pourrait me rendre fou, dans l'idée que tu doutes de moi.

Ce n'est donc qu'une affaire de nerfs que mon amour pour toi et c'est avec l'accent d'une conviction résignée, que tu viens me dire une pareille sottise. Sais-tu bien que depuis ton départ en dépit de tout je n'ai pas réussi, pendant deux heures de suite, à considérer ton absence comme acceptable... J'ai beau m'accuser de pusillanimité, de folie, de maladie, de tout ce qu'on voudra. Rien n'y fait. C'est plus fort que moi. J'ai eu cette âpre satisfaction de sentir en moi quelque chose qui persiste invinciblement à travers toutes les misères et les fluctuations de ma sotte nature. Et sais-tu ce qui a exaspéré encore davantage cet âpre instinct, aussi fort, aussi égoïste que l'instinct de la vie... Je m'en vais te le dire tout crûment. C'est l'apparence, la simple apparence qu'il s'agissait d'une option à faire, rien que l'ombre d'une idée pareille a suffi pour me faire sentir l'abîme qu'il y a entre toi et tout ce qui n'est pas toi[2]. Non, certes, que j'eusse besoin d'une révélation quelconque à ce sujet – mais c'est l'orgueil de mon affection pour toi qui s'est senti révolté.

Hélas, ma chatte chérie, j'ai eu bien des torts... Je me suis stupidement, indignement conduit... Vis-à-vis de toi seule, je n'ai eu

3 Зак 7712

aucun tort, et cela par la bonne raison qu'il m'est tout à fait impossible d'en avoir vis-à-vis de toi...

Je vais donc me mettre en route, et cela par le chemin le plus court...

Il me tarde d'aller déjeuner avec toi sur ton balcon...

Dis mille amitiés à tout le monde. Il est inutile de leur dire que c'est pour toi seule que je viens...

Mais voilà ce que tu peux dire à mon frère. Hier nous avons été dîner chez *Mlle Zouricoff*[3]. Elle est vraiment très séduisante. Elle habite *une isba* qu'elle a fort élégamment fait arranger et elle vit là avec une sorte d'indépendance qui l'encadre à merveille. Elle a fort aimablement insisté pour que je revienne chez elle. Et elle aurait été notre belle-sœur à tous qu'elle n'aurait guères pu me faire un plus gracieux accueil...

Au revoir, ma chatte chérie. Ton pauvre Vieux est un bien absurde Vieux, mais ce qui est encore plus vrai, c'est qu'il t'aime par-dessus toute chose au monde.

Перевод:

Москва. *Понедельник. 2 июля*

Что же произошло в твоем сердце[1], если ты стала сомневаться во мне, если перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня — *все*, и что в сравнении с тобою все остальное — ничто? — Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если это потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя, в самом ли деле ты сомневаешься и не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения? Знаешь, милая моя кисанька, мысль, что ты сомневаешься во мне, заключает в себе нечто такое, что способно свести меня с ума.

Итак, любовь моя к тебе — лишь вопрос нервов, и ты говоришь мне этот вздор с выражением покорной убежденности. Известно ли тебе, что со времени твоего отъезда я, несмотря ни на что, и двух часов сряду не мог считать твое отсутствие приемлемым... Напрасно я упрекаю себя в малодушии, в безумии, в болезни, в чем угодно. Ничто не помогает. Это сильнее

меня. Я с горьким удовлетворением почувствовал в себе что-то, что незыблемо пребывает, несмотря на все немощи и все колебания моей глупой натуры. А знаешь, что еще больше разбередило этот цепкий инстинкт — столь же сильный, столь же эгоистичный, как инстинкт жизни?.. Скажу тебе без обиняков. Это предположение, простое предположение, что речь шла о необходимости сделать выбор, — одной лишь тени подобной мысли было достаточно, чтобы дать мне почувствовать бездну, лежащую между тобою и всем тем, что не ты[2]. И конечно, не то чтобы мне нужно было сделать какое-то открытие на этот счет, — тут возмутилась гордость моей привязанности к тебе.

Увы, милая моя кисанька, во многом я бывал неправ... Я вел себя глупо, недостойно... По отношению к одной тебе я никогда не был неправ, и это по той простой причине, что для меня совершенно невозможно быть неправым по отношению к тебе...

Итак, я отправляюсь в дорогу — и самым кратчайшим путем... Мне не терпится позавтракать с тобою у тебя на балконе...

Передай всем самый сердечный привет. Излишне говорить им, что я еду ради тебя одной...

Но вот что ты можешь передать брату. Вчера мы обедали у *мадемуазель Цуриковой*[3]. Она, право, очень обворожительна. Она живет в *избе,* которую весьма изящно обставила, и живет с известной независимостью, вполне идущей к ней. Она очень любезно настаивала на том, чтобы я еще раз приехал к ней, и будь она даже нашей невесткой — она и то не могла бы принять меня лучше...

До свидания, милая моя кисанька. Твой бедный старик — старик очень нелепый; но еще вернее то, что он любит тебя больше всего на свете.

10. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

6 июля 1851 г. Москва

Moscou. Vendredi. 6 juillet 1851

Ma chatte chérie, as-tu jamais lu, dans Suétone, la lettre que l'Empereur Tibère adresse de l'île de Caprée aux Sénateurs de Rome: «Que vous dirai-je, Pères conscrits, ou que ne vous dirai-

je pas? Que les Dieux et les Déesses me fassent périr plus misérablement que je ne me sens périr, si je sais ce que je dois vous dire...» Eh bien, l'Empereur Tibère aurait été, à mon avis, excusable d'écrire une pareille lettre, si en l'écrivant il s'était senti affligé d'hémorroïdes... Quant à moi, j'ai sur lui cet avantage que si je ne sais pas ce que je dois dire, je sais parfaitement ce que je voudrais être en état de faire... A peine t'avais-je annoncé l'autre jour mon départ immédiat pour Ovstoug, que, la lettre expédiée, je me suis souvenu que je n'avais pas sur moi mon p<asse>port du Ministère et ce n'est qu'hier que ce bienheureux papier m'est parvenu. Voici, dans l'intervalle, ce qui s'est passé... Mais avant tout un mot d'explication sur la disposition d'esprit où j'étais en t'écrivant. Je venais de lire ta lettre... Peste soit des interruptions.

J'en étais là de mes écritures, quand le Davidoff[1] au long nez est venu, en dépit de la consigne, fondre dans ma chambre et me faire perdre une grande heure en paroles inutiles et propositions inacceptables. C'était pour obtenir de moi la promesse que j'irai lui faire une visite dans sa terre *d'Отрада*. Si je pouvais au moins dire à tous ces gens-là: Mais faites donc que je me porte bien. Délivrez-moi de mes chiennes d'hémorroïdes et quand vous m'avez fait un derrière capable de supporter la poste, laissez-moi aller retrouver ma femme, en l'absence de laquelle tous et toutes tant que vous êtes, vous ne m'êtes absolument d'aucune ressource... Mais je reprends le fil de mon discours.

C'est ta lettre à ma sœur qui a failli me lancer comme un projectile vers Ovstoug. Que tu dises de pareilles bêtises, en t'adressant à moi, je puis encore le supporter... Mais de lire les mêmes choses, dites à une personne tierce, avec cet accent d'une conviction résignée — et dites par toi, si peu phraseuse surtout sur une question aussi intime; c'était cent fois plus qu'il n'en fallait pour bouleverser mes nerfs. Il y a là surtout une ligne, une phrase, qui chaque fois que je me la redis (et je me la redis continuellement) me fait le même effet, que si je sentais le fil du rasoir sur le globe de l'œil — tout cela, conviens-en, n'est pas fait pour me faire prendre mon mal en patience... Tu prétends que tout mon attachement pour toi n'est que de la maladie, et que la première



distraction venue suffirait pour m'en distraire... En attendant, voici ce qui arrive... Tu vas chercher à la campagne un genre de vie qui convient à tes goûts, acceptant les quelques semaines d'absence en personne parfaitement raisonnable et très disposée à t'en accommoder, si moi, de mon côté, j'étais disposé en faire autant... Il est possible que ce soit en effet mon état de santé qui me fasse paraître ce sacrifice si dur à supporter... Mais que ce sacrifice m'est très pénible, tu en es si parfaitement persuadée, que c'est même là à ce que tu dis, le seul nuage qui obscurcisse le contentement que ton séjour actuel te fait éprouver... Morale ou physique, tu sais bien que ton absence m'est insupportable — et c'est dans ce moment-là que tu écris toutes ces belles choses à ma sœur... que tu as pu lui écrire p<ar> ex<emple> — *que si je venais à te perdre*, le premier moment passé, *il faudrait peu de temps, pour que le sillon se refermât doucement sur ton souvenir*... Si quelque mauvais plaisant m'avait fourré un charbon ardent dans la cravate, il ne m'aurait pas plus brûlé que cette phrase — et qu'est-ce qui te fait ainsi augurer de moi... C'est qu'il me resterait encore d'autres affections, pour me consoler. Mais si elles pouvaient me consoler de te perdre, comment se fait-il qu'elles soient insuffisantes pour me faire supporter deux à trois mois d'absence...

Tiens, je voulais t'écrire une lettre toute calme et raisonnable et qui fût en harmonie avec la paix des champs, et voilà que j'extravague... grâce à deux lignes de ton écriture...

Maintenant si, cédant à cette impression que je n'ai pu encore surmonter, je me décidais à courir à Ovstoug... Qu'arriverait-il? C'est que, comme je ne pourrais en y allant à présent, y rester qu'une quinzaine de jours tout au plus — il arriverait que je n'aurais fait cette course que pour repasser par de nouveaux adieux, qui tout absurde que cela puisse être, me seraient plus pénibles encore que les premiers, car revenant à Pétersbourg, au mois d'août, je saurais que quelque chose qu'il advienne, je ne pourrais plus bouger de mon poste... Tout cela m'embête et m'ennuie au dernier point d'autant plus que je sens à merveille que toutes ces perplexités où je me noie sont parfaitement absurdes et gratuites... Voici donc à quoi je me suis

décidé pour le moment... Je resterai encore quelques jours ici, où, je dois le dire, je ne me déplairais pas du tout, si tu y étais... Puis j'irai faire acte de présence à Pétersb<ourg> et m'arranger avec Gervais[2], de manière à pouvoir revenir ici, pour l'époque où vient la Famille Imp<ériale>, et alors, soit que j'aille te chercher à Ovstoug, soit que je t'attende de pied ferme ici, je saurai, au moins, qu'en te revoyant je n'aurai plus de nouveaux adieux à te faire...

Voilà, pour le moment, le programme, qui peut changer d'ici à ce soir... Ce qui ne change pas, c'est mon extravagante obstination à ne pas pouvoir me passer de toi...

C'est encore ici que j'aimerais le mieux rester à t'attendre.

Les Bloudoff, depuis leur arrivée, me sont d'une grande ressource. J'ai passé là quelques soirées des plus agréables, et qui en dépit du régime se sont prolongées jusqu'à *1* du matin, grâce surtout à la présence de *Хомяков*[3]. C'est un grand plaisir, laisse-moi te l'avouer, que de causer avec un homme qui est votre égal pour l'esprit. Quelqu'un qui en a aussi beaucoup, c'est Alexis de S<ain>t-Priest. Mais jusqu'à présent, je l'ai moins rencontré que l'autre. Je dîne aujourd'hui chez les Bloudoff, et ce soir, lui et moi, nous irons faire nos adieux à M<ichel> Wielhorsky[4] qui démarre avec sa fille à *Alexandrie*. La semaine prochaine nous irons probablement ensemble faire une visite aux *Woronzow*. – L'autre jour, le 2, j'ai été seul, avec le Brochet[5], à Мельница, à la fête du P<rinc>e Gallitzine. Quant à ma santé, je ne suis ni plus ni moins malade que de coutume et je ne vois pas que la double pose de sangsues peut changer quelque chose... Et voilà pourquoi, si la chose était possible, il me serait si doux de rester provisoirement en place, à la seule condition d'avoir, chaque poste, de tes nouvelles et de les avoir bonnes... Mais il faut que je cesse, de guerre lasse. L'heure passée l'écriture devient de plus en plus nerveuse, et bientôt toute cette lettre ne serait plus qu'un spasme. – Ma chatte chérie. Dis-toi bien qu'il n'y a pas une heure dans la journée où je ne sente que tu es ma vie. – Que Dieu te conserve. Embrasse la famille.

Que de choses je t'aurais encore écrites, si je n'étais pas si nerveux. Ma chatte chérie – je baise tes pattes.

Перевод:

Москва. Пятница. 6 июля 1851

Милая кисанька, доводилось ли тебе читать у Светония письмо, посланное императором Тиберием с острова Капри римским сенаторам: «Что сказать вам, отцы сенаторы, чего не говорить? Пусть по воле богов и богинь я погибну более жалкой смертью, чем та, от которой погибаю теперь, если я знаю, что должен вам сказать...» Так вот, по-моему, император Тиберий, написавший такое письмо, достоин снисхождения, если его донимал геморрой, когда он это писал... Что до меня, я имею перед ним преимущество: не зная, что должен сказать, я прекрасно знаю, что хотел бы быть в состоянии сделать... Едва известил я тебя намедни о своем незамедлительном отъезде в Овстуг и уже отправил письмо, как вспомнил, что у меня нет при себе паспорта, находящегося в Министерстве, и только вчера сей драгоценный документ был мне прислан. Вот что произошло тем временем... Но прежде коротко разъясню, в каком состоянии духа я пребывал, когда писал тебе. Я только перед тем прочел твое письмо... Черт побери эти помехи.

Когда я дописал до этого места, ко мне в комнату, невзирая на запрет, ворвался длинноносый Давыдов[1] и отнял у меня целый час пустыми разговорами и неприемлемыми предложениями. Он хотел заручиться моим обещанием нанести ему визит в имение *Отрада*. Если бы я мог по крайней мере сказать всем этим людям: Сделайте же так, чтобы я был здоров. Избавьте меня от проклятого геморроя, а когда по вашей милости мой зад способен будет выдержать дорогу в почтовой карете, позвольте мне поехать к моей жене, в отсутствие которой все вы, вместе взятые, совершенно мне ни к чему... Но продолжу прерванную речь.

Письмо, которое ты прислала моей сестре, — вот что едва не заставило меня лететь пулей в Овстуг. Когда ты говоришь подобный вздор, обращаясь ко мне, это еще я могу вынести... Но читать то же самое, сказанное третьему лицу, с этим выражением покорной убежденности, и сказанное тобою, совсем

не склонной к пустословию, особенно в вопросе столь личном, — это в сто раз больше, чем необходимо, чтобы расстроить мои нервы. Есть там в особенности одна строчка, одна фраза — стоит повторить ее про себя (а я повторяю ее непрестанно), и всякий раз у меня такое ощущение, будто моих глаз касается лезвие бритвы. Согласись, все это не способствует тому, чтобы я терпеливо сносил болезнь... Ты утверждаешь, что моя привязанность к тебе — лишь проявление недуга и что первое появившееся развлечение способно меня от нее отвлечь... Между тем происходит вот что... Ты отправляешься в деревню, дабы вести образ жизни, отвечающий твоим вкусам, и соглашаешься на несколько недель разлуки, как человек совершенно разумный и вполне готовый с этим примириться, если бы и я, со своей стороны, готов был поступить так же... Возможно, и вправду состояние моего здоровья причиной тому, что я с таким трудом переношу эти лишения... Но в том, что мне весьма тяжела эта жертва, ты убеждена вполне, и настолько, что, по твоим же словам, это единственное облако, омрачающее удовлетворение, которое приносит тебе твое теперешнее местопребывание... Ты прекрасно знаешь, что разлука с тобой — духовная или физическая — для меня непереносима, — и именно в такой момент ты пишешь моей сестре все эти прекрасные слова... Ты могла, например, написать, *что, потеряй я тебя,* стоит миновать первому мгновенью, а там *понадобилось бы немного времени, чтобы воспоминание о тебе незаметно изгладилось*... Вздумай какой-нибудь злой шутник сунуть мне за пазуху раскаленный уголь — и то он не обжег бы меня больнее, чем эта фраза. Но что же заставляет тебя так думать обо мне?.. Дело в том, что будто бы в утешение у меня останутся другие привязанности. Но если бы я мог, потеряв тебя, найти в них утешение, тогда почему же мне их не хватает, чтобы пережить два-три месяца разлуки с тобой?..

Вот видишь, я хотел написать тебе спокойное, рассудительное письмо, гармонирующее с покоем полей, а вместо того безумствую... из-за двух строчек, написанных тобой...

Если, поддавшись впечатлению, которое я все еще не преодолел, я решился бы теперь мчаться в Овстуг, к чему бы это



привело? Ведь, отправившись туда сейчас, я мог бы провести там не более двух недель, а потому получилось бы, что я предпринимаю эту поездку только для того, чтобы заново пережить прощание с тобой, а это, при всей кажущейся нелепости, было бы для меня еще тяжелее, чем в первый раз, ибо в августе, вернувшись в Петербург, я буду знать, что уж не смогу выехать, что бы ни случилось. Все это меня раздражает и расстраивает до крайней степени, тем более что я совершенно ясно чувствую полную нелепость и беспочвенность всех тех недоумений, в которых я тону... Итак, вот что я покамест решил... Я останусь тут еще на несколько дней, и, должен признаться, это пребывание нисколько бы меня не тяготило, будь ты здесь... Затем отправлюсь в Петербург, где засвидетельствую свое присутствие и договорюсь с Жерве[2] — так, чтобы я мог вернуться сюда к моменту прибытия царской семьи, а уж тогда, поеду ли я за тобой в Овстуг или останусь ждать тебя, не трогаясь с места,— я по крайней мере буду знать, что, увидев тебя, мне не придется заново с тобой прощаться...

Вот каков пока что мой план, который к вечеру может измениться... Что неизменно, так это мое вздорное упрямство, заключающееся в том, что я не могу обходиться без тебя...

Как мне представляется, лучше всего было бы оставаться ждать тебя здесь.

Блудовы, с тех пор как они приехали, — истинное мое прибежище. Я провел у них несколько приятнейших вечеров, затянувшихся, вопреки режиму, до *часу* ночи, прежде всего благодаря присутствию *Хомякова*[3]. Позволь тебе признаться, что беседа с человеком, общим с тобой по духу, доставляет большое удовольствие. Другой такой — Алексей де Сен-При. Но до сих пор я встречался с ним меньше, чем с Хомяковым. Сегодня обедаю у Блудовых, а вечером он и я отправимся попрощаться с Михаилом Виельгорским[4], отъезжающим вместе с дочерью в *Александрию*. На следующей неделе мы, вероятно, вдвоем навестим *Воронцовых*. — На днях, второго числа, я один в сопровождении Щуки[5] был на Мельнице на празднике у князя Голицына. Что касается моего здоровья, мне не хуже

и не лучше, чем обыкновенно, и не думаю, чтобы двойная доза пиявок могла что-либо изменить... Вот почему, если бы то было возможно, мне так приятно было бы пока оставаться на месте, при единственном условии с каждой почтой получать от тебя вести, и вести хорошие... Но я должен закончить, ибо совсем выбился из сил. Со временем почерк становится все более нервным, и скоро письмо это превратится в сплошную спазму. — Милая моя кисанька, будь уверена, что нет ни единого часа в сутках, когда бы я не чувствовал, что ты — моя жизнь. — Сохрани тебя Бог. Обними семью.

Сколько всего я бы тебе еще написал, не будь мои нервы так расстроены. Милая кисанька, целую твои лапки.

11. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

9 июля 1851 г. Москва

Lundi. 9 juillet

Ma chatte chérie. Tu ne sauras jamais, et Dieu en soit loué, la torture que tu m'as infligée en me retirant ta présence[1]. C'était pis que de retirer à un malade son lit de dessous lui. Car un malade, après tout, peut coucher sur la dure sans devenir fou. Et moi, je crois, vraiment, que ma raison tient en grande partie à ta présence. — Comme je comprends le Roi Saül et le besoin qu'il avait de la musique de David...[2] Ainsi, dans ce moment p<ar> ex<emple>, je me dis bien, que puisque je ne puis aller à Ovstoug que pour une quinzaine de jours, il y aurait folie à le faire, tant à cause de ma santé qu'à cause de la dépense... Et cependant l'idée que c'est moi qui volontairement et par un acte réfléchi de sa volonté me décide à ajourner de plusieurs semaines le moment de te revoir, cette idée me paraît monstrueuse, et une pareille détermination contrarie tellement l'irrésistible penchant de mon cœur, cette Voix sainte, qui me paraît être un avertissement du Ciel, qu'il me semble que si j'avais le malheur de lui désobéir par quelque pusillanime calcul de convenance personnelle ou d'économie, j'attirerais sur moi un châtiment mérité, et que je sens, dans mes mauvais moments, comme suspendu sur ma tête... Tout cela, me diras-tu, n'est que de la maladie, je le sais bien, mais



qui est-ce qui me dira que le propre de cette maladie ce ne soit pas d'aiguiser dans l'homme cette faculté qui lui fait pressentir l'avenir. J'ai beau chercher à me rassurer par toute sorte de banalités les plus évidemment raisonnables. Rien ne rassure cette angoisse qui s'empare de moi, aussitôt que j'ai cessé de te voir. Et cependant, je sais fort bien, que si je cédais à cette inspiration, pour prix d'un soulagement momentané, je n'aurais fait qu'ajouter à l'irrésistible ascendant de la maladie...

La nouvelle, que tu me donnes du prochain départ de mon frère n'a fait qu'augmenter mes perplexités... Ma parole d'honneur, je me sens un pitoyable être. Et il n'y a que toi qui puisses me connaître d'outre en outre, comme tu le fais, sans éprouver pour moi un sentiment de mépris sans mélange[3].

Je viens d'avoir la visite du médecin, il me déconseille fortement tout voyage par la malle-poste[4]. Et le moyen de faire autrement. Ma chatte chérie, je te supplie, de toutes les forces de mon âme, de n'avoir pas la moindre inquiétude à mon sujet, bien que je comprenne à merveille que tout ce que je viens de te dire doit nécessairement t'attrister. Je ne suis ni plus, ni moins malade que d'habitude, et mon humeur même — à part l'aggravation occasionnée par l'absence, varie, suivant la disposition physique du moment, du tout au tout... Ma véritable santé, c'est la tienne, et pourvu que tu me répondes de celle-là je te réponds du reste... J'attends aujourd'hui même de tes nouvelles et cependant, à cause du départ de la poste, je ne pourrai guères te répondre avant vendredi prochain. Ah, conserve-toi, ma chatte chérie, conserve-toi... et je pourrai encore espérer d'avoir quelques bons moments de la vie...

Перевод:

Понедельник. 9 июля

Милая моя кисанька, ты никогда не узнаешь — и слава Богу — тех мук, которые ты причинила мне, лишив меня своего присутствия[1]. Это хуже, чем отнять у больного постель, на которой он лежит. Ибо больной, в конце концов, может полежать и на жестком, не сходя с ума. А что до меня, то мне

кажется, что разум мой держится в значительной степени твоим присутствием. — Как понятен мне царь Саул и его потребность в Давидовой музыке[2]. Так в настоящую минуту, например, я вразумляю себя, что, раз я могу съездить в Овстуг всего лишь недели на две — безумие ехать туда, принимая во внимание как мое здоровье, так и расходы. И все же мысль о том, что именно я, по собственной своей воле и вполне обдуманно, откладываю на несколько недель минуту нашего свиданья, мысль эта кажется мне чудовищной, а подобное решение до такой степени противоречащим непреодолимому влечению сердца, тому святому гласу, который почитаю я небесным велением, — что мнится мне, имей я несчастье ослушаться его в силу какого-либо малодушного расчета, основанного на личных ли интересах или на бережливости, — я навлеку на себя заслуженную кару, которую в минуту дурного настроения я чувствую нависшей надо мною... Все это, скажешь ты, не иначе как недуг; я и сам знаю это, но кто сможет отрицать, что особенностью этого недуга является обострение в человеке способности предчувствовать будущее. Тщетно я стараюсь успокоить себя всевозможными ходячими истинами, разумность которых вполне очевидна. Ничто не успокоит смертной тоски, что охватывает меня, едва я перестаю тебя видеть. И все же я прекрасно знаю, что поддайся я этому голосу ради краткого облегчения — я лишь усугублю непреодолимую власть болезни...

Твое сообщение о предстоящем отъезде брата еще увеличило мою нерешительность... Право же, я чувствую себя весьма жалким существом. Только ты одна и способна знать меня вдоль и поперек — как ты знаешь — и не питать ко мне чувства полнейшего презрения[3].

Только что был у меня доктор; он решительно отговаривает меня от путешествия в почтовой карете[4]. А как же быть иначе? — Милая моя кисанька, умоляю тебя всеми силами души ничуть не тревожиться на мой счет, хоть я и понимаю отлично, что все только что сказанное мною неизбежно должно огорчить тебя. Я болен не больше и не меньше обычного, и само настроение мое, — если оставить в стороне ухуд-

шение, вызванное разлукой, — меняется в зависимости от физического самочувствия в каждый данный момент. Истинное мое здоровье — это твое здоровье, и лишь бы ты отвечала мне за свое — я отвечаю за все остальное. Я жду от тебя вестей еще нынче, но ввиду отправки почты не смогу ответить тебе ранее, нежели в будущую пятницу. Ах, береги себя, милая моя кисанька, береги себя... и я смогу еще надеяться на несколько радостных мгновений в жизни.

12. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

13 июля 1851 г. Москва

Moscou. Vendredi. 13 juillet

Ma chatte chérie, je veux profiter d'un de mes bons moments, d'un de mes moments lucides pour t'écrire une lettre calme et raisonnable, une lettre que tu puisses lire en présence de mon daguerréotype sans la lui reprocher. C'est avant-hier, mercredi, que j'ai reçu celle, en date du 4. Cette lettre, écrite dans la chambre que tu me destinais avec le jardin et la petite église en regard. Mais je n'ose trop arrêter ma pensée sur tout cela, de peur d'éveiller le *monstre* qui dort... Ce monstre qui me donne tant de mal à contenir, maintenant que je n'ai plus, pour le calmer, le secours tout-puissant de ta présence. Ah oui, sans toi j'ai bien à faire pour m'en défendre. Il y a dans ta lettre une douce paix, une sérénité voilée qui m'a fait du bien. Je me suis senti vivre dans tes rêves de la vie des fantômes. Cette manière d'exister ne me déplaît pas. Cela me repose de mes fureurs. Oh, ma chatte chérie, pardonne-moi toutes ces bêtises incendiaires que j'ai lancées coup sur coup contre toi, contre cette douce quiétude où j'aime tant à te savoir, tout en faisant de mon mieux pour t'empêcher d'en jouir... C'est donc en pleine et paisible lecture de feu Mr Karamzine[1], que je suis venu comme un forcené jeter l'alarme dans ton esprit... L'annonce de mon départ, révoquée la poste d'ensuite. Des cris, des lamentations, de la déraison. Ah, conviens-en, ma chatte chérie, je suis parfois parfaitement odieux. Mais tu m'aimes, tu me pardonnes et tu me plains. Et puis tu ne saurais te dissimuler que dans ce moment-ci tu as bien ta part de

responsabilité dans mes extravagances. Tu sais bien que quand tu es là, je ne crie jamais si fort...

Parlons si tu veux de ma santé. J'ai pris, par le conseil du médecin, quelques bains froids à l'établissement de la Tverskoy, puis il m'a recommandé de porter des compresses d'eau froide sur le ventre[2], ce que je compte faire. Mais tout ce régime ne vaut pas, pour mes nerfs, un quart d'heure de ta présence. Aussi j'ai été tous ces jours-ci dans la plus terrible lutte qui se puisse imaginer, — obligé de me retenir à quatre pour ne pas succomber à la tentation de t'aller retrouver. Mais cette incartade, car c'en serait une, aurait dérangé tous mes projets. Or ces projets les voici. Je veux revenir ici à la fin du mois d'août, pour l'époque où la cour y vient, après quoi ou j'irai te chercher jusqu'à Ovstoug, ou je t'attendrai de pied ferme ici. Mais pour réaliser ce projet il faut que je fasse acte de présence à Pétersb<ourg>, et cela, le plutôt possible, afin de mettre Gervais dans la possibilité de combiner ses arrangements avec les miens et aussi pour ne pas perdre le traitement qui me revient pour les deux mois, juillet et août.

Je m'en vais donc retourner à Pétersbourg... C'est comme si je te quittais une seconde fois. Ah, je suis un grand sot. Voilà que je m'effraye, de plus belle de ma résolution. Mais tu m'as promis de vivre et de te bien porter... Le médecin m'ayant formellement interdit la malle-poste j'ai trouvé à acheter, grâce aux Souchkoff, une petite calèche, suffisante pour nous deux, moi et le Brochet, pour le modeste prix de 75 *r<oubles> ar<gent>*. On m'assure que c'est une trouvaille. Je le veux bien. Si c'en est une, elle pourra nous être fort utile même à Pétersb<ourg>. J'aime à croire que grâce à la saison et à toute sorte d'évolutions que la saison comporte, je réussirai, sans trop de peine à dépenser ce mois entre Pétersb<ourg> et les environs. Antoinette Bloudoff, qui te fait dire mille amitiés, a reçu dernièrement une lettre de Mlle Kozloff[3], toute remplie de détails sur les îles, Pavlovsk et Peterhof, sur toutes ces diverses sociétés — le tout entremêlé de force réminiscences et appels à mon adresse. Hélas, hélas, que ne puis-je, à force de fatuité, me consoler de ton absence... L'autre jour, j'ai reçu la lettre la plus coquettement aimable de la Comtesse Rostopchine, qui m'engage, avec toute sorte de mau-



vaises raisons, à aller lui faire visite à la campagne... Comme si un pareil tête-à-tête, ne dure-t-il que vingt-quatre heures, était une chose possible... Quant à Moscou, je crois avoir déjà épuisé toutes les ressources qu'il offre en ce moment. J'ai deux fois été au théâtre du Parc[4], deux fois chez le Métropolitain, de plus, j'avais la ressource extraordinaire des Bloudoff, des S<ain>t-Priest... Le pauvre Bloudoff qui souffre d'un mal analogue au mien m'a l'air de s'ennuyer à périr. Aussi a-t-il poussé hier un gémissement qui m'a fendu le cœur, quand je lui ai annoncé mon prochain départ. Lui et sa fille sont en correspondance suivie avec le monde de P<étersbourg>, mais dans les dernières lettres qu'ils ont reçues, il n'était pas question des Wiasemsky, qui sont actuellement à Reval, ce qui n'a pas empêché qu'ici on n'eût fait courir les bruits les plus moscovites sur le compte du pauvre Prince[5].

Oh ma chatte chérie, que ne puis-je te parler au lieu d'écrire, surtout aujourd'hui où je me sens écrire, comme la moins littéraire des cuisinières?.. Eh bien, et le départ de mon frère pour l'étranger?[6] Il aurait, ma foi, bien tort d'y renoncer, malgré la surtaxe qu'on vient de mettre sur les p<asse>ports. Quant aux enfants, il est clair qu'on ne peut songer de les garder à la campagne, passé le mois d'août. Il y aurait même de l'indiscrétion à demander autre chose. Aussitôt arrivé à Pétersb<ourg> j'irai voir la Léontieff[7], pour m'entendre avec elle à ce sujet. Et une fois les enfants partis, j'aime à croire que tu ne tarderas pas à les suivre. Je t'en prie, ma chatte chérie, écris-moi le plus volumineusement possible. Encore une fois — je maintiens que personne n'a de l'esprit comme toi... Et me voilà obligé de me souvenir de tout cela, comme d'une tradition.

Existes-tu encore réellement, ma chatte chérie...

Перевод:

Москва. Пятница. 13 июля

Милая моя кисанька, хочу воспользоваться одной из своих добрых минут, — минут просветления, для того, чтобы написать тебе спокойное и рассудительное письмо, такое

письмо, которое ты могла бы прочесть перед моим дагерротипом, не обращая к нему упреков. Позавчера, в среду, я получил письмо от 4-го, написанное в комнате с видом в сад и на маленькую церковь, той самой комнате, которую ты предназначала мне. Но не смею слишком останавливать свои мысли на всем этом из страха разбудить дремлющее *чудовище*... Ведь у меня нет больше твоего всемогущего присутствия, чтобы его успокоить. Да, без тебя мне многого стоит защищаться от него. В твоем письме разлит тихий покой, некая безмятежность, которая благотворно на меня подействовала. Я почувствовал себя живущим в твоих мечтаниях жизнью призрака. Этот вид существования не противен мне. После всех моих беснований это так успокаивает меня. Ах, милая моя кисанька, прости мне все те язвительные и глупые упреки, которыми я тебя осыпал, нарушив свойственную тебе тихую безмятежность, столь милую для меня, хоть я сам и делаю все от меня зависящее, чтобы помешать тебе ею наслаждаться... Итак, как раз в то время, как ты мирно читала покойного господина Карамзина[1], я, безумец, своим письмом заронил тревогу в твои мысли... Извещение о моем приезде; следующей почтой — отмена. Крики, причитания, безумствования. Ну, согласись, милая моя кисанька, что порой я бываю поистине отвратителен. Но ты меня любишь, прощаешь меня и жалеешь. И к тому же, ты не можешь скрыть от самой себя в такие минуты, что и на тебе лежит доля ответственности за мои сумасбродства. Ведь ты же знаешь, что когда ты тут, я никогда не кричу так громко...

Поговорим, если хочешь, о моем здоровье. По совету врача я принял несколько холодных ванн в заведении на Тверской; затем он порекомендовал мне носить холодные компрессы на животе[2], что я и собираюсь делать. Но весь этот режим не сделает для моих нервов того, что сделает четверть часа твоего присутствия. Так что за все эти дни я перенес ужаснейшую борьбу, какую только можно себе представить — я держался изо всех сил, чтобы не поддаться искушению поехать к тебе... Но эта выходка — так как это было бы



именно выходкой — расстроила бы все мои планы. А планы мои таковы: я хочу вернуться сюда в конце августа, к тому времени года, когда приезжает двор, после чего я либо поеду за тобой в Овстуг, либо буду ждать тебя здесь. Но для осуществления этого плана мне необходимо показаться в Петербурге, и притом как можно раньше, чтобы дать возможность Жерве согласовать свои намерения с моими и для того также, чтобы не потерять жалованья, причитающегося мне за два месяца, июль и август.

Итак, я собираюсь возвратиться в Петербург. Словно я во второй раз расстаюсь с тобой. Ах, и глупец же я! Мое решение опять меня страшит. Но ты обещалась мне жить и быть здоровой... Поскольку врач категорически запретил мне путешествовать в почтовой карете, я, благодаря Сушковым, купил по случаю за скромную цену 75 *рублей серебром* маленькую коляску, достаточную для нас двоих, меня и Щуки. Меня уверяют, что это сущая находка. Коли так, пусть это будет находка; она и в Петербурге нам сможет очень пригодиться. Надеюсь, что благодаря обычным для этого времени года передвижениям мне удастся без большого труда поделить этот месяц между Петербургом и его окрестностями. Антуанетта Блудова, которая шлет тебе сердечные приветствия, недавно получила письмо от Козловой[3], полное подробностей об Островах, Павловске и Петергофе и о всех тамошних обществах, — все это обильно перемешано с воспоминаниями, намеками и воззваниями по моему адресу. Увы, увы, почему тщеславие не в силах утешить меня в горести твоего отсутствия... Намедни я получил самое кокетливо-любезное письмо от графини Ростопчиной, которая зовет меня к себе в гости в деревню, прибегая к разным малоубедительным доводам... Как будто такое свидание наедине возможно хотя бы на 24 часа... Что же касается Москвы, я, кажется, исчерпал все возможности, которые она сейчас представляет. Два раза я был в театре Парка[4], два раза у митрополита, кроме того, величайшим спасением были для меня Блудовы и Сен-При... Бедный Блудов, страдающий той же болезнью, что и я, производит

на меня впечатление человека, скучающего донельзя; когда я ему вчера объявил о своем отъезде, он издал такой горестный вопль, что у меня сердце сжалось. И он, и его дочь находятся в постоянной переписке с петербургским светом, но в последних полученных ими письмах о Вяземских, которые сейчас в Ревеле, нет и речи; это не помешало тому, чтобы здесь ходили самые московские слухи о бедном князе[5].

Ах, милая моя кисанька, отчего я не могу говорить с тобой, вместо того чтобы писать, в особенности сегодня, когда я чувствую, что пишу как кухарка, и притом наименее искушенная в литературе... Ну, а как же с отъездом моего брата за границу?[6] Он глупо поступит, если откажется от поездки несмотря даже на повышение стоимости паспорта. Что касается детей, то нечего и думать о том, чтобы оставить их в деревне после августа. Было бы даже неделикатным просить о чем-нибудь большем. Тотчас по приезде в Петербург заеду к Леонтьевой[7], чтобы договориться с ней по этому вопросу. А как только дети уедут, надеюсь, что и ты не замедлишь последовать за ними. Прошу тебя, милая моя кисанька, пиши мне возможно обстоятельнее. Еще раз повторяю, что нет человека умнее тебя... И вот мне приходится вспоминать об этом, как о предании.

Существуешь ли ты еще в действительности?..

13. П. Я. ЧААДАЕВУ

14 июля 1851 г. Москва

Je suis désolé, cher ami, de quitter Moscou sans avoir pu prendre congé de vous et vous avoir réitéré tous mes remerciements pour votre gracieuse obligeance. Mais comme j'ai tout espoir de revenir ici vers la fin du mois d'août, je compte bien me trouver dans le cas de réparer cette omission. En attendant veuillez me conserver votre affectueux souvenir et agréez les assurances de mon sincère dévouement.

Samedi
14 juillet

Ti Tutchef



Перевод:

Я очень огорчен, любезнейший друг, что покидаю Москву, не улучив возможности попрощаться с вами и выразить вам свою благодарность за вашу любезную предупредительность. Но так как я очень надеюсь вернуться сюда к концу августа месяца, то и рассчитываю иметь случай исправить это упущение. Пока что благоволите сохранить ко мне дружеское расположение и примите уверение в моей искренней преданности.

Суббота
14 июля

Ф. Тютчев

14. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

23 июля 1851 г. Петербург

St-Pétersb<ourg>. 23 juillet 1851

Ma chatte chérie. Je voulais t'écrire une lettre bien détaillée et bien raisonnable. Mais c'est pour le moment une chose matériellement impossible. Je vis et respire dans une *fournaise*[1]. La pluie qui tombe par bouffées, s'évapore, comme de l'eau qu'on jetterait sur le feu. Ni rideaux, ni stores, aucune protection contre cette chaleur plus que tropicale. — Il faut bien se borner à l'essentiel.

Hier, j'ai eu une explication des plus sérieuses avec la Léontieff, au sujet de la petite intrigue qu'elle avait nourri pour faire expulser les enfants de l'Institut. C'est par *la Pierling*[2], que j'ai eu tous les détails relatifs à l'affaire. Et personne ne pouvait mieux me renseigner que *la Pierling*, qui avait été choisie par la L<éontieff> pour être, bien malgré elle, la cheville ouvrière de cette petite machination. La Léontieff avait essayé d'engager la bonne femme à vous écrire en son propre et privé nom, pour — mais en vérité, il m'est impossible de continuer. D'ailleurs, tous ces détails, si longs à écrire, ne serviraient de rien et arriveraient trop tard, pour exercer quelque influence sur vos déterminations. Et puis, encore une fois, tant que tu n'es pas là vivante et présente à mes yeux, je ne me soucie de rien et ne crois à la réalité de quoi que ce soit...

Ma santé est passable grâce à mon régime et aux bains froids. Je te quitte pour aller voir Wiasemsky arrivé cette nuit de Reval. Tout à l'heure, j'ai reçu une invitation de la Gr<ande>-Duchesse de l'aller voir demain à 3 h<eures> aux Iles. Lesquelles Iles, par p<arenthèse>, sont fort animées – et j'y vais tous les soirs.

Pourtant, il faut bien, par respect humain, que je revienne en deux mots sur l'affaire *Léontieff*. Elle a voulu, au moyen de la lettre de la Pierling, nous engager à prendre sur nous la responsabilité du retrait des enfants, après avoir assuré, *en très haut lieu*[1], que tel était au fond notre désir secret, que nous avions dissimulé par pure déférence. Tu comprends l'effet agréable et salutaire qu'une pareille ouverture a dû produire. Et voilà pourquoi je suis allé hier lui déclarer catégoriquement que je saisirais la première occasion de faire savoir *à qui de droit* que tout ce qu'elle a pu dire dans ce sens était complètement faux, que je persiste, au mois de juillet, dans les mêmes sentiments de reconnaissance et les mêmes appréciations que j'avais exprimés au mois de mars, et qu'à ma connaissance tu étais bien décidée à renvoyer les enfants à Smolna pour la fin des vacances, etc. etc. Sur cela la bonne femme a eu peur, a cherché à se retraiter, à nier. Mais de toute manière voilà une affaire gâtée. De fausses impressions ont été données en haut lieu, et je ne vois pas trop par quel moyen j'arriverai à les rectifier... Et puis, encore une fois, je ne me sens pas en état d'écrire aujourd'hui raisonnablement – toute ma cervelle se fond en eau. D'ailleurs quand cette lettre arrivera, les enfants seront partis ou non, – de toute manière l'affaire sera décidée. Pour mon compte, j'ai assez à faire de lutter contre 30 degrés de chaud et les mille verstes qui me séparent de toi. Bonjour, ma chatte chérie. Puisses-tu te bien trouver du séjour où tu es... J'ai besoin de me répéter à chaque instant de notre séparation, que tu la trouves, toi, naturelle et raisonnable... Je ne te demande plus qu'une chose, c'est d'avoir le plus grand soin de ta conservation. Il n'y a que cela qui m'importe. – Cet abominable griffonnage devrait être mis en pièces. Je te l'envoie cependant, faute de mieux, et *à titre de certificat* de vie.

Je baise tes chères mains. Mais à qui parlé-je? Adieu, il fait trop chaud.

Перевод:

С.-Петербург. 23 июля 1851

Милая моя кисанька, я собирался написать тебе очень подробное и очень рассудительное письмо, но сейчас это физически невозможно, я живу и дышу в *пекле*[1]. Перепадающий дождь испаряется словно вода, пролитая в огонь. Ни занавески, ни шторы, никакая защита не умеряет этой сверхтропической жары.— Приходится ограничиться лишь самым существенным.

Вчера я имел серьезнейшее объяснение с Леонтьевой по поводу интриги, которую она сплела, чтобы исключить детей из института. Все подробности я узнал от госпожи *Пирлинг*[2], и никто лучше *Пирлинг* не мог рассказать мне обо всем, ибо именно она была избрана Леонтьевой, чтобы служить, помимо своей воли, основной пружиной этого замысла. Леонтьева пробовала уговорить эту славную женщину написать вам от своего личного имени, чтобы — но, право, я не в состоянии продолжать. К тому же все эти подробности, описывать которые так долго, совершенно бесполезны и дойдут до вас слишком поздно, чтобы повлиять на ваше решение. Да и опять-таки, покуда тебя, живой и действительно существующей, нет возле меня, мне ни до чего нет дела и я не верю в реальность чего бы то ни было...

Здоровье мое, благодаря режиму и холодным ваннам, сносно. Расставшись с тобою, поеду навестить Вяземского, который прошлою ночью вернулся из Ревеля. Сию минуту получил от великой княгини приглашение навестить ее завтра в 3 часа на Островах, каковые, между прочим, являются весьма оживленным местом; я бываю там каждый вечер.

А все-таки, самоуважения ради, надо вкратце рассказать тебе историю с *Леонтьевой*. Она хотела при помощи письма Пирлинг заставить нас принять на себя ответственность за выход детей из института и предварительно заверила *очень высокие сферы*[3], что таково в сущности и есть наше тайное желание, которое мы скрываем исключительно лишь из чувства уважения. Ты представляешь себе, какое приятное и благо-

творное действие должно было произвести подобное предложение. Поэтому я вчера отправился к ней и решительно заявил, что воспользуюсь первым же случаем, чтобы довести до сведения *кого следует,* что все сказанное ею в этом смысле совершенно ложно, что и в июле месяце я все так же высоко ценю внимание ко мне и пребываю в тех же чувствах признательности, какие высказал в марте, и что, насколько мне известно, ты намерена в конце вакаций снова отдать детей в Смольный, и т. д. и т. д. Тут эта милая женщина испугалась, стала отпираться, отрицать. Но как бы то ни было — дело испорчено. В высших сферах произведено ложное впечатление, и я не представляю себе хорошенько, каким путем мне удастся его изменить... Но, повторяю, я сегодня совершенно не в состоянии разумно писать — мозг мой стал жидким, как вода. К тому же, когда это письмо дойдет до тебя, — уедут ли уже дети или нет, — дело во всяком случае будет уже решено! А с меня сейчас довольно того, что я борюсь с тридцатиградусной жарой и с тысячью верст, разделяющих нас с тобой. Прости, моя милая кисанька. Дай Бог тебе чувствовать себя хорошо там, где ты обретаешься... Мне нужно беспрестанно твердить себе, что ты считаешь нашу разлуку естественной и разумной... Прошу тебя лишь об одном. Как можно больше заботься о себе и береги себя. Только это и имеет значение для меня. — Следовало бы разорвать на мелкие клочки сию отвратительную мазню. Все же отсылаю ее тебе за неимением лучшего и *в виде свидетельства* о том, что я еще жив.

Целую твои дорогие ручки. Но с кем это я говорю? Прости. Слишком уж жарко.

15. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

25 июля 1851 г. Петербург

Pétersbourg. 25 juillet

Ma chatte chérie. A peine avais-je eu l'autre jour fait partir ma lettre — cette lettre qui ressemblait assez au vagissement d'un crétin malade, que j'en ai reçu une de toi et hier encore une...[1] Grâces t'en soient rendues. Elles m'ont rafraîchi et calmé, comme



aurait pu le faire ta présence. Elles auraient dû me faire rougir, jusqu'au fond de l'âme – par le contraste, si depuis longtemps je n'avais pas toute honte bue vis-à-vis de toi... La lettre pour la Léontieff est parfaite. C'est un résumé fait en termes parfaitement convenables de l'explication quelque peu brutale que j'ai eu l'autre jour avec elle... Je n'ai pas voulu garder pour moi seul la jouissance que ton éloquence épistolaire m'a fait éprouver. J'ai fait venir chez moi la *Pierling* et je l'en ai régalé... La vois-tu assise dans le salon du coin, à la même place où je l'ai vue assise auprès de toi – sa fille cadette à côté d'elle – et moi, leur récitant ta lettre. Ce que j'ai cherché, moi, dans cette petite exhibition, c'était – qu'ai-je besoin de le dire – une réminiscence plus vive de votre chère personne... Quant à l'affaire en elle-même, je pense que le retour des petites, en temps opportun, suffira pour faire échouer toute cette sotte machination[2].

Maintenant parlons d'autre chose. Je t'avais annoncé dernièrement le retour des Wiasemsky, revenus de Reval. Je suis aussitôt allé les voir. C'est la Princesse qui d'abord est venue à moi, et qui m'a mis au fait de la situation. Cette fois, j'ai trouvé ses impressions moins exagérées que de coutume, et son témoignage à peu près conforme à la réalité. En effet, le pauvre Prince se trouve dans une triste disposition d'esprit – je dis d'esprit et non de santé, car, à le voir du moins, on ne se douterait pas de son indisposition. Rien de changé dans son extérieur, et d'après son propre aveu, la seule incommodité physique dont il se plaigne, ce sont les insomnies et encore ne sont-elles pas continues. Mais le moral est profondément affecté – et ce qui m'a le mieux fait apprécier cette altération – c'était de l'entendre me parler de son état avec une expansion et une abondance de détails, bien contraires à ses habitudes de réserve et de discrétion sur tout ce qui a rapport à lui-même. Il m'a dit, qu'il se sentait un homme perdu, et il a ajouté qu'il n'avait plus qu'à s'adresser à lui-même les paroles de la chanson: *Mon ami Pierrot, ta chandelle est morte, tu n'as plus de feu*, – et ainsi de suite. Il a paru très sensible à ton souvenir et m'a recommandé de te faire savoir entr'autres choses, qu'il s'était complètement consenti à ton opinion sur le compte de *Becker*[3], qu'il a décidément répudié, à

cause de sa brutale inintelligence. Et à cette occasion il m'a raconté, que, dans les moments où le malheureux et trop bien portant Becker voyait le pauvre malade en proie aux plus violentes angoisses, il ne trouvait d'autre recommandation à lui faire que celle-ci: ***Вы бы, князь, изволили что-нибудь покушать.*** Et aussitôt il se mettait en devoir de prêcher d'exemple. Si bien, me disait le Prince, que pendant toute la durée de son séjour auprès de moi, je ne lui ai vu manifester son activité que dans l'un de ces deux modes: ronflant ou mangeant.

Le soir même du jour où je les ai revus, les W<iasemsky> ont passé à l'Institut forestier, et c'est là où je suis allé les voir hier soir avec *Koloschine*[4]. Au moment où nous y sommes arrivés, la Grande-Duchesse Hélène[5] venait de les quitter. Il n'y a que la Princesse qui l'ait vue, car quant à lui, il s'est positivement refusé à se laisser voir. Je l'ai trouvé encore sous l'impression de cette visite éludée, établi dans le grand salon, lorsque nous vîmes arriver, successivement, Michel Wielhorsky, le couple Odoeffsky[6], etc. etc. Et c'est alors que se révéla à moi un des inconvénients les plus réels selon moi de la situation. En voyant arriver tout ce monde, la bonne Princesse n'eut rien de plus pressé que de les prendre tous *à part*, pour leur communiquer, confidentiellement, à haute et intelligible voix et en présence du malade, les détails les plus intimes sur son état, avec cette volubilité de diction, qui l'aurait servi à souhait dans l'explication de quelque infirmité curieuse, comme on en voit dans les exhibitions de la foire. L'effet de cette scène ne s'est pas fait attendre, car le malade a presqu'aussitôt décampé, pour se réfugier dans sa chambre, où Kolosch<ine et> moi, nous sommes allés le rejoindre plus tard. Quant à leurs projets, ils sont encore très flottants. Il est toujours question d'un voyage à la Haye, pour aller rejoindre les enfants[7]. Mais ce qui me paraît plus imminent, c'est une visite chez les *Мещерские*. Tu ferais bien, ma chatte, d'écrire directement au malade, en lui disant expressément que tu le dispenses de l'obligation de te répondre, pour peu que cela gêne, etc. etc.

Je t'ai nommé plus haut la Grande-D<uchesse> Hélène. J'ai passé l'autre jour toute une grande heure en tête-à-tête avec elle, sur son balcon de Kamenoy Ostrov. C'est une gracieuse femme,

une de ces natures de femme, qui ont le charme impérissable, grâce à leur extrême élasticité. Elle m'a paru avoir beaucoup de gaieté et de sérénité dans l'esprit et si par hasard elle tenait à produire sur moi une impression agréable, elle y a parfaitement réussi. J'espère la revoir...

Les réunions aux Iles sont à peu près les mêmes que l'année dernière. Je suis allé l'autre jour passer la soirée chez Julie Stroganoff, qui m'a chargé de te faire ses amitiés. Ce jour-là nous étions en très petit comité: *Mollerus, Regina*... le tout présidé par la vieille ganache aveugle. Le 11 du mois prochain on doit jouer la comédie chez eux — Mesdames Bray, Zographos et la Seebah, à qui j'ai été faire visite hier dans l'avant-dîner et que j'ai obligée à me raconter, en dépit de sa modestie, tout le détail de ses succès parisiens... Elle était là, devant moi, humble dans sa gloire et souriant comme une éponge attendrie. Ce soir j'irai chez les Borch... Ouf, ma chatte chérie, je me fais une violence énorme en ayant l'air de prendre de l'intérêt à toutes ces petites bêtises que je te raconte là. Rien ne saurait me faire prendre le change vu le fond de la situation, et ce fond-là, c'est ton absence... Elle est sage, elle est raisonnable, mais elle est très pénible... Continue néanmoins à m'écrire de ces lettres calmantes, qui me font plus de bien, que toutes ces poudres de soufre et autres drogues que tu me recommandes. — J'attends avec impatience l'arrivée des enfants, et sais-tu pourquoi? C'est qu'elles viennent d'auprès de toi. Ah, oui, je suis incroyablement niais. Je baise vos mains.

T. T.

Перевод:

Петербург. 25 июля

Милая моя кисанька, не успел я намедни отправить тебе письмо, — письмо, изрядно напоминающее нечленораздельные вопли больного идиота, — как получил твое письмо, а вчера — еще другое...[1] Да будешь ты вознаграждена за них. Они освежили и успокоили меня, как то могло бы сделать твое присутствие. Оно устыдило бы меня до глубины души своим контрастом, если бы я давно уже не потерял по отно-

шению к тебе всякий стыд... Письмо к Леонтьевой превосходно. Это выраженное во вполне приличных выражениях резюме того несколько резкого объяснения, которое я намедни имел с нею... Мне захотелось поделиться с кем-нибудь удовольствием, которое доставило мне твое эпистолярное красноречие. Я пригласил к себе *Пирлинг* и угостил ее им... Представляешь себе, как она с младшей дочерью сидит в угловой гостиной, на том самом месте, где она обычно сидела возле тебя, — а я читаю им твое письмо? Этим маленьким представлением я старался — да нужно ли говорить тебе об этом — оживить воспоминание о вашем дорогом присутствии... Что до самой сути дела, то я думаю, что своевременное возвращение девочек явится достаточным основанием, чтобы вся эта глупая интрига рухнула[2].

Теперь поговорим о другом... Я недавно писал тебе о возвращении Вяземских из Ревеля. Я немедля навестил их. Первою вышла княгиня; она и рассказала мне, как обстоят дела. На этот раз ее впечатления показались мне не столь преувеличенными, как обычно, а ее рассказы — соответствующими действительности. В самом деле, рассудок князя находится в довольно плачевном состоянии, — я говорю рассудок, а не здоровье, ибо, по крайней мере с виду, — никак не скажешь, что он болен. В наружности его ничто не изменилось, и, по его собственному признанию, единственное физическое недомогание, на которое он может пожаловаться, заключается в бессоннице, — да и та бывает не всегда. Но рассудок его серьезно болен, и я особенно понял это, когда он стал так пространно и подробно рассказывать о своем положении; ведь он обычно так сдержан и так скуп на излияния во всем, что касается его лично. Он сказал мне, что чувствует себя совсем конченым человеком, и добавил, что ему ничего другого не остается, как обратиться к себе со словами из песенки: *«Друг мой Пьеро, свеча твоя догорела, нет у тебя больше огня»* — и так далее. Он был очень тронут твоим вниманием и велел передать тебе, между прочим, что теперь вполне согласен с твоим мнением относительно *Беккера*[3], с которым он окончательно разошелся по причине его непроходимой глупости.



Он рассказал мне, кстати, что этот злосчастный пышущий здоровьем Беккер, видя бедного больного во власти жесточайшего отчаяния, не находил ничего лучшего, как советовать: *«Вы бы, князь, изволили что-нибудь покушать»*. И тотчас вменял себе в обязанность показать пример, «так что, — говорит князь, — за все время его пребывания возле меня я видел его за двумя занятиями: либо он ел, либо храпел».

К вечеру того дня, когда я виделся с ними, Вяземские переехали в Лесной институт, куда я и ездил к ним вчера с *Колошиным*[4]. Мы приехали немного спустя после того, как от них уехала великая княгиня Елена Павловна[5]. Ее принимала одна княгиня, ибо сам он решительно отказался выйти. Я застал его еще под впечатлением этого отклоненного им визита в большой гостиной; тут мы увидели, как следом друг за другом подъехали Михаил Виельгорский, чета Одоевских[6] и пр., и пр., и пр. Тогда-то мне открылась одна из наиболее неприятных, на мой взгляд, сторон создавшегося положения. Видя, что гости все съезжаются, добрейшая княгиня принялась каждого отводить *в сторону* и сообщать ему конфиденциально, громким и внятным голосом и в присутствии самого больного, интимнейшие подробности его состояния, и говорила она при этом такою скороговоркой, которая была бы очень уместна при демонстрации какого-нибудь уродца в ярмарочной кунсткамере. Действие этой сцены не замедлило сказаться, ибо больной почти тотчас же удрал, скрывшись в своей комнате, куда немного погодя пошел и я с Колошиным. Что до их планов, то они всё еще очень зыбки. Всё идут разговоры о поездке в Гаагу, к детям[7]. Но более вероятно, думается мне, что они поедут к *Мещерским*. Хорошо бы тебе, кисанька, написать прямо больному, сказав при этом особо, что ты освобождаешь его от обязанности отвечать, если только это его в малейшей степени затрудняет, и т. д. и т. д.

Я упомянул тебе о великой княгине Елене Павловне. Намедни я больше часа провел с нею вдвоем у нее на балконе на Каменном Острове. Это очень милая женщина, одна из тех женских натур, что обладают неувядаемым очарованием благодаря своей крайней разносторонности. Она обладает боль-

шой жизнерадостностью и ясностью ума, и если невзначай ей хотелось произвести на меня хорошее впечатление, то это ей вполне удалось. Надеюсь еще повидать ее...

На Островах бывают почти такие же собрания, как в прошлом году. Намедни я провел вечер у Юлии Строгановой; она просила тебе кланяться. В тот день мы были в очень узком кругу — *Моллерус, Реджина* — а председательствовала старая слепая дура. 11-го числа будущего месяца у них будут играть в спектакле — госпожи Брай, Зографо и Зеебах; у последней я вчера перед обедом был с визитом и заставил ее рассказывать, несмотря на присущую ей скромность, обо всех подробностях ее парижских успехов... Она сидела передо мною смиренная в славе своей и улыбалась, как расплывшаяся губка. Сегодня вечером поеду к Борхам... Ох, милая моя кисанька, я делаю над собою страшное насилие, когда прикидываюсь, будто меня занимают все эти ничтожные глупости, о которых я тут говорю. Ничто не может отвлечь меня от сущности нынешнего положения, а сущность его — это твое отсутствие... Оно мудро, оно разумно, но оно очень тягостно... Продолжай все же писать мне успокоительные письма, они приносят мне больше пользы, нежели серные порошки и прочие лекарства, которые ты советуешь мне. — С нетерпением жду приезда детей, и знаешь ли почему? Они ведь приедут от тебя. Ах, спору нет, — я невероятно глуп. Целую ваши ручки.

Ф. Т.

16. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

31 июля 1851 г. Петербург

St-Pétersbourg. 31 juillet 1851

Décidément, je proteste contre ton absence. Je ne veux ni ne puis la supporter. Elle me condamne à une existence de bohémien qui ne me va plus. Je n'en ai que la fatigue et la peine, sans la moindre compensation. Je trouve indécent d'être ainsi condamné de vivre au jour le jour. Car avec ta présence disparaît toute suite, toute continuité dans ma vie. Tous les matins j'arrange ma



journée de telle sorte, que je sois bien sûr de ne pas rester un seul instant en présence de moi-même. Car aussitôt le spectre est là... Et cette agitation de parti pris est tout ce qu'on peut imaginer de plus bête et de plus fatiguant... Et puis quand je viens à penser qu'une pareille vie doit continuer pendant deux grands mois, il me prend des accès de fureur et d'indignation, comme si on voulait, par de prétendues raisons raisonnables, me forcer de traverser la Néva à la nage, moi qui ne sais pas nager... Encore jusqu'au départ des enfants trouvais-je une sorte de consolation à pouvoir me dire, que cette absence qui m'écrasait, ne pesait pas sur toi, que vous passiez votre temps aussi agréablement que possible — *des journées de gaieté et de folâtrerie,* etc. etc. Mais à l'heure qu'il est tout cela a disparu, te v<1 нрзб> tombée dans une solitude muette, ne trouvant d'intérêt à la journée qui passe que celui de la voir passer... ne vivant que pour consommer le plus de jours possible, certes, une pareille existence, un pareil *passe-temps* est la chose la plus bête qui se puisse imaginer — et très décidément, je ne veux pas que tu te l'imposes et la subisses plus longtemps...

Et pour réduire au néant le prétexte d'économie que tu vas m'alléguer, voici, je t'en préviens, ce qui va arriver... Mon collègue *Gervais* qui est parti il y a huit jours m'a promis d'être de retour dans trois semaines... Eh bien, si d'ici là je n'ai pas obtenu de toi la promesse positive que tu vas hâter ton retour, — aussitôt Gervais revenu, je pars et je te promets que je ferai, pour aller te rejoindre, le voyage le plus *dispendieux* possible, sans parler de la fatigue... Ainsi voyez et décidez d'après ces données-là, ce que vous avez à faire...

Je suppose, à l'heure qu'il est, les petites et mon frère sur le point de repartir de Moscou pour venir ici, bien que je voie maintenant d'après ta lettre, que mon frère, en ne me trouvant pas à Moscou,— a pu se trouver très contrarié de se voir obligé de continuer ses fonctions de gouvernante... Je suis donc très impatient de savoir comment les petites m'arriveront ici, — l'essentiel, c'est qu'elles arrivent sans tarder... Car il n'y a pas moyen de se faire d'illusion sur le peu de dispositions bienveillantes qui les accueilleront à leur rentrée dans l'Institut. Hier encore j'ai revu

la bonne *Pierling* qui m'a fait part d'une conversation toute récente que la *Léontieff* a eu avec elle à leur sujet et des arrangements qu'elle comptait adopter à leur égard. J'aime à croire que cette malveillante sotte, plus pusillanime encore que méchante, n'en fera rien... Toutefois la position est telle, qu'à moins d'une intervention directe et *continue* de la part des augustes personnes, la malveillance de la sotte créature aura le dernier mot — et le séjour de Smolna deviendra une impossibilité pour les pauvres filles. Je ne puis penser, sans un serrement de cœur, à ce que va leur faire éprouver cette transition de la vie qu'elles ont menée, dans ces derniers temps, à celle que leur prépare la sottise aigrie et ulcérée de cette absurde femme. J'avais eu un moment l'idée de chercher un moyen de mettre ta correspondance avec elle sous les yeux de l'Impératrice, mais toute réflexion faite, je me suis décidé à attendre le retour de la Grande-Duchesse Marie[1], qui revient ce mois-ci.

Je m'en veux, ma chatte chérie, de t'écrire des lettres aussi maussades en réponse aux tiennes qui sont charmantes. Encore une fois, dis-toi bien, qu'il n'y a pas au monde une créature plus *intelligente* que toi. Je ne m'en aperçois que trop, dans ce moment-ci. Je ne trouve plus à qui parler... moi, qui parle à tout le monde... Ta digression sur les lettres de Karamzine m'a fait tant de plaisir, qu'avant-hier, en allant à l'Institut forestier, voir Wiasemsky, j'avais emporté ta lettre pour la lui faire lire. Mais en arrivant là, j'ai appris que le pauvre Prince, qui avait été beaucoup mieux les jours précédents, se trouvait plus exaspéré et plus souffrant qu'il ne l'avait été depuis longtemps, grâce à une nuit d'insomnie. La veille encore il avait vu la Woeykoff[2] et la Comtesse Sophie Bobrinsky[3], qui s'en étaient allées, pleinement rassurées sur son état et très satisfaites de leur visite... Mais ces hauts et ces bas sont précisément le signe caractéristique du mal dont il souffre. Jusqu'à présent tous les traitements, dont on a essayé, ont été également impuissants, si bien que le d<octeu>r Arendt[4], qui demeure au Forestier, et qui donne des soins à W<iasemsky>, est d'avis de tout abandonner et d'essayer de l'homéopathie. Un autre médecin propose les douches. Mais je crois que le remède le plus efficace est encore celui qu'a proposé le Comte Nesselrode,

qui est venu dernièrement voir la Princesse et qui, ayant appris leur projet de départ pour aller rejoindre le fils, s'est offert d'accorder à celui-ci un congé de plusieurs mois, pour qu'ils puissent choisir à volonté l'endroit où il leur conviendrait de se réunir... Maintenant il ne s'agit plus que d'obtenir l'argent nécessaire pour le voyage, et c'est à quoi on travaille en ce moment. Dans tout cela la bonne Princesse, malgré son zèle et son dévouement pour le malade, est d'une absurdité et d'un mal à propos vraiment révoltants, si bien que mon opinion habituelle sur son compte est devenue en ce moment-ci le cri général. Tous ceux qui la voient à l'œuvre, s'accordent à dire que sa manière d'être et de faire est une circonstance des plus aggravantes, dans l'état de son mari, et ce qu'il y a de plus fâcheux pour le pauvre malade, c'est que cette présence lui est aussi indispensable qu'elle lui est funeste... L'autre jour, elle me disait, en me parlant de toi, qu'elle regrettait beaucoup ton absence, attendu qu'à vous deux, ajoutait-elle, vous auriez plus facilement venir à bout de la tâche qui lui est imposée, — et tout cela était dit de cet air de fausseté peu sérieuse, qui lui est propre.

Mais voilà le barbier qui me talonne, et le papier qui va me manquer... et je ne t'ai encore rien dit. Y a-t-il quelque chose au monde de plus bête, de plus irritant et de moins satisfaisant que les écritures... Elles ne sont bonnes que pour les gens qui s'accommodent de l'absence et qui se résignent à ce néant. — Ah que tout cela est insupportable.

T. T.

Перевод:

С.-Петербург. 31 июля 1851

Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить. Оно обрекает меня на цыганское существование, которое мне более не подходит. Я испытываю от него только усталость и огорчение, которые ничто не возмещает. Я считаю непристойным, что мне приходится жить так со дня на день. Ибо с твоим исчезновением моя жизнь лишается всякой последовательности, всякой связно-

сти. Каждое утро я распределяю день так, чтобы быть уверенным, что ни на минуту не останусь наедине с самим собою. Ибо тотчас же является призрак... И эта нарочитая суета до невероятия глупа и утомительна... Когда же я думаю, что такая жизнь должна длиться целых два месяца, на меня нападают приступы ярости и негодования, как если бы кто вздумал будто бы разумными доводами убедить меня переплыть Неву, — меня, не умеющего плавать... До отъезда детей я еще находил некоторое утешение, говоря себе, что разлука, которая меня угнетает, не гнетет тебя, что вы проводите время насколько возможно приятно, проводите *дни в веселье и радости* и т. д., и т. д. Но ныне все это исчезло, ты снова погрузилась в безмолвное одиночество, не находя в днях иного интереса, как следить за их прохождением... живя лишь для того, чтобы поглотить как можно больше дней; слов нет, такое существование, такое *времяпрепровождение* — самая нелепая вещь, какую только можно себе представить, — и я совершенно определенно не желаю, чтобы ты по-прежнему принуждала себя к такой жизни и терпела ее...

А чтобы устранить довод относительно экономии, который ты приведешь мне, вот — предупреждаю — что произойдет... Мой сослуживец *Жерве*, уехавший неделю тому назад, обещался вернуться через три недели... Так вот, если я до тех пор не получу от тебя твердого обещания, что ты скоро приедешь, — то как только Жерве вернется, я выеду к тебе и обещаю, что сделаю так, чтобы поездка моя обошлась как можно *дороже*, не говоря уже об усталости, которую она вызовет... Итак, обдумайте и решите, как вам следует поступить в таких условиях...

Я думаю, что в настоящее время девочки и брат мой собираются ехать из Москвы сюда, ибо вижу теперь из твоего письма, что брат, не застав меня в Москве, оказался в неприятном положении, так как вынужден все еще исполнять обязанности гувернантки... Поэтому мне очень хочется знать, каким образом девочки приедут ко мне сюда, главное, чтобы они приехали незамедлительно... Ибо невозможно заблуждаться относительно не особенно любезного приема, который ждет их при

возвращении в Институт. Еще вчера я виделся с добрейшею *Пирлинг,* которая передала мне свой недавний разговор с *Леонтьевой* на их счет и намерения ее в этом отношении. Надеюсь, что эта злонамеренная дура, не только злая, но и трусливая, не приведет их в исполнение... Как бы то ни было, положение таково, что без непосредственного и *постоянного* вмешательства августейших особ злонамеренность этой глупой твари всегда будет брать верх и пребывание в Смольном станет для бедных девочек невозможным. Сердце сжимается, когда я думаю о том, какое впечатление произведет на них переход от жизни, коею они жили последнее время, к той, какая им предстоит благодаря колкостям и язвительности этой нелепой женщины. Одно время я хотел было найти случай представить твою переписку с нею государыне, но по здравом размышлении решил подождать возвращения великой княгини Марии Николаевны[1], которая должна приехать в этом месяце.

Я очень досадую на себя, моя милая кисанька, что пишу тебе такие унылые письма в ответ на твои, столь очаровательные. Еще раз повторяю, запомни хорошенько, нет на свете существа *умнее* тебя. Сейчас я слишком хорошо это сознаю. Мне не с кем поговорить... мне, говорящему со всеми... Твои рассуждения о письмах Карамзина доставили мне такое удовольствие, что третьего дня, отправляясь в Лесной к Вяземскому, я взял с собою твое письмо, чтобы он его прочел. Однако приехав туда, я узнал, что бедный князь, которому в последнее время стало намного лучше, так раздражен и так плох после бессонной ночи, как давно уже не бывал. Еще накануне у него были Воейкова[2] и графиня Софья Бобринская[3] и ушли от него вполне успокоенные насчет его здоровья и очень довольные своим визитом... Эти подъемы и упадки как раз и являются характерными для его болезни. До сего времени все испробованные способы лечения оказывались в равной мере бессильными, так что доктор Арендт[4], живущий в Лесном и пользующий Вяземского, склонен от всего отказаться и попробовать гомеопатию. Другой врач советует души. Но мне думается, что лучшим лекарством явится то, что предложил граф Нессельроде; он навестил недавно княгиню

и, узнав об их намерении съездить к сыну, вызвался предоставить сему последнему отпуск на несколько месяцев, чтобы они смогли выбрать по своему вкусу место, где бы им пожить вместе... Теперь дело только за необходимыми для этого деньгами, и именно этим-то все теперь и заняты. Во всех этих хлопотах добрейшая княгиня, несмотря на свое старанье и преданность больному, проявляет прямо-таки возмутительную глупость и бестактность, так что всегдашнее мое мнение о ней высказывается теперь хором. Все, кто видит ее деятельность, согласны с тем, что то, как она держится, и то, что она делает, самым пагубным образом влияет на состояние мужа, а досаднее всего, что присутствие ее является для несчастного больного сколь губительным, столь же и необходимым... Намедни она мне сказала, говоря о тебе, что очень сожалеет о том, что тебя нет, ибо вам вдвоем — добавила она — легче было бы справиться с возложенной на нее задачей. И все это говорилось со свойственным ей притворно-серьезным видом.

Но надо мною стоит цирюльник, да и бумага подходит к концу... А я-то еще ничего тебе не сказал. Есть ли на свете что-либо глупее, возмутительнее и что-либо менее удовлетворяющее, чем письма... Они годны только для тех, кто примиряется с разлукой и приноравливается к этому небытию. — Ах, как все это несносно!

Ф. Т.

17. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

3 августа 1851 г. Петербург

St-Pétersbourg. Samedi. 3 août 1851

A peine avais-je eu porté ma dernière lettre à la poste qu'en rentrant chez moi, j'ai trouvé sur ma table une de toi, du 22 du mois d<ernier>, cette lettre, sais-tu, où tu me donnes tes instructions relativement au bois, etc. Je crois vraiment rêver quand je pense que c'est avec toi, que je me trouve ainsi en rapport suivi et réglé de communications épistolaires. C'était donc possible... possible pour toi, je le vois bien... Pour moi, j'ai beau me trouver réintégré dans la maison Lopatine[1]. Je n'ai pas cessé de me voir en

voyage, et ce voyage durera jusqu'au moment de votre retour... Mais que vous, vous puissiez si bien vous passer de moi, de ma présence, de ma société, que vous acceptiez si résolument la séparation, ceci, je l'avoue, a été pour moi une révélation inattendue. Maintenant je ne serais plus étonné si ma tête un beau jour descendait de mes épaules et allait se promener à elle, toute seule, sans se soucier de savoir ce que je deviens, moi... Encore une fois, je crois rêver. Tout ce qui arrive me paraît impossible...

Eh bien, soit... parlons d'affaires. La plus grosse, c'est maintenant la prochaine arrivée des petites et leur réintégration au couvent... C'est décidément une méchante sotte, que cette Léontieff, – elle ne s'est pas contentée du commérage qu'elle m'a fait, en haut lieu, elle s'est si bien appliquée à propager la nouvelle du fait dont elle convoitait l'accomplissement, que toutes les personnes, qui depuis mon retour m'ont parlé des petites, étaient informées qu'elles ne devaient plus rentrer à Smolna... tant elle tenait, la puérile créature qu'elle est, à se rassurer elle-même.

Voici donc ce que j'ai cru devoir faire, en dernier lieu, pour déjouer, en partie au moins, les absurdes machinations. L'autre jour je me suis tout à coup de l'ami Hoffmann[2], et je me suis dit que c'était précisément l'homme qu'il me fallait dans la circonstance. J'allai donc le trouver, dès les huit heures du matin, et je fus aussitôt admis dans ses bras. Je lui donnai lecture de ta correspondance avec la *Pierling*, et jamais je n'ai éprouvé une telle satisfaction à m'entendre bien lire, que quand je lui ai lu votre éloquente. Je jouissais de l'effet visible que cette lecture produisait sur lui, et il m'a promis qu'il saisirait la première occasion pour en parler à l'Impératrice, et qu'il aurait soin de rectifier les fausses impressions qu'on lui a données. Tout cela est bel et bon; cela n'empêchera pas que la position des filles ne soit désormais très pénible et qu'elle ne devienne même tout à fait inacceptable, si elle ne devait aboutir qu'à les faire vivre oiseusement et stérilement à Smolna, livrées, sans utilité aucune, au bon plaisir et à la mauvaise humeur de la Léontieff... Enfin, j'aurai bientôt la satisfaction de parler de tout cela fort au long avec mon frère, dont j'aime à croire l'arrivée à Pétersbourg imminente, bien qu'à la date d'aujourd'hui j'ignore encore, si le 29 du mois d<ernier>

il était déjà arrivé avec ses nièces à Moscou... J'ai eu grand plaisir à lire, dans ta lettre, ce que tu me dis de mon frère — j'aime à le savoir aimé de toi...[3] Cela rentre tout à fait dans le courant habituel de mes sentiments et cela ôte toute importance et tout sérieux aux déplaisances et aux irritations que je m'imagine éprouver à son endroit. Car n'est-ce pas *vous* qui êtes la partie sérieuse et intelligente de ma conscience? Je lui réserve donc un accueil des plus aimables... et, puisque tu l'as décidé ainsi, je lui cèderai même ta chambre.

Maintenant voici ce que j'ai à te dire de Wiasemsky. Il y a huit jours, et davantage, que je ne suis parvenu à le voir. Ayant, l'autre jour, appris par Koloschine, qu'ils se proposaient de rentrer en ville, j'allai hier soir dans la maison demander de leurs nouvelles. Ils venaient de repartir après y avoir passé deux jours, sans que la Princesse eût pensé qu'il fut nécessaire de me révéler à moi la présence de son mari... Cela ne m'empêchera pas de les aller le soir relancer au *Lessnoy;* sauf à me voir encore une fois éconduit par la même vigilance, jalouse et malveillante. Leur voyage à l'étranger paraît décidé... Ce soir j'en saurai plus long...

Le temps, après la crise du dernier orage, s'est à peu près remis, bien que le fond de l'air se soit considérablement refroidi. Je me sens assez généreux, pour m'en réjouir pour toi. Car enfin puisque tu t'obstines dans ce séjour de la campagne[4], j'aime encore mieux de penser que maintenant qu'il est devenu moins récréatif que jamais par l'isolement où vous êtes, — la saison au moins vous est restée fidèle... et que tu peux continuer la tradition des belles journées de l'été... Que de promenades tu as déjà faites sans moi... Que de fois n'as-tu pas déjeuné et dîné,— comme si le pauvre Vieux n'était plus de ce monde et comme si son daguerréotype était la seule chose, qui restât de lui, pour le rappeler à ton souvenir. Et voilà comme tout arrive...

L'existence que je mène ici est du décousu le plus fatiguant. Elle n'a d'autre mobile et d'autre but pendant dix-huit heures sur vingt-quatre, que de me faire éviter à tout prix toute rencontre sérieuse avec moi-même. Avant-hier, *jeudi,* je suis allé, accompagné de mon fidèle légat, Koloschine, à une grande soirée musicale, à Pavlovsk, dans ce malheureux P<avlovsk>[5] que tu détestes



tant. Il y avait foule, et dans cette foule, j'ai comme de raison rencontré la Princesse Щербатов avec son monde accoutumé. Mais ce qui ne l'était pas autant, c'est la nouvelle qu'elle m'a annoncée du mariage de sa dernière fille non mariée, Annette, qui épouse un parent à eux, un Prince *Хованский*. L'e mariage venait d'être déclaré le jour même. Voilà donc sa tâche accomplie, et elle peut maintenant se consacrer toute entière à son mari qui m'a paru plus vivant que jamais... Hier soir, après avoir manqué la Comtesse S<ophie> Bobrinsky je fus me rabattre sur les *Stroganoff*, où j'ai été le très bien venu, attendu que j'y étais le *seul* venu. Pas moins, nous avons sans trop de peine atteint les onze heures, cette heure sacramentelle, où l'on reporte sur son perchoir le plus gros des bouvreuils[6]. L'autre jour je suis allé voir un autre oiseau de la même date sinon de la même espèce. C'est le vieux *Maistre*[7], que j'ai trouvé solitairement établi au salon attendu que sa femme était depuis plusieurs jours alitée. C'est donc l'année, à ce qu'il paraît, où tous les vieux maris sont délaissés par leurs femmes... Il m'a demandé affectueusement de tes nouvelles et m'a dit de le mettre à tes pieds — ce que je vais faire, en attendant, pour mon propre compte, attendu le barbier qui est là et qui m'attend... Bonjour, ma chatte chérie.

Перевод:

С.-Петербург. Суббота. 3 августа 1851

Едва успел я отнести свое последнее письмо на почту, как, возвратясь домой, нашел у себя на столе твое письмо от 22 числа минувшего месяца, то самое, в котором, помнишь, ты даешь мне указания относительно дров, и пр. и пр. Право, мне кажется, что это сон, когда я думаю, что ни с кем другим как с тобою я нахожусь в постоянных и твердо установившихся письменных отношениях. Итак, это оказалось возможным... возможным для тебя, как видно... Что до меня, то тщетно я вновь водворился в дом Лопатина[1]. Я все еще чувствую себя путешественником, и путешествие это будет продолжаться, покуда вы не вернетесь... То, что вы можете так легко обходиться без меня, без моего присутствия, без моего

общества, что вы так решительно примиряетесь с разлукой — признаюсь, явилось для меня решительным открытием. Теперь я не удивлюсь, если в один прекрасный день голова моя сойдет и отправится разгуливать в одиночку, не задумываясь о том, что сталось со мною самим... Повторяю, мне кажется, словно я во сне. Все, что происходит, представляется мне невероятным...

Ну, хорошо... поговорим о делах. Самое главное из них — предстоящий приезд девочек и их водворение в монастыре... Право же, эта Леонтьева — злая дура, она не удовольствовалась болтовней в высших сферах, она так постаралась возвестить всюду о событии, которого она столь желала, что всем лицам, беседовавшим со мною о девочках со времени моего возвращения, уже было известно, что дети не вернутся в Смольный... настолько этой вздорной твари хотелось успокоить самое себя.

Итак, вот что я счел должным предпринять, дабы хоть частично предотвратить ее нелепые ухищрения. Намедни мне вдруг вспомнился наш друг Гофман[2] и я подумал, что это именно такой человек, какой нужен при данных обстоятельствах. Я отправился к нему сразу после восьми часов утра и тотчас же был заключен в его объятия. Я прочел ему твою переписку с *Пирлинг* и никогда еще не чувствовал такого удовлетворения от собственного чтения, как по окончании вашего красноречивого письма. Я наслаждался очевидным впечатлением, произведенным на него этим письмом, и он обещал мне, что при первом же удобном случае поговорит о нем с государыней и постарается поправить ложное впечатление, которое было ей внушено. Все это прекрасно, но отныне положение девочек все же будет очень трудным, а быть может, и совсем неприемлемым, в случае, если оно приведет к праздному и бесплодному пребыванию в Смольном, где они без всякой надобности будут предоставлены во власть причуд и дурного настроения Леонтьевой... Как бы то ни было, вскоре я буду иметь удовольствие весьма подробно говорить обо всем этом с братом, который, надеюсь, не замедлит приехать в Петербург, хотя я до сего времени еще не знаю,

приехал ли он с племянницами 29 числа в Москву... Я с большим удовольствием прочел в твоем письме то, что ты пишешь мне о моем брате: мне очень приятно, что ты его полюбила...[3] Это вполне соответствует моим к нему чувствам и лишает всякого значения и всякой серьезности то неудовольствие и раздражение, которое, как мне иногда мнится, я чувствую по отношению к нему. Ибо не *вы* ли являетесь серьезной и мудрой частью моего сознанья? Итак, я готовлю ему самую радушную встречу... и, раз ты так порешила, я даже уступлю ему твою комнату.

Теперь вот что скажу тебе о Вяземском. Целую неделю, а то и больше, мне никак не удается повидать его. Узнав намедни от Колошина, что они собираются вернуться в город, я отправился вчера наведаться к ним на дом. Они, оказывается, только что уехали, а до того прожили тут два дня, но княгине и в голову не пришло, что следует известить меня о том, что муж ее здесь. Это не помешает мне попробовать повидать их сегодня вечером в *Лесном*, если только мой визит не будет снова отклонен благодаря все той же ревнивой и недоброжелательной бдительности. Их заграничная поездка, по-видимому, окончательно решена... Вечером узнаю подробнее...

После недавней грозы погода переменилась и почти совсем поправилась, но в воздухе по вечерам стало много свежей. Я достаточно великодушен, чтобы радоваться этому ради тебя, ибо, в конце концов, раз ты упрямишься и остаешься в деревне[4], я все же предпочитаю сознавать, что теперь, когда там стало особенно скучно благодаря вашему одиночеству, — по крайней мере хоть погода осталась вам верна, и что ты можешь проводить время, как в лучшие летние дни... Сколько уже прогулок ты совершила без меня... Сколько раз ты завтракала и обедала так, словно твоего бедного старика уже нет на свете и словно его дагерротип — единственное, что от него осталось, дабы напоминать тебе о нем. Вот так-то все на свете...

Существование, которое я веду здесь, отличается утомительнейшей беспорядочностью. Единственная побудительная причина и единственная цель, которой оно определяется в течение восемнадцати часов из двадцати четырех, заключа-

ется в том, чтобы любою ценою избежать сколь-нибудь продолжительного свидания с самим собою. Третьего дня, в *четверг,* я поехал в сопровождении моего верного спутника Колошина на большой музыкальный вечер в Павловск[5], который ты так не любишь. Собралось множество народу, и среди этого множества я, как и следовало ожидать, встретил княгиню Щербатову в ее обычном окружении. Менее обычна новость, которую она мне сообщила, о том, что последняя ее дочь, остававшаяся в девушках, — Аннетта — выходит замуж за князя *Хованского*; он им сродни. Помолвка состоялась в тот самый день. Итак, долг ее исполнен, и теперь она всецело может посвятить себя мужу, который, к слову сказать, показался мне оживленным, как никогда...

Вчера вечером, не застав графиню Софью Бобринскую, я направился к *Строгановым*, где оказался весьма желанным гостем, ибо был гостем *единственным*. Тем не менее мы без труда досидели до одиннадцати часов, — до священного часа, когда сажают на насест самого толстого из всех Снегирей[6]. Намедни я навестил другую птицу — если не той же породы, так той же давности. Я имею в виду старика *Местра*[7], которого я застал в гостиной в одиночестве, ибо жена его уже несколько дней как лежит. Видно, такой уж год выдался, что все престарелые мужья покинуты женами... Он с большой сердечностью расспрашивал меня о тебе и просил передать, что припадает к твоим стопам, но пока что я скажу это о самом себе, ибо пришел парикмахер и ждет меня... Прости, моя милая кисанька.

18. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

6 августа 1851 г. Петербург

Pétersbourg. 6 août 1851

Ma chatte chérie, voici deux de tes lettres, l'une arrivée avant-hier, et que j'ai trouvée, suivant l'habitude, sur ma table, en rentrant de la poste, et l'autre, qui m'a agréablement surpris ce matin au moment où j'entrais dans le grand salon pour déjeuner. Car c'est toujours dans le grand salon que je déjeune,



tout vide, tout dévasté qu'il soit... la porte de ta chambre à coucher entr'ouverte — tout cela démeublé, dégarni, désolé... Il faut être une brute pour résister à de pareilles impressions...

C'est le 6 aujourd'hui... je puis donc, d'un moment à l'autre, voir entrer dans ma chambre mon frère et les deux petites...[1] Elles sont peut-être en ce moment, à la barrière de la ville, à une demi-heure de moi — tandis que toi, le seul être nécessaire à mon existence, où es-tu? — et que de distance et de temps et de choses entre toi et moi?.. Et dans ces moments-là, je me dis, pour me rassurer sur ce qui te concerne, que je suis seul à ressentir l'absence de cette façon-là et que ceci tient, comme nous en sommes convenus, à mon état de maladie.

A peine ai-je eu reçu avant-hier ta lettre du 25, où tu me parles de Dmitry et de tes projets sur lui, que je fis mettre les chevaux à la calèche, pour aller trouver l'ami *Pletneff*[2] qui habite, comme toujours, le Forestier. Je lui exposai l'affaire et il me promit de s'en occuper activement, car pour le moment il n'a personne en vue, qui puisse nous convenir. Ceci donc est assez vague. Mais voilà qui l'est moins. On m'a parlé de l'Institut *Thiébaut*. C'est un pensionnat, il est vrai, mais un pensionnat où il n'y a pas plus de quinze élèves. Ce Thiébaut est un ancien professeur, très connu à Smolna, et dont l'Institut a pour destination spéciale de préparer les jeunes gens pour *l'Ecole de droit*. On m'a dit le plus grand bien, tant de lui que de sa femme, qui s'occupe, dit-on, avec une sollicitude extrême de ses pensionnaires. Je prendrai sur tout cela des informations précises. Je verrai par moi-même et je ne manquerai pas de t'en faire mon rapport. Si je trouve là ou ailleurs quelque chose qui me satisfasse, et l'ensemble de la situation étant tel que tu me le dis, alors il n'est pas douteux qu'il vaudrait mieux expédier Dmitry avec la Capello[3], à l'époque que tu as désignée... Quant à la chambre des enfants — si je trouve qu'en la cédant il y a quelque économie à réaliser, sois bien persuadée que je ne manquerai pas de la restituer au propriétaire — et alors que la Capello s'en accommode comme elle voudra, on distraira de son domaine une chambre pour la donner aux enfants.

Pour le moment je ne te parle pas de mes affaires. Mais qu'y a-t-il donc, pour l'amour du Ciel, à tant t'enthousiasmer en faveur

de mon frère, si pendant les deux mois que vous avez passés ensemble, tu ne t'es pas suffisamment sentie autorisée par lui, pour lui parler franchement sur le fond de notre situation, et si par une sotte obstination il se refuse à comprendre, que c'est fort mal soigner l'avenir de ces enfants, que de nous obliger dans le présent à grever cet avenir de dettes.

Au diable une pareille sollicitude. Tout ceci est irritant... ou le serait dans un autre moment. Mais je ne sens plus rien de ces piqûres d'épingles sous le lourd pavé que ton absence m'a jeté sur le corps...

Je t'écrirai plus au long dès qu'ils seront arrivés. Que le Ciel te protège, ma chatte chérie.

Je sens que mes lettres sont les plus platement tristes du monde. Elles n'apprennent rien et ressemblent un peu à ces vitres recouvertes d'une couche de craie qui ne laissent rien voir au travers, et ne sont là que pour annoncer le départ et l'absence. Voilà le malheur de manquer aussi essentiellement de personnalité... C'est là ce qui empêche que je me prenne assez au sérieux, pour trouver quelque intérêt aux détails de mon existence, du moment qu'elle n'est pas doublée de la tienne. Aussi le seul sentiment un peu énergique que j'éprouve, c'est celui d'une sourde indignation contre moi-même de ne pouvoir *me quitter* à mon tour après avoir pu être quitté par toi...

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби — хоть день один, хоть век...
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье —
А должен наконец проснуться человек...

Voilà, ma chatte chérie, de mauvaises rimes qui expriment une chose pire encore...[4] Eh bien, comment a réussi votre aventureuse course à la recherche de ce lac mystérieux. Je suis moins curieux d'apprendre les détails de cette course, que de te savoir revenue, saine et sauve, à la maison... Dans l'absence je n'ai pas assez de liberté d'esprit pour m'intéresser, purement et simplement, à autre chose qu'à ta conservation — mais celle-ci tu me la dois, comme je me dois à moi-même de respirer...



Перевод:

Петербург. 6 августа 1851

Милая моя кисанька, предо мною два твоих письма: одно из них пришло третьего дня, и я нашел его, по обыкновению, у себя на столе, по возвращении с почты, другое приятно удивило меня сегодня утром, в ту минуту, когда я входил в большую гостиную к завтраку. Я ведь по-прежнему завтракаю в большой гостиной, как она ни пуста, как ни разорена... дверь в твою спальню полуоткрыта, все там пусто, голо, мрачно. Надо быть скотиной, чтобы спокойно взирать на все это...

Сегодня 6-е число... следственно, с минуты на минуту ко мне могут войти брат с обеими девочками...[1] В настоящий миг они, может быть, у городской заставы, нас разделяют каких-нибудь полчаса, в то время как ты, единственное существо, необходимое мне для существования, — где ты? и как много пространства, и времени, и разных разностей лежит между нами?.. Но в такие мгновения я говорю себе, чтобы подбодриться, что один только я так ощущаю разлуку и что это объясняется, как мы с тобой установили, болезненным моим состоянием.

Как только я получил третьего дня твое письмо от 25-го, где ты пишешь о Дмитрии и о своих планах касательно его, я велел запречь лошадей и отправился к нашему другу *Плетневу*[2], который живет по-прежнему в Лесном. Я изложил ему дело, и он обещался деятельно заняться им, ибо в настоящее время не имеет на примете никого, кто подошел бы нам. Итак, все это очень неопределенно. Вот нечто более определенное. Мне сказывали об институте *Тьебо*. Это, правда, пансионат, но пансионат, содержащий не более пятнадцати учеников. Этот Тьебо — бывший учитель в Смольном, очень известный; институт его специально подготавливает молодых людей к поступлению в *Училище правоведения*. Мне очень хорошо отзывались как о нем, так и о его жене, которая, говорят, чрезвычайно заботится о своих пансионерах. Я наведу обо всем этом точные справки. Я собираюсь лично убедиться и не премину дать тебе отчет. Если я найду тут ли, в другом ли месте нечто удовлетворительное и если общее положение будет таково, как ты пи-

шешь, тогда несомненно лучше отправить Дмитрия с Капелло[3] в намеченное тобою время. Что же до детской комнаты — то, если я увижу, что на этом можно сэкономить, — будь уверена, я не премину сдать ее обратно хозяину, и тогда пусть Капелло устраивается как хочет, а из ее владений будет выделена одна комната под детскую.

Пока не стану говорить тебе о своих делах. Но скажи ради Бога, чем объясняется такой восторг по отношению к моему брату, если за два месяца, проведенные вами вместе, ты не почувствовала с его стороны поощрения к откровенному разговору о нашем положении и если из-за нелепого упрямства он отказывается понять, что заставлять нас обременять будущее детей долгами — значит очень плохо заботиться об этом будущем.

К черту такую заботливость! Все это возмущает... или могло бы возмутить в другое время. Но я уже перестал ощущать булавочные уколы сквозь тяжелую груду камня, навалившуюся на меня по причине твоего отсутствия...

Напишу тебе подробнее, когда они приедут. Да хранит тебя Небо, моя милая кисанька.

Чувствую, что письма мои самые пошло-грустные. Они ничего не сообщают и несколько напоминают покрытые мелом оконные стекла, сквозь которые ничего не видать и которые существуют лишь для того, чтобы свидетельствовать об отъезде и отсутствии. Вот в чем несчастье быть до такой степени безличным... Это-то и не дает мне возможности относиться к самому себе настолько серьезно, чтобы интересоваться мелочами своего существования, коль скоро твое ему не сопутствует. А потому единственное мало-мальски сильное чувство, которое я испытываю, — это чувство глухого возмущения перед тем, что — покинутый тобою — я не могу в свою очередь *покинуть самого себя*...

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби — хоть день один, хоть век...
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье —
А должен наконец проснуться человек...

Вот, моя милая кисанька, плохие вирши, выражающие нечто еще того хуже...[4] Так как же удалась ваша отважная поездка на поиски того таинственного озера? Мне не столь любопытно узнать подробности этой поездки, как хочется знать, что ты в целости и невредимости вернулась домой... В разлуке ум мой недостаточно свободен, чтобы непосредственно и просто интересоваться чем-либо, кроме твоей сохранности. Но это уже — твой долг передо мною, как дыханье является моим долгом перед самим собою.

19. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

10 августа 1851 г. Петербург

Vendredi. 10 août

Pour cette fois-ci, ma chatte chérie, ma lettre ne sera qu'un billet d'accompagnement. Il est fâcheux qu'elle n'ait à accompagner que des nouvelles aussi peu satisfaisantes. Car la lettre des enfants, bien qu'écrite sous l'impression du premier moment, est vraie au fond... Ce n'est pas que les stupides arrangements pris par cette sotte doivent être considérés comme définitifs. Car maintenant que j'ai mis *Hoffmann* dans le secret de la situation, il ne me sera, certes, pas difficile de les faire révoquer. Mais le fond de la situation n'en restera pas moins détestable, et si, comme la chose paraît de plus en plus probable, tout ceci, tous ces déboires et toutes ces contrariétés ne devaient point aboutir au résultat que nous espérons pour les petites, il n'y aurait pas de mots pour qualifier l'absurdité d'une pareille combinaison. Et d'autre part le moyen de s'assurer de la chose?.. J'ai pensé que la seule personne qui pourrait pressentir les dispositions réelles qu'on a à l'égard des deux petites, c'était la *Krüdener*[1] qui est attendue ici dans le courant du mois de septembre. Mais tout cela est bien vague et bien éloigné. Il est vrai que pour le moment, il n'y a rien à faire, qu'à prendre patience. Je n'ai pas besoin de te dire que je verrai le plus souvent possible nos deux pauvres recluses, et que je ne manquerai pas de parler ferme, comme je l'ai déjà fait, à la L<éontieff>... Mais avant ton retour, rien ne saurait être changé dans la situation donnée et jusque-là je ne compte pas même soulever la question *des*

sorties. Quant à ce bienheureux retour, je ne veux plus t'en parler autrement que pour mémoire. Car maintenant que la phase de la tristesse est épuisée, je sens qu'à l'idée de ce retour si prodigieusement différé, il me serait difficile de me défendre de quelque chose comme de l'irritation.

L'entrevue et la cohabitation des deux frères est des plus cordiales, comme elles ne pouvaient manquer de l'être sur ce terrain neutre... Nicolas est logé dans ta chambre à coucher, nous dînons ensemble, bien entendu, et nous passons une grande, très grande partie de la journée ensemble. Jusqu'à présent c'était *bien*. Mais comme il est probable, que l'affaire du p<asse>port traînera en longueur, ce *bien* pourrait devenir excessif. Car ne connaissant ici personne, surtout dans notre monde à nous, il me place dans ce fatal dilemme ou de rompre pour tout le temps qu'il est ici avec toutes mes habitudes ou de le livrer, lui, chaque fois que j'irai voir mes connaissances, au plus complet isolement. Hier nous avons été dîner à Pavlovsk. C'était ennuyeux comme d'habitude. — Tes deux paquets d'argent m'ont été remis et j'aurai soin de remplir exactement tes ordres. Quant à la chambre des enfants, sache qu'elle a été *définitivement* rendue et que ceci nous fera une économie de 125 r<oubles> ar<gent>.

Adieu, ma chatte. J'embrasse Anna et les enfants. Ici nous avons encore de belles journées, mais le fond de l'air est déjà bien froid... Bonjour. Je baise vos mains.

T. T.

Перевод:

Пятница. 10 августа

На этот раз, милая моя кисанька, мое письмо будет лишь сопроводительной запиской. Досадно, что ей суждено сопровождать столь малоудовлетворительные вести, ибо письмо детей, хоть и написано под влиянием первого впечатления, в сущности правдиво... Не то чтоб нелепые распоряжения этой дуры можно было считать окончательными, — ибо теперь, когда я посвятил *Гофмана* в тайну создавшегося положения, мне, разумеется, не трудно будет добиться, чтобы эти распо-

ряжения были отменены, но сущность положения все же не станет менее противной, и если все это, все неудачи и неприятности не приведут в конце концов к тому результату, которого мы желаем для девочек, — а это кажется все более и более вероятным, — то не хватит слов, чтобы выразить всю нелепость подобной комбинации. А с другой стороны — как же увериться в этом? Мне думается, что единственным лицом, способным разгадать действительные намерения относительно девочек, является *Крюденер*[1]; ее ждут сюда в сентябре. Но все это очень смутно и очень отдаленно. Правда, что в настоящее время остается только запастись терпением. Нет нужды говорить, что я буду как можно чаще навещать наших двух бедных затворниц и не премину решительно переговорить, как я уже делал, с Леонтьевой. Но до твоего возвращения теперешнее положение вряд ли изменится, и я до тех пор даже и не рассчитываю поднимать вопроса об *отпусках*. Что же до твоего благословенного возвращения, то не стану больше говорить о нем иначе как в напоминание, ибо теперь, когда все фазы грусти исчерпаны, я чувствую, что при мысли о твоем столь долго откладываемом возвращении мне трудно преодолеть своего рода раздражение.

Свиданье и совместное житье двух братьев проходит в весьма сердечной обстановке, как и должно было быть на этой нейтральной почве... Николай поместился в твоей спальне, обедаем мы, разумеется, вместе и вместе проводим большую, очень большую часть дня. Пока это *хорошо*, но так как возможно, что вопрос с паспортом затянется — это *хорошо* может стать чрезмерным. Ибо ввиду того, что он никого здесь не знает, особенно в нашей среде, он ставит меня перед роковой дилеммой — либо на все время его пребывания здесь порвать со всеми моими привычками, либо, всякий раз как я ухожу к знакомым, обрекать его на полнейшее одиночество. Вчера мы обедали в Павловске. Было по обыкновению скучно. — Две твои пачки денег мне переданы, и я постараюсь точно исполнить твои распоряжения. Что до детской, то знай, что я от нее *окончательно* отказался и это сбережет нам 125 рублей серебром.

Прости, моя кисанька. Целую Анну и детей. Здесь еще стоят хорошие дни, но воздух уже сильно похолодал... Прощай. Целую ваши ручки.

Ф. Т.

20. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

14 августа 1851 г. Петербург

St-Pétersbourg. Mardi. Ce 14 août 1851

J'ai reçu hier ta lettre du 4 de ce mois. Je ne puis m'habituer à me servir de toutes ces phrases habituelles d'une correspondance établie et régulière vis-à-vis de toi... C'est donc avec toi que je suis obligé de correspondre par lettres, tandis que je puis tous les jours communiquer de vive voix avec la vieille Maistre... Quel bel arrangement! Eh bien... Soit. Faisons comme tout le monde. — Parlons *sérieusement*... Commençons par les petites à Smolna. C'est avant-hier, dimanche, que je suis allé les voir pour la première fois depuis leur rentrée. L'entrevue a eu lieu d'abord en présence de la L'éontieff, qui venait de me déclarer qu'elle en était satisfaite, qu'elle n'avait jamais eu d'autre reproche à leur faire, à Daria surtout, que ce ton de persiflage dont elle avait contracté l'habitude sous le régime précédent, etc. etc. Mais c'est quand nous fûmes remontés chez la Pierling, que les petites qui s'étaient contenues jusque-là, éclatèrent en plaintes et lamentations, avec l'énumération des griefs, contenus dans la lettre qu'elles t'ont écrite. Ce qui est certain, c'est qu'elles se sentent très malheureuses de leur situation actuelle, surtout par comparaison avec celle d'autrefois, et aussi par suite de l'incertitude où elles sont relativement au résultat final que ces épreuves doivent amener pour elles. Ajoute à cela la privation de ta présence qui seule aurait leur fait accepter avec quelque résignation ce que le moment actuel a de réellement pénible... Quant aux griefs en eux-mêmes, ils se réduisent, tout bien considéré, à un seul: l'obligation de faire, comme les autres pépinières, le service auprès des enfants de la petite classe...[1] Je leur promis en conséquence d'en parler à *Hoffmann* que j'allais voir hier. Il me reçut avec ses démonstrations ordinaires et me prodigua les assurances. Mais voici *un fait* tout



nouveau, dont j'ai acquis la connaissance par suite de ma conversation avec lui. Il se trouva que l'Impératrice, toujours préoccupée de l'idée de notre extrême pauvreté, a désiré que la pension des petites, pendant les deux ans qu'elle leur serait continuée, devait être économisée, autant que faire se pouvait — à leur profit, pour leur être remise au moment de leur sortie. Si bien que dans le moment actuel, elles sont bien positivement à la charge de la communauté. J'abandonne le fait à tes réflexions, avec toutes les inductions que ta sagacité saura en tirer... C'est là sans doute un déplorable malentendu, d'autant plus déplorable, qu'il n'est pas facile à le lever, sans courir risque de froisser et de déplaire. Je ne considère pas néanmoins la partie comme perdue et je compte beaucoup sur l'arrivée de la Gr<ande>-Duchesse Marie qui est attendue pour le 24 du mois d'août. Mais tu comprends, ma chatte chérie, qu'avant ton retour je ne ferai aucune démarche décisive, pas plus dans un sens que dans un autre. Mais, — me demanderastu, — que dit ton frère de tout cela? Mon frère, ma chère amie, donne raison à tout ce que je dis, lors même qu'il m'arrive de dire coup sur coup des choses parfaitement contradictoires. Il pourrait à cette occasion (s'il se comprenait un peu mieux lui-même) s'apercevoir enfin qu'il est plus facile d'être *pratique* dans une position comme la sienne que dans une position comme la nôtre. Nous continuons d'ailleurs de faire un excellent ménage. Pas l'ombre d'aversion sans le moindre écho de nos disputes antérieures. C'est le bon vieux temps de nos jeunes années... Je le promène à force. L'autre jour, je l'ai conduit à une grande fête aux eaux minérales chez Isler[2] où il y a eu 4000 personnes, et où, par parenthèse, j'ai manqué à la porte être littéralement étouffé dans la foule. Hier nous avons été dîner à Peterhof, par une journée la plus splendide qui se puisse imaginer. Demain, je serai obligé de lui fausser compagnie, car il y a demain soir *comédie* chez les Stroganoff, c'est là où *la Séebach*[3] débute dans une espèce de farce, L'Omelette fantastique, et pas trop mal, à en juger par un bout de répétition auquel il m'est arrivé d'assister l'autre jour.

Hier soir, en rentrant de Peterhof, j'allai voir les Wiasemsky qui partent aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu une lettre de toi et qu'ils t'avaient répondu sur le champs. Ils vont sans trop savoir où.

6 Зак 7712



Son état est quelque chose d'inexplicable, mais n'a absolument rien de frappant pour ceux qui ne le voient pas, dans les moments où il éprouve ses angoisses. C'est plutôt l'état de la Princesse qui fait pitié. Elle dort encore moins que lui, bien qu'à chaque instant elle succombe à la tentation du sommeil. Ils attendaient la vieille *Karamzine* qui devait venir prendre congé d'eux, mais qui en a été empêchée par une indisposition qu'on reproche à la pauvre Sophie d'avoir attiré à sa mère[4]. Mais tout cela est trop long à écrire, et ne ferait que m'irriter encore davantage les nerfs...

L'e séjour de mon frère se prolongera ici encore bien quelques quinze jours, car l'histoire de p<asse>ports est moins que jamais *une simple histoire.*

Ici tous les esprits sont pour le moment préoccupés du départ de la cour par le chemin de fer[5]. *Le 18* du mois l'Impératrice viendra le soir sur le chemin de fer coucher dans sa voiture, c'est dans un appartement très confortable et très élégant, composé de 4 chambres, et c'est le lendemain 19 à 4 du matin, que le train partira — et il y doit être rendu à Moscou le même jour, entre 6 et 7 heures du soir. C'est plus que jamais le cas de dire: *bon voyage.*

Si je m'écoutais, je me mettrais aussi sur *les rails.* Et il n'est pas dit que je ne le fasse pas...

Bonjour! L'écriture m'irrite, et je sens le contrecoup de cette irritation cérébrale jusque dans les ignobles régions du bas.

Tu ne me parles jamais ni de ta santé, ni de la cure que tu fais. En effet, c'est un sujet qui a si peu d'intérêt pour moi. — Au diable les écritures.

Tout à toi, ma chatte chérie.

Перевод:

С.-Петербург. Вторник. 14 августа 1851

Вчера получил твое письмо от 4-го числа. Не могу привыкнуть пользоваться в отношении тебя оборотами, принятыми в постоянной установившейся переписке... Итак, именно с тобою я вынужден сноситься письмами, в то время как могу каждодневно устно переговариваться со старухой Местр... Как хорошо все устроено! Ну ладно... пусть так... Будем поступать

как все. — Поговорим *серьезно*... Начнем с девочек в Смольном. Третьего дня, в воскресенье, я навестил их в первый раз после их возвращения. Свиданье состоялось сначала в присутствии Леонтьевой, которая заявила мне, что довольна ими, что она никогда не замечала за ними ничего дурного, особенно за Дарьей, кроме насмешливого тона, который Дарья усвоила себе в прошлом году и пр. и пр. Но когда мы снова поднялись к Пирлинг, сдерживавшиеся доселе девочки разразились жалобами и стенаниями, перечисляя все обиды, которые они изложили в письме к тебе. Очевидно одно: это то, что они чувствуют себя очень несчастными в теперешнем положении, особенно в сравнении с прежним, а также из-за неуверенности относительно конечного результата, к которому приведут все эти испытания. Прибавь сюда твое отсутствие, а ты одна могла бы помочь им безропотно перенести все, что в данное время имеется действительно тягостного. Что до обид самих по себе, то они в конце концов сводятся к одному: к возложенной на всех пепиньерок обязанности ухаживать за ученицами младшего класса...[1] Я обещал им переговорить с *Гофманом*, которого должен был повидать вчера. Он принял меня с обычными проявлениями доброжелательности и рассыпался в заверениях. Но вот совершенно новое *обстоятельство*, которое я узнал из разговора с ним. Оказывается, императрица, которая попрежнему озабочена нашей крайней нуждой, пожелала, чтобы плата за содержание девочек в течение тех двух лет, пока она будет выплачиваться, сберегалась, насколько это возможно без ущерба для них, с тем, чтобы деньги эти были им выданы при выходе из института, — так что в настоящее время они положительно находятся на общественном иждивении. Предоставляю тебе обдумать это обстоятельство и сделать все выводы, кои подскажет тебе твоя проницательность... Тут, разумеется, налицо прискорбное недоразумение, и оно тем прискорбнее, что нелегко устранить его без опасения оскорбить и вызвать неудовольствие. Я все же не отчаиваюсь и возлагаю большие надежды на великую княгиню Марию Николаевну, которую ждут сюда к 24 августа. Но ты сама понимаешь, моя милая кисанька, что до твоего возвращения я не предпри-

му никаких решительных шагов ни в том, ни в другом направлении. А что думает — спросишь ты — обо всем этом твой брат? Брат вполне одобряет, любезный друг мой, все, что я говорю, даже в тех случаях, когда мне доводится сказать сряду вещи совершенно противоположные. В связи с этим он мог бы (если бы только немного лучше понимал самого себя) заметить наконец, что гораздо легче быть *практичным* в положении, подобном его, чем в положении, подобном нашему. Впрочем, мы живем очень дружно. Ни тени неприязни, ни малейшего отголоска наших прежних ссор. Снова как в доброе старое время наших юных лет... Он насилу заставляет себя ходить гулять. Намедни я повел его на большое празднество на минеральных водах Излера[2], где собралось 4000 человек и где, между прочим, я буквально чуть было не задохнулся в толпе, при выходе. Вчера мы ездили обедать в Петергоф; день был дивный, какой только можно себе представить. Завтра мне придется изменить ему, ибо вечером завтра *комедия* у Строгановых; там *Зеебах*[3] дебютирует в некоем фарсе «Сказочная яичница», и, судя по кусочку репетиции, на котором мне случилось присутствовать намедни, играет она не так уж плохо.

Вчера вечером, вернувшись из Петергофа, я поехал к Вяземским; они уезжают сегодня. Они сказывали, что получили от тебя письмо и что тотчас же ответили. Они едут, сами еще не зная хорошенько куда. Состояние его совершенно непонятно, но ничем не бросается в глаза тому, кто не видит его во время припадков. Жалость вызывает скорее положение княгини. Она спит еще меньше его, хоть ежеминутно борется с желанием заснуть. Они поджидали старуху *Карамзину*, которая должна была приехать проститься с ними, но не приехала по нездоровью, причиной которому была ее дочь, бедняжка Софи[4]. Но описывать все это слишком долго и только еще сильнее раздражит мне нервы...

Пребывание брата продлится тут еще не меньше двух недель, ибо история с паспортами является меньше чем когда-либо *простой историей*.

В настоящее время здесь все умы заняты отъездом двора по железной дороге[5]. *18-го* числа вечером императрица приедет на

железную дорогу и будет ночевать в своем вагоне; это очень удобный и изящный апартамент о четырех комнатах; поезд уйдет завтра часа в 3–4 утра, в Москве должен быть в тот же день часов в 6–7 вечера. Тут уместнее чем когда-либо сказать: *доброго пути!*

Если бы я дал себе волю, то тоже стал бы на *рельсы*... Да и неизвестно еще — не сделаю ли я этого...

Прости! Писание раздражает меня, и это мозговое раздражение отдается даже в неблаговидных нижних частях.

Ты никогда не пишешь мне ни о здоровье своем, ни о лечении. Да и правда, это столь мало занимающий меня предмет. — К черту писания!

Весь твой, моя милая кисанька.

21. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

17 августа 1851 г. Петербург

Vendredi. 17 août

Je ne t'écris aujourd'hui, ma chatte chérie, que pour t'épargner un moment de désappointement. Hier, jeudi, je n'ai pu aller voir les petites à Smolna, j'irai les voir dimanche. J'ai su néanmoins qu'elles étaient plus calmes et plus résignées. Encore une fois, elles ne se sentent malheureuses que par comparaison, ce qui n'empêche pas qu'une position comme celle où elles se trouvent soit une très fausse et très absurde position. Toutefois, il faut pour le moment s'y résigner et attendre les chances meilleures que l'avenir pourrait amener... Mon unique soin p<ar> cons<équent> sera de maintenir *le statu quo* jusqu'à ton retour.

Mardi dernier j'ai mis les Wiasemsky en voiture. C'était un triste départ. Il n'y avait de présents à ce départ que Michel Wielhorsky et moi, et un moment Hartmann. Le pauvre Prince était dans un découragement complet. Il allait par la chambre, répétant sans cesse: *trop tard... trop tard de six semaines*. Et en me donnant la main, voici ce qu'il me dit: *Souvenez-vous de mes dernières paroles. Vous ne me reverrez plus ou si vous me revoyez, ce sera dans un état pire que la mort*. Il n'y a certainement pas lieu à attacher une signification particulière à de pareils propos, mais

on ne pouvait les entendre sortir de la bouche d'un homme tel que lui sans avoir le cœur serré.

Mercredi a eu lieu chez les Stroganoff la soirée dramatique. Les hommes, Biland et Taleyrand, ont été parfaits, les femmes moins bien. La société nombreuse et brillante, en fait de Princes étrangers, le Prince de Prusse, et l'héréditaire de Weimar plus sot que jamais, — ce qui ne l'a pas empêché toutefois de me charger de dire à Anna les choses les plus aimables de sa part.

Mon frère est toujours à la poursuite de son *p<asse>port,* qu'il finira probablement par atteindre.

Ici on n'est préoccupé que du départ de la cour, par le chemin de fer...

La saison se soutient admirablement. Cela te donne gain de cause, je le sais contre moi, et je t'aime assez pour m'en réjouir. — Pas de nouvelles du bois qui devait nous être livré. La *Schmitt* est absente. Quant à ton *daguerréotype,* l'excellente femme voudra bien patienter jusqu'à ton arrivée pour l'avoir. Jusque-là, ne lui en déplaise, il ne quittera pas ma table à écrire.

Je dîne aujourd'hui aux Iles chez les Bray[1]. Sophie Tolstoy te salue. La Krüdener arrive incessamment. Je te baise les mains.

T. T.

Перевод:

Пятница. 17 августа

Пишу тебе сегодня, моя милая кисанька, лишь для того, чтобы избавить от минут напрасного ожидания. Вчера, в четверг, я не смог навестить девочек в Смольном, поеду к ним в воскресенье. Я узнал, однако, что они теперь более спокойны и более покорны судьбе. Повторяю, они чувствуют себя несчастными лишь в сравнении с прежним, но как-никак они действительно находятся в весьма ложном и весьма нелепом положении. Тем не менее сейчас нужно примириться с этим и ждать больших удач в будущем... Следовательно, единственной моей заботой будет сохранить существующее *положение* до твоего возвращения.

Во вторник я проводил Вяземских. Отъезд был грустный. Присутствовали только Михаил Виельгорский да я, да не-

долго Гартман. Бедный князь совсем пал духом. Он ходил по комнате и беспрестанно твердил: *«Опоздали, опоздали на полтора месяца»*. А подавая мне руку, он сказал: *«Запомните мои последние слова: вы больше не увидите меня, а если увидите, то в состоянии худшем, нежели смерть»*. Нельзя, разумеется, придавать подобным речам особого значения, но сердце сжимается, когда слышишь их от такого человека, как он.

В среду у Строгановых состоялось драматическое представление. Мужчины, Биланд и Талейран, были превосходны, женщины — не так хороши. Общество было многочисленное и блестящее; из иностранной знати — принц прусский и веймарский наследник, глупый как никогда, что, однако, не помешало ему поручить мне передать Анне самые любезные слова.

Брат мой по-прежнему в хлопотах о *паспорте*, которого он, вероятно, в конце концов добьется.

Здесь все заняты только отъездом двора по железной дороге.

Погода стоит дивная. Это, знаю, на руку тебе против меня, но я слишком люблю тебя, чтобы не радоваться этому. — О дровах, которые должны были бы уж доставить, ничего не слышно. Г-жа *Шмидт* в отъезде. Что до твоего *дагерротипа*, то пусть эта славная женщина потерпит до твоего возвращения. А до тех пор, уж как ей будет угодно, а он не покинет моего письменного стола.

Сегодня я обедаю на Островах у Брая[1]. Тебе кланяется Софья Толстая. Крюденер приедет в ближайшем будущем. Целую твои ручки.

Ф. Т.

22. С. С. УВАРОВУ

20 августа 1851 г. Петербург

St.-Pétersbourg. 20 août 1851

Monsieur le Comte,

Il m'est rarement arrivé de prendre la plume pour essayer d'exprimer des regrets plus vrais et plus sincères que ceux que je vous exprime en ce moment... Vous aurez probablement

appris par le Comte Bloudoff le désappointement que j'ai éprouvé lorsqu'il y a à peu près cinq à six semaines, au moment même où je me disposais à aller saluer les Dieux hospitaliers de *Поречье*[1], je me suis vu brusquement rappelé à Pétersbourg par de prétendues nécessités de service. Ce service, il faut bien le dire, est un être de raison souvent assez peu raisonnable. Toutefois, j'avais conservé, jusqu'à cette heure, l'espoir de retourner à Moscou dans le courant de ce mois et par conséquent d'être à même d'aller à *Поречье*, vous offrir de vive voix, Monsieur le Comte, mes félicitations et mes vœux à l'occasion de la fête du 25[2]. Mais cet espoir même m'échappe en ce moment, et me voilà obligé d'ajourner indéfiniment l'accomplissement d'un projet qui m'avait si longtemps charmé et préoccupé. Toutes les nouvelles qui me sont parvenues indirectement, en dernier lieu sur le séjour qu'il ne m'a été donné que de pressentir, n'ont fait qu'ajouter à mes regrets et me convaincre de plus en plus dans la croyance que j'ai qu'il n'y a rien au monde de plus taquin que le sort, de plus personnellement désobligeant en dépit de sa prétendue impersonnalité.

Il est possible, Monsieur le Comte, que même cette lettre que je charge du soin de vous transmettre l'expression de mes regrets et de mes vœux ne vous trouve pas à *Поречье*. Vous aurez peut-être cédé à l'attraction que Moscou exerce en ce moment... Et en effet Moscou, se rapprochant de Pétersbourg à 15 heures de distance, c'est là, non seulement un fait curieux et intéressant, ma<is> cela peut-être à juste titre considéré comme un grand événement politique. C'est le digne couronnement et en même temps le correctif nécessaire de l'œuvre de Pierre le Grand...[3] Je suis loin pour mon compte de partager cette béate confiance qu'on a de nos jours dans tous les moyens purement *matériels* d'obtenir l'unité et de réaliser la concorde et l'harmonie dans les sociétés politiques. Tous ces moyens sont nuls là où manque le principe de l'unité morale: et souvent même ils agissent à contresens de leur destination naturelle, témoin ce qui se passe maintenant dans l'occident. A mesure que les distances se rapprochent, les esprits se divisent de plus en plus. Dès que les hommes sont une fois travaillés par cet esprit implacable de con-



tention et de lutte, ce n'est certainement pas service à la cause de la Paix générale, que de supprimer l'espace, pour les mettre en présence les uns des autres... C'est vouloir calmer l'irritation par le frottement...

Nous sommes, je crois, en droit d'espérer avec toute l'humilité possible qu'il n'en sera pas ainsi de nous autres, en Russie, qui tous tant que nous sommes, n'avons qu'un seul véritable ennemi à combattre, qui est *l'espace*[4]. Nous pouvons nous flatter par conséq<uence> que grâce à la présence de ce principe d'unité morale, qui certes ne nous manque pas, tout ce qui tend à nous rapprocher de matériellement ne fera que cimenter la véritable unité et ajouter à la vigueur de l'ensemble. On a assez longtemps parlé du Colosse de la Russie[5]. On finira, j'espère, par reconnaître que c'est mieux qu'un Colosse, que c'est un Géant, et un Géant bien proportionné...

Que de questions, Monsieur le Comte, que j'avais espéré entendre traiter et discuter par vous sous le toit hospitalier de Поречье... J'avais pensé, grâce à vous, y avoir tout naturellement droit d'asile. Mais il ne m'a servi de rien de compter avec mon aimable hôte. Le sort, moins bienveillant que lui, en a jugé différemment... Laissez-moi espérer au moins que l'hiver prochain m'offrira des dédommagements pour les mécomptes de cet été[6]. — Veuillez, Monsieur le Comte, agréer l'assurance de mon respect et de mon dévouement.

T. Tutchef

Перевод:

С.-Петербург. 20 августа 1851

Милостивый государь граф Сергей Семенович,

Мне редко доводилось браться за перо, чтобы выразить более искренние и более чистосердечные сожаления, чем те, кои я выражаю вам в настоящую минуту... Вы, вероятно, известились через графа Блудова об испытанном мною разочаровании, когда недель пять или шесть тому назад, в ту самую минуту, когда я намеревался отправиться на поклон к гостеприимным богам *Поречья*[1], я был внезапно вызван в Пе-

тербург по якобы служебным надобностям. Эта служба, надо сознаться, — изобретение разума, подчас весьма неразумное. Однако я до сих пор сохранял надежду вернуться в Москву в этом месяце и, следовательно, иметь возможность съездить в *Поречье*, дабы лично принести вам, граф, мои поздравления и пожелания по случаю 25-го[2]. Но сейчас и эта надежда ускользает, и я вынужден отложить на неопределенный срок исполнение намерения, так давно меня пленявшего и занимавшего. Вести, стороною дошедшие до меня за последнее время об этом приюте, пребывание в котором мне было суждено лишь предвкушать, только усилили мои сожаления и укрепили меня во мнении, что на свете нет ничего более насмешливого и менее услужливого к некоторым лицам, нежели судьба, вопреки ее мнимой безликости.

Возможно, граф, что даже это письмо, коему я препоручаю передать вам изъявление моих сожалений и пожеланий, не застанет вас в *Поречье*. Быть может, вы поддались нынешней притягательной силе Москвы. Действительно, то, что Москва приблизилась к Петербургу на 15 часов езды, является не только любопытным и интересным фактом, но может по справедливости считаться важным политическим событием. Это достойное завершение и в то же время необходимое исправление дела Петра Великого...[3] Что до меня, я далеко не разделяю того блаженного доверия, которое питают в наши дни ко всем этим чисто *материальным* способам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и единодушие в политических обществах. Все эти способы ничтожны там, где недостает духовного единства, и часто даже они действуют противно смыслу своего естественного назначения. Доказательством может служить то, что происходит сейчас на Западе. По мере того, как расстояния сокращаются, умы все более и более расходятся. И раз люди охвачены этим непримиримым духом раздора и борьбы — уничтожение пространства никоим образом не является услугой делу общего мира, ибо ставит их лицом к лицу друг с другом. Это все равно что чесать раздраженное место для того, чтобы успокоить раздражение...



Мне сдается, что мы вправе смиренно думать, что у нас в России будет не так, что всем нам, пока мы существуем, предстоит бороться с одним действительно реальным врагом — *пространством*[4]. Следовательно, мы можем льстить себя надеждой, что по милости этого духовного единства, в котором у нас, поистине, нет недостатка, все, что способствует нашему пространственному сближению, послужит лишь к укреплению подлинного единства и к усилению мощности целого. Достаточно говорили о Русском Колоссе[5]. В конце концов признают, я надеюсь, что это — Великан, и Великан хорошо сложенный...

По скольким вопросам, граф, надеялся я услышать ваше мнение и рассуждения под гостеприимным кровом Поречья... Благодаря вам я полагал вполне естественно найти там приют. Но хотя я и рассчитывал вместе с моим любезным хозяином, это мне не помогло. Судьба, менее благосклонная, нежели он, судила иначе... Позвольте мне надеяться, по крайней мере, что будущей зимой я буду вознагражден за разочарования этого лета[6]. — Благоволите, граф, принять уверение в моем уважении и преданности.

Ф. Тютчев

23. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

28 августа 1851 г. Петербург

St-Pétersbourg. Mardi. 28 août 1851

Ma chatte chérie tu es une admirable femme. Voilà ce que j'ai entendu crier en mon for intérieur, en lisant tout à l'heure ta dernière lettre, cette lettre en réponse à mes premiers cris de détresse... Je l'ai reçue au moment du déjeuner et je l'ai fait lire à mon frère qui en a été silencieusement, mais visiblement touché. Tu vas bêtement me demander ce qu'il y <a> de si admirable dans cette lettre?.. Je m'en vais te l'expliquer... C'est qu'au moment où tu dis avec un accent de conviction si parfaitement vrai que tu sentirais quelque plaisir de voir écarteler la pauvre *Léontieff*, c'est que dans le même moment et au plus fort de ta généreuse indignation, — malgré l'éloignement, en dépit de tout ce qui agite

et trouble, tu juges et apprécies la position avec un souverain bon sens. Oui, ma chatte, tu es... tout ce que je connais au monde de meilleur... et s'il y a en moi quelque chose qui m'assure quelque droit à ton affection, c'est cette faculté de sentir intimement et profondément tout ce <que> tu vaux... Je viens d'envoyer ta lettre aux petites et je ne puis les estimer assez heureuses d'être l'objet de tout ce qu'il y a de bonté et d'affection dans cette lettre... Au demeurant tu dois être à l'heure qu'il est pleinement rassurée sur leur compte — et nos écritures de ce jour ne peuvent que compléter mes précédents témoignages. La Léontieff, de leur propre aveu, est redevenue pour elles à peu près ce qu'elle avait été autrefois. Elle les appelle de nouveau *ses chéries*, etc. etc. Il est vrai que les petites, rendues défiantes, n'attribuent ce changement qu'à la peur qu'elle a du retour prochain de la Gr<ande>-Duchesse Marie, aussi bien qu'à l'effet des exhortations *de Hoffmann*. Mais après tout, quelque soit la véritable cause de l'amélioration, il est toujours très satisfaisant que de l'avoir aussi promptement obtenue. Maintenant — il n'y a de réellement déplaisant dans la situation donnée que l'incertitude du résultat. Mais il serait fou, à nous, de ne pas pouvoir nous imposer un peu de contrainte dans une question, où l'on peut tout compromettre par trop de précipitation.

Tel est donc *le statu quo*. Tu vois donc bien, ma chatte chérie, que si cette lettre te parvient à temps, tu peux parfaitement t'accorder le temps nécessaire pour achever à loisir ta cure d'eaux minérales... J'insiste même pour que tu le fasses. Et puisque tu as eu assez de raison pour ne pas hâter ton retour par impatience de me revoir, je ne souffrirai pas que tu le fasses par un motif qui m'est bien cher, il est vrai — mais qui après tout me touche d'une manière moins directement personnelle.

La question du bois est à peu près arrangée et je dois déclarer à l'honneur du Brochet que tout le mérite en revient à lui seul. C'est lui qui est allé trouver l'employé de la Banque de Wiasemsky et qui s'est fait livrer par lui 50 cordes du bon bois à raison de 2,76 la corde. Tout est déjà emmagasiné et sous clef — le tout pour le prix de 142 r<oubles> ar<gent>. Dans le courant de la semaine, nous complèterons par l'achat de 60 autres cordes

de bois de sapin, à raison de 2 roubles et quelque chose la corde. Si bien que l'approvisionnement en question se trouvera réalisé à un taux de beaucoup inférieur au prix que tu y avais destiné. Et encore une fois, toute la gloire en revient uniquement à l'intelligente activité du Brochet.

J'ai aussi de bonnes nouvelles à te donner relativement à nos idées de pensionnat de famille pour Dmitry[1]. Je t'ai dit que j'avais chargé l'excellent *Pletneff* du soin de découvrir quelque chose qui répondît à ce que nous cherchions. Il vient en conséquence de me faire savoir qu'il croit avoir trouvé l'homme qu'il nous fallait. C'est l'adjoint de l'Inspecteur de l'Université, qu'il connaît particulièrement et dont il dit le plus grand bien ainsi que de sa femme. Ils ont plusieurs enfants à eux, dont ils soignent l'éducation avec beaucoup de zèle et d'intelligence, à ce que me dit *Pletneff,* et ne demanderaient pas mieux que de se charger de l'éducation de Dmitry, qui se trouverait tout naturellement associé aux leçons qui se donnent dans la famille. Le témoignage de Pletneff ne laisse rien à désirer, et nous sommes convenus d'aller prochainement faire une visite à l'individu en question. J'aurai soin de t'en faire connaître le résultat...

Tout à l'heure, j'ai été interrompu dans mes écritures par la visite de Madame Fanny[2], qui me charge de te dire mille tendresses... Elle n'est pas encore accouchée — aussi est-elle réellement pénible à voir. Ce qui ne m'a pas empêché de la voir avec grand plaisir. C'est elle qui m'a annoncé la première l'arrivée de la Grande-Duchesse Marie qu'elle vient de rencontrer dans sa chère *Perspective Nevsky.* Elle aussi est dans un état pareil à celui de Fanny[3].

J'aurais encore mille choses à te dire. Mais mon frère est là qui me talonne pour le laisser porter cette lettre à la poste. Je ne dirai donc qu'un mot sur ma santé qui est très passable. J'ai néanmoins fini par faire usage de la lettre de *Pfoehl*[4]. Mais au lieu de Pélican[5], c'est à notre ami *Hartmann*[6] que je l'ai communiquée. Il en a approuvé le contenu, et après avoir fait l'inspection du *corps du délit,* il m'a prescrit des bains de siège et un onguent...

Tout cela ce sont des bêtises. Et l'essentiel pour ma santé, c'est que je sois parfaitement rassuré sur la tienne.

Pas de nouvelles des Wiasemsky. J'ai vu dernièrement le vieux Maistre qui se doute à peine de ce qui lui est arrivé.

Un mot encore, ma chatte chérie. Ce qui fait que ta lettre aux enfants m'a touché plus que je ne puis dire, c'est — la date du jour où je l'ai reçue. Que Dieu te bénisse!

28 août/9 septembre

Перевод:

С.-Петербург. Вторник. 28 августа 1851

Милая моя кисанька, ты чудесная женщина. Вот что звучало у меня в душе, когда я читал твое последнее письмо, — ответ на мои первые отчаянные вопли... Я получил его за завтраком и дал прочитать брату, который был им явно тронут, хоть и промолчал. Ты простодушно спросишь — что же чудесного в этом письме?.. Сейчас объясню тебе... Ты с такой искренней убежденностью говоришь, что испытала бы некоторое удовольствие при виде того, как четвертуют несчастную *Леонтьеву*, — и вместе с тем в самом пылу благородного негодования, несмотря на отдаленность, вопреки всему, что тебя волнует и раздражает, судишь и оцениваешь положение с величайшим здравомыслием. Да, кисанька, ты... самое лучшее из всего, что известно мне в мире... и если есть во мне что-либо дающее мне некоторое право на твое расположение — так это моя способность до глубины души чувствовать, чего ты стоишь... Я отправил твое письмо девочкам и представляю себе, как они счастливы, что вся доброта и любовь, которые в нем заключены, изливаются на них... Впрочем, ты теперь можешь быть вполне спокойна на их счет и наши сегодняшние письма могут лишь дополнить предыдущие мои сообщения. Леонтьева, по их собственному признанию, стала к ним почти такою же, какою была прежде. Она снова зовет их *милочками* и т. д. и т. д. Правда, девочки стали недоверчивыми и приписывают эту перемену лишь страху ее перед близким возвращением великой княгини Марии Николаевны, а также увещаниям *Гофмана*. Но в конце концов, какова бы ни была истинная причина такого улучшения, все же очень приятно, что нам удалось так скоро

его добиться. Действительно неприятна в теперешнем положении лишь неуверенность в конечном итоге, но с нашей стороны было бы безумием допустить несдержанность в таком вопросе, где излишней поспешностью можно все испортить.

Итак, вот каково *положение дел.* Ты видишь, следовательно, кисанька, что если это письмо дойдет до тебя вовремя, ты вполне можешь не торопиться и спокойно окончить курс лечения минеральными водами... Я даже настаиваю на этом. И раз ты была достаточно благоразумна, чтобы не спешить с отъездом ради свидания со мной, я не потерплю, чтобы ты сделала это ради дела, — правда, мне очень близкого, но которое, в конечном счете, не так уж близко касается меня лично.

Вопрос с дровами почти совсем уладился, и к чести Щуки я должен заявить, что это заслуга его одного. Он сходил к служащему конторы Вяземского и заказал ему 50 сажен хороших дров по 2,76 за сажень. Они уже сложены под замком в сарай — все обошлось в 142 рубля серебром. На этой неделе мы купим еще 60 сажен сосновых по 2 рубля с небольшим, и, таким образом, запас будет сделан и обойдется гораздо дешевле, чем ты рассчитывала. И, повторяю, вся честь этого дела принадлежит разумному и деятельному Щуке.

Могу сообщить тебе также приятные новости касательно наших намерений поместить Дмитрия в семейный пансион[1]. Я писал тебе, что поручил милейшему *Плетневу* отыскать что-нибудь подходящее. И вот он только что сообщил мне, что, кажется, нашел человека, какой нам нужен. Это помощник университетского инспектора, с которым он знаком домами и о котором отзывается с большой похвалой, равно как и об его жене. У них несколько своих детей, которых они, по словам *Плетнева,* воспитывают с большим старанием и уменьем, и они охотно взялись бы за воспитание Дмитрия, который, естественно, стал бы посещать уроки, которые они дают в своей семье. Отзыв Плетнева не оставляет желать ничего лучшего, и мы сговорились с ним посетить на днях этого человека. О результатах я не премину тебе сообщить...

Сейчас мне пришлось прервать письмо из-за визита госпожи Фанни[2]; она тебе кланяется... Она еще не родила, а по-

тому мне ее, право, тяжело было видеть, однако я повидался с ней с большим удовольствием. Она первая сообщила мне о приезде великой княгини Марии Николаевны, которую она только что встретила на ее любимом *Невском проспекте*. Она в таком же положении, как и Фанни[3].

Я многое еще сказал бы тебе, но брат пристает, чтобы я дал ему отнести это письмо на почту. Скажу лишь несколько слов о своем здоровье: оно весьма сносно. Тем не менее я наконец воспользовался письмом *Пфёля*[4], но передал его не Пеликану[5], а нашему другу *Гартману*[6]. Он одобрил его содержание и после осмотра *улик* предписал мне поясные ванны и мазь.

Все это пустяки, главное же для моего здоровья — это быть вполне спокойным за твое.

От Вяземских никаких вестей. Намедни видел старика Местра, который словно не вполне понимает, что с ним произошло.

Еще словечко, милая моя кисанька. Письмо твое к детям несказанно тронуло меня тем, что пришло именно в этот день. Да благословит тебя Бог!

28 августа/9 сентября

24. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

31 августа 1851 г. Петербург

St-Pétersbourg. Vendredi. 31 août

Ma chatte chérie. Voici une lettre de ton frère, que je t'achemine à Ovstoug, dans l'idée qu'elle t'y trouvera encore. Mais j'aimerais bien que ce soit la dernière lettre qui ait chance de t'y trouver encore.

Hier, jeudi, jour de la St-Alexandre[1], je suis allé voir les petites à Smolna, et là — grâce, probablement, à une certaine arrivée[2], métamorphose complète. La Léontieff, redevenue pour les enfants plus charmante que jamais... Elle est venue à moi, toute épanouie et toute radieuse,— me disant que je devais m'estimer bien heureux d'avoir de si ravissantes filles (textuel), que c'est dans ce sens qu'elle venait d'en écrire à S<a> M<ajesté> l'Impératrice, à qui elle a eu bien soin de dire, que non seulement elle — mais toute la commu-



nauté était dans l'enchantement de ces deux jeunes filles, etc. etc. ... en un mot, elle n'a cessé de mettre ma modestie paternelle à la torture, et m'a, en définitive, laissé singulièrement édifié non pas sur le compte des petites, mais sur son compte à elle... Tu comprends ce qu'un pareil revirement a dû lui faire gagner de terrain dans l'estime des deux jeunes filles. Aussi, lorsque Daria s'est trouvée hier invitée pour la première fois depuis son retour à dîner chez la Léontieff, elle n'a pas manqué de dire à ses compagnes, qu'elle était persuadée que la Grande-Duchesse Marie devait être revenue. A peine a-t-elle eu dit cela, qu'entre la L<éontieff>, leur annonçant effectivement la nouvelle de cette bienheureuse arrivée...

Ma chatte chérie. Je suis impatient d'apprendre quelle modification les lettres que tu as reçues de moi en dernier lieu ont pu faire subir à tes projets de départ. Encore une fois, je tiens à ce que tu achèves à loisir la cure commencée, mais si vous avez là-bas le même temps que nous avons ici depuis dimanche dernier, certes, le séjour de la campagne ne saurait avoir ni grand agrément, ni grande utilité, et j'aime à croire que tu ne le traîneras pas en longueur. D'autre part j'insiste pour que tu voyages aussi commodément que faire se peut — couchant toutes les nuits, etc. Pour Moscou je t'accorde trois jours...

Mon frère attend aujourd'hui même une réponse à sa demande. Il faut espérer qu'elle sera favorable...

Le domaine de la Capello est définitivement mutilé, car la chambre des enfants vient d'être louée, au prix de cent roubles an. La voilà donc obligée, comme nous tous, de se contenter d'une pièce. C'est bien malheureux.

La petite calèche, que j'ai amenée de Moscou, a été vendue pour 50 r<oubles> ar<gent> grâce cette fois à l'intervention de mon frère...

A lundi. Je vous baise les mains.

Перевод:

С.-Петербург. Пятница. 31 августа

Милая моя кисанька, вот тебе письмо от твоего брата, посылаю его в Овстуг, поскольку полагаю, что оно еще застанет

7 Зак. 7712

тебя там, но мне хотелось бы, чтобы это было последнее письмо, могущее там тебя застать.

Вчера, в четверг, в день св. Александра Невского[1], я навестил девочек в Смольном; там, вероятно, в связи с приездом некоего лица[2], полная перемена. Леонтьева стала с детьми мила как никогда... Она вышла ко мне приветливая и сияющая и сказала, что я должен почитать себя счастливым, имея таких восхитительных дочерей (дословно), что именно в этом духе она написала ее величеству государыне императрице, которой не преминула сообщить, что не только она сама, но и все окружающие в восторге от этих двух барышень, и пр. и пр. ... словом, она бесконечно долго терзала мою отеческую скромность и в итоге весьма просветила меня не насчет девочек, а насчет самой себя... Ты представляешь, какое уважение со стороны обеих девиц она стяжала себе подобной крутой переменой. А потому, когда вчера Леонтьева в первый раз по возвращении Дарьи пригласила ее к себе обедать, Дарья сразу же сказала подругам, что уверена в том, что великая княгиня Мария Николаевна вернулась. Едва она сказала это, как вошла Леонтьева и действительно объявила об этом благословенном приезде...

Милая моя кисанька, мне хочется знать, какие изменения в твоих планах относительно отъезда могли вызвать мои последние письма. Повторяю, мне хочется, чтобы ты спокойно докончила начатое лечение, но если у вас стоит такая же погода, как у нас здесь с прошлого воскресенья, дальнейшее пребывание в деревне, конечно, не может быть ни приятно, ни полезно, и я надеюсь, что ты не затянешь его. С другой стороны, я настаиваю, чтобы ты ехала как только можно удобнее, — останавливаясь каждую ночь на ночлег и т. д. Даю тебе на Москву три дня...

Брат ждет сегодня ответа на свое прошение. Будем надеяться, что он будет благоприятным...

Владения Капелло окончательно расчленены, ибо детскую только что сдали за сто рублей в год. Итак, она вынуждена будет, как и каждый из нас, довольствоваться одною комнатой. Очень жаль.

Маленькую пролетку, привезенную мною из Москвы, продали за 50 рублей серебром, на этот раз при помощи моего брата...

До понедельника. Целую ваши ручки.

25. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

4 сентября 1851 г. Петербург

St-Pétersb<ourg>. Mardi. 4 septembre 1851

Ma chatte chérie. Je t'écris aujourd'hui, sans savoir où t'adresser ma lettre. J'ignore si tu as persisté dans la résolution de partir le 8 de ce mois et je ne pourrais le savoir que par ta lettre d'aujourd'hui, mais qui arrivera trop tard, dans la journée, pour que je puisse en profiter en temps utile. Peste soit des postes en province. Ce n'est qu'une mystification.

Mais quelque part que ces lignes te parviennent, tu les liras avec tristesse. Cette fois-ci j'ai à t'annoncer la mort d'une personne que tu as beaucoup aimée. La pauvre vieille Madame *Karamzine*[1] a cessé de vivre, le 1er de ce mois...

Hier je suis allé voir André Karamzine[2], arrivé la veille de la campagne des *Mestchersky*[3], pour commander les apprêts de l'enterrement, et voici les détails que j'ai appris de lui sur les derniers moments de cette digne et excellente femme... Il était arrivé de Finlande, mercredi dernier, auprès de sa mère, qui était déjà rentrée dans sa chambre à coucher, et comme elle était à peine convalescente de la maladie qu'elle venait de faire, et qu'elle se ménageait beaucoup, elle ne demanda pas à le voir, se contentant de la certitude de sa présence... Le lendemain, en le revoyant, elle lui dit qu'elle avait fort bien dormi, et que même elle n'éprouvait aucune de ses infirmités habituelles ce qu'elle se plaisait à attribuer à l'influence de son retour auprès d'elle. Ses idées étaient parfaitement douces et sereines. Elle lui parla de divers arrangements d'intérieur qu'elle se proposait de faire exécuter pour l'année prochaine, d'un bouquet de lilas qui obstruait ses fenêtres et qu'il s'agissait de déplacer. Ce jour-là qui était le jour de la St-Alexandre elle insista pour qu'on invitât à dîner le médecin, qui la vit et la trouva dans un état de santé

tout à fait rassurant. Le soir elle se mit à sa partie de jeu, mais se retira après n'avoir fait qu'un *rubber.* Le lendemain, vendredi, *le mieux,* dont elle aimait à faire honneur à l'arrivée de son fils se soutint. Elle joua le soir, comme d'habitude, et même ce jour-là elle put achever la partie. Au moment de s'en aller, elle s'arrêta dans la porte, se retourna vers son fils et lui envoya un baiser. Ce fut la dernière marque d'affection qu'il devait recevoir de sa mère. Sophie l'accompagna encore dans le corridor, la querellant à sa manière sur sa partialité si marquée en faveur d'André, etc. La bonne vieille lui donna une petite tape sur la joue, et comme celle-ci s'obstinait à la reconduire, elle la renvoya en lui disant: Crois-tu donc que je ne sache pas marcher toute seule. Si bien que Sophie a été la dernière parmi les personnes de la famille, qui ait parlé à sa mère...

C'est vers les quatre heures du matin, à ce que m'a dit André, que Mestchersky est venu le réveiller en sursaut, pour l'appeler auprès de sa mère... En arrivant auprès d'elle, ils la trouvèrent assise dans un fauteuil, la tête posée sur un oreiller — ayant parfaitement l'air d'une personne, endormie du sommeil le plus doux et le plus paisible. Elle était déjà morte... Et voici ce qu'ils apprirent sur ce qui venait de se passer... Elle avait, à ce qu'il paraît, été éveillée par les gémissements de sa femme de chambre, qui couchait auprès d'elle, et qui est sujette à avoir des cauchemars, et celle-ci s'étant éveillée tout à fait, Mad. Karamz<ine> lui demanda de l'aider à aller se mettre sur sa chaise, après quoi elle alla se placer dans un fauteuil et dit à la femme de chambre de lui apporter du linge chauffé. Il paraît qu'elle eut l'appréhension d'un mouvement de sang vers la tête, car elle demanda à la femme de chambre si elle ne lui trouvait pas la figure très rouge, et se fit même apporter un miroir pour s'y regarder. Comme elle continuait à s'appliquer le linge chaud sur le ventre, la femme de chambre l'entendit tout à coup pousser comme un sourd gémissement et vit au même instant une de ses mains glisser, et le bras retomber à terre. Elle appela aussitôt une autre femme auprès d'elle, et courut elle-même réveiller Mestchersky. Quand celui-ci arriva, la femme restée de garde leur dit qu'elle lui avait entendu pousser un second gémissement — et

plus rien. Mestchersky prétend avoir encore senti quelques pulsations dans la main. Mais le cœur ne battait plus... Tu peux te figurer la scène de désolation qui a rempli le reste de cette nuit. André m'a dit que sa pauvre sœur a passé toute cette première journée sans pouvoir pleurer. C'est bien elle aussi, pour qui cette perte est la plus cruelle... Dis à Anna, que la veille même de cette nuit on a, suivant les habitudes de la famille, fait lecture à haute voix de la lettre que Lise[4] avait reçue d'elle...

Ma chatte chérie... Chaque fois que je vois la mort frapper ainsi un de ses coups, les 1000 verstes qui me séparent de toi, me retombent bien lourdement sur le cœur... Que Dieu vous conserve.

C'est lundi prochain, que se fera l'enterrement au couvent de Nevsky. André devait retourner aujourd'hui à Manouilovo. Je supprime les réflexions... Voilà encore quelque chose de disparu et d'aboli dans le monde de nos habitudes et de nos affections...

A l'instant même on m'apporte ta lettre. Elle vient à point nommé. J'y répondrai de suite... Je l'ai lue.

Tout bien considéré, je t'adresse cette lettre à Moscou, me réservant de t'écrire encore une fois, pour le moment de ton arrivée.

Перевод:

С.-Петербург. Вторник. 4 сентября 1851

Милая моя кисанька, пишу тебе сегодня, сам не зная, куда посылать письмо. Мне не ведомо, осталась ли ты при своем намерении ехать 8-го, а узнаю я об этом лишь из твоего сегодняшнего письма, но оно придет лишь к вечеру, и я не смогу им вовремя воспользоваться. Будь проклята провинциальная почта. Это один обман.

Но где бы ни застали тебя эти строки, ты прочтешь их с грустью. На этот раз я должен сообщить тебе о кончине человека, которого ты очень любила. 1-го числа скончалась бедная старая *Карамзина*...[1]

Вчера я навестил Андрея Карамзина[2], который накануне вернулся из имения *Мещерских*[3], чтобы распорядиться о по-

хоронах, и от него я узнал следующие подробности о последних минутах этой достойнейшей и превосходнейшей женщины... В прошлую среду он приехал к матери из Финляндии, но она уже ушла к себе в спальню, а так как она только-только стала поправляться после болезни и очень берегла себя, то не позвала его к себе, а удовольствовалась сознанием, что он тут... На другой день, увидевшись с ним, она сказала, что спала очень хорошо и даже не чувствует никаких обычных недомоганий, и приписывала это его возвращению. Она была спокойна и безмятежна. Говорила о разных переменах в доме, задуманных ею на будущий год, о кустах сирени, которые загораживают окна ее комнаты и которые следовало бы пересадить. В тот день — то был день св. Александра Невского — она потребовала, чтобы к обеду пригласили ее доктора; он осмотрел ее и нашел ее здоровье вполне благополучным. Вечером она села за карты, но ушла к себе после первого *роббера*. На другой день, в пятницу, она чувствовала все то же *улучшение* и продолжала его приписывать приезду сына. Вечером она, как обычно, играла в карты и в этот день даже смогла кончить партию. Уходя, она остановилась в дверях, обернулась к сыну и послала ему поцелуй. Это было последним проявлением привязанности, которое ему суждено было получить от матери. Софи проводила ее по коридору, пожурила ее, как обычно, за столь подчеркнутое предпочтение, которое она отдает Андрею, и т. д. Добрая старушка легонько шлепнула ее по щеке, а так как та хотела непременно проводить ее до спальни, она стала отсылать ее, говоря: «Что же, ты думаешь, я одна не дойду». Так что Софи последняя из всей семьи говорила с матерью...

Около 4 часов утра, по словам Андрея, Мещерский вдруг разбудил его и вызвал к матери... Придя к ней, они застали ее в кресле, с головою на подушке; у нее был такой вид, словно она спит сладким и безмятежным сном. Она была уже мертва... И вот что они узнали о только что происшедшем... Она проснулась, по-видимому, от стонов своей горничной, спавшей с нею рядом и страдающей кошмарами, а когда та совсем проснулась, Карамзина попросила ее помочь ей встать, после чего

села в кресло и велела принести себе согретых салфеток. По-видимому, она ощущала прилив крови к голове, ибо спросила у горничной, не находит ли та, что она стала очень красна в лице, и велела принести зеркало, чтобы посмотреться самой. В то время, как она прикладывала себе к животу согретые салфетки, горничная вдруг услышала глухой стон и увидела, что одна рука ее стала скользить и упала до полу. Она тотчас кликнула другую женщину, а сама побежала будить Мещерского. Когда он явился, остававшаяся при ней женщина сказала, что она еще раз простонала и затихла. Мещерский говорит, что нащупал на руке еще несколько ударов пульса. Но сердце уже не билось... Можешь представить себе, какая скорбь заполнила остаток этой ночи. Андрей сказывал мне, что бедняжка сестра его весь первый день была не в силах плакать. И правда, именно для нее-то эта утрата тяжелее всего... Скажи Анне, что как раз накануне этой ночи, по их семейному обычаю, они читали вслух письмо, полученное Лизой[4] от Анны...

Милая моя кисанька... Всякий раз когда я вижу, как смерть наносит очередной свой удар, 1000 верст, разделяющие нас, тяжелым камнем ложатся мне на сердце... Да хранит вас Бог.

Похороны состоятся в понедельник в Александро-Невской лавре. Андрей должен был сегодня уехать обратно в Мануйлово. Я воздерживаюсь от рассуждений... Опять рухнуло и исчезло нечто из мира наших привычек и привязанностей...

Только что мне подали твое письмо. Оно подоспело вовремя. Отвечу на него вслед за этим... Я его прочел.

Взвесив все, посылаю это письмо в Москву и напишу тебе еще раз к твоему приезду туда.

26. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

17 сентября 1851 г. Петербург

Pétersbourg. Lundi. 17 septembre

Ma chatte chérie. Que ne suis-je cette bienheureuse lettre, qui va courir vous chercher à Moscou. Mais y es-tu déjà? Je ne commencerai à croire à ton retour, que quand je te saurai à Moscou...

Si tu as quitté Ovstoug le 13, c'est aujourd'hui le 17, que tu dois arriver au plus tard dans cette ville. Ma lettre qui part aujourd'hui à midi, peut t'y parvenir le 19, disons le 20. T'y trouvera-t-elle encore? *That is the question*[1].

Hier soir j'étais aux Français où l'on jouait quatre nouvelles pièces. Voilà que dans l'entracte le malheureux Othon[2] s'avise de me dire qu'il avait vu, dans la journée, la cousine Mouravieff[3], qui avait demandé de mes nouvelles et qui avait ajouté qu'elle comptait aller me voir le lendemain. Aussitôt la fièvre me prend. Je quitte tout et je cours, comme un forcené, chez elle, persuadé qu'elle avait quelque sinistre communication à me faire... Il se trouva qu'elle voulait passer chez moi pour m'annoncer le mariage prochain de son fils cadet[4]. Jamais je n'ai été plus ridicule, ni plus heureux de l'être...

A l'heure qu'il est tu es déjà informée de la triste nouvelle de la mort de Madame K<aramzine>. C'est lundi dernier, il y a de cela huit jours aujourd'hui, que nous enterrions son cercueil à Nevsky. Toi qui connais la localité, tu peux te donner à volonté le triste plaisir d'assister à cette triste cérémonie. Quand je suis entré dans cette église que tu connais bien, la première chose qui a frappé ma vue, c'était, à côté du cercueil, la grande figure de la pauvre Lise, grave et triste, occupée à arranger des bouquets de fleurs entassés sur le couvercle du cercueil. Tout à côté d'elle se tenait Madame Aurore K<aramzine>[5]. La messe était déjà commencée, lorsque arriva Sophie, conduite par son frère André. Celle-ci dès qu'elle aperçut le catafalque, alla se jeter, avec des sanglots, tout auprès, et bientôt elle fut obligée de quitter momentanément l'église parce qu'elle se sentait étouffer... Il y avait beaucoup de monde, la plupart en uniforme, et cette dernière réunion du salon Karamzine a été une des plus nombreuses. Le temps était magnifique — et la pauvre défunte, qui a toujours été si sensible au charme d'une belle journée, a dû être satisfaite de celle-ci... Le soir de ce jour je suis allé chez André K<aramzine>, où il n'y avait en fait d'étrangers, que Maltzoff et son neveu. J'ai revu encore la famille le lendemain matin, un peu avant leur départ pour la campagne... L'affliction est grande, bien que mitigée et comme dominée par une sorte d'exaltation,



grandement religieuse chez Lise, religieuse aussi chez Sophie, mais à sa manière. On se racontait les détails de cette mort, si prompte, si parfaitement dépouillée de ses angoisses et de ses affres habituelles, etc. etc. Il y avait tant de vie tout autour, que la mort disparaissait presque — et cependant quand le sentiment de la réalité prenait le dessus, la pauvre Lise se remettait à pleurer et à sangloter...

Voilà ce que Sophie m'a chargé de te dire: dans la dernière lettre qu'elle t'a écrite, sa mère voulait à toute force y ajouter quelques mots de sa main, et c'est elle, Sophie, qui, craignant sa faiblesse, l'en a empêché; la bonne vieille disait à cette occasion qu'elle te savait pour elle-même la tendresse d'une fille pour sa mère et qu'elle t'aimait bien aussi. Elles comptent rester à la campagne jusqu'à la fin d'octobre et, en rentrant en ville, elles iront ainsi que les Mestchersky habiter une maison située dans la Grande Конюшенная, bout à bout de la maison Пущин[6].

C'est mardi dernier que j'ai embarqué mon frère, non pas sur le bateau à vapeur, mais dans la malle-poste de Taurogen, p<our> Berlin[7]. Nos adieux ont été très affectueux aussi bien que les cinq semaines de notre séjour en commun. Je me suis senti le cœur léger et heureux, en y retrouvant toute mon ancienne affection pour lui. Au moment du départ il n'aurait pas mieux demandé que de rester, et se serait volontiers accommodé de cette chambre dont j'ai fait la rétrocession au propriétaire, pour y passer l'hiver auprès de nous. Mais les destins en avaient décidé autrement... Quant aux questions d'argent, j'ai noté, par écrit, tout ce qui s'y rapporte, et tu verras, ma chatte chérie, qu'il est loin d'être en reste vis-à-vis de nous... Ce qui n'est consolant après tout que d'une vilaine manière.

Hier, dimanche, je suis allé voir les petites à Smolna, mais en me donnant la fête de brûler la Léontieff, qui dans son incroyable sottise cherche à faire prévaloir le principe que ce n'est que chez elle et sous ses yeux, qu'on pouvait avoir des entrevues avec les enfants. Tout cela de sa part est fort peu sérieux et tombe, je le sais, devant la première objection. Mais tout cela, joint à l'incertitude du résultat, rend la position absurde et insoutenable à la longue... Voici la lettre que cette sotte femme t'adresse et qu'elle

m'a remise, je lui dois cet aveu, il y a bien huit jours. Je l'ai lue: elle ne dit rien... Quant à l'accueil de Dmitry pour cet hiver, je me flatte que d'ici jusqu'à ton retour j'aurai arrangé pour lui quelque chose qui pourra nous convenir.

Je voulais, par la poste d'aujourd'hui, écrire à ma mère, à qui je baise mille fois les mains. Voilà ce que tu lui diras. Ce n'est pas à Pélican, c'est à notre ami Hartmann que j'ai donné communication de la lettre de Pfoel. Et j'ai tout lieu de m'en applaudir, car je me suis très bien trouvé du régime qui s'en est suivi. C'est-à-dire, bains de siège tous les matins et quelques gouttes, etc. prises homéopathiquement. En un mot, je me porte presque aussi bien qu'elle peut le désirer... Mille amitiés à Dorothée et à son mari. L'un et l'autre ont été pleins d'affection et de complaisance pour moi dans mon dernier séjour, durant lequel j'ai été rarement aimable, je dois l'avouer... J'embrasse Anna et la remercie de sa lettre, à laquelle j'aurais certainement répondu, n'était l'incertitude quant à la possibilité de lui faire parvenir la réponse en temps utile. J'embrasse tous les enfants et ne suis inquiet que de toi seule...

Ton pauvre Vieux

Перевод:

Петербург. Понедельник. 17 сентября

Милая моя кисанька, зачем я не это письмо, оно, счастливое, полетит к вам в Москву. Но там ли ты уже? Я поверю в твое возвращение не раньше, чем узнаю, что ты в Москве... Если ты выехала из Овстуга 13-го, то как раз сегодня, 17-го, ты, самое позднее, должна приехать туда. Мое письмо отправляется сегодня в полдень и может дойти до тебя 19-го, ну 20-го. Застанет ли оно еще тебя? *That is the question**.

Вчера вечером я был во Французском театре; играли четыре новых пьесы. И вот в одном из антрактов злополучному Оттону[2] вздумалось сказать мне, что днем он видел кузину Муравьеву[3], что она спрашивала обо мне и говорила, будто собирается на

* Вот в чем вопрос (*англ.*)[1].

другой день навестить меня. Мной сразу же овладевает лихорадка. Я бросаю всё и как безумный мчусь к ней, в уверенности, что она должна сообщить мне нечто страшное... Оказалось, что она собирается ко мне, чтобы известить о предстоящей женитьбе ее младшего сына[4]. Никогда еще не был я в таком нелепом положении и никогда еще так не радовался этому...

Ты уже знаешь грустную новость о смерти Карамзиной. Мы схоронили ее неделю тому назад, в понедельник, в Александро-Невской лавре. Ты знаешь это кладбище и потому легко можешь доставить себе печальное удовольствие присутствовать при этом печальном обряде. Когда я вошел в хорошо тебе известную церковь, первое, что бросилось мне в глаза, — это бедная Лиза, серьезная и печальная; она раскладывала букеты цветов, лежавшие грудой на крышке гроба. Рядом с нею стояла Аврора Карамзина[5]. Софи с братом Андреем пришла, когда обедня уже началась. Едва увидев катафалк, она с рыданием бросилась к нему и вскоре должна была на время выйти из церкви, так душили ее рыданья... Было много народу, всё больше в мундирах, и это последнее собрание карамзинского салона было одним из самых многолюдных. Погода была великолепная, и бедная покойница, всегда столь чутко ценившая очарование погожих дней, должна была бы быть довольна этим днем... Вечером в тот день я навестил Андрея Карамзина, из посторонних там был только Мальцов с племянником. Я побывал у них и на другой день утром, незадолго до их отъезда в деревню... Горе их велико, хоть его и смягчает и как бы господствует над ним благоговейное чувство — возвышенно-набожное у Лизы, набожное и у Софи, но на свой лад. Говорили о подробностях этой столь скорой смерти, совершенно лишенной обычных страхов, тоски и т. д. Вокруг было столько жизни, что смерть почти исчезала, но все же, когда ощущение действительности возвращалось, бедная Лиза снова принималась плакать и рыдать...

Софи поручила мне передать тебе следующее: в последнем письме, которое она послала тебе, мать ее очень хотела собственноручно приписать несколько слов, но именно она, Софи, опасаясь ее слабости, воспрепятствовала этому; добрая старушка говорила ей тогда, что знает твою дочернюю

любовь к ней и тоже очень любит тебя. Они намереваются прожить в деревне до конца октября, а по возвращении в город поселятся вместе с Мещерскими на Большой Конюшенной, рядом с домом Пущина[6].

Во вторник я отправил брата в Берлин, но не пароходом, а в таурогенской почтовой карете[7]. Распрощались мы очень сердечно, как и жили совместно эти пять недель. У меня на сердце стало легко и радостно от того, что я вновь ощутил былое расположение к нему. Когда настало время уезжать, ему, видно, очень хотелось бы остаться провести зиму с нами, и он вполне удовольствовался бы той комнатой, которую я сдал хозяину. Но судьба распорядилась иначе... Что до денежных расчетов, я все записал, и ты увидишь, моя милая кисанька, что он далек от того, чтобы быть пред нами в долгу... что, в конце концов, не так уж утешительно.

Вчера, в воскресенье, я поехал навестить девочек в Смольный и заранее предвкушал удовольствие торжествовать над Леонтьевой; в своей невероятной глупости она старается подчинить всех правилу, по которому свидания с детьми могут происходить только у нее и в ее присутствии. Все это у нее очень несерьезно и отменяется — знаю — при первом же возражении. Но все это, в соединении с неопределенностью конечного результата, делает положение в конце концов нелепым и невыносимым... Вот тебе от этой глупой женщины письмо, должен признаться, она передала мне его уже с неделю тому назад. Я прочел его: она ни о чем не упоминает... Что до устройства Дмитрия на зиму, то я надеюсь, что к твоему приезду найду для него что-нибудь подходящее.

Я собирался с нынешней почтой отправить письмо маминьке; тысячу раз целую ей ручки. Передай ей следующее. Письмо Пфёля я передал не Пеликану, а нашему другу Гартману и очень рад этому, ибо чувствую себя отлично от прописанного им режима, т. е. от поясных ванн по утрам, каких-то капель в гомеопатических дозах и т. д. Словом, я чувствую себя почти так хорошо, как только она может того желать. Поклонись от меня Дашиньке с мужем. Оба они были весьма ласковы и снисходительны ко мне во время моего последне-

го пребывания там, между тем как я, признаюсь, редко бывал любезен. Целую Анну и благодарю ее за письмо, я на него, разумеется, ответил бы, если бы не сомневался, что ответ ее застанет. Целую всех детей, беспокоюсь же за одну тебя.

Твой бедный старик

27. Д. И. СУШКОВОЙ

20 сентября 1851 г. Петербург

Jeudi. 20 septembre

Ma chère Dorothée. Je me sens horriblement inquiet. La dernière poste ne m'a apporté aucune nouvelle d'Ovstoug. C'est la première fois que pareille chose arrive... Il est impossible que sans quelque raison grave ma femme ait laissé passer une poste sans m'écrire. – C'est impossible. – Je ne puis dire le supplice que j'endure depuis mardi dernier... Si rien n'est arrivé... si elles sont parties le 13, comme elles en avaient l'intention, elles doivent être arrivées le 17 – et alors je pourrai avoir aujourd'hui la nouvelle de leur arrivée[1].

Ah, quelle torture!.. Je me hais d'être fait comme je le suis, tout comme je hais les autres d'être faits autrement... Que Dieu me la conserve et me la rende, et je n'aurai plus rien à lui demander...

Bonjour, ma chère amie. Ce que je viens d'écrire est bien inutile, car ce n'est pas la réponse à ces lignes qui décidera de moi... Ah, que c'est une horrible chose que de pareilles appréhensions!

T. T.

Nicolas est parti le 11.

Перевод:

Четверг, 20 сентября

Любезная Дашинька, я страшно встревожен. Последняя почта не доставила мне никакого известия из Овстуга. Это случается впервые... Немыслимо, чтобы без какой-либо важной причины моя жена пропустила почтовый день, не написав мне. – Это невозможно.– Не могу сказать, какой пытке я

подвергаюсь с прошлого вторника... Если ничего не случилось... если они выехали 13-го, как предполагали, они должны были приехать 17-го — и тогда я могу получить сегодня известие о их прибытии[1].

Ах, какая мука!.. Я ненавижу себя за то, что создан таким, так же как ненавижу других за то, что они созданы иначе... Да сохранит и да возвратит мне ее Господь, и мне больше нечего будет просить у Него...

Прости, любезный друг. То, что я только что написал, весьма бесцельно, ибо не ответ на эти строки разрешит мою тревогу... Ах, что за ужасная вещь подобные опасения!

Ф. Т.

Николушка уехал 11-го.

28. Н. В. СУШКОВУ

27 октября 1851 г. Петербург

27 октября 1851

Николай Васильевич, я сердечно умилился при виде вашего писания: в вас поистине избыток христианской любви — неутомимая, неистощимая, всеобъемлющая попечительность... от кедра до иссопа[1], — от братниных поручений до моих стихов-подкидышей[2] — благоговею — и молчу...

Итак, роковой 52-й год ознаменуется новым раутом. — Он всплывет как розовый листок над этим всемирным водоворотом[3] — в этой мысли есть нечто несказанно трогательное, и я с умилением приношу вам мою лепту...[4]

Романс из Гёте несколько раз переведен был у нас, — но так как эта пьеса из числа тех, которые почти обратились в литературную поговорку, то она навсегда останется пробным камнем для охотников[5].

Но, переходя от рифм к поэзии, прошу при случае сказать графине Ростопчиной, что я все еще сетую о том, что не попал к ней прошлым летом в Вороново — и против всякого чаяния чаю ее приезда в Петербург.

Поручение ваше касательно Попова выполню[6], буде реченный Попов здесь, в чем сомневаюсь. — От князя Вязем-



ского теперь довольно трудно будет добиться стихов — даже и известия о нем весьма скудны и редки. То же самое и с братом Николаем Ивановичем. Я только и жду известия об его приезде в Париж, чтобы писать к нему, но в Париже ли он? Напишите. — Дашиньку от всей души обнимаю.

29. А. И. КОЗЛОВОЙ

Вторая половина апреля 1852 г. Петербург

Merci de la lettre. Je ne connais pas d'homme dont les *relics* fassent moins éprouver cette angoisse du néant de la vie qui s'empare de nous au contact d'un passé irrévocable comme tout ce qui nous reste de J<oukoffsky>[1]. Tant il y avait de la vie *véritable* dans cet homme.

Encore une fois merci.

T. T.

Перевод:

Благодарю за письмо. Я не знаю человека, чьи *relics** так прогоняли бы тот ужас перед ничтожностью бытия, который охватывает нас при соприкосновении с безвозвратно ушедшим, как все оставшееся нам от Жуковского[1]. Столько *истинной* жизни было в этом человеке.

Еще раз благодарю.

Ф. Т.

30. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

2 августа 1852 г. Петербург

Каменный Остров. 2 августа 1852

Grand merci, ma chère Anna, pour ta persévérance. Ta troisième lettre est vraiment une chose admirable. C'est vraiment là de la piété filiale. Ecrire pour la troisième fois à quelqu'un qui ne vous répond pas, peu de dévouements en seraient capables, et

* Букв.: останки; здесь: наследие (*англ. поэт.*).

je suis fier d'en trouver un pareil dans ma fille. Tu te seras souvenue, en m'écrivant, de ce vers si connu qui exprime les rapports des survivants aux trépassés:

On ne me répond pas, mais peut-être on m'entend...

Et cette confiance ne t'a pas trompée. Car rien dans les trois lettres que tu m'as écrites n'est resté sans écho. Sois en bien persuadée. Je serais bien heureux, ma chère Anna, si j'avais relativement à toi quelque chose de satisfaisant à t'annoncer, heureux pour mon propre compte, plus encore que pour le tien. Il y a peu de choses dont je me porte plus péniblement responsable que de ta destinée, et il me semble que c'est mon incurie seule qui fait avorter les bonnes chances que tu pourrais avoir. Je ne puis me persuader qu'il n'y ait pas de ma faute à n'avoir pas su, jusqu'à présent, tenir meilleur parti dans ton intérêt de la bienveillance que l'on me témoigne... et cependant chaque fois que je me trouve face à face de la position donnée il m'est décidément impossible d'agir autrement que je ne le fais. L'autre jour Mlle Euler[1] qui est une bonne fille, pleine de bonne volonté, mais quelque peu niaise, tout en me protestant aussi bien de la sincérité que de l'impuissance de son zèle, m'a demandé, pourquoi je ne faisais pas de démarche pour te faire placer auprès de la G<rande>-Duchesse Catherine?..[2] Eh bien, qu'en penses-tu? Mais je sais bien que ce n'est pas à toi, mais bien à moi à savoir ce qu'il y aurait à penser à ce sujet! Et il est certainement très fâcheux que je ne le sache pas... Quant à la démarche faite ou à faire auprès de l'Impératrice, me vient uniquement de Mlle Kozloff[3] qui d'ailleurs est à même d'être bien informée. C'est Antoinette Bloudoff qui plaide chaleureusement ta cause. Voyant l'accueil qu'on me faisait, j'ai pensé qu'en admettant l'exactitude de la version de Mlle K<ozloff> — on ne manquerait pas de m'informer du résultat obtenu, si l'on avait quelque chose de satisfaisant à m'apprendre... Et voilà ce qui m'a engagé jusqu'à présent à persévérer dans une attitude purement expectante, et il est de fait que je n'aurais gagné, à en sortir, que la certitude d'une non-réussite...

Je pense donc que nous pouvons, sans rien compromettre, attendre le retour des Bloudoff qui seront à Moscou au mois de septembre. Il me tarde bien d'y être déjà... Car je m'aperçois que



l'impossibilité de vivre à Ovstoug commence à pâlir devant l'impossibilité de vivre plus longtemps éloigné de maman. Toi aussi, ma bonne Anna, je te sais dans une position trop peu conforme à mes vœux pour toi, pour ne pas éprouver un véritable besoin de te revoir... La Kozloff vient de m'écrire[4] tout à l'heure qu'elle a reçu une lettre de toi dont elle se dit très heureuse...

Embrasse bien tes sœurs et prie-les de ma part de ne pas oublier qu'elles ont un très proche parent dans mon individu. Que Dieu vous conserve.

Перевод:

Каменный Остров. 2 августа 1852

Очень благодарен тебе, милая Анна, за твое упорство. Твое третье письмо поистине достойно восхищения. Вот где настоящая дочерняя любовь. Писать в третий раз человеку, который тебе не отвечает, на это способна не всякая преданность, и я горжусь, что обрел такую в своей дочери. Когда ты пишешь ко мне, вспоминай известный стих, выражающий отношение живых к умершим:

Мне не отвечают, но, может быть, меня слышат...

И эта вера тебя не обманет, потому что ни одно слово в трех твоих письмах не осталось без отклика. Будь в этом вполне уверена. Я был бы очень счастлив, милая Анна, если бы мог сообщить тебе что-то положительное относительно твоих дел, счастлив за себя даже больше, чем за тебя. Немногое найдется на свете, за что бы я испытывал более ответственности, чем за твою судьбу, и мне кажется, что только моя беспечность мешает осуществиться твоим надеждам. Я не могу убедить себя в том, что не моя ошибка, если до сих пор я не сумел наилучшим способом воспользоваться в твоих интересах тою благосклонностью, какую проявляют ко мне... и однако всякий раз, когда я оказываюсь в определенной ситуации, я решительно не могу действовать иначе, чем я поступаю. На днях м-ль Эйлер[1], добрая особа, исполненная готовности помочь, но несколько глуповатая, доказавшая мне вместе с чистосердечием своего усердия всю его несостоя-

тельность, спросила меня, почему я не предпринимаю попыток получить для тебя место при великой герцогине Екатерине?[2] А что ты думаешь об этом? Хотя я прекрасно понимаю, что не ты, а я должен знать, что думать по этому поводу! И мне, конечно, очень досадно, что я не знаю... Что касается до предполагаемого обращения к государыне, мне в голову приходит только Козлова[3], которая, впрочем, хорошо подходит к этой роли. Горячо печется о твоем деле и Антонина Блудова. Видя оказанный мне прием, я подумал, принимая во внимание аккуратность Козловой, что меня тотчас же известят о результате, если будет что-то положительное... Это-то и заставляло меня до сих пор занимать выжидательную позицию, и правда такова, что, изменив ее, я только уверюсь в неуспехе дела...

Итак, я полагаю, что мы можем без опасения испортить дело дожидаться возвращения Блудовых, которые будут в Москве в сентябре. Мне так не терпится уже теперь оказаться там... потому что я замечаю, что невозможность жить в Овстуге начинает бледнеть перед невозможностью жить вдали от мамá. А твое положение, моя славная Анна, слишком мало отвечает моим чаяниям относительно тебя, чтобы я не испытывал настоятельной потребности увидеть тебя... Только что мне подали письмо Козловой[4], которая сообщает, что получила от тебя письмо и очень ему рада...

Крепко обними своих сестер и проси их не забывать, что в моем лице они имеют очень близкого родственника. Храни вас Господь.

31. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

30 августа 1852 г. Петербург

Ma bonne Anna, que tu es une bonne et brave fille, un cœur généreux et dévoué... Certes je n'aurais pas mieux demandé que d'adopter ton projet[1]. C'eût été peut-être notre salut à tous. Mais pour qu'il réussisse, il fallait qu'il restât un secret pour maman. Au lieu de cela ton cher oncle[2] n'a eu rien de plus pressé que de le lui dénoncer et dès lors il est devenu irréalisable. — Maintenant

j'écris à maman pour lui dire que je serai à Moscou vers la fin de septembre et que je la conjure de venir m'y rejoindre...

Quant à vous, vous nous rejoindrez plus tard, par le premier traînage. Telle est ma proposition. Si elle la rejette et si elle s'obstine à passer l'hiver à la campagne, eh bien, je viendrai m'y établir auprès de vous, dussé-je en devenir fou d'ennui et d'exaspération. Ah, tout cela me rend bien malheureux. Maman m'assure et me jure ses grands Dieux que sa santé est fort bonne — tandis que vous, vous me dites le contraire... toi qui me connais, tu dois comprendre dans quel état cela me met. Que cela ne t'empêche pas, Anna, de me dire toute la vérité, telle que tu la vois. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir caché ou dissimulé ce qu'il m'importe tant à savoir.

Je sais que tu n'as aucun influence sur elle. Mais tu es religieuse. Prie, ma bonne Anna, prie Dieu qu'Il inspire à maman de faire ce qui est nécessaire à sa conservation.

Je pense beaucoup à toi et t'aime bien. Je vais ces jours-ci faire une tentative suprême en ta faveur ou plutôt dans notre intérêt à tous...[3]

J'embrasse tes sœurs et les remercie de leurs écritures. Que Dieu vous protège.

Перевод:

Моя славная Анна, какая же ты добрая и славная дочь, что за великодушное и преданное сердце... Конечно, я бы всей душой принял твой проект[1]. Возможно, он стал бы спасением для всех нас. Но чтобы он удался, следовало сохранить его в тайне от мама́. Вместо этого твой любезный дядюшка[2] не нашел ничего лучшего, как немедленно поведать его ей, и поэтому он стал неисполнимым. Теперь я пишу к мама́, что буду в Москве в конце сентября и умоляю ее приехать туда ко мне...

Что касается до вас, вы присоединитесь к нам позже, по первому санному пути. Таковы мои предположения. Если она не примет их и будет настаивать на том, чтобы остаться на зиму в деревне, что ж, я приеду туда к вам, даже если буду там безумно скучать и раздражаться. Ах, все это так досадно. Ма-

ма́ уверяет меня и клянется всеми богами, что здоровье ее превосходно — тогда как вы, вы утверждаете обратное... ведь ты меня знаешь и можешь вообразить, в какое состояние все это меня повергает. Но пусть это не мешает тебе, Анна, писать мне всю правду, какой она тебе видится. Я никогда не прощу тебе, если ты скроешь от меня и утаишь то, что мне так важно знать.

Я знаю, что ты не имеешь на нее никакого влияния. Но ты веришь в Бога. Молись, моя славная Анна, моли Бога, чтобы Он внушил мама́ делать все необходимое для ее здоровья.

Я много думаю о тебе и очень тебя люблю. На этих днях я сделаю окончательную попытку в твоих интересах, вернее, в интересах всех нас...[3]

Обнимаю твоих сестер и благодарю за их письма. Храни вас Господь.

32. Вел. кн. МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ

31 августа 1852 г. Петербург

Madame,

Il est des moments où on a un besoin si pressant d'une assistance divine, qu'on réclame avec une foi, une confiance sans bornes... C'est dans un pareil moment que je m'adresse à V<otre> A<ltesse> I<mpériale>.

Madame, Vous comprenez tout, et c'est pourquoi Vous sympathisez avec toutes les souffrances... Voilà ce que je me dis, ce que je me répète, pour oser Vous parler comme je vais le faire. Ma situation Vous est connue. J'ai trois filles que les circonstances gênées où je me trouve condamnent nécessairement et pour longtemps peut-être à une existence bien humble et bien étroite. Dès cet hiver, qu'elles passeront à la campagne, elles vont commencer l'apprentissage de cette destinée toute de privation et de regret...

Mais quelque triste que soit une pareille existence, surtout au début de la vie — après tout c'est celle de tout le monde, que devant toute autre que Vous, Madame, c'est à peine si j'oserai y insister. Aussi n'est-ce pas là qui m'afflige le plus. Ce qui me navre le cœur — c'est une autre destinée, volontairement et bien méritoirement associée à la leur... c'est pourquoi ne Vous l'avouerai-je

pas, Madame, — c'est le dévouement de ma pauvre femme qui, au mépris de sa santé et des soins qu'elle exigerait, se condamne à aller s'enfermer pour tout l'hiver à la campagne, à affronter cette vie d'isolement et de réclusion, qui n'est que de l'ennui pour de jeunes filles, mais qui pour une santé affaiblie, comme est la sienne, est pleine d'incontestable danger — et tout cela pour remplir un devoir qui serait le mien et que je ne me sens pas la force d'accepter.

Et voilà pourquoi dans le sentiment de ma détresse — c'est Votre Providence que j'invoque...

Il m'est pénible, plus pénible que je ne puis le dire, même devant Vous, Madame, d'exprimer un vœu que je ne me reconnais aucun droit de former... Et cependant il est de fait, que si par l'auguste intercession de V<otre> A<ltesse> I<mpériale> une de mes filles se trouvait placée à la cour, cela faciliterait pour les deux autres des arrangements de famille qui rendraient quelque liberté à mes mouvements et soulèveraient de dessus ma tête un poids qui l'écrase...

Cette faveur, encore une fois, je n'y ai aucun droit, mais elle m'est bien nécessaire.

Madame, chaque fois que dans ma vie j'ai eu le bonheur d'approcher V<otre> A<ltesse> I<mpériale>, Votre Présence m'a toujours laissé dans l'âme quelque chose de paticulièrement doux et bienfaisant. J'ai toujours trouvé qu'en Votre Présence, Madame, la vie était plus légère à porter... Pourriez-vous m'en vouloir, si dans cette gêne étroite j'ai presque involontairement recherché Votre main comme on cherche l'air et la lumière.— Non, le cœur de V<otre> A<ltesse> I<mpériale> m'est garant, que quelle que soit l'issue de ma demande[1], Elle daignera trouver qu'elle n'est ni importune, ni déplacée.

Je suis avec le plus profond respect

Перевод:

Милостивая государыня,

Есть мгновения, когда испытываешь столь настоятельную потребность в поддержке небес, что взываешь к ним с безгра-

ничной верой и надеждой... Именно в такой момент обращаюсь я к вашему императорскому высочеству.

Сударыня, вы все понимаете, поэтому вы сочувствуете любому страданию... Я бесконечно повторял себе это, прежде чем осмелиться заговорить с вами о том, о чем пойдет речь. Положение мое вам известно. У меня три дочери, и стесненные обстоятельства, в которых я нахожусь, неизбежно обрекают их, и, может быть, надолго, на жизнь весьма скромную и уединенную. Уже с этой зимы, которую они проведут в деревне, начнут они свыкаться с судьбой, исполненной горестей и лишений...

Но как ни грустно подобное существование, особенно на пороге жизни, — в конце концов, это общий удел, и, обращаясь не к вам, сударыня, а к кому-нибудь другому, я едва ли осмелился бы говорить об этом. Да и не это удручает меня более всего. Сердце мне раздирает мысль о другой судьбе, добровольно и самым достойным образом связанной с их судьбами... Это... признаюсь вам, сударыня, — это самоотверженность моей бедной жены, которая, пренебрегая здоровьем и тем уходом, который необходим для его поддержания, обрекает себя на заточение в деревне на всю зиму, на уединенную жизнь затворницы, что для молодых барышень всего лишь скучно, но для нее, с ее слабым здоровьем, несомненно еще и опасно, — и все это ради того, чтобы исполнить свой долг, который надлежало бы исполнить мне, но я не в силах на это пойти.

Вот почему, отчаявшись, я взываю к вашему покровительству...

Не могу сказать, как невероятно трудно мне выразить даже вам, сударыня, то заветное желание, высказывать которое я не имею никакого права, — я это сознаю... И тем не менее несомненно, что, если бы благодаря высочайшему ходатайству вашего императорского высочества одна из моих дочерей получила место при дворе, мне легче было бы устроиться в семье с двумя другими, и это хоть немного развязало бы мне руки и сняло бы с души камень, который на нее давит...

Повторяю, на эту милость я не имею никакого права, но она мне крайне необходима. Сударыня, всякий раз, когда мне

в жизни выпадало счастье приблизиться к вашему императорскому высочеству, в душе моей оставалось ощущение необычайного тепла и благодати. Рядом с вами я всегда ощущал, что бремя жизни становится легче... Неужели вы рассердитесь на меня за то, что в столь стесненных обстоятельствах я почти непроизвольно устремился к вашей руке, как стремятся к воздуху и свету. — Нет, сердце вашего императорского высочества мне порукой, что, каков бы ни был исход моей просьбы[1], ваше высочество соблаговолит не считать ее ни докучливой, ни неуместной.

Остаюсь с глубочайшим почтением.

33. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

13 сентября 1852 г. Петербург

Kamenoy Ostrov. *13 septembre*

Je voudrais bien demander à ton esprit qui est toujours *hovering* autour de moi, pourquoi ta dernière lettre qui est du 3 a mis dix jours pour me parvenir? Ah, si ce cher esprit qui m'obsède, à ce que tu prétends, a un peu de sagacité devinatrice, il doit s'être aperçu depuis longtemps combien je suis impatienté et ennuyé de ne pas *le voir*... Il me semble que de son côté il devrait éprouver quelque peu le besoin de sortir de son état d'invisibilité...

Je viens d'écrire à ma mère pour la prévenir de mon arrivée à Moscou du 20 au 25 de ce mois, et pour lui faire part de l'arrangement[1] que je t'ai proposé et qu'elle sera trop heureuse de voir accepté, puisque cela lui garantit la durée du séjour auprès d'elle du cher *Фединька*. Il y a aussi dans ma lettre une phrase à l'adresse des *Souchkoff*, pour leur signifier que je les priai de m'épargner leurs ridicules démonstrations de sollicitude qui ne contiennent qu'une chose, c'est la crainte très naïvement exprimée de se trouver dans le cas d'avoir quelque service à me rendre. Ceci est en réponse à la sotte lettre que m'a écrite le cher beau-frère.

J'irai ce matin voir *la Capello* qui est enfin rentrée en ville et qui désire avoir un entretien avec moi relativement aux commissions dont tu l'as chargée. J'ai de mon côté beaucoup d'informations à lui demander, comme p<ar> ex<emple> sur la grande

question des pelisses et fourrures, qui est en possession d'agiter beaucoup le Brochet et moi.

Je suis encore toujours aux Iles, comme tu vois — qui sont encore belles par moments, comme aujourd'hui par ex<emple>; le soleil est magnifique, et mon salon, ce pauvre salon, qui n'a jamais été honoré de votre présence, est en ce moment inondé de lumière, et comme les fleurs et les plantes sont déjà rentrées dans les serres, je me trouve plus verdoyant et plus fleuri que jamais, car je nage en pleins dahlias, pois de senteur, etc. etc., et de plus, on vient d'orner la petite esplanade qui est devant mon salon d'un hémicycle de caisses d'orangers. Et à propos d'impressions de cette nature, je viens de lire les deux volumes de *Tourgenieff*, Записки охотника[2], où il y a des choses admirables. C'est d'une puissance de talent qui m'a fait du bien. Un sentiment de la nature qui vous fait souvent l'effet d'une révélation. Il faut que nous lisions cela ensemble. — Et à propos de Tourgenieff, oui, j'ai revu la sourly M<estchersky>[3] qui est furieuse contre moi de n'avoir pas accepté son Reval les yeux fermés... Je dîne aujourd'hui chez la *Сухозанет*[4]. Et ce soir pour la dernière fois, j'espère, les Stroganoff... Ah, que c'est bête de se parler à 1000 verstes de distance.

Перевод:

Каменный Остров. *13 сентября*

Хотелось бы мне спросить у твоего духа, который постоянно *hovering*[*] вокруг меня, почему твоему последнему письму от 3-го числа потребовалось десять дней, чтобы до меня добраться? Ах, если этот милый дух, который — как ты полагаешь — меня преследует, имеет хоть немного способной угадывать проницательности, он давно должен был заметить, до какой степени мне не терпится *его увидеть*... Мне сдается, что, со своей стороны, и он должен был бы почувствовать некоторое желание выйти из состояния невидимости...

Я только что написал моей матери, чтобы предупредить ее о своем приезде в Москву между 20 и 25 этого месяца и что-

[*] парит (*англ.*).

бы поделиться с ней тем планом[1], который тебе предложил; она будет очень счастлива его осуществлением, ибо это обеспечит длительность пребывания при ней ее милого *Фединьки*. В моем письме есть одна фраза по адресу *Сушковых*, чтобы дать им понять, что я прошу их избавить меня от их смешных проявлений заботливости, не содержащих ничего, кроме весьма наивно выраженной боязни попасть в положение людей, обязанных оказать мне какую-либо услугу. Таков мой ответ на глупое письмо, которое мне написал мой милейший свояк.

Сегодня утром навещу *Капелло*, вернувшуюся наконец в город и желающую иметь собеседование со мной относительно данных ей тобою поручений. С своей стороны мне надо о многом порасспросить ее, например о важном вопросе шуб и мехов, немало тревожащем Щуку и меня.

Я, как видишь, все еще на Островах, они временами, например сегодня, все еще прекрасны. Солнце великолепно, и моя гостиная, бедная гостиная, ни разу не удостоенная твоим присутствием, в настоящую минуту залита светом, а так как цветы и растения уже водворены в оранжереи, то я чувствую себя более зеленеющим и более цветущим, чем когда-либо, ибо я утопаю в георгинах, душистом горошке и т. д. и т. д.; к тому же маленькую эспланаду перед моей гостиной только что украсили полукругом апельсиновых деревьев в ящиках.

Кстати о впечатлениях подобного рода, — я только что прочитал два тома *Тургенева*, «Записки охотника»[2], где встречаются чудесные страницы, отмеченные такой мощью таланта, которая благотворно действует на меня; понимание природы часто представляется вам как откровение. Нам нужно прочитать это вместе. — Кстати, о Тургеневе, да, я видел sourly* Мещерскую[3], которая в ярости на меня за то, что я не согласился на ее Ревель с закрытыми глазами... Сегодня я обедаю у г-жи *Сухозанет*[4], а вечером надеюсь в последний раз быть у Строгановых... Ах, как грустно разговаривать на расстоянии 1000 верст.

---

* недовольную (*англ.*).

34. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

10 декабря 1852 г. Петербург

Mercredi. 10 décembre 1852

Ma chatte chérie. Au moment de t'écrire, j'ai relu ta dernière lettre du 30 nov<embre>. — J'ai toujours sur moi la dernière lettre reçue, jusqu'à l'arrivée de la suivante. Ah combien tous ces palliatifs sont misérables. Comme tout est nul et impuissant contre l'absence... Quelle sottise et quelle trahison envers nous-mêmes que cette séparation... Eh bien, soit... Il nous est démontré maintenant que nous pouvions vivre des semaines, des mois entiers, séparés l'un de l'autre. Il faut supposer que nous avons en poche une promesse signée du bon Dieu de nous faire vivre cent ans au moins... Fatalité, fatalité!.. Et ce qui m'irrite le plus, ce qui me révolte le plus contre cette odieuse séparation, c'est de penser qu'il n'y a qu'un seul être au monde dont, quoique je fasse, je ne suis jamais séparé et cet être... c'est moi-même... Ah que je suis las et fatigué de ce triste compagnon.

Et moi aussi j'avais pensé que le 6 décembre dernier nous apporterait la solution définitive[1]. Il n'en a rien été pourtant... Et cependant les personnes les mieux informées m'assurent que la chose est certaine, qu'elle est faite. Ainsi soit-il. D'autant mieux qu'il paraît que ces délais vous arrangent.

Au reste les grâces ont plu ce jour-là. Parmi nos connaissances l'excellent comte Bloudoff a eu le portrait accompagné d'un rescrit excessivement bienveillant. Notre pauvre Sévérine a eu le cordon de St-Alexandre, ce qui l'a fait passer subitement du ton de la complainte à l'accent du triomphe, de l'élégie au dithyrambe... En outre, il y a eu quatre demoiselles qui ont eu le chiffre[2], ce qui m'a fait un véritable plaisir, attendu que c'est quatre concurrentes de moins. Ces 4 élues sont la fille du P<rinc>e Michel Gallitzine, Hélène, Mlle Pouschkine, la fille aînée du poète. Quant à la seconde, Natalie, elle va se marier avec le fils du g<énér>al Doubbelt. Puis Mlle Davidoff, la fille de mon ami D<avidoff>, et enfin la fille aînée de Mad. Smirnoff. Encore une fois, c'est quatre concurrentes de conjurées... Et puisque me voilà en train de faire le nouvelliste, voici quelques nouvelles dont vous ferez ce qui bon vous semble... La pau-



vre Comtesse Woronzow, depuis son retour ici a manqué mourir d'une espèce de petite vérole qu'elle a prise en route. Maintenant on ne craint plus pour sa vie, mais on n'est rien moins que rassuré sur les conséquences de la maladie pour sa peau et son teint. Et il n'y a pas dix ans qu'elle s'était fait revacciner... Autre histoire. Tu te souviens peut-être d'un P<rinc>e Troubetzkoy, que nous avons connu à Munich et qu'on disait marié à la Talioni[3]. Plein marié il ne l'était guères. Mais il a pendant des années vécu publiquement avec elle, et en a eu, tout aussi publiquement, un enfant qui à l'heure qu'il est est un garçon de dix à onze ans. En dernier lieu ce P<rinc>e Troubetzkoy est venu ici et après avoir passé tout l'été à Pétersbourg a obtenu, non sans peine, la permission de retourner à l'étranger pour quatre mois. Maintenant il vient d'informer le gouvernement qu'il allait prendre en légitime mariage, non pas Mlle Talioni — mais sa fille, une jeune personne de seize ans, que l'on dit fort jolie et qui, grâce à cette combinaison originale, va devenir la belle-mère de son propre frère. On a oublié de me dire, si à cette occasion George Sand ne soit pas invitée à venir présider à ce mariage, comme *mère d'honneur*[4]. Ce Troubetzkoy au demeurant est un charmant garçon. C'est le frère de celui qui a si malencontreusement enlevé la Жадимировская[5]. — Le commérage écrit à l'inconvénient d'absorber beaucoup de papier. C'est ce qui fait que j'en supprime, et des meilleurs, mais voici encore une petite nouvelle toute innocente. C'est celle du mariage de Mlle Anolide Wielhorsky[6] avec un P<rinc>e Шаховской. La pieuse fille ne s'est, dit-on, décidée à ce mariage, que pour rendre un peu de calme à sa mère qui est mourante... Cette bonne action n'a pas été perdue pour elle, car sa chevelure a merveilleusement épaissi depuis l'hiver dernier.

Quant aux raouts, ils vont leur train. Hier, mardi, c'était le raout de la Seebach. Je n'y suis pas allé ni cette fois-ci, ni l'avant-dernière. Ce soir grande cohue chez la Rasoumoffsky. — Demain je dîne chez les André, avec Mad. Kalergy et sa cousine, et après-demain chez mon ami Davidoff. Et si j'étais un voyageur anglais, arrivé pour six semaines à Pétersbourg, j'aurais, en rentrant le soir *dans ma chambre d'auberge*, j'aurais, dis-je, trouvé cette existence supportable. Mais dans ma position je la trouve stupide et nauséabonde. A propos de la Kalergy, c'est une de ces natures que

tu aurais admirablement comprises et appréciées à la première vue et qui t'aurait intéressée, moins par elle-même, que par les réminiscences que sa manière d'être t'aurait suggérées. Elle est très conteuse et se fait écouter avec plaisir. Mais la pauvre chère femme, habituée à sa vie parisienne, doit parfois se sentir étouffée dans le vide où elle vit maintenant.

C'est moi-même qui ai remis à la P<rinc>esse S<ophie> Mestchersky ta lettre qui l'a enchantée, et qu'elle a aussitôt communiquée à Mad. Maltzoff, pour lui faire part des choses aimables que cette lettre contient à son adresse. Elle ne m'a pas dissimulé que vous y parliez aussi de moi avec quelque bonté... La pauvre vieille fille est très péniblement préoccupée de la prochaine arrivée de la *Viardot*[3], dont elle redoute et jalouse l'influence même à distance sur son cher Tourgenieff. Toute vieille fille est un peu anthropophage, par état. — Et à propos de Tourgenieff, j'ai bien pensé que tu apprécierais son livre. — Il y a là une plénitude de vie et une puissance de talent bien remarquables. Rarement on a vu réunis dans une si large mesure et un si parfait équilibre deux éléments difficilement conciliables: la sympathie humaine et le sentiment artistique. Et d'autre part, par une combinaison non moins remarquable, la réalité humaine, dans ce qu'elle a de plus intime, et l'intimité de la nature dans ce qu'elle a de plus poétique. Et quand on pense que par je ne sais quel brutal malentendu... Puisse-t-il, l'artiste, trouver dans son talent assez d'air et de lumière pour empêcher l'homme d'étouffer... S'il vient vous voir, ce que je vous désire de tout mon cœur, — dis-lui bien des choses affectueuses de ma part...

Ah ma chatte chérie, je finis comme je commence. Nous n'aurions jamais dû accepter cette séparation.

Je suis bien coupable vis-à-vis d'Anna. Elle m'est bien chère pourtant, et je suis toujours heureux de parler d'elle avec les personnes qui l'aiment.

Перевод:

Среда. 10 декабря 1852

Милая моя кисанька, прежде чем писать тебе, я перечитал твое последнее письмо от 30 ноября. Последнее полученное

от тебя письмо всегда при мне до прибытия следующего. Ах, до чего жалки эти временные облегчения, как все ничтожно и бессильно перед отсутствием. Что за нелепость и что за измена по отношению к нам самим — эта разлука... Ну, что же, пусть... Нам доказано теперь, что мы можем жить недели, даже целые месяцы, в разлуке друг с другом. Остается предположить, что в кармане у нас обещание, подписанное Господом Богом, что мы проживем по меньшей мере сто лет... Судьба, судьба!.. И что в особенности раздражает меня, что в особенности возмущает меня в этой ненавистной разлуке, так это мысль, что только с одним существом на свете, при всем моем желании, я ни разу не расставался, и это существо — я сам... Ах, до чего же наскучил мне и утомил меня этот унылый спутник.

И я также думал, что 6 декабря принесет нам окончательное решение[1]. Однако этого не случилось... А между тем наиболее осведомленные лица уверяют меня, что дело бесспорно, что оно решено. Да будет так. Тем более что эти отсрочки, по-видимому, тебя устраивают.

Впрочем милости так и сыпались в этот день. Из наших знакомых милейший граф Блудов получил портрет при чрезвычайно милостивом рескрипте. Наш бедный Северин получил ленту Св. Александра Невского, что заставило его сразу же перейти от жалостливого тона к торжествующему, от элегии к дифирамбу... Сверх того, четыре барышни получили шифр[2], что доставило мне истинное удовольствие, так как теперь четырьмя конкурентками меньше. Эти 4 избранницы: дочь князя Михаила Голицына — Елена, мадемуазель Пушкина, старшая дочь поэта, — вторая же — Наталья, выходит замуж за сына генерала Дубельта, — затем мадемуазель Давыдова, дочь моего приятеля Давыдова, и наконец старшая дочь г-жи Смирновой. Таким образом, устранены четыре конкурентки... Но раз уж я вступил на путь летописца, вот тебе несколько новостей, с которыми ты можешь делать что тебе заблагорассудится. Бедная графиня Воронцова, со времени своего возвращения сюда, чуть было не умерла от чего-то, похожего на оспу, которую она подхватила в дороге. За ее

жизнь теперь уже не опасаются, но далеко не известно, каковы будут последствия болезни для ее кожи и цвета лица. И ведь не прошло десяти лет с того времени, как она последний раз привила оспу... Другая история. Быть может, ты помнишь князя Трубецкого, которого мы знали в Мюнхене и о котором говорили, что он женат на Тальони[3]. Женат он не был, но в течение многих лет открыто жил с нею и, так же открыто, имел от нее ребенка; в настоящее время этому мальчику десять-одиннадцать лет. Так вот, этот князь Трубецкой приезжал сюда и, проведя все лето в Петербурге, добился, не без труда, разрешения вернуться за границу на четыре месяца. А сейчас он только что известил правительство, что собирается вступить в законный брак не с мадемуазель Тальони, но с ее дочерью — шестнадцатилетней девушкой, говорят, очень хорошенькой, которая, благодаря этой своеобразной комбинации, станет мачехой собственного брата. Мне не сказали только, пригласят ли по этому случаю Жорж Санд председательствовать на этой свадьбе в качестве *посаженой матери*[4]. Впрочем, этот Трубецкой — славный малый. Он брат того, который так неудачно увез Жадимировскую[5]. — Написанная сплетня имеет то неудобство, что поглощает много бумаги. Вот почему опускаю другие, и даже получше... Но вот одна небольшая новость совершенно невинного свойства, это — свадьба мадемуазель Анолиды Виельгорской[6] с неким князем Шаховским. Благочестивая девушка, говорят, решилась на этот брак только для того, чтобы несколько успокоить свою умирающую мать. Она не осталась невознагражденной за это доброе дело, ибо по сравнению с прошлой зимой ее шевелюра стала удивительно густой.

Что касается раутов, они продолжаются обычным порядком. Вчера, во вторник, был раут у госпожи Зеебах. Я не был ни на этом, ни на предпоследнем. — Сегодня вечером большая сутолока у Разумовской. — Завтра я обедаю у Андрея Карамзина с г-жой Калерджи и ее кузиной, послезавтра — у моего приятеля Давыдова. И если бы я был путешественником-англичанином, приехавшим в Петербург на полтора месяца, я бы, вернувшись вечером *в свою комнату в*

гостинице, нашел такое времяпрепровождение сносным, но в моем положении я нахожу его бестолковым и тошнотворным. Кстати о Калерджи, — это одна из тех натур, которую ты превосходно поняла бы и оценила бы с первого разу и которая заинтересовала бы тебя не столько сама по себе, сколько по тем воспоминаниям, которые вызвала бы в тебе ее манера держаться. Она любит рассказывать, и ее слушаешь с удовольствием. Но бедняжка привыкла к своей парижской жизни и должна подчас задыхаться в пустоте, которая ее теперь окружает.

Я сам вручил княжне Софье Мещерской твое письмо, оно ее восхитило, и она тотчас же передала его г-же Мальцовой, чтобы поделиться с ней любезностями, содержащимися в этом письме по ее адресу. Она не утаила от меня и того, что ты с некоторой добротой отозвалась в нем обо мне... Бедная старая дева очень серьезно озабочена предстоящим приездом *Виардо*[7], она ревниво опасается того влияния, которое та, даже на расстоянии, оказывает на ее милого Тургенева. Каждой старой деве полагается быть немножко людоедкой. Кстати о Тургеневе, я так и думал, что ты сумеешь оценить его книгу. — Полнота жизни и мощь таланта в ней поразительны. Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: чувство глубокой человечности и чувство художественное; с другой стороны, не менее поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного, и сокровенного природы со всей ее поэзией. И когда подумаешь, что вследствие какого-то грубого недоразумения... Надо пожелать ему как художнику найти в своем таланте достаточно воздуха и света, чтобы не дать в нем задохнуться человеку... Если он вас навестит, чего я вам желаю от всего сердца, передай ему от меня душевный привет...

Ах, милая моя киска, я кончаю тем, чем начал. Мы никогда не должны были бы соглашаться на эту разлуку.

Я сильно виноват перед Анной. Между тем она мне очень дорога, и я счастлив говорить о ней с людьми, которые ее любят.

35. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

17 декабря 1852 г. Петербург

Mercredi. 17 décembre 1852

Reçu ta chère lettre du 6 décembre. Ma chatte, ma chatte chérie, si tu pouvais savoir l'effet que me font tes lettres. Chaque fois qu'il m'en vient une, il me semble en la lisant éprouver le sentiment d'angoisse fiévreuse et impuissante qu'éprouve un homme endormi par la léthargie et qui à travers sa mort factice perçoit et distingue les voix et la parole des vivants... Mais pourquoi suis-je donc encore ici? Quel est cet engourdissement qui m'étouffe? Que fais-je ici? Quel est donc l'intérêt assez puissant pour m'obliger à lui subordonner le seul intérêt réel de ma vie?.. J'ai beau faire, je sens la main de la fatalité dans ces absurdes délais... Non, encore une fois, nous ne devions pas nous séparer... C'est un crime envers nous-mêmes que je n'aurais jamais dû laisser commettre... Tu es bien bonne de m'aimer comme tu le fais. Entre nous soit dit, je ne connais pas d'être au monde, qui soit moins digne d'affection que moi. Aussi, toutes les affections qui sont venues s'égarer sur moi m'ont-elles toujours fait l'effet d'une méprise, la tienne seule excepté. Car je sais que tu me connais d'outre en outre et c'est ce qui fait que je la sens comme la grâce de Dieu. Je la mérite bien peu... Et cependant, ma chatte, il est impossible, je le sens, que tu ne m'aimes pas... Impossible. J'ai eu beau accumuler les sottises, les contradictions, les inconséquences. Il n'y a dans tout mon être rien de réel que toi...

Est-il donc vrai, ma chatte, que tu sentes souvent ma présence autour de toi?.. Eh bien, moi, cette consolation me manque, une ou deux j'ai eu en entendant des pas dans la chambre voisine cette cruelle et bien douce illusion de ton approche. Mais maintenant cette sensation m'a quitté. Je ne sens la séparation que comme un néant et un abîme.

Et encore une fois, comment suis-je assez stupidement ennemi de moi-même pour me laisser retenir par toutes ces bêtes de considérations? Et cependant il est de fait qu'un départ en ce moment-ci précisément n'aurait pas le sens commun, car, n'en déplaise à la bonne Antoinette B<loudoff>, l'af-



faire maintenant me paraît *certaine*. Je fonde cette certitude sur les propres paroles de l'Impératrice qui a dit dernièrement à la Maltzoff[1] qu'elle n'aurait pas manqué de placer Anna comme demoiselle d'honneur à sa propre cour, si elle n'avait su que la Grande-D<uchesse> Cesarevna s'était décidée à la prendre auprès d'elle. — Ceci me paraît explicite, à moins d'infirmer le témoignage de la Maltzoff... Ainsi je pense que nous ne tarderons guères à apprendre la confirmation officielle de la nouvelle et que les fêtes ne se passeront pas sans nous l'apporter. — Mais ceci obtenu, qu'arrivera-t-il après?

Vois-tu, ma chatte, je me sens tellement découragé et désorienté qu'il me semble que quoiqu'il arrive, jamais je ne retrouverai mon intérieur d'autrefois et que je suis condamné à rester un *outlaw* tout le reste de mes jours... Où, quand et comment mon pas *triste et fatigué* finira-t-il par te rejoindre? Ah oui, je me sens bien fatigué... Mais ne va pas t'imaginer que ma santé — ma santé physique — y soit pour quelque chose. Il n'en est rien, je te le jure. Elle est aussi bonne que possible et l'anniversaire de ce rhumatisme goutteux dont tu t'es souvenue, s'est passé inaperçu. J'aimerais bien avoir la même certitude relativement à toi. Mais ta manière brève et vague de me parler de ta santé m'a depuis longtemps paru fort suspecte. Pas une fois tu ne m'as dit si tu étais toujours encore sujette aux constipations, pas un mot de tes saignements de nez, de tes maux de tête, des bruits dans les oreilles... Et tu t'imagines que sur la foi de ce silence je serai assez niais pour me persuader que le séjour à Ovstoug t'a complètement affranchie de toutes tes infirmités... Non, ma chatte... Ne te fais pas de grâce cette illusion et sache que je suis toujours bien et dûment inquiet de tout ce que tu me laisses ignorer.

Eh bien, êtes-vous enfin en possession du bienheureux *Tourgenieff*?[2] Je parierai volontiers que *non*. Quant à l'excellente P<rinc>esse Mestchersky, qui, par égard pour la Providence, ne met jamais en doute la réussite de ses vœux, elle vous a déjà vu réunis, vu et entendu,— et *cette vision* à laquelle elle rattache toute sorte de prévisions, l'a consolé un peu de l'arrivée prochaine de la Viardot... *Vieille fille, vieille fille*, ton nom est Sophie, a dit Shakespeare.

9 Зак 7712

Ce matin je suis allé voir la Capello, qui t'a informée déjà, à ce qu'elle m'a dit, de son entrée immédiate chez un g<énér>al X. Je voudrais m'en aller d'ici avant son départ à elle. Demain, jeudi, j'irai voir Dmitry dans sa pension. Il passera <1 нрзб> les fêtes avec la C<apello> chez les Melnikoff[3]. Que toutes ces dates me sont devenues odieuses. Mais comment ai-je pu souscrire à cette ignominie d'existence du lassé?.. Quant aux fashionables mondains, nous avons eu dimanche dernier un *raout* chez les André, avant-hier une small party chez les Meyendorff, où se trouvaient les Meyendorff de Vienne et la Kalergy, etc., et tout à l'heure je viens de recevoir de Sophie K<aramzine> une invitation pressante de venir ce soir chez eux, en raison de la Kalergy.

Mais rien de tout ceci ne me console de rien. Il s'agit bien de cela...

Je suis toujours très coupable vis-à-vis d'Anna[4].

Перевод:

Среда. 17 декабря 1852

Получил твое милое письмо от 6 декабря. Киска, милая моя киска, если бы ты знала, какое действие оказывают на меня твои письма. Каждый раз, как от тебя приходит письмо, читая его, я испытываю ощущение жгучей и бессильной тоски, как впавший в летаргию человек, который сквозь свою мнимую смерть различает и воспринимает голоса и речи живых... Но почему я все еще здесь? Что за оцепенение мной овладело? Что я здесь делаю? Что это за интересы, и, очевидно, достаточно серьезные, если я вынужден подчинить им единственное, что меня действительно интересует в жизни?.. Ничего не могу с собой поделать, мне чудится в этих нелепых отсрочках рука судьбы... Нет, нет, мы не должны были расставаться... Это преступление по отношению к нам самим, я не должен был допускать, чтобы оно свершилось... Спасибо тебе за то, что ты так меня любишь. Говоря между нами, я не знаю никого, кто был бы менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня удивляло, не удивляет меня только твоя любовь. Ибо я убежден, ты до кон-



ца меня знаешь, и воспринимаю твою любовь как Божий дар. Я совсем ее не заслуживаю... и все же, киска, ты не можешь меня не любить, я это чувствую... Не можешь. Пусть я делал глупости, поступки мои были противоречивы, непоследовательны. Истинным во мне является только мое чувство к тебе...

Это правда, киска, что ты часто чувствуешь рядом с собой мое присутствие?.. У меня этого утешения нет, только раза два, услышав шаги в соседней комнате, я испытал приятную и горькую иллюзию, будто приближаешься ты, но ощущение это больше не повторилось, и теперь я воспринимаю разлуку только как небытие и как пропасть между нами.

Да, как это глупо, до какой же степени я враг самому себе, если все эти дурацкие соображения могут удерживать меня здесь? И вместе с тем, если бы я уехал именно сейчас, это, несомненно, противоречило бы здравому смыслу, ибо, нравится это или нет милейшей Антуанетте Блудовой, дело наше, по-видимому, можно считать *решенным*. Я исхожу в своих предположениях из собственных слов императрицы, недавно сказавшей Мальцовой[1], что она непременно взяла бы Анну к своему двору, если бы не знала о том, что великая княгиня-цесаревна решила взять ее к себе. — По-моему, это звучит вполне определенно, правда, если не брать под сомнение правдивость слов Мальцовой... Итак, я думаю, что вскоре эта новость будет иметь официальное подтверждение, и мы получим его еще до конца праздников. — Но когда с этим будет покончено, что будет дальше? Знаешь, киска, я сейчас так упал духом, так выбит из колеи, что мне кажется, что бы ни случилось, никогда уже я не обрету свой прежний внутренний мир и обречен до конца своих дней оставаться *outlaw*...* Когда же наконец, *грустный и усталый*, добреду я до тебя, где и как это произойдет? Да, я чувствую себя очень усталым... Не подумай только, что я хоть в какой-то мере имею в виду свое здоровье, свое физическое состояние. Совсем нет, честное слово. Со здоровьем, насколько это возможно, все хорошо, и годовщина приступа подагры, о котором ты вспоминала, прошла незамеченной. Очень бы хотелось

---

* изгоем (*англ.*).

знать наверное, что у тебя тоже все хорошо, но твоя манера писать о своем здоровье кратко и неопределенно уже давно кажется мне подозрительной. Ни разу ты не писала, страдаешь ли, как прежде, желудком, ни слова не пишешь о том, как твои кровотечения из носа, как обстоит с головными болями, с шумом в ушах. И ты воображаешь, будто твое молчание означает для меня, простака, что пребывание в Овстуге полностью избавило тебя ото всех твоих недомоганий... Нет, киска, не предавайся, ради Бога, подобным иллюзиям, знай, что меня всегда самым серьезным образом беспокоит все, о чем ты умалчиваешь.

Ну что, заполучили вы наконец счастливчика *Тургенева*?[2] Готов поспорить, что *нет*. Что до милейшей княжны Мещерской, которая верит в Провидение и никогда не сомневается в исполнении своих чаяний, — она вас уже видела вместе, — видела и слышала — и это *видение*, с которым она связывает всякого рода предвидения, немного утешило ее в горе по поводу предстоящего приезда Виардо. *Старая дева, старая дева*, твое имя Софи, как сказал Шекспир.

Сегодня утром я повидал Капелло, она говорит, что уже сообщала тебе, что поступает на днях к генералу X. Я хотел бы уехать отсюда до ее отъезда. Завтра, в четверг, пойду в пансион повидаться с Дмитрием. Праздники он проведет с Капелло у Мельниковых[3]. Все эти праздничные даты так мне опостылели. Как же я мог избрать этот постыдный, этот низкий образ жизни?.. Что касается fashionables*, в прошлое воскресенье здесь был *раут* у Андрея, позавчера small party** у Мейендорфов, где были Мейендорфы из Вены, Калерджи и пр., а только что я получил приглашение от Софи Карамзиной, она усиленно просит прийти к ним сегодня вечером в связи с тем, что будет Калерджи.

Но ни одно из этих развлечений ничуть меня не развлекает. Дело вовсе не в этом...

Я все еще очень виноват перед Анной[4].

---

* светского общества (*англ.*).

** небольшой прием (*англ.*).

36. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

25 февраля 1853 г. Петербург

Mercredi. 25 février 1853

Ma chatte chérie. Voilà huit jours que je ne t'ai pas écrit et ces huit jours m'ont paru une éternité. J'ai bien reçu depuis ma dernière lettre deux lettres de toi. Mais tous ces palliatifs sont usés. Décidément, je ne m'habitue pas, je ne saurai m'habituer à cet absurde contresens de notre séparation. Cela m'irrite autant pour le moins que cela m'afflige. Cela rentre pour moi dans la catégorie des accidents malencontreux, d'autant plus irritants qu'ils semblent si parfaitement gratuits. Tu comprends donc quel effet m'a dû faire une phrase d'une de tes dernières lettres où tu me parles du contentement que j'ai dû éprouver à mon retour à P<étersbourg>[1] de me trouver replacé dans mes habitudes[2] avec le sentiment d'une bonne action accomplie derrière moi, et cette bonne action, c'est d'avoir été te voir... Et je n'exécrerais pas un état de choses qui te démoralise au point d'avoir de pareilles idées... Car de ta part toute parole a sa valeur.

J'ai bafoué, comme elle le méritait, la stupide proposition de faire arriver ici Kitty avant vous. Je n'ai pas besoin de t'expliquer que ce qui m'a le plus irrité dans cette proposition, ce n'est pas ce qu'elle a d'absurde en elle-même, mais ce bête de parti pris de subordonner toujours à des considérations comparativement secondaires ce qui est <1 нрзб> essentiel pour moi. Que je suis donc excédé de ce malentendu.

Je me flatte que ce que j'ai écrit à ma sœur à cette occasion, leur fera passer l'envie de te molester par leurs absurdes suggestions. Mais maintenant c'est à toi que je m'adresse pour te demander en grâce de prendre en considération ce que je m'en vais te dire. Je viens d'apprendre par quelqu'un qui arrive d'Orel, que l'hiver a complètement disparu de chez vous, les rivières débâclées et les routes impraticables... Eh bien, je te supplie, ma chatte chérie, — les choses étant ainsi — de ne pas t'aventurer à te mettre en route, avant que tout ne soit rentré dans l'ordre, et que tu ne puisses faire le voyage de Moscou avec *une entière sécurité*... Et je n'insiste sur cette recommandation que pour conjurer



l'effet que pourrait avoir sur toi la crainte de compromettre, par un retard de quinze jours, les chances de Kitty. Et d'abord dis-toi bien que les chances que Kitty peut avoir sont jusqu'à présent quelque chose d'assez vague et de peu appréciable, et qu'en tout état de cause, quinze jours de retard ne sauraient rien compromettre. Et d'ailleurs si *moi, moi,* je m'impose le sacrifice de ce retard, dans l'intérêt de ta sécurité, j'entends que les autres s'y résignent aussi. Ainsi donc voilà qui est convenu, n'est-ce pas? Tu ne partiras que quand tu pourras voyager avec toutes les *chances possibles de sécurité*...

A en croire une lettre de Tourgenieff[3] à la P<rinc>esse Sophie M<estchersky>, et dont celle-ci suivant son habitude m'a donné communication, il doit à l'heure qu'il est être arrivé à Ovstoug, depuis une huitaine de jours... La dénomination de la chambre préparée pour lui se trouverait donc finalement justifiée. Mais je ne me déciderai à admettre le fait comme possible, que quand je le saurai accompli. Une fois admis, je t'avoue que je serai très curieux d'avoir des détails par toi sur la manière dont les choses se sont passées. Il est impossible, tel que je crois le connaître, que tu ne lui inspires une très vive sympathie. Le même instinct de sympathie qui lui révèle ce qu'il y a de plus intimement poétique dans la nature même sous l'incognito qu'elle affecte, dans les tristes et ternes régions que nous habitons, le même instinct lui servira à te comprendre et à t'apprécier... Et je l'estime assez haut pour être persuadé qu'il ne subira pas le charme à demi.

Je reçois à l'instant même une invitation à dîner pour aujourd'hui chez la Grande-D<uchesse> Hélène. C'est sa troisième tentative depuis mon retour. Espérons qu'elle réussira. — On est ici en ce moment au plus fort du tourbillon. Deux fois par jour spectacles aux trois théâtres. Bals tous les jours, comme de raison. Mais je renvoie pour les détails à Anna.

Mais voici le barbier qui arrive et vient avec le fil de son rasoir couper celui de mon discours...

Après minuit. Voilà ce que j'ai fait depuis le moment où je t'ai quittée. Je suis allé voir Anna que j'ai trouvée dînant en tête-à-tête avec la petite Smirnoff. Il m'arrive assez souvent d'assister à ses repas, mais il ne m'est arrivé qu'une fois d'y prendre part et

depuis je me suis bien promis de ne pas retomber dans cette erreur... Vers les 6 heures je me suis transporté chez la G<rande>-D<uchesse> Hélène, où il n'y avait d'autres invités que la vieille Apraxine[4] et Antoinette Bloudoff. On a dîné sur le pouce, dans le même salon où nous avons passé l'année dernière cette soirée improvisée dont on nous a accusé d'avoir méconnu la portée... Il a beaucoup été question pendant le dîner d'un bal que la G<rande>-Duchesse s'est laissé imposer pour le dernier dimanche du Carnaval, au grand désespoir d'André—Aurore qui avaient retenu ce jour-là pour leur folle journée et qui se trouvent obligés maintenant d'antidater leur bal de vingt-quatre heures. Il paraît que je tenais beaucoup à approfondir le désarroi, car au sortir du palais Michel je me suis transporté à l'hôtel de Mad. Aurore, que j'ai trouvée en proie aux préoccupations de cette concurrence forcée. J'ai achevé ma soirée chez les Karamzine—Mestchersky — où il a été de nouveau beaucoup question de toi — et de l'époque probable de ton retour. Mais pour être vrai, je dois t'avouer que tout ce parlage bienveillant à ton sujet a cessé de me plaire. Car il est clair que tous ces braves gens commencent déjà à t'accepter à l'état de légende et de poétique souvenir — ce qui établit une différence essentielle entre leur point de vue et le mien... Ah, ma chatte chérie. Quand donc redeviendras-tu une réalité pour moi...

Перевод:

Среда. 25 февраля 1853

Милая моя киска, вот уже неделя, как я тебе не писал, и она показалась мне вечностью. С тех пор как я отослал тебе свое последнее письмо, я получил от тебя два. Но эти полумеры не приносят больше облегчения. Нет, я решительно не могу привыкнуть, не сумею привыкнуть к нелепой бессмыслице нашей разлуки. Она в равной мере и огорчает, и выводит меня из себя. Я отношу ее к категории досадных случайностей, которые тем более раздражают, что представляются в высшей степени беспричинными. Теперь ты понимаешь, как должна была подействовать на меня фраза из твоих послед-

них писем, где ты говоришь о том, какое удовлетворение я должен испытывать, возвратившись в Петербург[1], от того, что вернулся к своим привычкам[2], и вернулся с ощущением сделанного мной доброго дела, и это доброе дело состоит в том, что я повидался с тобой... И мне не должно быть ненавистно положение, которое доводит тебя до подобных мыслей... ибо каждое слово, сказанное тобой, исполнено смысла.

Нелепое твое предложение прислать сюда Китти прежде себя я не принял всерьез, как оно того и заслуживало. Нет надобности объяснять тебе, что более всего в этом предложении вызвало мое раздражение; не то, что оно само по себе нелепо, но глупое твое упорство постоянно подчинять соображениям, сравнительно второстепенным, то, что в высшей степени для меня необходимо. Как же меня измучило такое непонимание.

Надеюсь, что то, что я написал по этому поводу сестре, отобьет у них охоту досаждать тебе своими дурацкими советами. Но сейчас я обращаюсь к тебе, и обращаюсь с великой просьбой принять к сведению то, что я тебе скажу. От одного человека, прибывшего из Орла, я узнал, что зима у вас совсем кончилась — реки вскрылись и дороги стали непроезжими... Так вот, умоляю тебя, милая моя киска, — раз это так, — не рисковать и не пускаться в путь, пока дорога не установится и пока ты не будешь уверена, что ехать до Москвы стало *совершенно безопасно*... Я так настоятельно это советую, только чтобы удержать тебя от шага, на который тебя может толкнуть опасение, что ваше опоздание на две недели уменьшит шансы Китти на успех. Прежде всего, посуди сама, шансы Китти пока остаются чем-то неясным и трудно поддающимся оценке, и, уж во всяком случае, опоздание на две недели не сможет, по-видимому, ничего изменить в худшую сторону. Да к тому же, если уж *я*, *я* сам, жертвуя своими интересами во имя твоей безопасности, прошу тебя задержаться с отъездом, я требую, чтобы другие также этому покорились. Так значит, решено, ты поедешь лишь тогда, когда сможешь совершить поездку с *наибольшей безопасностью*...

Судя по письму Тургенева[3] к княжне Софи Мещерской, содержание которого, по своему обыкновению, она мне сооб-

щила, он сейчас вот уже неделя как должен был прибыть в Овстуг. Таким образом, комната для него, по-видимому, была выделена и приготовлена не напрасно. Не решаюсь допускать вероятность этого события, пока не узнаю, что оно произошло. Однако, допустив его вероятность, я очень хотел бы узнать от тебя подробно, как все было. Такой человек, каким я его, как мне кажется, знаю, не может не испытать к тебе живейшей симпатии. Способность чувствовать прекрасное, благодаря которой ему открыта вся интимная поэзия природы даже там, где эта поэзия не выступает явно, как в наших краях, с их грустной и неяркой красотой, эта же способность поможет ему понять и оценить тебя... Я о нем достаточно высокого мнения и потому убежден, что он в полной мере испытает твое очарование.

Только что получил приглашение на обед сегодня к великой княгине Елене Павловне. Это ее третья попытка со времени моего возвращения. Надеюсь, она будет удачной. — Праздники здесь сейчас в самом разгаре. В трех театрах идет по два спектакля в день. Ежедневно балы, как и следовало ожидать. Но за подробностями отсылаю тебя к Анне.

Пришел цирюльник и лезвием бритвы обрезает нить нашего с тобой разговора...

После полуночи. Вот чем я занимался с момента, как расстался с тобой. Отправился повидать Анну и застал ее за обедом вдвоем с маленькой Смирновой. Мне довольно часто случается бывать у нее во время ее обеда, но участвовать в нем довелось только раз, и с тех пор я дал себе слово не повторять подобной ошибки... К 6 часам я отправился к великой княгине Елене Павловне, у нее были только две гостьи: старая Апраксина[4] и Антуанетта Блудова. Легкий обед был подан в той самой гостиной, где в прошлом году мы были на импровизированном вечере, значение которого мы, как нас потом в этом обвиняли, не сумели оценить... Во время обеда много говорили о бале, который великая княгиня решила назначить на последнее воскресенье масленицы к великому отчаянию Андрея и Авроры, которые намечали в этот день устроить веселье у себя и теперь вынуждены перенести его на день раньше. Наверное, мне очень

хотелось усилить их растерянность, ибо, выйдя из Михайловского дворца, я отправился в особняк г-жи Авроры и застал ее в хлопотах из-за вынужденного соперничества. Закончил я вечер у Карамзиных—Мещерских, где опять много говорилось о тебе и о том, когда ты всего вероятнее можешь вернуться. По правде сказать, подобные благожелательные толки о тебе мне совсем разонравились, ибо совершенно ясно, что все эти добрые души уже рассматривают тебя как нечто почти несуществующее, как поэтическое воспоминание — и в этом существенная разница между их и моей точкой зрения... Ах, милая моя киска, когда же ты станешь для меня реальностью...

37. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

22 марта 1853 г. Петербург

Dimanche. 22 mars 1853

Ma chatte chérie, j'ignore si ces lignes que je t'adresse à Moscou t'y trouveront encore... et d'autre part, je supplie Monseigneur le Destin de vouloir bien me pardonner la présomptueuse confiance qu'il y a à te supposer arrivée à bon port et déjà repartie de Moscou... Ah que toute présomption de ce genre m'est étrangère et que je me sens ramassé tout entier sous cette terrible main anonyme qui maîtrise tout et que rien ne maîtrise.

Viens, arrive. Le logement est prêt. Il ne sera, hélàs, ni magnifique, ni élégant, ni même très commode, mais il sera chaud et ne coûtera rien. C'est l'appartement du rez-de-chaussée, mais qui, tel qu'il est, est encore préférable à ce qu'on nomme ici le bel-étage, lequel a été converti en véritable écurie à cochons par les derniers locataires — les Bernoff — et cependant c'est là où j'irai m'installer de ma personne — par l'impossibilité absolue de trouver un coin pour moi dans l'appartement que je vous destine...

Ma chatte chérie, auras-tu réellement quelque plaisir à revoir le Vieux — et ce court moment de bonheur ne sera-t-il pas promptement englouti par tous les tracas, ennuis et tribulations que tu prévois et redoutes?..

Que le bon Dieu, qui doit se plaire aux belles choses, te protège et te conserve... Sais-tu que dans une de tes dernières lettres,

là où tu me parles des souvenirs de l'histoire romaine, il y a une page et demie que les plus grands maîtres en fait de style se seraient honorés d'avoir écrite?.. Il faudra que je te la relise à ton arrivée.

C'est ce matin que j'ai reçu deux de tes lettres à la fois, celle du 11 et du 14. Ce sont probablement les dernières que j'aurai reçues d'Ovstoug. J'attends la prochaine de Moscou en toute humilité, s'entend... Si votre voyage se fait heureusement, vous pouvez arriver à Moscou aujourd'hui dans la soirée... et c'est par exemple après demain, mardi, que nous pourrions en avoir la nouvelle.

Mais encore une fois je baise humblement la grande main qui soutient et gouverne tout, et pourvu qu'elle t'amène ici, saine et sauve, je ne lui demande plus rien... Au revoir donc, ma chatte chérie, — *à bientôt...*

Перевод:

Воскресенье. 22 марта 1853

Милая моя кисанька, не знаю, застанут ли еще тебя в Москве эти строки, которые я тебе туда адресую... и вместе с тем я молю его высочество Рок всемилостивейше простить мне мою дерзкую уверенность в том, что ты благополучно прибыла в Москву и уже уехала оттуда... Ах, как же мне не свойственна подобная дерзость и до чего же явственно я ощущаю хватку этой страшной безликой руки, которая управляет всем и которой никто не управляет.

Добро пожаловать. Квартира готова. Она не будет, увы, ни роскошной, ни изысканной, ни даже слишком удобной, но она будет теплой и чуть ли не даровой. Это помещение в нижнем этаже, однако оно, в его нынешнем виде, все же предпочтительнее того, что называют здесь бельэтажем, каковой был превращен в настоящую свинарню последними жильцами — Берновыми, — и все же именно там я водворюсь собственной персоной по причине полной невозможности найти для меня угол в тех комнатах, которые я предназначаю для вас...

Милая моя киска, действительно ли тебе будет приятно вновь свидеться со своим стариком и не потонет ли это краткое мгновение счастья во всех тех хлопотах, волнениях и терзаниях, которые ты предвидишь и которых страшишься?..

Да направляет и хранит тебя Господь, которого должно радовать все прекрасное... Знаешь ли ты, что в одном из твоих последних писем, где ты мне говоришь о воспоминаниях из области римской истории, есть полторы странички, которые сделали бы честь самым великим мастерам слога?.. Я обязательно перечитаю их тебе по твоем приезде.

Сегодня утром я получил два твоих письма разом, от 11-го и от 14-го. Это, по всей вероятности, последние, что я получаю из Овстуга. Следующих писем я жду из Москвы — со всем смирением, разумеется... Если ваше путешествие проходит гладко, есть вероятность, что вы прибудете в Москву сегодня вечером... и, например, послезавтра, во вторник, до нас может дойти известие об этом.

Но я опять униженно лобзаю великую руку, которая всем движет и повелевает, и прошу только об одном — чтобы она привела тебя сюда, здравую и невредимую... Итак, до свиданья, милая моя киска, — *до скорого...*

38. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

3/15 октября 1853 г. Петербург

St-P<étersbourg>. Samedi

Je ne t'écris que quelques mots par la poste d'aujourd'hui. Et sais-tu pourquoi? C'est que je suis tout honteux de ne pouvoir te dire, écrivant de P<étersbourg>, si nous sommes en guerre, oui ou non. Ah, le singulier milieu que celui où je vis. Je parie que le jour du jugement dernier, il y aura des gens à Pétersbourg qui feront semblant de ne pas s'en douter. Voilà pourtant ce qui paraît certain. Une sommation vient d'être envoyée par les Turcs au P<rinc>e Горчаков pour qu'il eût à évacuer *les Principautés* dans le plus bref délai[1]. Ce serait assurément une chose parfaitement bouffonne, si ce n'était le commencement de quelque chose de tellement grave et de tellement fatal, que nulle pensée d'homme

actuellement vivant ne saurait en mesurer ni en déterminer la portée...[2] Je reviens de *Tsarskoïe,* où j'avais été chercher des nouvelles. Mais tout ce que j'ai pu y recueillir ce sont des détails très curieux assurément sur les tables tournantes et *écrivantes*[3]. Et il paraît qu'il n'y a qu'elles qui se préoccupent des événements du jour. Car c'est une table qui en réponse à ma question m'a écrit de sa plus belle écriture que c'est *jeudi prochain,* c'est-à-dire le 8/20 de ce mois que paraîtrait le manifeste pour la déclaration de guerre[4]. Voilà donc deux grandes questions qui vont du même coup être décidées dans cinq jours au plus tard (car nous sommes aujourd'hui au 3/15 octobre), la question de la guerre, d'abord, et puis celle de la véracité des tables. J'aimerais bien y ajouter une troisième, dont la solution ne laisse pas de me préoccuper tout au travers des catastrophes et des prodiges. Mais quand j'ai questionné la table à ton sujet, elle n'a tracé sous ma main que des festons et des arabesques, ce qui ne m'a pas satisfait du tout. Je me flatte d'en apprendre davantage dans le courant de la semaine prochaine par la voie plus ordinaire, mais plus explicite de la poste aux lettres...[5]

Ici, dans les salons, s'entend, l'incurie, l'indifférence, la torpeur des esprits est quelque chose de phénoménal. On dirait que ces gens-là sont dans les mêmes conditions pour apprécier les événements qui vont remuer le monde, où se trouvent les mouches qui sont à bord d'un vaisseau à trois ponts, pour apprécier le roulis du bâtiment... Heureusement tout ceci n'est que de l'écume qui flotte à la surface, et d'une manière ou d'autre nous ne tarderons pas à voir ce qui est au fond.

Перевод:

С.-Петербург. Суббота

С сегодняшней почтой пишу тебе лишь несколько слов. И знаешь почему? Потому что мне крайне стыдно, что хотя я и пишу из Петербурга, но не могу тебе сказать, будем мы воевать или нет. Ах, в какой странной среде я живу! Бьюсь об заклад, что в день Страшного суда в Петербурге найдутся люди, которые станут притворяться, что они об этом и не подо-

зревают. Вот, впрочем, что кажется достоверным: князем Горчаковым только что получено от Турции требование очистить *княжества* в кратчайший срок[1]. Это было бы, конечно, очень смешно, если бы не являлось началом событий столь важных и столь роковых, что никому из живущих ныне не охватить умом ни значения их, ни размаха...[2] Я вернулся из *Царского*, куда ездил за новостями, но все, что мне удалось узнать, это — подробности, правда, очень любопытные, о вертящихся и *пишущих* столах[3]; по-видимому, только одни столы и занимаются текущими событиями, ибо именно стол, отвечая на мой вопрос, написал мне самым красивым своим почерком, что в *будущий четверг*, то есть 8/20-го этого месяца, появится манифест с объявлением войны[4]. Итак, два важных вопроса должны будут сразу разрешиться самое позднее через пять дней (ибо сегодня 3/15 октября): во-первых, — вопрос о войне, а затем о том, — правду ли говорят столы. Хотелось бы мне прибавить к ним и третий, разрешение коего не перестает занимать меня посреди катастроф и чудес, но когда я спросил у стола насчет тебя, он набросал под моей рукой лишь фестоны и арабески, что меня вовсе не удовлетворило. Льщу себя надеждой, что в течение ближайшей недели я буду лучше осведомлен более обычным, но зато более точным путем — посредством письма, полученного по почте...[5]

Здесь, — в салонах, разумеется, — беспечность, равнодушие и косность умов феноменальны. Можно сказать, что эти люди так же способны судить о событиях, готовящихся потрясти мир, как мухи на борту трехпалубного корабля могут судить об его качке... К счастью, это только пена, плавающая на поверхности, и так или иначе мы скоро увидим, что таится в глубине.

39. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

16/28 октября 1853 г. Петербург

Tout à l'heure, en rentrant dans mon nouveau logement, j'ai eu la bonne fortune de trouver une lettre de toi, ta première lettre de Munich, et je t'en remercie, ma chatte chérie. Ah, elle est



venue bien à propos, cette chère lettre. Pardonne-moi les dernières lettres que je t'ai adressées, dans une de ces crises de désespoir qui me prennent à la gorge... N'y prends pas garde et de grâce ne t'en laisse pas influencer ni dans ton humeur ni dans les résolutions que tu aurais à prendre. Vois-tu, ma chatte, il y a des gens qui sont obsédés de l'idée de la mort, moi, ce qui m'obsède, comme une menace d'expiation, c'est la crainte de te perdre... et voilà pourquoi la séparation, dans certains moments, m'apparaît si horrible qu'elle me fait crier... Et puis il y a certaines choses que tu ne devrais jamais me dire et encore moins les penser. Ainsi, quand tu me dis que j'ai bien des cordes à mon arc, etc. etc., tout ceci a l'air d'une dérision. Ah, s'il en était ainsi, combien notre position à tous serait plus simple et plus facile, la tienne surtout... Je ne sais pas, si ce n'est que dans le passé que je t'aime, mais ce que je sens fort bien, c'est que l'avenir sans toi me ferait horreur. — Et maintenant parlons d'autre chose...

Je me suis vivement associé, en lisant ta lettre, aux premières impressions que la vue de Munich devait produire sur toi. A l'heure qu'il est, elles se seront déjà usées et le fantôme du Passé aura été se cacher jusqu'à nouvel ordre. Mais à propos de ces impressions, veux-tu que je t'avoue une de mes préoccupations d'esprit? C'est la crainte que moi absent et la présence de ton frère aidant, tu n'aies sauté à pieds joints sur les souvenirs qui nous sont communs[1], pour remonter à un passé encore plus ancien et où je ne suis pour rien? As-tu monté l'escalier de Mad. de Cetto?.. Quant à l'auberge où tu es descendue, l'Aigle Noir, elle ne me rappelle qu'un seul souvenir. C'est là où je suis allé voir, il y a quelques vingt ans, je crois, les Wiasemsky, à leur passage par Munich. Il y avait dans la chambre, couchée sur un canapé, une pauvre jeune fille qui toussait horriblement. C'était cette fille qui est allée mourir à Rome. Quant à la Ludwigstrasse, la dernière fois où nous y avons passé ensemble, c'était, je crois, le jour où nous avons vu le Bouvreuil[2] à la fenêtre... Pour ce qui est de l'appartement de ton frère qui était le nôtre, le plus lumineux souvenir qui s'y rattache pour moi, c'est celui de la matinée du jour, où je suis revenu à Munich, de mon voyage en Russie. — Mais à quoi bon aller chercher ces grains de sable, au fin fond de l'océan?

Aussi, je sens très bien que si j'étais à Munich, je laisserais très volontiers de côté tous les souvenirs déjà par trop vieux pour aller retrouver à la table de ton frère et au milieu des siens les souvenirs beaucoup plus vivants de nos dîners de Lindau, sauf à retrouver, dans nos discussions, l'éternelle question d'Orient[3] arrêtée au même point où nous l'avons laissée il y a deux mois. Car je dois avouer que les lumières que j'aurais pu m'attendre à trouver ici n'ont guères éclairci les obscurités du Problème... On s'est attendu ces jours-ci à voir paraître un nouveau manifeste en réponse à la déclaration de guerre de la part des Turcs, mais il a été décidé, à ce qu'il semble, que cette déclaration serait considérée comme non avenue et que...

Mais il est trois heures du matin et je vais me jeter un peu sur mon lit. Que Dieu te garde, ma chatte chérie.

Mille tendresses à ton frère. J'embrasse les enfants.

P. S. Il me reste une page et demie qui auraient pu être remplies des considérations les plus neuves et les plus originales sur la question du jour...[4] Elles ont certainement traversé ma tête, mais par malheur, elles n'y sont plus, et je ne trouve à leur place qu'un vide désolant et un sentiment de fatigue qui me permet à peine d'achever cette phrase si mal construite.

St-Pétersbourg. 16/28 octobre 1853

Перевод:

Мне повезло; только что, вернувшись домой на свою новую квартиру, я обнаружил письмо от тебя, первое письмо из Мюнхена, спасибо тебе, милая киска. Ах, оно пришло очень кстати. Прости меня за последние мои письма, я писал их в одном из тех приступов безумного отчаяния, какие меня охватывают... не обращай на них внимания и, ради всего святого, не давай им влиять ни на свое настроение, ни на решения, которые будешь принимать. Видишь ли, киска, есть люди, которых преследует мысль о смерти, меня же преследует, как угроза искупления, страх потерять тебя... вот почему разлука порой кажется мне такой ужасной, хоть кричи... А потом, конечно же, есть вещи, которые тебе никогда не следовало бы



мне говорить и еще менее следовало бы так думать. Например, когда ты говоришь, что я прибегаю к разным хитростям и т. д. и т. п., это звучит смешно. Ах, если бы было так, насколько проще и легче было бы положение всех нас, и твое в особенности... Не знаю, только ли в прошлом любил я тебя, но очень ясно чувствую, что будущее без тебя меня бы ужаснуло. — А теперь поговорим о другом...

Читая твое письмо, я живо ощущал первое впечатление, которое Мюнхен произвел на тебя. Сейчас оно, наверное, уже притупилось, и призрак Прошлого спрятался до нового случая. Но знаешь, что меня теперь тревожит? Я боюсь, что мое отсутствие и присутствие твоего брата будут способствовать тому, что ты окунешься с головой в наши общие воспоминания[1], а там доберешься до еще более давнего прошлого, к которому я уже не имею отношения. Поднималась ли ты по лестнице в доме г-жи Сетто?.. Гостиница «Черный Орел», где ты остановилась, вызывает у меня только одно воспоминание: что-то около двадцати лет назад я приходил в нее повидаться с Вяземскими, когда они были проездом в Мюнхене. На диване в комнате лежала молодая девушка, бедняжка ужасно кашляла. Это была их дочь, она потом умерла в Риме. А по Людвигштрассе мы в последний раз вместе прошли, по-моему, в тот день, когда в окне увидели Снегиря...[2] Что касается квартиры твоего брата, которая была тогда нашей, то самое яркое воспоминание связано для меня с утром того дня, когда я вернулся в Мюнхен из поездки в Россию. — Но к чему рыться в глубинах океана, отыскивая эти песчинки?

Ибо я ясно чувствую, что, если бы я был сейчас в Мюнхене, я бы охотно оставил в стороне все эти ныне слишком древние воспоминания и предался бы за столом у твоего брата, среди его домочадцев, воспоминаниям, гораздо более для меня живым, о наших обедах в Линдау, если только мы не вернулись бы в беседе к вечному Восточному вопросу[3], начав с того пункта, на котором остановились два месяца тому назад. Ибо должен признаться, сведения, которые я надеялся найти здесь, нисколько не осветили неясные стороны проблемы... На этих днях все ожидали, что будет выпущен новый

10 Зак. 7712

манифест в ответ на объявление турками войны, но, по-видимому, было решено, что это объявление войны будет рассматриваться как недействительное и что...

Но уже три часа ночи, и я хочу хоть ненадолго прилечь. Да хранит тебя Бог, милая киска.

Самый сердечный поклон твоему брату. Поцелуй от меня детей.

P. S. У меня остаются полторы страницы, которые могли бы быть заполнены самыми новыми и самыми оригинальными соображениями по злободневному вопросу...[4] Все они, конечно, прошли через мою голову, но, к сожалению, сейчас их там нет, и вместо них я ощущаю только досадную пустоту и усталость, которая еле дает мне возможность закончить эту нескладную фразу.

С.-Петербург. 16/28 октября 1853

40. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

16/28 ноября 1853 г. Петербург

St-Pétersbourg. Lundi. 16/28 nov<em>bre 1853

Il est donc vrai, ma chatte chérie, j'ai pu laisser passer quinze jours sans t'écrire. Comment cela s'est-il fait? Ai-je été malade? Non. Ai-je cessé un seul instant de penser à toi? Encore moins, tu peux m'en croire. Mais il me devient de plus en plus impossible de t'écrire des lettres *indifférentes*, de te parler d'autre chose que de ce que j'ai au fond de l'âme. Or ceci a déjà *été dit*, et les redites en pareille occasion ont quelque chose de flétrissant et de profanateur. Il paraît que je me suis rendu indigne, à force d'avoir abusé de tout, d'exprimer des sentiments vrais et peut-être même d'en éprouver. Et voilà pourquoi, ma chatte chérie, tout ce que j'ai pu t'écrire précédemment, dans des moments d'angoisse, de plus intime et de plus sincère, n'a pu produire d'autre effet sur toi que celui de te faire dire que je prenais tout trop au tragique... Oui, il y a de la tragédie au fond de mon âme[1]. Car je me sens souvent profondément dégoûté de moi-même et je sens en même temps que ce sentiment de dégoût est stérile, car cette appréciation impartiale de moi-même ne vient que de l'esprit, le cœur n'y est



pour rien, car il ne s'y mêle rien qui ressemble à un mouvement de contrition chrétienne.

Pas moins, l'état de malaise intérieur où je me trouve presque habituellement m'est assez pénible pour que j'accueille avec reconnaissance et tendresse toutes les choses bonnes et gracieuses que tu me dis. J'aime à croire, en effet, que ma présence te paraisse toujours encore désirable, comme un intermédiaire nécessaire entre le monde et toi, qu'elle a gardé encore sur toi quelque chose de son ancien prestige. Cela fait mieux que de me flatter, cela me rassure — car si je puis encore espérer de rentrer jamais dans un milieu de paix et de contentement intérieur, ce n'est que par toi et auprès de toi. Ce n'est que quand réellement tu redeviendras le Dieu Lare de cet intérieur... Mais, ma chatte chérie, soit dit sans reproche, et sans intention de violenter tes volontés, le Dieu Lare ne me paraît guères pressé de regagner ses foyers...

Merci, grand merci de tes deux dernières lettres, la dernière du 6/18 novembre, et qui m'a bien amusé je t'assure. Sais-tu que tu as parfois un talent de style du premier ordre, comme dans ce tableau que tu me fais de ce monde de Munich, que tu as retrouvé toujours le même, sauf quelques rides de plus, et cet impalpable duvet de moisissure, qui n'est visible qu'au premier moment. Tu as dû en effet éprouver dans ce milieu des impressions de la Belle au bois dormant, au moment de son réveil... Ce que tu me dis de ton intérieur et du genre de vie que tu y mènes, ne me paraît être, hélas, que trop confortable, que trop conforme à tes goûts et à tes aspirations. Absence bienfaisante des soucis et des tracas, et des souvenirs à discrétion pour conjurer parfois une vague inquiétude de cœur... Ah, ma chatte chérie...

Les Wiasemsky sont-ils avec toi? Je le voudrais bien. J'ai lu dernièrement ses vers sur Venise[2], qui sont réellement fort jolis. C'est doux et harmonieux, comme le mouvement de la gondole. Quelle langue que cette langue russe. Et à propos de ce qui est russe, je ne suis certes pas étonné de ce que tu me dis de la malveillance intime et bien essentiellement allemande avec laquelle nos meilleurs amis d'Allemagne n'ont pas manqué d'accueillir la nouvelle <1 нрзб> de nos désastres. Braves gens, je les

reconnais bien là. C'est l'accent du pays, et je me sentirais dépaysé en Allemagne, si je ne le retrouvais dans toutes leurs manifestations à notre égard[3]. Quant à cette autre Europe, plus occidentale encore, quant à l'Angleterre et à la France, quant à cette presse, organe de la conscience publique, qui s'est faite turque, avec rage et mensonge, il y a dans cette vocation de turpitude, dans ce *Labarum* de boue[4] que des sociétés soi-disant chrétiennes ont dressé contre la Croix, il y a dans tout ceci quelque chose de terriblement Providentiel. Ce scandale devait avoir lieu, je le sais, mais malheur à l'auteur du scandale. Quant à nous autres, ici, contre qui toute cette rage se déchaîne, nous aussi, nous aurons nos comptes à régler avec la Providence, et ils pourraient être lourds à solder... J'ai été, je crois, un des premiers à voir venir la crise actuelle. Eh bien, j'ai la conviction intime que cette crise si lente à venir, sera bien plus terrible et plus longue encore que je ne l'avais cru. Ce qui reste du siècle suffira à peine pour l'apaiser.* La Russie en sortira triomphante, je le sais. Mais bien des choses de la Russie actuelle y périront. Ce qui vient de commencer, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas de la politique, c'est un monde qui se constitue et qui pour cela doit avant toute chose retrouver sa conscience perdue... Et à cette occasion, si je ne craignais, ma chatte, de t'inspirer de l'inquiétude sur ma raison, je devrais te parler de certaines choses dont j'ai été le témoin ainsi que plusieurs autres et qu'il faudrait avoir le courage d'appeler par leur nom, mais ce courage me manque. J'ai vu, j'ai touché ce prodige[5], aussi réel, aussi incontestable que toute autre réalité. Je devrais pour ne pas y croire récuser le témoignage de mes sens — mais *le respect humain* est encore plus fort que l'évidence. Mais voilà que je suis déjà au bout de ma lettre. Je renvoie à la prochaine mille choses que j'avais encore à te dire. Ma chatte, ma chatte chérie. Crois-tu encore à mon existence?

Перевод:

С.-Петербург. Понедельник. 16/28 ноября 1853

Значит, верно, милая моя кисанька, что я мог пропустить две недели, не написав тебе. Каким образом это произошло?

Был ли я болен? Нет. Перестал ли хоть на одно мгновенье думать о тебе? Ничуть не бывало, — ты можешь мне поверить. Но для меня становится все более и более невозможным писать тебе *безразличные* письма, говорить тебе о чем-либо другом, кроме того, что таится в недрах моей души. А это уже *было сказано*, и повторения в таких случаях кажутся чем-то иссушающим и оскорбляющим. По-видимому, злоупотребив всем, я сделался недостоин выражать настоящие чувства, а может быть, даже и ощущать их. И вот почему, милая моя кисанька, все самое затаенное и самое искреннее, что я мог писать тебе раньше в минуты тоски, не могло производить на тебя иного впечатления, чем то, под влиянием которого ты говорила, что я принимаю все слишком трагически... Да, в недрах моей души — трагедия[1], ибо часто я ощущаю глубокое отвращение к себе самому и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума; сердце тут ни при чем, ибо тут не примешивается ничего, что походило бы на порыв христианского покаяния.

Тем не менее состояние внутренней тревоги, сделавшееся для меня почти привычным, мне достаточно тягостно, и я с благодарностью и нежностью принимаю все, что ты говоришь мне доброго и ласкового. Мне в самом деле хочется верить, что мое присутствие все еще представляется для тебя желанным как необходимое посредничество между миром и тобою, что оно еще сохранило для тебя нечто от своей прежней привлекательности. Это не только мне льстит, это меня успокаивает, — ибо если я еще способен погрузиться в стихию мира и внутреннего удовлетворения, так это только через тебя и около тебя, только тогда, когда ты в самом деле вновь станешь богом-ларом этого домашнего очага... Но, кисанька моя милая, не в упрек тебе будь сказано и не с намерением насиловать твою волю, этот бог-лар, как мне кажется, не слишком торопится возвратиться в свое жилище...

Спасибо, большое спасибо за два твоих последних письма, — последнее, от 6/18 ноября, очень меня позабавило, уверяю тебя. Знаешь ли, в твоем стиле проявляется подчас

первостепенный талант, как, например, в сделанном тобою изображении мюнхенского общества, которое ты нашла все таким же, если не считать нескольких лишних морщин и этого неуловимого налета плесени, заметного лишь в первую минуту. Ты, действительно, должна была ощутить в этой среде то же, что спящая красавица в момент пробуждения... То, что ты говоришь мне о твоей домашней обстановке и образе жизни, представляется мне, увы, слишком уютным, слишком согласным с твоими вкусами и стремлениями. Благодетельное отсутствие забот и треволнений и сколько угодно воспоминаний, чтобы рассеять подчас смутную тревогу сердца... ах, милая моя киска...

С тобой ли Вяземские? Мне бы очень этого хотелось. Я прочел недавно его стихи о Венеции[2], которые, действительно, очень хороши. Своей нежностью и гармоничностью они напоминают движение гондолы. Что это за язык, русский язык! А по поводу русского, меня, конечно, нисколько не удивляет то, что ты говоришь о затаенном и чисто немецком недоброжелательстве, с каким наши лучшие друзья в Германии не преминули встретить новое свидетельство наших бедствий. Ах добряки, как это для них характерно. Это словно местное наречие, и я бы чувствовал себя в Германии непривычно, если бы не находил его во всех проявлениях их отношения к нам[3]. Что же касается другой Европы, еще более западной, что касается Англии и Франции, что касается этой печати, органа общественного сознания, ставшей на сторону турок и полной бешенства и лжи, — в этой вдохновенной низости, в этом грязном *Лабаруме*[4], взятом у древнего Рима и поднятом против Креста мнимыми христианскими обществами, — во всем этом заключается нечто грозно-промыслительное. Этот скандал должен был произойти, я знаю, но горе тому, кто его вызвал. Что же касается до нас, находящихся здесь, против которых направлено все это бешенство, нам также придется сводить свои счеты с Провидением, и расплата может оказаться тяжелой... Я был, кажется, одним из первых, предвидевших настоящий кризис; ну так вот, я глубоко убежден, что этот кризис, столь медленно приближавшийся,

будет гораздо страшнее и гораздо длительнее, нежели я предполагал. Остатка этого века едва хватит для его разрешения. Россия выйдет из него торжествующей, я знаю, но многое в теперешней России погибнет. То, что теперь началось, это не война, это не политика, это целый мир, который образуется и который для этого должен прежде всего обрести свою потерянную совесть... И по этому случаю, если бы я не боялся, моя киска, внушить тебе опасение за мой рассудок, я должен был бы рассказать тебе о некоторых явлениях, свидетелем коих я был вместе с несколькими другими лицами, — явлениях, которые следовало бы иметь смелость назвать их именем, но смелости этой мне недостает. Я видел, я осязал это чудо[5], столь же действительное, столь же неоспоримое, как и всякая другая действительность. Чтобы ему не верить, я должен был бы отвергнуть свидетельство своих внешних чувств, но *боязнь людского мнения* еще сильнее, чем очевидность. Но вот я уже дошел до конца своего письма. Откладываю до следующего тысячу вещей, которые я собирался еще тебе сказать. Кисанька, кисанька моя милая, веришь ли ты еще в мое существование?

41. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

19/31 декабря 1853 г. Петербург

St-Pétersbourg. Samedi. 19/31 décembre 1853

Voici donc le dernier jour de l'année... Je m'interdis toute réflexion, tout retour sur moi-même, je m'abstiens de compter... Mais il y a des moments où malgré moi j'éprouve le besoin de secouer à tout prix le mauvais rêve que je fais, et je ne puis alors m'empêcher de penser que nous avons, toi et moi, singulièrement arrangé notre existence et que ce n'est certes pas une chose ordinaire que de voir deux êtres, qui en pleine affection et sans une absolue nécessité s'amusent ainsi à jouer à la séparation... Mais trêve encore une fois de toutes ces chagrinantes réflexions et puisque nous voilà à l'entrée d'une nouvelle année, laisse-moi résumer tous mes vœux dans un seul, c'est qu'elle ne ressemble pas à celle qui va finir. — Aujourd'hui, jour de la St-Sylvestre[1], tu



auras pensé peut-être à un certain bal chez Doenhof à Munich[2]. Dans douze jours je penserai à mon tour à mon arrivée de l'année dernière à Ovstoug. Que de liens entre ces deux dates, et cependant – pour moi au moins, combien c'est toujours la *même vie...*

Depuis la dernière lettre que je t'ai écrite, j'en ai reçu deux de toi, dont l'une, la dernière arrivée, est de quinze jours plus ancienne que celle du 5/17 de ce mois que je venais de recevoir, car elle était datée du 21 nov<em>bre/3 décembre. C'est que cette retardataire trouvant probablement qu'elle n'avait pas suffisamment voyagé a feint d'aller me chercher à Moscou, et c'est de là qu'elle m'est revenue. C'est la lettre où tu me parles de ta présentation au Roi et à la Reine de Bavière... Et moi aussi, j'aurais aimé les revoir, eux et tant d'autres personnes et choses de Munich et Schlagentweit[3] aussi... J'aimerais surtout aller te reprendre à eux.

Ici nous sommes enfin en plein hiver, car nous avons eu déjà en ces jours-ci des quinze degrés de glace. La neige a déjà crié et sifflé sous le traîneau et les извозчик ont déjà repris leur physionomie ragaillardie d'hiver... C'est te dire, ma chatte, que je savoure *tous les jours davantage le charme* sympathique d'une certaine pelisse qui m'a été donnée et qui me permet de me livrer, par 15 degrés de froid, à un sentiment de bien-être, qu'on ne saurait assurément sans injustice qualifier de *mesquine* volupté... Mais avec tout cela, c'est une terrible chose que cette saison...

Quant à la saison des salons, elle promet, à ce qu'on assure, d'être brillante cet hiver. Pour moi depuis bien des années toutes ces saisons se ressemblent et font mentir l'adage convenu. Il y a pourtant quelque chose qui donne un peu plus de physionomie à la société, cette année, et certes, ce quelque chose n'est pas peu de choses. C'est la préoccupation de la situation politique donnée, le sentiment de cette lutte, longtemps conjurée, et qui, en dépit de tous les efforts, brise l'un après l'autre les derniers liens qui l'enchaînaient... Ces jours-ci la nouvelle s'était répandue que les flottes coalisées étaient entrées dans la mer Noire[4]. C'était une nouvelle prématurée, mais qui peut et doit se vérifier d'un moment à l'autre. Car une réconciliation véritable entre les intérêts qui sont en présence devient de jour en jour plus impossible. Depuis longtemps la guerre était dans les choses, maintenant elle se déchaîne et s'en-

flamme de plus en plus dans les hommes... Rien ne donne mieux la mesure de la haine que l'on porte à la Russie, comme toute cette rage burlesque des journaux français et surtout anglais depuis nos derniers succès...[5] C'est le plus sérieusement du monde qu'ils les lui imputent à crime et qu'ils lui font l'application de ce mot si connu à propos de je ne sais quel animal, qu'il était si féroce qu'il se défendait quand on l'attaquait. Quant à l'issue probable de la lutte, toute la question se réduit pour moi à ceci: la haine que l'Occident nous porte, l'Occident catholique aussi bien que l'Occident révolutionnaire, cette haine sera-t-elle plus forte, oui ou non, que celle qui les divise entr'eux? Toute la question est là...

Hier, j'ai dîné chez Mad. André Karamzine, avec quelques hommes, entr'autres *Fonton*[6], notre conseiller d'amb<assade> à Vienne, le même qui a été l'été dernier en Serbie et qui y retourne, à ce qu'on dit. C'est un homme d'esprit et de résolution, ce qu'il a prouvé dernièrement dans l'affaire du Monténégro qui doit son salut à son intervention opportune et énergique auprès du cabinet de Vienne. Le dîner a été fort animé, et on ne se serait pas douté que deux ou trois jours l'hôtel où nous dînions a manqué être brûlé. Le feu avait éclaté au premier étage, dans le salon, intermédiaire entre la salle de bal et la salle en malachite. Aussi ce salon-là a-t-il été complètement abîmé, glaces, meubles, tentures, tableaux, tout y a passé... Mais heureusement c'était là aussi toute la part du feu...

T'ai-je dit, ma chatte, que l'exilé Tourgenieff est de retour à Pétersb<ourg> et qu'il demeure dans mon voisinage. Je le vois assez souvent et avec plaisir[7]. Il m'a chargé très particulièrement de le rappeler à ton souvenir. — J'ai eu aussi un message de Iakovlev, qui m'a envoyé en cadeau son indéchiffrable livre...[8] Et puis je voudrais te dire encore que c'est satisfaisant, ma lettre, n'est-ce pas?

Перевод:

С.-Петербург. Суббота. 19/31 декабря 1853

Итак, наступил последний день года... Я запрещаю себе размышлять о чем-либо, возвращаться мысленно к каким-либо своим ощущениям, воздерживаюсь от предположений...

Но бывают минуты, когда я невольно испытываю потребность во что бы то ни стало стряхнуть с себя дурной сон и не могу помешать себе думать, что странным образом распорядились мы с тобой нашим существованием и что не часто видишь двух людей, пользующихся вполне любовью друг друга, которые без всякой необходимости забавлялись бы игрой в разлуку... Но, еще раз, в сторону эти огорчительные размышления, и если уж мы вступаем в новый год, то позволь мне свести все мои пожелания к одному: пусть он не походит на тот, который скоро завершится. — Сегодня день св. Сильвестра[1], ты, может быть, вспомнила об одном бале у Дёнгофов в Мюнхене[2]. Через двенадцать дней я в свою очередь буду вспоминать о моем прошлогоднем прибытии в Овстуг. Сколько связей между этими двумя датами, и однако ж, для меня по крайней мере, это все *та же жизнь*...

Со времени последнего письма, которое я тебе написал, я получил два твоих; из них одно, пришедшее последним, на две недели старее только что полученного мною письма от 5/17 числа этого месяца, ибо оно помечено 21 ноября/3 декабря. Это замешкавшееся письмо, находя, по-видимому, что недостаточно путешествовало, вздумало искать меня в Москве и вернулось ко мне оттуда. Это то письмо, в котором ты рассказываешь о твоем представлении королю и королеве баварским... И я также хотел бы вновь повидать их, и сколько других людей и вещей в Мюнхене, и Шлагентвейта[3] также... А больше всего мне хотелось бы отнять у них тебя.

Здесь наконец зима в полном разгаре, ибо у нас эти дни мороз доходил до пятнадцати градусов. Снег уже заскрипел и засвистел под полозьями, и извозчики разрумянились по-зимнему... Должен тебе сказать, моя киска, что *с каждым днем я все больше* наслаждаюсь приятными *чарами* новой шубы, подаренной мне и позволяющей в 15-градусный мороз испытывать блаженное состояние, которое по справедливости, конечно, никак не назовешь *пошлой* негой... Но при всем том какое это ужасное время года...

Что касается сезона салонов, то, как утверждают, он обещает нынешней зимой быть блестящим. Для меня уже в тече-

ние многих лет эти сезоны похожи один на другой, вопреки известной поговорке. Впрочем, есть нечто, что в этом году придает обществу более определенный характер, и, конечно, это нечто — не безделица. Это озабоченность настоящим политическим положением, чувство, что так долго сдерживаемая борьба, несмотря на все усилия, разрывает последние связывающие ее путы... На этих днях распространился слух, что союзные флоты вошли в Черное море[4]. Этот слух был преждевременным, но он может и должен подтвердиться с минуты на минуту, ибо действительное примирение сталкивающихся интересов с каждым днем все более становится невозможным. Давно уже война висела в воздухе, теперь она сорвалась и все более и более разгорается в людях. Ничто не выражает так ясно всю меру ненависти к России, как это смехотворное бешенство французских и, в особенности, английских газет после наших последних успехов...[5] Они самым серьезным образом вменяют ей в преступление и относят на ее счет столь известное изречение по поводу какого-то животного: оно было столь свирепо, что защищалось, когда на него нападали. Что же до вероятного исхода борьбы, весь вопрос для меня сводится к следующему: окажется ли ненависть к нам Запада, как Запада католического, так и Запада революционного, в конечном счете сильнее ненависти, которая их разделяет? Весь вопрос в этом...

Вчера я обедал у г-жи Карамзиной, жены Андрея, с несколькими мужчинами, между прочими *Фонтоном*[6], советником нашего посольства в Вене, тем самым, который был прошлым летом в Сербии и, говорят, возвращается туда. Это умный и решительный человек, показавший себя именно таким недавно в черногорском деле, которое обязано своим спасением его своевременному и энергическому вмешательству перед венским кабинетом. Обед был очень оживленным, и никому бы не пришло в голову, что за два-три дня до того дом, где мы обедали, чуть было не сгорел. Огонь вспыхнул во втором этаже, в гостиной между бальным и малахитовым залами. Гостиная эта была совершенно испорчена: зеркала, мебель, обои, картины — все повреждено... Но, к счастью, огонь тем и ограничился...

Говорил ли я тебе, киска, что изгнанник Тургенев вернулся в Петербург и живет по соседству со мной? Я часто и с удовольствием вижусь с ним[7]. Он усиленно меня просил передать тебе от него поклон. — Я получил также посылку от Яковлева, который прислал мне в подарок свою непонятную книгу...[8] А затем мне хотелось бы сказать тебе: до чего удовлетворительно мое письмо, не правда ли?..

42. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

24 февраля/8 марта 1854 г. Петербург

St-Pétersbourg. 24 février/8 mars 1854

Il est certain, ma chatte chérie, que l'absence est un quiproquo continuel. Comment peux-tu penser que je suis assez déraisonnable, pour qu'après m'être privé de ta présence pendant huit grands mois, je ne préfère m'imposer un retard de 5 à 6 semaines, plutôt que de te laisser entreprendre ton voyage dans la plus mauvaise saison de l'année? J'ai assurément beaucoup de choses à me reprocher, mais il y a un reproche que décidément je n'ai pas mérité et que même le démon, qui se plaît à me torturer dans mes heures de tristesse et de découragement, ne s'est jamais avisé de m'adresser, c'est le reproche d'avoir jamais formulé une exigence quelconque qui eût pu compromettre ta santé, c'est de n'avoir pas préféré ta conservation personnelle à toute chose au monde... Ainsi permets-moi de croire qu'il était pour le moins superflu que je te donnasse un contr'ordre positif, pour m'épargner l'angoisse de me figurer ton individu commençant un détestable cours de chemins de fer et d'auberges glaciales... Non, certes, ce n'est pas avec mon aveu que tu feras pareilles choses, à moins que tu ne veuilles me punir de la contrariété que j'ai pu te causer en me laissant aller à t'exprimer, avec trop de vivacité, peut-être, le regret et l'ennui que je ressentais de ton absence. Quoi qu'il en soit, je suppose que mes dernières lettres auront suffisamment expliqué ma pensée... et conjuré le malentendu... Ce n'est donc décidément pas pour Pâques que j'attends ton retour[1] et sans prétendre fixer une date de ton départ de Munich, la seule chose que j'exige absolument de toi, c'est que tu n'entreprennes



pas ce voyage, bien assez désagréable et fatiguant en toute saison, avant les premiers jours du printemps russe. Je tiens, en un mot, que tu ne fasses pas *un voyage d'hiver*. Ce point une fois arrêté, nous aurons le loisir de nous entendre sur le reste. Je t'avais, il m'en souvient, parlé *de Hapsal*. Et j'ai fait, en conséquence, prendre des informations, par la *C<om>tesse* Borch qui voulait aussi y aller auprès du Prince Souvoroff[2] qui, comme tu sais, est gouverneur g<énér>al des provinces de la Baltique, et vient d'être nommé commandant des forces militaires destinées à protéger toutes ces côtes. L'avis du Prince, en définitive, n'a pas été favorable à Hapsal, non qu'il y eût danger de voir cette modeste localité attaquée par les flottes ennemies, mais il est certain qu'on y serait tout cet été dans une alerte à peu près continuelle... Reste donc l'idée d'une maison de campagne aux portes de Moscou, — mais j'attends ta prochaine lettre, pour te parler de tout cela plus à loisir.

Quant aux Tamy, ils vont être incessamment payés. J'ai été voir Dmitry ce matin, et j'ai parlé à la Tamy, pour la rassurer sur la rentrée très prochaine de ce qui lui est dû. La santé de Dmitry est très bonne, à la surdité près. Il continue à prendre son <1 нрзб>. — La femme de la maison *Пикеев* a été payée, et je me suis fait restituer ta lettre de change, que j'ai détruite...

Et cependant, ma chatte, à côté de toutes ces questions réglées ou à peu près, il reste toujours encore *la question d'Orient*. C'est toujours avec toi que je m'en entretiens dans mon for intérieur, mais dès que je prends la plume en main, ce n'est plus cela...[3] J'aurais trop à écrire, et je recule devant la fatigue et l'ennui de tant d'écritures inutiles. Un mot seulement. Tu sais mieux que personne que j'ai été assurément un des premiers et des tout-premiers, à voir venir et grandir cette effroyable crise. Et maintenant qu'elle est là, qu'elle va saisir le monde, pour le broyer et le transformer, je ne puis me persuader que tout ceci est bien réel, et que nous ne sommes pas, tous que nous sommes, en proie à quelque horrible hallucination. Car enfin il n'y a plus à se donner le change, la Russie, selon toute probabilité va se trouver aux prises avec l'Europe toute entière[4]. Comment les choses en sont-elles venues à ce point? Comment se fait-il qu'un Empire qui

depuis 40 ans n'a fait que renier et trahir ses propres intérêts[5] pour servir et sauvegarder ceux d'autrui, se trouve tout à coup en butte à cette immense conspiration. Et cependant c'était inévitable. En dépit de tout, raison, morale, intérêt, en dépit même de l'instinct de la conservation, ce terrible conflit devait éclater. Et ce qui l'amène, ce n'est pas seulement la sordide personnalité de l'Angleterre, ce n'est pas l'abjection de la France s'incarnant dans un aventurier[6], ce ne sont pas même les Allemands. C'est quelque chose de plus général et de plus fatal. C'est l'éternel antagonisme de ce qu'à défaut d'autres expressions il faut bien appeler l'Occident et l'Orient. — Maintenant, si l'Occident était *un*, nous serions, je crois, perdus. Mais il y en a *deux*. Le Rouge — et celui qu'il doit dévorer. Nous le lui avons disputé pendant 40 ans et nous voilà sur le bord de l'abîme. Et c'est maintenant le Rouge qui va nous sauver à notre tour...[7]

Перевод:

С.-Петербург. 24 февраля/8 марта 1854

Вот уж подлинно, моя милая кисанька, разлука приводит к постоянным недоразумениям. Как можешь ты думать, что я настолько нерассудителен, чтобы, после того как уже восемь долгих месяцев был лишен твоего присутствия, не предпочел обречь себя на отсрочку еще в 5–6 недель скорее, нежели дать тебе пуститься в странствие в самое неблагоприятное время года? Конечно, я могу упрекать себя во многом, но есть упрек, коего я решительно не заслужил: он не приходил на ум даже демону, находящему удовольствие терзать меня в часы грусти и уныния, — это упрек в том, что будто бы я когда-то выразил требования, исполнение которых могло бы повредить твоему здоровью, и не ставил твоей личной безопасности выше всего остального на свете... Итак, позволь думать, что мне по меньшей мере излишне настаивать на отмене твоего путешествия, и ты избавишь меня от томительной тревоги, которую я испытаю, воображая, как ты отправляешься в это отвратительное путешествие по железным дорогам и ледяным гостиницам... Нет, поистине — с моего согласия ты так

не поступишь, разве тебе захочется наказать меня за досаду, которую я, быть может, причинил тебе, позволив себе заявить — пожалуй, с чрезмерной горячностью — о той скорби и скуке, какую причиняет мне твое отсутствие. Но так или иначе последние мои письма, полагаю, достаточно изъяснили мою мысль и предотвратили недоразумение... Итак, я решительно не жду твоего возвращения к Пасхе[1] и, не назначая дня твоего отъезда из Мюнхена, безусловно требую от тебя только одного: не предпринимать путешествия, достаточно неприятного и утомительного во всякое время года, ранее первых дней русской весны. Одним словом, я не хочу, чтобы ты пустилась в путь *зимой*. Порешив на этом, мы на досуге условимся насчет остального. Помнится, я говорил тебе про *Гапсаль*; так вот, я попросил *графиню* Борх, которая тоже собирается туда ехать, разузнать о Гапсале у князя Суворова[2]; он, как тебе известно, генерал-губернатор Прибалтийских провинций и только что назначен командующим военными силами, призванными охранять все побережье. Его окончательное мнение не в пользу Гапсаля, и не потому, чтобы эта скромная местность подвергалась опасности со стороны неприятельского флота, а потому, что все это лето вам, без сомнения, пришлось бы провести в постоянной тревоге... Итак, остается предположение о даче под Москвой, но я жду твоего следующего письма, чтобы переговорить обо всем этом более толково.

Что касается Тами, то им будет тотчас же уплачено. Я навестил Дмитрия сегодня утром и говорил с госпожой Тами, чтобы успокоить ее относительно взноса нашего долга в самом ближайшем будущем. Здоровье Дмитрия очень хорошо, исключая его глухоты. Он продолжает принимать свой <1 нрзб>. – Женщине из дома *Пикеева* заплачено, и я получил обратно вексель, который и уничтожил...

И однако, кисанька моя, рядом со всеми этими улаженными или почти улаженными вопросами по-прежнему еще остается *Восточный вопрос*. В глубине души своей я постоянно обсуждаю его с тобой, но как только берусь за перо — ничего не выходит...[3] Слишком много пришлось бы мне писать,

и я отступаю перед утомительностью и скукой подобных бесполезных писаний. Одно лишь слово. Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, что я был одним из первых и из самых первых, видевших приближение и рост этого страшного кризиса, — и теперь, когда он наступил и готовится охватить мир, чтобы перемолоть и преобразовать его, я не могу представить себе, что все это происходит на самом деле и что мы все без исключения не являемся жертвой некой ужасной галлюцинации. Ибо — больше обманывать себя нечего — Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой[4]. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов[5] и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему — рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти. И вызвано это столкновение не одним скаредным эгоизмом Англии, не низкой гнусностью Франции, воплотившейся в авантюристе[6], и даже не немцами, а чем-то более общим и роковым. Это — вечный антагонизм между тем, что, за неимением других выражений, приходится называть: Запад и Восток. — Теперь, если бы Запад был *единым*, мы, я полагаю, погибли бы. Но их *два*: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного — и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь...[7]

43. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

10/22 марта 1854 г. Петербург

St-Pétersbourg, ce 10/22 mars 1854

C'est donc aujourd'hui le jour que tu aurais dû quitter Munich, et c'est moi qui t'ai retenue. Que Dieu me tienne compte de cet effort de raison et d'abnégation, et que je ne sois pas la dupe d'avoir agi d'une manière si peu conforme à ma nature... Oh ma chatte chérie. — Que vous dirai-je? J'aurais tant de choses à



Федор Иванович Тютчев. Петербург. 1856.
Фотография С. Левицкого



Карл фон Пфеффель. 1860.
Худ. Ф. Ленбах



Николай Иванович Тютчев — брат поэта.
Петербург. 1856. *Фотография С. Левицкого*



Анна Федоровна Тютчева — дочь поэта. 1851.
Худ. О. Петерсон



Мария Федоровна Тютчева — дочь поэта. 1854.
Худ. Й. Риш



Семен Егорович Раич. 1855.
Фотография с портрета А. Кавелина (оригинал утрачен)



Василий Андреевич Жуковский. Баден-Баден.
1851–1852. *Фотография*



Иван Сергеевич Тургенев. 1856.
Фотография К.-А. Бергнера



Николай Федорович Щербина. 1850-е гг.
Худ. П. Иванов. Литография с дагерротипа



Император Александр II. 1860.
Худ. Н. Лавров



Императрица Мария Александровна. Петербург. 1857.
Худ. Ф. Винтерхальтер. Фотография с портрета



Дарья Федоровна Тютчева — дочь поэта.
1870-е гг. *Фотография*



Фрейлинский шифр Д.Ф. Тютчевой, полученный ею в 1858 г.



vous dire que cela m'ôte tout courage et toute envie de commencer... La sotte chose que les écritures, lorsqu'il s'agit des choses qui vous tiennent réellement à cœur. Rien que de l'essayer me donne un sentiment abominable d'impuissance et d'irritation, et il faut que je t'aime bien, pour ne pas envoyer au diable toutes ces écritures...

Et d'abord un mot sur la situation générale. Cette situation, la voici. Dans quatre semaines, nous attendons voir arriver, devant Kronstadt, nos chers ci-devant alliés et amis[1], Anglais et Français, avec leurs quatre mille bouches à feu, et toutes ces nouvelles inventions de la philantropie moderne, telles que bombes asphyxiantes, etc., et autres canards, curieusement relatés dans les journaux. Quant à nous, je me persuade que nous sommes en mesure de leur faire un accueil digne d'eux — et qu'il y aura plus d'un vaisseau anglais qui sortira rudement éclopé de la bagarre, ou qui n'en sortira pas du tout... C'est une avenue de cinq verstes qu'ils auront à parcourir sous les feux plongeants de nos batteries, tirant à boulets rouges... Et cependant il n'est pas absolument impossible qu'ils forcent le passage, et que leurs chaloupes canonnières pénètrent jusque dans la Néva pour se procurer la satisfaction, non pas de prendre Pétersbourg, mais de l'insulter... Eh bien, soit. Qu'ils se passent cette fantaisie, puisqu'ils y tiennent tant, et nous verrons si Pétersbourg leur réussira aussi bien que Moscou à leurs devanciers.

Tiens pour certain, ma bonne amie, que nous touchons à une de ces catastrophes historiques dont les siècles gardent le souvenir. Il est impossible qu'il en soit autrement. Impossible que le paroxysme de rage où est arrivé tout un pays, tout un monde, comme l'Angleterre, ne vienne aboutir à quelque chose d'effroyable. Toute cette rage et toute cette hypocrisie, et cette jactance stupide et ce mensonge déhonté... Ah non. Ils en font trop, et Dieu, dans sa justice, doit à ces gaillards-là une leçon dont ils se souviennent[2].

A bientôt, ma chatte chérie. Dans ce moment-ci, il est deux heures du matin, je me sens le cerveau trop fatigué et les nerfs trop détraqués pour continuer. — Ah que c'est triste l'impuissance.

11 Зак 7712

Перевод:

С.-Петербург. 10/22 марта 1854

Итак, сегодня день, когда ты должна была покинуть Мюнхен, и это я тебя удержал. Да воздаст мне Бог за это усилие благоразумия и самоотвержения, и пусть я не поплачусь за то, что действовал столь несвойственным моей природе образом... О, моя милая кисанька! — Что тебе сказать? Мне нужно сказать тебе так много, что у меня не хватает ни духу, ни желания начинать... Что за глупость — эти письма, когда дело идет о действительно близком сердцу. Уж от одной попытки я испытываю отвратительное ощущение бессилия и раздражения, и надо очень любить тебя, чтобы не послать к черту все это писание...

Прежде всего несколько слов об общем положении. Это положение таково: через четыре недели мы ожидаем прибытия в Кронштадт наших милых бывших союзников и друзей[1], англичан и французов, с их четырьмя тысячами артиллерийских орудий и всеми новейшими изобретениями современной филантропии, каковы удушливые бомбы и прочие заманчивые вещи, о которых столь занимательно рассказывается в газетах. Что же касается до нас, то я убеждаюсь в том, что мы в состоянии оказать им достойный их прием и что не одно английское судно выберется из драки жестоко искалеченным или же не выберется вовсе... Им придется пройти пятиверстный путь под огнем наших батарей, стреляющих раскаленными ядрами... И, однако, не вполне лишено вероятия, что они прорвутся и что их канонерки проникнут до самой Невы, дабы доставить себе удовлетворение если не взять Петербург, то нанести ему оскорбление. Ну что же, ладно. Пусть они позволят себе эту прихоть, если уж им так этого хочется, а мы посмотрим, будет ли им такая же удача с Петербургом, как их предшественникам — с Москвою.

Будь уверена, мой добрый друг, что мы приближаемся к одной из тех исторических катастроф, которые запоминаются навеки. Невозможно, чтобы было иначе; невозможно, чтобы приступ бешенства, обуявший целую страну, целый мир,



каковым является Англия, не привел к чему-нибудь ужасному. Все это бешенство, и все это лицемерие, и это нелепое хвастовство, и эта бесстыдная ложь... Ах, нет, они уж чересчур пересаливают, и Господь в своем правосудии даст этим молодцам урок, который им запомнится[2].

До скорого свидания, кисанька моя милая. В настоящую минуту — сейчас два часа утра — я чувствую, что мой мозг слишком утомлен и нервы слишком расстроены, чтобы продолжать. — Ах, как печально бессилие.

44. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

9 июня 1854 г. Москва

Moscou. Mercredi. 9 juin

Ma chatte chérie. Nous voilà encore une fois dans les écritures. Après-demain, le 11, il y aura juste un mois que tu m'es revenue après dix mois de séparation[1], et voilà déjà neuf jours que tu m'as requitté pour une nouvelle séparation qui pourra bien encore durer trois mois et plus. Eh bien, j'ai la faiblesse de t'avouer que cela me paraît odieux et révoltant et que décidément il ne m'est pas possible d'accepter un pareil arrangement comme une chose toute simple et naturelle. Non, décidément non...

A l'heure qu'il est, vous aurez été, je suppose, informées par Anna de tous les détails du malheur qui vient de frapper la pauvre Madame Aurore et le reste de la famille[2]. Je sais que quand j'ai appris cette affreuse nouvelle (c'était au club, le lendemain de votre départ), j'en ai eu comme un éblouissement. C'est un de ces malheurs tellement écrasants pour les personnes qui en sont atteintes qu'on éprouve vis-à-vis d'elles, outre un sentiment de navrante pitié, quelque chose de gêné et d'embarrassé, comme si on se sentait personnellement responsable d'une pareille catastrophe. *Рябинин*, qui a passé par ici, venant de Pétersb<ourg>, et qui avant son départ a été voir Sophie et Lise K<aramzine> déjà en possession de leur malheur, m'a raconté que la pauvre Sophie était tombée dans un état de complète idiotie, sans larmes, sans volonté, et comme privée de la conscience de ce qu'il lui arrivait.

Ah, voilà une pauvre brebis tondue à qui Dieu n'a pas mesuré le vent. Et pourtant qu'il y a loin encore de son malheur à elle, à cet abîme de douleur qui s'est tout à coup ouvert, irréparable et définitif, pour cette pauvre Mad. Aurore.

Voilà un des détails les plus douloureux qui m'ont été racontés par Рябинин. C'est un lundi que la malheureuse femme a appris la mort de son mari, et le lendemain, mardi, elle reçoit une lettre de son mari — une lettre de plusieurs pages, toute remplie de vie, d'animation, de gaîté. Cette lettre était datée du 15 mai, et c'est le 16 qu'il a été tué. Eh bien, elle a eu l'affreux courage, qu'une surexcitation de nerfs peut seule expliquer, de faire à haute voix la lecture de cette lettre, à la famille réunie... Une dernière ombre, sur ce fonds de misère, c'est cette circonstance que dans les regrets généralement donnés à cette triste fin d'André K<aramzine> tout n'a pas été sympathie et pitié et que le blâme y a tenu une grande place. Et malheureusement le blâme était motivé. On raconte que l'Empereur (en parlant du défunt) a dit publiquement qu'il ne se pardonnerait jamais de s'être pressé de le nommer colonel,— et on a appris depuis que le chef du corps, le g<énér>al Liprandi, a été officiellement réprimandé, dans un ordre du jour, pour avoir confié un commandement aussi considérable à un officier qui manquait encore *de l'expérience nécessaire*. Triste, oh triste. — Conçoit-on ce que ce malheureux A<ndré> Karamzine a dû éprouver, lorsque, voyant sa troupe compromise par sa faute il en a remis le commandement à son second, décidé qu'il était à faire le sacrifice de sa vie, et que dans ce moment suprême, de ce coin de terre inconnu, du milieu de cette foule abominable qui allait le hacher, il aura, dans un dernier éclair de sa pensée, ressaisi toute cette existence qui lui échappait, sa femme, ses sœurs, toute cette vie si douce, si choyée — si riche d'affection et de bien-être. — Il y a pourtant des choses affreuses dans ce monde.

Mais faisons comme la vie, passons à autre chose.

Il fait, depuis quelques jours, un temps splendide. Quel bienfait que l'été et comment se résigne-t-on à s'en passer... Je me plais, ma chatte chérie, à te supposer arrivée, depuis samedi dernier, et déjà suffisamment reposée. Et malgré la malveillance

insurmontable que m'inspire l'odieuse localité qui vous enlève à moi, je veux bien consentir, puisque vous y êtes, que grâce à la saison elle se pare de quelque agrément à vos yeux. Par conséquence, je ne répugne pas à vous y aller chercher dans cette chambre consacrée par votre présence, passée et actuelle, devant cette fenêtre encadrant cet humble horizon où vos yeux se sont si souvent reposés. En un mot, je veux bien — *provisoirement,* faire grâce à tout cela, pourvu que j'aie la certitude que, dans le moment donné, vous ne vous y déplaisez pas trop, et que surtout — c'est là la condition essentielle — cet odieux endroit ne se considère que comme une étape, un pied à terre, un séjour en passant — enfin, tout ce qu'il y a de plus provisoire et de plus passager.

Pour moi, je soutiens que comme séjour de campagne, Moscou, le Moscou d'été, est encore ce qu'il y a de mieux en Russie. Il faut qu'il y ait dans cette localité quelque chose qui soit en rapport avec ma nature...

Après minuit. Je rentre chez moi dans la disposition d'esprit la plus sombre et la plus pénible. Ah que n'es-tu là... Car, je le sens, il n'y aurait que ta présence qui pût la conjurer... Je viens de chez les Wielhorsky, où j'ai eu l'occasion de causer avec le fils W<ielhorsky> arrivé aujourd'hui même de Pétersbourg. Tout ce qu'il m'a dit sur l'état des affaires, tout ce que j'ai entrevu dans ses discours et dans ses raisonnements de révélations sur la disposition d'esprit dans le Ministère et peut-être même en plus haut lieu — toute cette lâcheté, ineptie, infamie et sottise, — tout cela est navrant — au-delà de tout ce que la parole humaine peut exprimer... Encore une fois, que n'es-tu là... Si je pouvais au moins me rappeler un peu vivement ta chère figure pour essayer de me calmer.

Sais-tu bien que nous sommes à la veille de quelque épouvantable honte, d'un de ces actes d'infamie irréparable et solennelle qui inaugurent pour les nations leur ère de décadence définitive, que nous sommes, en un mot, à la veille de capituler? Toi, qui me connais, qui sais le sérieux que je mets à ces questions-là, toute cette part de moi-même que j'ai identifiée avec certaines convictions et certaines croyances, toi seule peux comprendre tout ce que j'éprouve rien qu'à l'idée de voir se réaliser un pareil

malheur. Mais je sens que tout ce que je te dis là est vague, décousu, incohérent et ne t'apprend que l'agitation d'esprit où je me trouve. Je sens enfin ton absence peser sur moi comme un cauchemar ou comme une condamnation. — Bonne nuit. Je t'écrirai encore avant mon départ. Demain, les Сушков, Kitty et moi, nous allons à vingt verstes d'ici dîner chez Léonid Gallitzine. Ce sera, je le crains, beaucoup plus fatiguant qu'amusant — mais avec ce sentiment d'angoisse continuelle dans le cœur, à quoi peut-on se plaire dans la vie.

Conserve-toi.

Перевод:

Москва. Среда. 9 июня

Милая моя кисанька, вот мы снова обречены на переписку. Послезавтра, 11-го, исполнится ровно месяц, как ты вернулась ко мне после десяти месяцев разлуки[1], и вот уже девять дней, как ты опять покинула меня для новой разлуки, которая, чего доброго, продлится еще три месяца с лишком. Ну, так я имею малодушие признаться тебе, что это кажется мне ужасным и возмутительным и что я решительно не согласен примириться с этим положением, как с чем-то само собой разумеющимся и естественным. Нет, решительно нет...

Я полагаю, что теперь вы уже узнали от Анны все подробности несчастья, постигшего бедную госпожу Аврору и остальных членов семьи[2]. Когда мне передали эту ужасную новость (в клубе, на другой день после вашего отъезда), я был совершенно ошеломлен ею. Это одно из таких подавляющих несчастий, что по отношению к тем, на кого они обрушиваются, испытываешь, кроме душераздирающей жалости, еще какую-то неловкость и смущение, словно сам чем-то виноват в случившейся катастрофе. Здесь проездом из Петербурга был *Рябинин;* он посетил перед своим отъездом оттуда Софи и Лизу Карамзиных, уже извещенных о своем несчастье. Он рассказывал мне, будто бедная Софи впала в состояние полнейшего идиотизма, без слез, без воли, — она как бы не понимает того, что с нею случилось. Ах, вот кому Господь послал непо-



сильное испытание! И все-таки как далеко ее несчастье от той бездны горя, невозместимого и бесповоротного, которая вдруг разверзлась перед бедной госпожой Авророй!

Вот одна из самых горестных подробностей, сообщенных мне Рябининым. Был понедельник, когда несчастная женщина узнала о смерти своего мужа, а на другой день, во вторник, она получает от него письмо — письмо на нескольких страницах, полное жизни, одушевления, веселости. Это письмо помечено 15 мая, а 16-го он был убит. Вообрази, она имела нечеловеческое мужество, объяснимое только нервным возбуждением, прочесть вслух это письмо всей семье... Последней тенью на этом горестном фоне послужило то обстоятельство, что во всеобщем сожалении, вызванном печальным концом Андрея Карамзина, не все было одним сочувствием и состраданием, но примешалась также и значительная доля осуждения. И, к несчастью, осуждение было обоснованным. Рассказывают, будто государь (говоря о покойном) прямо сказал, что никогда не простит себе, что поторопился произвести его в полковники, — а затем стало известно, что командир корпуса генерал Липранди получил официальный выговор в приказе за то, что доверил столь значительную воинскую часть офицеру, которому еще недоставало *необходимого опыта*. Грустно, ах, как грустно. — Представить себе только, что испытал этот несчастный Андрей Карамзин, когда увидел свой отряд погубленным по собственной вине и должен был передать командование младшему чином, убедившись, что ему самому остается лишь пожертвовать жизнью, — и как в эту последнюю минуту, на клочке незнакомой земли, посреди отвратительной толпы, готовой его изрубить, в его памяти пронеслась, как молния, мысль о том существовании, которое от него ускользало: жена, сестры, вся эта жизнь, столь сладостная, столь полная ласки, столь обильная привязанностями и благоденствием. — Бывают, однако, ужасные вещи на этом свете...

Но сделаем так, как делает жизнь, — перейдем к другому.

Вот уже несколько дней, как стоит великолепная погода. Что за благодать — лето, и как это решаются без него обхо-

диться... Мне хочется думать, моя милая кисанька, что ты приехала в прошлую субботу и уже более или менее отдохнула. Отвратительная местность, отнявшая тебя у меня, вызывает во мне непреодолимую неприязнь, но раз ты там, я хочу верить, что благодаря летнему времени она несколько приукрасилась, чтобы получить хоть некоторую приятность в твоих глазах. Следственно, я не прочь отправиться туда за тобою, в комнату, освященную твоим присутствием, прошлым и теперешним, к окну, обрамляющему скромный горизонт, на котором так часто покоился твой взгляд. Одним словом, я охотно — *на время* — примирюсь со всем этим, если только у меня будет уверенность, что в данный момент тебе не слишком там плохо, а главное — и это основное условие — чтобы это отвратительное место рассматривалось лишь как переходная ступень, как временное пристанище, как случайное жилище, — словом, как самое что ни на есть преходящее и мимолетное. Со своей стороны я утверждаю, что в качестве дачного местопребывания Москва, летняя Москва, — лучшее, что есть в России. Должно быть, в этой местности заключается нечто родственное моей природе...

Пополуночи. Возвращаюсь домой в самом мрачном и тяжелом расположении духа. Ах, зачем тебя нет здесь... Ибо, чувствую, только твое присутствие могло бы его рассеять... Я вернулся от Виельгорских, где имел случай беседовать с сыном Виельгорского, сегодня же приехавшим из Петербурга. Все, что он мне рассказал о положении дел, все, что я вывел из его речей и рассуждений о направлении умов в министерстве, а может быть, даже и выше, — вся эта подлость, глупость, низость и нелепость, — все это возмущает душу более, чем способно выразить человеческое слово... Еще раз, зачем ты не здесь... Если бы я мог по крайней мере вызвать в своей памяти сколько-нибудь живо твой милый образ, чтобы попробовать успокоиться.

Знаешь ли ты, что мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции? Ты,

зная меня, должна понимать, какое важное значение я придаю этим вопросам и какая часть моего существа отождествилась с известными убеждениями и верованиями, — ты одна можешь понять все, что я испытываю при одной мысли о том, что подобное несчастье совершится. Но я чувствую, что все, что я тебе говорю здесь, туманно, отрывочно, бессвязно и передает тебе лишь душевную тревогу, в которой я нахожусь. Я чувствую, наконец, что твое отсутствие тяготеет надо мною как кошмар или как приговор. — Покойной ночи. Я еще напишу тебе до отъезда. Завтра мы едем — Сушковы, Китти и я — за двадцать верст отсюда обедать у Леонида Голицына. Боюсь, что это будет гораздо более утомительно, чем развлекательно. — Но с таким чувством постоянной сердечной тоски можно ли находить какое-либо удовольствие в жизни?

Береги себя.

45. М. П. ПОГОДИНУ

10 июня 1854 г. Москва

Четверг, 10 июня

Мне бы хотелось еще раз перед моим отъездом повидаться с вами, почтеннейший Михайло Петрович. Я имею сообщить вам нечто верное, хотя и очень неутешительное[1]. Не можете ли *завтра, в пятницу,* обедать у гр. Уварова, а если нет, так в субботу в клубе?

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

P. S. Дайте мне знать, до завтрашнего дня, о вашем решении.

46. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

19 июня 1854 г. Петербург

St-Pétersbourg. Samedi. 19 juin 1854

La dernière poste t'aura aussi apporté rien qu'une enveloppe de ma part, mais comme cette enveloppe contenait une lettre de ton frère, j'aime à croire, ma chatte chérie, qu'elle t'aura suffi. Et

vraiment, je devrais me borner, en fait d'écritures, aux enveloppes. Car ce sont les seules choses que j'écrive avec une entière conviction. Ma pauvre intelligence est si fatiguée[1], si brisée de fatigue qu'il ne lui reste plus assez d'affirmation que pour les noms propres... C'est à cet état d'hébétement que je dois, je suppose, de ne pas me sentir plus navré en présence de ce qui se passe, et de ce qui va se passer. Il est vrai que rien de ce qui se passe ne devrait me surprendre, tant les actes ont fidèlement répondu à l'idée que je me suis faite depuis bien longtemps déjà, des acteurs. Mais quand on se trouve en face d'une réalité qui blesse et brise tout votre être moral, quel est l'homme assez fort pour ne pas en détourner la tête par moments et ne pas se voiler la tête d'illusion... Mais la terrible réalité se soucie fort peu d'être vue ou non. Il lui suffit d'être... Elle est. Elle marche. Elle arrive. Et nous sommes encore loin d'avoir touché le fond de la position qu'on nous a faite.

Une déception d'une moindre portée, mais fort déplaisante aussi, c'est l'histoire du logement, dont l'illusion nous avait si agréablement souri. Maintenant, il faudra se remettre en campagne. Je ne manquerai pas de te tenir au courant de mes recherches et de mes découvertes, si j'en fais. J'ai quelques vues sur la maison Пущин, que tu connais, n'est-ce pas? Et puis Mad. Ladomirsky que j'ai rencontrée l'autre jour sur le bateau, en revenant de Peterhof, m'a parlé d'une maison à côté de la sienne, où il y aurait, à ce qu'elle prétend, de jolis logements à avoir pour l'automne. Sais-tu qu'elle attend les Wiasemsky le mois prochain. Et que c'est chez elle qu'ils descendront, la Princesse voulant être sur les lieux pour procéder avec plus de suite et de facilité à la recherche d'un appartement. Ce serait peut-être le cas d'utiliser son activité pour nous aussi.

Je suis arrivé ici mardi, le 15, et c'est le même jour que les Karamzine—Mestchersky sont allés s'établir à Tsarskoïe Selo. Je ne les ai pas encore vus, mais j'ai appris que la pauvre Sophie K<aramzine> est dans un état pitoyable. La catastrophe de la mort de son frère n'a fait que hâter le développement de sa maladie, bien que le fait même de cette mort n'a fait qu'une diversion momentanée à ses préoccupations maladives. Le premier moment

passé, elles se sont toutes reportées sur elle-même, tant il est vrai qu'il faut une nature saine pour bien sentir la douleur. D'après certains indices, on craint que la pauvre créature ne finisse par des accès de folie furieuse[2]. Et quand on pense que c'est elle, cette créature si douce ou plutôt si molle et si inoffensive, qui est menacée d'un pareil sort! Quelle indigne brutalité, en apparence au moins, et sans préjudice du sens profond et mystérieux qui peut s'y trouver...

Quant à Mad. Aurore, elle est à Peterhof, avec ses deux beaux-frères et leurs femmes. Elle a, dit-on, une fort belle douleur, très résignée et pleine de larmes, mais ses forces, m'a-t-on dit, diminuent à vue d'œil.

C'est avant-hier que je suis allé à Peterhof voir Anna. En approchant, nous avons pu voir au-delà de la ligne de Kronstadt la fumée des bateaux à vapeur ennemis. Les deux flottes sont en vue de Kronstadt depuis lundi dernier[3]. Jusqu'à ce jour elles n'ont fait que faire des sondages et replacer les bouées. Dernièrement un de nos bateaux, le Wladimir, étant venu enlever à leur barbe la bouée qu'ils venaient de replacer, ils lui ont donné la chasse, et lui ont envoyé un boulet qui ne l'a pas atteint. Mais c'est à cela que se sont bornés leurs faits et gestes jusqu'à présent. On croit qu'ils n'entreprendront rien de sérieux avant un mois. Car ce n'est que dans un mois qu'ils attendent l'arrivée de leurs chaloupes canonnières. En attendant, le public de Pétersb<ourg> les accepte à titre d'une very interesting exhibition. Les извозчик d'ici leur doivent un gros cierge. Car à partir de lundi une procession incessante de visiteurs s'est organisée pour Oranienbaum et une élévation, dans le voisinage, d'où l'on découvre et contemple à loisir le magnifique panorama qu'ils sont venus nous offrir de si loin et à tant de frais. L'autre jour la Famille Impériale y est allée prendre le thé, en faisant arborer le pavillon Impérial en vue de leurs flottes pour les aider à s'orienter... En revenant de Peterhof, nous avons entendu une canonnade qui a duré une demi-heure et qui venait de leur côté. Je ne sais s'ils seraient flattés de l'impression qu'ils produisent, mais il est de fait que dans tout ce que j'entendais dire autour de moi, il n'y avait pas l'ombre d'hostilité, mais une douce et bienveillante

moquerie, comme seule réponse qui fût de mise envers des farceurs de mauvais goût qui veulent à toute force se faire prendre au sérieux. On a surtout beaucoup ri en se rappelant une nouvelle qui était l'autre jour dans les gazettes étrangères, à s<avoir> que Péters<bourg> était dans la consternation, que toute la population avait fui et qu'on a fait venir 40 mille Baskirs pour protéger la capitale. Et cependant, lorsque sur la jetée de Peterhof, et regardant dans la direction du soleil couchant, je me suis dit que là, derrière cette brume lumineuse — à 15 verstes du palais de l'Empereur de Russie — cet armement, le plus formidable qui eût jamais paru sur les mers, c'est l'Occident tout entier, venant nier la Russie et lui barrer l'avenir — j'ai senti intimement que tout ce que je voyais autour de moi participait comme moi à un des moments les plus solennels dans l'histoire du monde[4].

Le P<rinc>e Gortchakoff est parti avant-hier pour Vienne[5], porteur des dernières paroles. Je l'ai vu dans la nuit, avant son départ, et à l'en croire, voici quel serait le dernier mot, le mot suprême dont il est chargé: on ne veut pas la guerre avec l'Autriche, mais que si l'Autriche nous la fait, on lui fera une guerre à outrance, une guerre d'extermination et en se servant de tous les moyens...[6] Dieu veuille qu'il en soit ainsi, mais je n'en crois rien... Pas encore...

Bonjour, ma chatte chérie. Juge à la longueur de cette lettre si je t'aime. Que Dieu, ou la Providence te conserve, comme la prunelle de son œil.

Перевод:

С.-Петербург. Суббота. 19 июня 1854

Последняя почта снова доставила тебе лишь надписанный мной конверт, но так как этот конверт заключал письмо твоего брата, мне хочется думать, моя милая кисанька, что он тебя удовлетворил. Поистине, по части писания я должен был бы ограничиться одними надписями на конвертах, ибо это единственное, что я пишу вполне уверенно. Мой бедный рассудок так утомлен, так изнемог от утомления[1], что твердо помнит только собственные имена... Этому состоянию отупе-

ния я обязан, полагаю, тем, что не чувствую себя еще более страдающим, видя то, что происходит и что произойдет в дальнейшем. Правда, ничто из того, что происходит, не должно меня удивлять, — до такой степени совершающиеся действия точно соответствуют моему давнишнему представлению о действующих лицах. Но когда стоишь лицом к лицу с действительностью, оскорбляющей и сокрушающей все твое нравственное существо, разве достанет силы, чтобы не отвратить порою взора и не одурманить голову иллюзией... Но страшная действительность и не думает о том, видят ее или нет. Ей достаточно того, что она существует... Она есть, она идет, она наступает. И мы еще далеко не коснулись самой сути того положения, какое она нам приготовила.

Разочарование меньшего значения, но также весьма досадное, — это история с квартирой, мысль о которой нас так приятно обнадеживала. Теперь придется снова приниматься за поиски. Не премину держать тебя в курсе своих поисков и находок, если таковые будут. У меня есть некоторые виды на дом Пущина, который тебе известен, не правда ли? Затем госпожа Ладомирская, которую я на днях встретил на пароходе, возвращаясь из Петергофа, говорила мне об одном доме рядом с ее, где, как она полагает, осенью будут сдаваться хорошенькие квартиры. Знаешь ли ты, что в будущем месяце она ожидает Вяземских и что они остановятся у нее, так как княгиня хочет быть тут, чтобы с большим толком и удобством заняться розыском помещения. Быть может, это был бы случай воспользоваться ее расторопностью также и для нас.

Я прибыл сюда во вторник, 15-го, и в этот же день Карамзины—Мещерские переехали в Царское Село. Я их еще не видел, но узнал, что бедная Софи Карамзина в жалком состоянии. Катастрофа — смерть брата — только ускорила развитие ее болезни, хотя самый факт этой смерти на время отвлек ее от ее болезненной мнительности. По прошествии первого момента эта мнительность снова обратилась на нее самое, ибо совершенно справедливо, что только здоровая натура способна глубоко чувствовать скорбь. По некоторым признакам опасаются, как бы бедняжка не кончила припадками

буйного помешательства[2]. И подумать только, что ей, этому столь кроткому или, вернее, столь слабому и безобидному созданию, угрожает подобная участь! Что за недостойная жестокость, — по крайней мере так кажется, — и трудно постичь глубокий и таинственный смысл, который может тут скрываться...

Что касается госпожи Авроры, то она в Петергофе с обоими братьями своего мужа и их женами. Ее скорбь, говорят, прекрасна, полна покорности и слез, но, как мне передавали, ее силы слабеют на глазах.

Третьего дня я ездил в Петергоф навестить Анну. Подъезжая, мы заметили за линией Кронштадта дым неприятельских пароходов. С прошлого понедельника оба флота стоят в виду Кронштадта[3]. До того они занимались лишь тем, что делали измерения и ставили буи. Недавно одно из наших судов, «Владимир», захватило у них под носом только что поставленный ими буй; за ним погнались и пустили ему вдогонку ядро, которое его не задело. Но этим и ограничилась пока их деятельность. Полагают, что ранее месяца они не предпримут ничего серьезного, так как только через месяц ожидают прибытия своих канонерок. Пока что петербургская публика принимает их, как некое very interesting exhibition*. Здешние извозчики должны поставить толстую свечу за их здравие, так как, начиная с понедельника, образовалась непрерывная процессия посетителей в Ораниенбаум и на близлежащую возвышенность, откуда свободно можно обозревать открывающуюся великолепную панораму, которую они развернули перед нами, невзирая на дальность пути и столько понесенных ими расходов. Намедни императорская фамилия отправилась туда пить чай, подняв в виду их флотов императорский штандарт, чтобы помочь им ориентироваться... Возвращаясь из Петергофа, мы слышали канонаду, продолжавшуюся полчаса и доносившуюся с их стороны. Не знаю, были ли бы они польщены производимым ими впечатлением, но достоверно, что во всем том, что я слышал вокруг

---

* очень интересное зрелище (*англ.*).

себя, не было и тени враждебности, а только мягкая и доброжелательная насмешка, как единственно подходящий ответ этим шутникам дурного тона, которые непременно хотят, чтобы их принимали всерьез. В особенности много смеялись, припоминая известие, появившееся на днях в иностранных газетах, а именно, что в Петербурге смятение, что все население бежало и что 40 тысяч башкиров вызваны защищать столицу. И, однако, когда на петергофском молу, смотря в сторону заходящего солнца, я сказал себе, что там, за этой светящейся мглой, в 15 верстах от дворца русского императора, стоит самый могущественно снаряженный флот, когда-либо появлявшийся на морях, что это весь Запад пришел высказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему,– я глубоко почувствовал, что все меня окружающее, как и я сам, принимает участие в одном из самых торжественных моментов истории мира[4].

Князь Горчаков уехал третьего дня в Вену[5] вестником окончательного решения. Я его видел ночью перед его отъездом; по его словам, вот в чем заключается последнее слово, решительное слово, которое ему поручено передать: войны с Австрией не хотят, но если Австрия нам ее объявит, с ней будут воевать не на жизнь, а на смерть, воевать до полного уничтожения и при содействии любых средств...[6] Дай Бог, чтобы это было так, но я ничему этому не верю... Еще рано...

Добрый день, милая моя кисанька. Суди по размерам этого письма, люблю ли я тебя. Да хранит тебя Бог или Провидение, как зеницу своего ока.

47. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

23 июля 1854 г. Петербург

Pétersbourg. Vendredi. 23 juillet 1854

Oh ma chatte chérie... Mais non, je ne veux pas te rendre mes lettres haïssables et faire que tu ne puisses les ouvrir sans un sentiment d'appréhension. Je m'en vais donc commencer cette lettre par un effort de volonté — par quelque chose de tout à fait pratique. — Te souviens-tu d'un certain logement, dans la maison

appartenant à l'Eglise arménienne, au troisième étage, un peu haut, donnant sur la perspective Nevsky, que nous avons été visiter la première année de notre séjour à Pétersb<ourg>, – qui t'a beaucoup plu dans le temps et dont tu m'as quelquefois reparlé depuis. Ce sont quatorze belles pièces, parquetées. Eh bien, ce logement sera libre, vers la mi-septembre et on pourra le prendre à partir du 1[er] octobre. C'est le propriétaire lui-même, le vieux Lazareff, un ancien ami de notre famille, qui est venu me l'offrir l'autre jour. Il se loue, le bois, l'eau, et l'éclairage de l'escalier y compris à raison de 1400 r<ou>bles arg<ent> par an, et cent roubles de plus, pour l'écurie et la remise. Mais comme le dit Lazareff est la meilleure créature du monde, et tout particulièrement bien disposé pour nous, je ne doute pas que j'obtienne de lui une notable réduction. Si tu étais ici, l'affaire serait conclue en un instant – et cela, littéralement, pour vos beaux yeux – car c'est un genre de séduction auquel le pauvre vieux Lazareff est très sensible. Mais, si tu étais ici, ma chatte chérie, je ne serais pas dans ce triste état d'esprit où je suis.

Il y a dans ta dernière lettre du 13, 14 juillet une phrase bien innocente d'intention assurément, et que la situation donnée a converti à ton insu dans le plus poignant des sarcasmes. C'est ce que tu me dis à l'occasion du 14 de ce mois, jour anniversaire de ton retour à Paris et d'une soirée passée à <1 нрзб> – que le Vieux est *bien plus heureux* cette année – et que c'est ce qui te console. Vois-tu, ma chatte... On écrirait une lettre de félicitation sur son entrée en convalescence à quelqu'un mort depuis huit jours, que l'à-propos du compliment ne serait pas plus flagrant... Ah quelle abominable chose que les absences et que les tiennes m'ont fait du mal... Il est cinq heures du matin en ce moment. Si à 11 heures je pouvais être sur le chemin de fer pour aller te rejoindre, je me sentirai un homme ressuscité. Que ne donnerais-je pas pour être auprès de toi, pour me réveiller, le matin, dans une chambre à côté de la tienne. Et quand tu me parles de tes belles journées que tu savoures à longs traits et qui s'en vont pour ne pas revenir, peut-être avant bien des années et que tu me parles aussi d'Ovstoug, charmant, parfumé, fleuri, calme et radieux – ah quel accès de mal du pays tout cela me donne et



combien je me trouve coupable vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon propre bonheur — et quelle hâte j'éprouve d'aller te rejoindre... Mais, malheureusement, je n'ai pas le sou, pour le moment, et je n'en aurai guères avant le 2 du mois prochain — et puis il ne faudrait pas être brisé et anéanti de volonté, comme je le suis, — impuissant et misérable au-delà de toute expression... Je pourrais m'apitoyer sur moi-même, si le dégoût que je m'inspire ne l'emportait pas sur la pitié. — Je m'en vais écrire, à l'instant même, à mon frère, pour lui faire part de mon projet et le prier de m'en faciliter l'exécution. Le témoignage, que tu lui rends dans ta dernière lettre, m'a fait grand plaisir. Il me semble que les choses se passent toujours bien là où je ne suis pas et que c'est moi seul, qui partout dérange, gâche et abîme tout.

J'ai eu l'autre jour quelque désagrément au Ministère, toujours à l'occasion de cette malheureuse censure[1]. Ce n'était rien de bien grave assurément — et cependant si je n'étais pas aussi gueux, j'aurais éprouvé, dans le moment donné, à leur jeter à la tête le traitement qu'ils me donnent, et à rompre impunément en visière à tout ce tas de crétins, qui, en dépit de tout, et sur les ruines du monde qu'ils auront fait crouler sous le poids de leur sottise, sont fatalement condamnés à vivre et à mourir dans l'impénitence finale de leur crétinisme. Quelle engeance, grand Dieu, et c'est par de pareilles gens, que pour un peu d'argent, il faut se laisser gourmander et morigéner. — Eh bien, pour être tout à fait sincère, je dois t'avouer que cette inqualifiable, cette incommensurable médiocrité est loin de me consterner, dans l'intérêt de la cause, comme raisonnablement elle devrait le faire. Mais quand on voit à quel point ces gens-là sont dénués de toute idée et de toute intelligence et p<ar> c<onséquent> de toute initiative, il est impossible de leur attribuer la moindre part, dans quoi que ce soit et de voir en eux autre chose que des rouages passifs, mis en mouvement par une main invisible.

On sait ici que les Autrichiens après toute sorte de simagrées se sont décidés enfin à faire entrer leurs troupes dans les Principautés. Cela devrait, en apparence, amener un conflit et précipiter la crise. Eh bien, j'ai la conviction qu'il n'en sera rien et que la crise viendra d'un tout autre côté[2] — la lutte que l'on pré-

12 Зак 7712

pare ne se fera pas. Mais la catastrophe se fera. Et on aura en définitive accumulé toutes ces armées et tous ces armements non pas pour se battre, mais pour mieux enfoncer sous leurs pieds la glace qui les supporte. Ce qui vient de se passer en Espagne est un premier avertissement[3]. C'est le reflux qui commence.

Hier je suis allé voir Anna à Peterhof. C'était la fête de sa Grande-Duchesse et de trois autres Grandes-Duchesses. J'ai dîné chez elle avec sa compagne — d'un morceau de fromage et de deux verres d'un médiocre vin de Champagne. Peterhof avec ses eaux qui jouaient était splendide et tout rempli de ce bruit des eaux, comme si la pluie tombait. Les Iles aussi sont fort belles, beaucoup de mouvement, de réunions, etc. Et cependant rien de tout cela, malgré l'accueil que l'on me fait partout, malgré — malgré — rien ne parvient à me rassurer ou à me rasséréner — et un quart d'heure de ta présence y suffirait grandement... Oh ma chatte chérie, ce que je te dis là, ce ne sont pas des imaginations. Et si jamais je suis destiné à recouvrer un peu de calme et de sérénité, c'est à toi seule que j'en devrai le bienfait. Car toi seule tu en as le pouvoir et la volonté. Je baise tes mains chéries et je voudrais bien, en ce moment, me les poser sur la tête. Au revoir.

Перевод:

Петербург. Пятница. 23 июля 1854

Ах, милая моя кисанька... Но нет, не хочу, чтобы ты возненавидела мои письма и пугалась, получая их. Итак, сделаю усилие воли и начну это письмо чем-либо вполне практическим. — Помнишь квартиру в доме Армянской церкви, — третий этаж, немного высоко, окнами на Невский проспект, — ту, что мы с тобой смотрели в первый год нашего пребывания в Петербурге? Она тебе тогда очень понравилась, и ты несколько раз мне потом о ней говорила. Это четырнадцать прекрасных комнат, с паркетными полами. Ну так вот, эта квартира будет свободна к половине сентября и с 1 октября ее можно будет снять. Сам хозяин, старик Лазарев, давнишний друг нашей семьи, пришел мне ее предложить. Она сдается — с дровами, водой и освещением лестницы — за



1400 рублей серебром в год, да 100 рублей лишних за конюшню и сарай. Но так как оный Лазарев прекраснейшее существо на свете и совершенно особенным образом расположен к нам, то я не сомневаюсь, что добьюсь от него значительной сбавки. Если бы ты была здесь, дело было бы слажено в одну минуту и — это буквально — ради твоих прекрасных глаз, ибо к подобного рода обольщениям бедный старик Лазарев очень чувствителен. Но если бы ты была здесь, моя милая кисанька, я не находился бы в том грустном расположении духа, в каком нахожусь сейчас.

В твоем последнем письме от 13–14 июля есть одна фраза, вполне невинная, конечно, по мысли, но которая в настоящем положении получила, помимо твоего желания, характер самого горького сарказма. Это там, где ты говоришь по поводу 14-го числа этого месяца — годовщины твоего возвращения в Париж и вечера, проведенного в <1 нрзб>, — что старичок в этом году *гораздо счастливее* и что это тебя утешает. Видишь ли, моя киска... Если бы кому-нибудь, уже восемь дней как умершему, написали поздравительное письмо по случаю его выздоровления, и то неуместность приветствия была бы не более разительной... О, что за мерзкая вещь — разлука, и сколько зла причинили мне разлуки с тобой... Сейчас пять часов утра. Если бы в 11 часов я мог очутиться на железной дороге, чтобы ехать к тебе, я почувствовал бы себя воскресшим. Чего только не отдал бы я за то, чтобы оказаться возле тебя и проснуться утром в комнате рядом с твоей. А когда ты рассказываешь о прекрасных днях, которыми ты упиваешься, дыша полной грудью, и которые уходят и не вернутся, быть может, в течение многих лет, когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном и лучезарном, — ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною, до какой степени я чувствую себя виновным по отношению к самому себе, по отношению к своему собственному счастью и с каким нетерпением стремлюсь к тебе... Но, увы, у меня в данную минуту в кармане нет ни копейки и не будет ранее 2 числа будущего месяца, а затем нужно было бы не быть таким раз-

битым и лишенным воли, каким являюсь я, — немощным и жалким выше всякого выражения... Я мог бы разжалобиться над самим собой, если бы отвращение, которое я сам себе внушаю, не превышало бы чувства жалости. — Я сейчас же напишу моему брату, чтобы поделиться с ним своими намерениями и попросить его облегчить мне их исполнение. Признание его достоинств в твоем последнем письме доставило мне большое удовольствие. Мне кажется, что там, где меня нет, всегда все хорошо обходится и что всюду только я один смущаю, калечу и порчу все.

Намедни у меня были кое-какие неприятности в министерстве — все из-за этой злосчастной цензуры[1]. Конечно, ничего особенно важного — и, однако же, если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за отродье, великий Боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы. — Но, чтобы быть вполне искренним, я должен тебе признаться, что эта неслыханная, эта безмерная посредственность вовсе не пугает меня с точки зрения самого дела, как это, естественно, должно было бы быть. Когда видишь, до какой степени эти люди лишены всякой мысли и соображения, а следственно и всякой инициативы, то невозможно приписывать им хотя бы малейшую долю участия в чем бы то ни было и видеть в них нечто большее, нежели пассивные орудия, движимые невидимой рукой.

Здесь известно, что австрийцы после разных кривляний решились наконец ввести свои войска в княжества. Это, по-видимому, должно было бы вызвать конфликт и ускорить развязку. Ну, так я убежден, что ничего этого не будет и что развязка последует совсем с другой стороны[2], — борьба, которую готовят, не состоится, но катастрофа произойдет, — и в конце концов окажется, что все это вооружение и все эти армии накоплены не для того, чтобы сражаться, но чтобы под ними скорее треснул лед, который их держит. То, что произо-



шло теперь в Испании, — первое предупреждение[3]. Это — начало отлива.

Вчера я ездил к Анне в Петергоф. Был день именин ее великой княгини и еще трех великих княгинь. Я пообедал у нее с ее подругой — съел кусок сыра и выпил два стакана посредственного шампанского. Петергоф с его бьющими фонтанами был великолепен и весь полон шума вод, — казалось, будто идет дождь. Острова также очень красивы; много движения, большой съезд и т. д. и т. д. И, однако, ничто из всего этого, несмотря на оказываемый мне всюду прием, несмотря на... несмотря на... ничто не в силах успокоить и разогнать внутренний мрак, тогда как и четверти часа твоего присутствия было бы вполне для этого достаточно... О моя милая киска, то, что я тебе здесь говорю, — не выдумки. И если мне суждено когда-нибудь снова обрести хоть немного спокойствия и душевной ясности, то этим благом я буду обязан одной тебе, ибо ты одна имеешь на это власть и волю. Целую твои милые руки и очень хотел бы сейчас положить их себе на голову. До свидания.

48. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

27 июля 1854 г. Петербург

Pétersb<ourg>. 27 juillet 1854

La pelisse est retrouvée. Mr Komaroff n'est pas un mythe. Il est venu lui-même en chair et en os chez moi, pour m'annoncer son arrivée et celle de la pelisse, et je m'en vais sans retard l'envoyer quérir au Forestier où le dit Mr K<omaroff> s'est logé. — A propos du logement, je viens de visiter en détail celui que je te destine dans la maison de l'Eglise arménienne. Il est assurément très beau, très spacieux, très confortable, un peu bien haut, il est vrai, 78 marches de compte. Mais si je m'en souviens bien, tu m'as dit ce semble la dernière fois, que tu ne haïrais pas un logement d'où tu pourrais planer à une certaine hauteur au-dessus de la foule importune, et je pense que les 78 marches te rendraient ce service de te mettre décidément à l'abri du vulgaire. Aussi n'est-ce pas cette circonstance qui me paraît sujette à caution, mais

bien l'ampleur même de l'appartement qui est telle, que la famille toute entière aurait pu y être logée fort au large — même avant sa dispersion[1], et que sera-ce donc maintenant, après les nouvelles diminutions. Mon pauvre esprit se perd dans toutes ces perplexités, et ce n'est certainement pas moi qui prendrai l'initiative d'une résolution quelconque.

Oh ma chatte chérie, je me sens triste à mourir. Jamais je ne me suis senti plus malheureux — et cela au milieu de tout cet éclat et de toute cette magnificence du ciel et de la saison. C'est ta présence qu'il me faudrait — ta présence seule, qu'il me faudrait. Alors je redeviendrai moi-même, je me ressaisirai et je redeviendrai accessible aux bonnes et douces influences du dehors. Voilà pourtant une lettre — celle de ton frère[2], qui m'a fait grand plaisir, — lis-la, ma chatte, et tu comprendras le douloureux plaisir qu'elle m'a fait éprouver. Ce n'était pas seulement comme un souffle de l'été dernier, venant des lacs et des montagnes de la Suisse — cela venait de plus loin, de bien plus loin encore... Ah ma chatte chérie, c'est toi qui m'as amené dans ce pays-ci[3], c'est à toi à me tirer d'ici — et le plutôt serait le mieux. Je suis, je dois l'avouer, un pitoyable homme.

J'aimerais bien faire plaisir à ton frère, en écrivant quelques phrases qui eussent l'air de signifier, en réponse à la note de cet excellent Mr Laurentie[4], plus niais encore qu'il n'appartient à un Français de l'être — mais il m'est devenu physiquement impossible de parler, en présence de ce qui se passe, de la crise actuelle. Je ne suis rien moins qu'un homme de foi, hélas — et il y aurait une sotte affectation de ma part à essayer de dissimuler mon profond, mon entier découragement. Tout n'est pas perdu peut-être — mais tout a été gâché, abîmé et pour longtemps compromis. Je ne m'étais jamais abusé sur l'inqualifiable médiocrité de ces gens-là, mais cette médiocrité même me rassurait. J'espérais sottement que Dieu, auquel j'attribuais mes prédilections personnelles, ne permettrait pas que ces gens-là fussent sérieusement mis à l'épreuve. Il l'a permis. Et maintenant, malgré l'immense portée de la question, il est impossible d'assister sans nausée au spectacle qu'on a sous les yeux. C'est la guerre des crétins contre les gredins...

Si, au lieu de toutes ces niaiseries, je pouvais seulement t'écrire ces seuls mots: demain je pars pour aller te rejoindre, comme cela me ranimerait. Mais je suis tombé dans une telle atonie de pensée et de volonté – qu'en dépit de cette angoisse qui me mine et à laquelle je voudrais échapper à tout prix, il m'est impossible de formuler aucune résolution. – L'autre jour Anna prétendait, que comme il est toujours fortement question de la nomination de Daria, il serait possible qu'elle fût dans le cas d'être rentrée à Pétersb<ourg> à la fin du mois d'août. Et alors, quoi et comment? J'ai écrit dernièrement à ce sujet à mon frère à Moscou, et j'attends sa réponse. Rien de tout cela n'aurait pu m'affecter, si j'avais la certitude, la certitude matérielle, que tu me survivras...

Et cependant en dépit et à travers de tout ce qui se passe et se remue dans notre for intérieur, la vie banale, la vie du dehors va son train. L'autre jour Mad. Natalie Stroganoff, dont le mari, comme tu sais, est gouverneur militaire des Iles, nous a donné une soirée, dans cette maison occupée jadis par Mad. de Krüdener, à laquelle a assisté la Grande-D<uchesse> Hélène. Puis hier, c'était le tour de Mad. Kalergy qui nous a donné une soirée musicale d'adieux. Ce qu'il y avait de plus curieux, c'était l'air radieux du chancelier, s'épanouissant et s'ébattant avec volupté à l'audition de cette musique. Alexandre le Grand à Babylone n'était pas plus sensible aux accords de la lyre de Timothée[5]. Eh bien, je parie qu'au milieu de tout ce monde je faisais une figure parfaitement semblable à celle de tout le monde. Et que l'on juge après cela de ce que les gens ont dans le cœur, d'après la mine qu'ils font.

Mais parlons plutôt de ce qui nous intéresse et de ce qui nous concerne réellement. Je suis plus que jamais d'avis que tu gardes Marie à la maison. Il est absurde de s'imposer, sans une nécessité évidente, de pareilles privations – car c'en serait une très grande pour toi, et je sens que ma présence ne suffirait plus désormais à combler la lacune. Non, ma chatte chérie, il n'est pas toujours vrai que ce qui nous est le plus pénible est ce qu'il y a de mieux à faire, bien que le système opposé est encore moins vrai. La rentrée de pauvre Dmitry dans la geôle des Tamy est assurément une

pénible épreuve à imposer à ce cher garçon — mais je compte sur le correctif de ta présence pour la lui adoucir. Pourquoi ne me parles-tu jamais de Kitty dans tes lettres? Comment la trouves-tu?..

Mais voilà que j'oubliai de te dire qu'en même temps que ta lettre j'ai reçu l'argent, les 300 r<oubles> que tu m'as envoyés et dont je te remercie. Sur ces 300 r<oubles> je n'en ai touché que 200, attendu que je m'étais fait prêter, par ladite caisse Maltzoff, *cent* roubles, au mois de mars dernier, et il se trouve que j'avais oublié de les rembourser — toutefois, demande un peu à В<аси-лий> Кузьмич, s'il n'a pas été dans le cas de faire, par mon ordre, au mois de mars ou d'avril dernier un remboursement de 100 r<oubles> ar<gent> à la caisse de Дятьковичи[6]. Quant à la dette de 700 r<ou>bles — tu peux être parfaitement sûre qu'on serait bien fâché de se la voir remboursée. Ah que tout cela m'ennuie.

La Capello sera payée aujourd'hui même.

Je viens à l'instant même être invité à dîner chez la Gr<ande>-Duch<esse> Hélène.

Перевод:

Петербург. 27 июля 1854

Шуба нашлась. Господин Комаров не миф. Он своей собственной персоной приходил ко мне объявить о своем приезде и о прибытии шубы, и я без промедления пошлю за ней в Лесной, где квартирует оный Комаров. Кстати о квартире, я только что подробно осмотрел ту, которую предназначаю для тебя в доме Армянской церкви. Она, безусловно, очень красивая, очень большая, очень удобная; правда, это немного высоко — счетом 78 ступенек, но, если не ошибаюсь, ты мне, кажется, последний раз говорила, что ничего не имела бы против квартиры, где могла бы парить на известной высоте над докучной толпой, и я думаю, что 78 ступенек окажут тебе в этом услугу, защитив тебя от пошлого люда. Итак, не это обстоятельство представляется мне сомнительным, а самая обширность помещения, которое таково, что вся семья и до своего рассеяния[1]

могла бы весьма просторно разместиться в ней, а что же будет теперь, после новых сокращений? Мой бедный рассудок теряется во всех этих недоумениях, и уж, конечно, не я возьму на себя инициативу какого-нибудь решения.

О моя милая кисанька, мне невыносимо грустно. Никогда не чувствовал я себя таким несчастным — и это посреди всего блеска, всего великолепия неба и летней поры. Я нуждаюсь в твоем присутствии, в одном твоем присутствии. Тогда я снова стану самим собой, овладею собой и опять сделаюсь доступным добрым и мягким влияниям извне. Вот, однако, письмо — письмо твоего брата[2], доставившее мне большую радость, — прочти его, моя киска, и ты поймешь горестное удовольствие, которое я, читая его, испытал. На меня повеяло от него не только прошлым летом, озерами, горами Швейцарии; нет, дуновение шло из еще большего далека, гораздо большего далека... О моя милая кисанька, ты привела меня в этот край[3], тебе надлежит и вывести меня отсюда, и чем скорее, тем лучше. Должен сознаться, я — жалкий человек.

Я очень хотел бы услужить твоему брату, написав ему несколько фраз, как бы в ответ на заметку этого добрейшего г-на Лоренси[4], еще более глупого, чем полагается быть французу, но в виду происходящего кризиса мне стало физически невозможно говорить. Я отнюдь не легковерный человек, увы! и с моей стороны было бы глупым притворством стараться скрыть свое глубокое, свое полное уныние. Быть может, не все еще потеряно, но все испорчено, разрушено и надолго посрамлено. Я никогда не обманывался насчет беспримерной посредственности этих людей, но самая эта посредственность меня и ободряла. Я глупо надеялся, что Бог, которому я приписывал мои личные предпочтения, не допустит, чтобы эти люди были серьезно подвергнуты испытанию. Он допустил это, и теперь, несмотря на огромное значение вопроса, невозможно присутствовать без отвращения при зрелище, происходящем перед глазами. Это война кретинов с негодяями...

Если бы вместо всего этого вздора я мог написать тебе одни только слова: завтра я еду к тебе, — как бы это меня ожи-

вило. Но я впал в такое расслабление мысли и воли, что вопреки снедающей меня тревоге, от которой я хотел бы избавиться во что бы то ни стало, я не в состоянии ничего решить. На днях Анна высказала предположение, что так как о назначении Дарьи продолжают настойчиво говорить, ей, быть может, следовало бы вернуться в Петербург в конце августа. Но что и как тогда будет? Недавно я написал по этому поводу брату в Москву и жду его ответа. Все это ничуть бы меня не волновало, если бы я имел уверенность, твердую уверенность в том, что ты меня переживешь...

И, однако, вопреки и наперекор тому, что происходит и мятется в тайниках наших душ, банальная жизнь, жизнь внешняя идет своим чередом. Намедни Наталья Строганова — муж ее, как тебе известно, военный губернатор Островов — дала нам вечер в том доме, который занимала когда-то г-жа Крюденер; на этом вечере присутствовала великая княгиня Елена Павловна. Вчера очередь была за г-жой Калерджи, устроившей свой прощальный музыкальный вечер. Любопытнее всего был сияющий вид канцлера, так и расцветавшего, так и расплывавшегося от наслаждения, внимая этой музыке. Александр Великий в Вавилоне был не более чувствителен к звукам лиры Тимофея[5]. Так вот, бьюсь об заклад, что среди всего этого общества я изображал из себя фигуру, совершенно сходную со всеми. После сего попробуйте по выражению лиц судить о том, что у людей на сердце.

Но поговорим лучше о вопросах, которые нас интересуют и действительно нас касаются. Я более чем когда-либо убежден, что ты должна оставить Мари при себе. Нелепо подвергать себя, без явной необходимости, подобному лишению, ибо для тебя оно было бы весьма велико, а я чувствую, что отныне моего присутствия недостаточно для заполнения пробела. Нет, милая моя кисанька, не всегда верно, будто нам следует поступать так, как для нас всего тяжелее, хотя противоположная система еще менее верна. Возвращение Дмитрия в темницу господ Тами, конечно, тяжелое испытание для дорогого мальчика, но я рассчитываю на твое присутствие, как на смягчающее средство. Почему

ты в своих письмах никогда не рассказываешь мне о Китти? Как ты ее находишь?

Но я едва не забыл сказать тебе, что одновременно с твоим письмом получил деньги, присланные тобой, — 300 рублей серебром, за которые тебя благодарю. Из этих 300 рублей я взял только 200, ибо в марте занял в конторе Мальцова 100 рублей, которые, оказывается, забыл вернуть. Спроси, однако, Василия Кузьмича, не имел ли он случай внести, по моему приказанию, 100 рублей серебром в контору Дятьковичей[6] в прошлом марте или апреле. Что касается долга в 700 рублей, ты можешь быть вполне уверена, что там были бы очень раздосадованы, если бы мы его уплатили. Ах, как все это мне надоело!

Госпоже Капелло заплачу сегодня же.

Я только что получил приглашение на обед к великой княгине Елене Павловне.

49. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

18 августа 1854 г. Петербург

St-Pétersbourg. Mercredi. 18 août 1854

Comme tout ce qui me vient de toi, ma chatte chérie, me rafraîchit et me fait du bien. Voici ta chère lettre du 10 de ce mois qui s'est fait un peu attendre, il est vrai, mais qui aussi m'a tout aussitôt mis quelque baume dans le sang. Ah, du calme, du calme à tout prix. Tous les royaumes de la terre pour un peu de calme![1] Mais, il est certain que tout autour de moi semble être conjuré pour me l'ôter. Ne voilà-t-il que ce vieil épouvantail usé du choléra reprend de plus belle, comme s'il était piqué de voir l'indifférence générale où l'on se laissait aller par rapport à lui. Qu'est-ce donc que ce débordement subit dont il a de nouveau couvert l'Europe entière. Mais tu comprends bien que ce n'est pas l'Europe dans sa totalité qui m'inquiète, mais bien un seul point, Moscou, que la maladie a, dit-on, envahi avec une recrudescence de fureur inimaginable. Aussi me voilà plus que jamais décidé à y aller, pour m'y trouver avant toi. Je partirai donc d'ici, dès qu'il me sera possible de m'absenter et je me plais à espérer

que cela me sera possible da<ns le>* courant de la semaine prochaine[2], c'est-à-dire dans 8 à 10 jours. Une f<oi>*s à Moscou, je me sentirai plus rassuré sur ton compte et je verrai ce qu'il y <a>* à faire... J'ai toujours pensé que tu traîneras ton séjour à Ovstoug jusqu'à la mi-septembre, et maintenant, en présence de ce diable de choléra, cette date un peu tardive ne laisse pas que de me rassurer quelque peu. D'ici là sa fougue se sera un peu ralentie. Et puis, comme bien avant cette époque je serai rendu sur les lieux, je verrai ce que je puis t'autoriser à faire. Mais si par hasard cet infâme choléra s'avisait de pénétrer jusque chez vous. Après tout pourquoi cela ne serait-il pas possible. Et le moyen, après cela, de conserver quelque tranquillité et quelque liberté d'esprit. Oh ma chatte chérie, tu ne sauras jamais tout ce que tes absences prolongées m'ont fait faire de mauvais sang. Que j'envie ton frère, qui dans cette calamiteuse époque peut à volonté se choisir la retraite qui lui agrée le plus, en emmenant avec lui tous les êtres qui lui sont les plus chers. Mais je dois avouer aussi que ce bonheur, il en est plus digne que moi. Le souvenir de son intérieur est aussi une des choses qui rafraîchissent le plus ma pensée. Je lui aurais déjà répondu depuis bien longtemps, si je pouvais surmonter un instant l'inexprimable dégoût, cette nausée mêlée de fureur, que soulève en moi le spectacle de tout ce qui se passe. Ah les misérables. Il y a des moments où je me sens étouffer, dans cette clairvoyance impuissante — comme un homme enterré vif, qui revient à lui. Mais malheureusement je n'avais pas même besoin de revenir à moi — car depuis plus de quinze ans je n'ai cessé de pressentir la redoutable catastrophe à laquelle devait fatalement aboutir tant d'ineptie et d'inintelligence. Et ce n'est que l'énormité même de cette catastrophe qui me faisait douter par moments, que nous étions condamnés à la voir se réaliser. Maltitz a bien raison de dire dans une lettre, que je viens de recevoir de lui et que je t'envoie, qu'on voudrait se laisser mourir de cette tristesse et de ce dégoût dont on se sent rempli[3]. Et on n'est encore qu'au début!.. Ces jours-ci, on a eu, par les journaux

---

* Бумага прорвана с утратой текста. Текст в ломаных скобках восстанавливается по смыслу.



étrangers, c'est-à-d<ire> ennemis, la nouvelle de l'occupation définitive des Iles Aland[4] par suite de la reddition de la forteresse. Il faut lire maintenant les journaux... En les lisant on comprend *les flagellants*[5] et le genre de plaisir qu'ils peuvent éprouver en se faisant passer par les verges...

Ah, parlons d'autre chose. Tu peux considérer le logement en question comme nous étant bien et dûment acquis. Mais tout cela n'acquerra quelque réalité à mes yeux que quand tu seras ici et que tu en auras toi-même pris connaissance. Et il me semble toujours que des siècles entiers me séparent de ce moment... A la grâce de Dieu. Je suis toujours encore un pied en ville, un pied aux Iles, et je resterai dans cette équivoque posture jusqu'à mon départ pour Moscou.

Je n'ai pas vu Anna depuis 8 jours et ne puis guères aller la voir demain, comme je me le proposais, attendu que demain, je dîne chez la P<rinc>esse Saltykoff, et vais le soir chez la Ioussoupoff, – ah que tout cela est creux et peu satisfaisant. Nous avons eu ces jours-ci un terrible incendie, dans le quartier de la ville qui avoisine le chemin de fer de Tsarskoïe Selo. Plus de cent maisons ont été la proie des flammes ainsi que quelques femmes, quelques enfants et un certain nombre de pompiers. C'était, ma foi, du luxe dans la situation donnée, et il n'était nullement nécessaire de cette nouvelle ombre ajoutée au tableau.

La Smirnoff, dont tu me parles, n'est pas encore arrivée, du moins à ma connaissance, et quant aux Wiasemsky, personne de ceux qui pourraient en avoir des nouvelles, n'en savent le premier mot. Quant à la lettre pour la P<rinc>esse, elle a été aussitôt expédiée que reçue... Je laisse à Anna le soin de vous tenir au courant de tout ce qui a rapport aux chances de la nomination de Daria. D'après ce qui lui est revenu, par la W<oeykoff>, d'une certaine conversation qui a eu lieu à ce sujet, on serait en droit de supposer que la chose est décidée,– en principe au moins, mais qu'on se réserve d'articuler cette décision qu'après qu'on l'aura vue à son retour ici, et voilà pourquoi Anna persiste à dire qu'il serait fort à désirer que le retour ait lieu *avant* le 15 septembre. C'est-à-d<ire> avant le déménagement de Peterhof.

Ma chatte chérie. J'écrirai bien certainement à ton frère, mais tout de même, parle-lui de moi et de mon extrême désir d'aller avec toi le rejoindre au plutôt n'importe où — fût-ce même de nouveau au *Rigi-Culm*[6], à la cime duquel tu parais avoir attaché à tout jamais un certain mal de ma façon, dont tu as eu la bonté de fêter l'anniversaire. — Ce que tu me dis du pauvre Яковлев[7] (quelle transition) est aussi triste que tout le reste. Tâche de lui faire comprendre, sans trop insister sur son malheur le douloureux intérêt que j'y prends. Ah, pauvre cher homme, lui si inoffensif qu'a-t-il fait pour mériter un pareil sort. Et dira-t-on encore que c'est pour son bien. Quant à mon bien à moi, c'est toi et je veux que personne n'en ignore.

Перевод:

С.-Петербург. Среда. 18 августа 1854

Все, исходящее от тебя, моя милая кисанька, освежает меня и благотворно на меня действует; поэтому и твое милое письмо от 10 сего месяца (правда, немного запоздавшее) тотчас пролило бальзам на мою душу. Ах, покоя, покоя, во что бы то ни стало! Все царства мира за каплю покоя[1]. Но, видимо, все окружающее сговорилось его у меня отнять. А тут еще древнее устаревшее пугало — холера — возникает с новой силой, точно она обижена общим установившимся по отношению к ней равнодушием. Что значит это внезапное ее вторжение, вновь охватившее всю Европу? Но, как ты сама понимаешь, меня беспокоит не Европа вообще, а лишь одна ее точка, Москва, где, говорят, болезнь распространяется с невообразимой силой. Вот почему я окончательно решился скорей туда отправиться, чтобы быть там раньше тебя. Итак, я выеду отсюда, как только мне можно будет отлучиться, и хочу надеяться, что это станет осуществимо на будущей неделе[2], то есть через 8 или 10 дней. Очутившись в Москве, я несколько успокоюсь за тебя и увижу, что надо делать... Я не сомневался, что ты дотянешь свое пребывание в Овстуге до половины сентября, и теперь, ввиду этой чертовской холеры, такой довольно поздний срок меня как-то ободряет. До тех

пор ее пыл немного утихнет, и кроме того, так как я буду на месте гораздо раньше этого времени, то и увижу, что тебе предписать. А вдруг эта подлая холера вздумает проникнуть к вам! Ведь в этом не было бы ничего удивительного! Как же при этих условиях сохранить хотя бы относительное спокойствие и свободу мысли! Ах, моя милая кисанька, ты никогда не узнаешь, сколько крови испортили мне продолжительные разлуки! Как я завидую твоему брату, который в эту бедственную эпоху может по желанию выбирать себе наиболее подходящий приют, увозя с собою тех, кто ему дороже всего. Но должен признаться, что он более достоин этого счастья, нежели я. Воспоминание о его семейном быте также принадлежит к числу вещей наиболее благоприятно действующих на мое настроение. Я бы уж давно ответил ему, если бы мог на минуту преодолеть невыразимое отвращение, омерзение, смешанное с бешенством, которое вызывает во мне зрелище всего происходящего. О негодяи! Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения, как заживо погребенный, который внезапно приходит в себя. Но, к несчастью, мне даже не надо приходить в себя, ибо более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу, – к ней неизбежно должны были привести вся эта глупость и все это недомыслие. И одна лишь чрезмерность катастрофы минутами заставляла меня сомневаться в том, что мы осуждены видеть ее осуществление. Мальтиц совершенно прав, говоря в письме, которое я только что от него получил и тебе пересылаю, что хотелось бы умереть от избытка печали и отвращения[3]. А это еще только начало!.. На этих днях мы узнали из иностранных газет, стало быть враждебных, об окончательном занятии Аланских островов[4] вследствие сдачи крепости. Теперь надо читать газеты... Читая их, понимаешь *флагеллантов*[5] и тот род удовольствия, которое они испытывают, заставляя себя бичевать...

Ах, давай поговорим о другом. Ты можешь считать квартиру, о коей шла речь, прочно и крепко за нами. Но все это станет несколько более реальным в моих глазах только тогда, когда ты будешь здесь и сама ее увидишь. А мне кажется, что

целые века отделяют меня от этого момента... Ну, что Бог даст. Я все еще одной ногой в городе, другой на Островах и останусь в этом неопределенном положении до моего отъезда в Москву.

Я уж с неделю не видел Анны и не могу отправиться к ней завтра, как предполагал, ибо завтра обедаю у княгини Салтыковой, а вечер проведу у Юсуповой. Но как все это пусто и доставляет мало удовлетворения! На днях у нас был ужасный пожар в части города, смежной с царскосельской железной дорогой. Более ста домов стали добычей пламени; в огне погибли несколько женщин, детей и некоторое число пожарных. Это уж, право, чересчур в данном положении и совсем не требовалось добавлять на картине еще одну тень.

Смирнова, о которой ты мне пишешь, еще не приехала, — по крайней мере я этого не слышал, — а что касается Вяземских, никто из тех, кто мог бы иметь о них известия, ничего о них не знает. Что до письма княгине, оно было отправлено тотчас но получении...

Предоставляю Анне заботу держать вас в известности относительно возможного назначения Дарьи. Судя по тому, что Анна узнала от Воейковой об одном разговоре по этому поводу, есть основание думать, что дело решено, по крайней мере в принципе, но решение это держат про себя, предполагая огласить его лишь после того, как увидят Дарью по ее возвращении сюда. Вот почему Анна настаивает на желательности этого возвращения *до* 15 сентября, т. е. до переезда из Петергофа.

Моя милая кисанька, я, конечно, напишу твоему брату, но все-таки ты и сама расскажи ему обо мне и о моем чрезвычайном желании как можно скорее поехать к нему с тобой куда угодно — хотя бы опять на *Риги-Кульм*[6], к вершине которого ты, по-видимому, навсегда почувствовала такое же влечение, как и я, и была столь добра, что отпраздновала годовщину своего пребывания там. То, что ты мне пишешь про бедного Яковлева[7] (какой переход!), так же грустно, как и все прочее. Постарайся уверить его, не слишком упирая на его несчастье, в моем горестном ему сочувствии. Ах, бедный, милый человек, столь

безобидный, что сделал он, чтоб заслужить подобную судьбу! И будут еще говорить, что это ему на благо. Что касается моего блага — то это ты, и я хочу, чтобы все это знали.

50. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

25 августа 1854 г. Петербург

St-Pétersbourg. 25 août 1854

Je reçois à l'instant ta lettre du 18 de ce mois. Eh bien, cette fois-ci ce calmant n'a pas produit son effet habituel. L'inquiétude me rendra très positivement fou. Je ne puis supporter l'idée d'avoir entre toi et moi — le foyer d'épidémie à Moscou[1]. C'est abominable, c'est infâme, c'est tout bonnement intolérable. Et ne suffit-il donc pour ma pauvre imagination malade de l'inconnu de l'absence, avec ses mille chances plus ou moins funestes, et fallait-il encore y ajouter cette brutale certitude d'un danger de tous les instants. Dix fois par jour toute sorte de gens viennent par manière de conversation me raconter des nouvelles vraies ou fausses des ravages de la maladie à Moscou, et ces brutes ne se doutent seulement pas du mal qu'elles me font avec leurs récits. Car enfin, puisque la maladie a acquis cette intensité à Moscou, qui n'est qu'à 400 v<erstes> de chez vous — elle pourrait bien aussi à l'heure qu'il est s'être encore rapprochée davantage et avoir gagné tout le pays intermédiaire... Dans de pareilles circonstances et à cette distance tout conseil, toute exhortation serait inutile. Mais enfin, ma chatte, si tu as, je ne dis pas quelque affection, mais quelque peu de conscience, voici ce que tu feras sans faute. Dès que tu sauras que l'état sanitaire du pays à 150 verstes n'est plus satisfaisant, tu quitteras à l'instant même Ovstoug pour revenir ici, mais, bien entendu, sans passer par Moscou. Il doit y avoir une route plus directe, aboutissant p<ar> ex<emple> à Tver, que sais-je? Cela sera mauvais, inconfortable, je le veux bien, mais tout vaut mieux que de se laisser envahir par la maladie dans un endroit, où il n'y a nul secours... Encore une fois, tout cela me rendra fou. J'allais partir ces jours-ci pour Moscou, lorsque j'ai reçu une lettre de ma sœur qui me supplie d'ajourner mon départ. Et comme au fond je n'y allais qu'à cause de toi,

c'est-à-dire que pour y être rendu avant toi, j'ai daigné entendre raison, et ai remis mon départ aux premiers jours de septembre, dans la persuasion où je me plais à être que toi aussi de ton côté, tu seras assez raisonnable pour ne pas bouger d'Ovstoug, si tant est que l'état sanitaire d'Ovstoug n'a rien de suspect, avant de me savoir arrivé à Moscou, et avant que je ne t'en aie donné le signal de Moscou même. Moi, tu le sais bien, je ne risque rien, car j'ai une nature anticholérique par essence. Et puis, d'ailleurs, je ne puis avoir l'imagination tourmentée à mon propre sujet, attendu que je suis dans la triste impossibilité d'être jamais séparé de moi-même. Ah Grand Dieu, que je supporterais volontiers cette séparation. Je crois vraiment qu'elle me pèserait encore moins qu'à toi.

Quant à l'affaire du logement, tu peux la considérer comme conclue, mais il ne sera pas facile d'obtenir qu'il soit évacué avant les premiers jours d'octobre, et il est certain qu'un provisoire d'auberge, s'il venait à durer 15 jours à trois semaines, serait une triste entrée en campagne. Mais enfin est-il bien prouvé que tu ne puisses pas accepter le pied-à-terre que je t'offre? Quant à Daria, il n'y a pas de raison pour que sa sœur ne la recueille provisoirement chez elle, car d'après les dernières nouvelles que j'ai reçues de Peterhof, le séjour que la cour devait y faire, paraissait devoir encore se prolonger beaucoup. Mais tous ces arrangements par autorisation et à distance sont une chose parfaitement insensée et stupide. Ah ce n'est pas cela qui me préoccupe. C'est hier – le 24 – que nous avons assisté à une mort, qui a excité, on peut bien le dire, des regrets universels. C'est la mort, hélas, de notre glorieux, de notre magnifique, de notre splendide été, l'inoubliable été de 1854[2]. La veille encore il paraissait plein de vie. J'avais passé la soirée chez la Comtesse Bobrinsky, et en rentrant de chez elle vers minuit, j'ai pu encore pour la dernière fois savourer une température encore douce et amie. Mais dans cette même nuit un furieux vent d'ouest est venu bouleverser tout cela. Et cet ouragan a duré sans relâche pendant plus de vingt-quatre heures. Si bien que la moitié des Iles s'est trouvée être sous l'eau, les chemins transformés en torrents, et les barques venant s'échouer dans les jardins, et que moi, après avoir dîné hier aux Iles, chez la P<rinc>esse Ioussoupoff, j'ai eu

quelque peine à regagner la ville. La nuit dernière il y a eu du tonnerre, et une espèce de tonnerre particulière à cette saison, car c'est toujours l'annonce d'un changement atmosphérique définitif. Aussi l'air aujourd'hui est-il complètement différent de celui qui nous a caressés tout ce temps-ci, et on se sent entré en plein dans un régime tout nouveau, mais très connu. Si quelque chose pouvait consoler de ce brusque et douloureux changement, c'est l'idée de tous les agréments qui vont en résulter pour la flotte de nos chers ennemis. C'est à présent qu'ils vont savourer la Baltique tout à leur aise. La mer Noire n'est guères plus aimable, non plus, à l'époque des équinoxes, — et de ce côté-là, ils ont en sus le choléra, qui d'après l'aveu des journaux anglais, eux-mêmes, décime leurs armées, surtout les Français, dont on estime les pertes à plus de 10 000 h<ommes> par suite de la maladie.

Les gardes cette fois vont partir tout de bon, les jeunes Grands-Ducs les accompagnent. La brouille avec l'Autriche est certaine, et selon moi, elle est probable avec la Prusse, attendu que les 4 propositions[3] faites par ces deux puissances au nom de toutes les 4 ont été catégoriquement refusées... Nous voilà, plus que jamais, seuls contre tous...

J'ai là sur ma table le n<umér>o du 1er juin de la Revue, où se trouve toute ma correspondance avec toi[4]. C'était assurément la seule chance qu'eussent mes lettres d'être relues par moi.

Bonne nuit, ma chatte chérie.

Перевод:

С.-Петербург. 25 августа 1854

Я только что получил твое письмо от 18-го сего месяца. Ну, так на этот раз это успокаивающее средство не произвело своего обычного действия. Беспокойство положительно сведет меня с ума. Мысль, что между тобой и мной находится очаг эпидемии в Москве[1], мне невыносима. Это отвратительно, это мерзко, это просто нестерпимо. Не достаточно ли для бедного, больного воображения неизвестности разлуки, связанной с тысячью более или менее несчастных возможностей, чтоб еще добавить к ней эту грубую уверенность в еже-

минутной опасности. Десять раз за день разные люди приходят сообщить мне, под видом пустого разговора, верные или ложные известия об опустошениях, произведенных болезнью в Москве, и эти скоты даже не подозревают, какое зло они причиняют мне своими россказнями. Ибо если эта болезнь так усилилась в Москве, находящейся всего в 400 верстах от вас, то она вполне могла в настоящую минуту еще более приблизиться к вам и охватить все промежуточное пространство... При подобных обстоятельствах и на этом расстоянии всякий совет, всякие увещания, по-видимому, бесполезны, но все-таки, моя киска, если у тебя есть — я не говорю какая-нибудь привязанность, но хоть немного совести, вот что ты сделаешь непременно. Как только ты узнаешь, что санитарное состояние местности на 150 верст уже неудовлетворительно, так в ту же минуту покинешь Овстуг и вернешься сюда, но, разумеется, не проезжая через Москву. Должна быть более прямая дорога, доходящая, например, до Твери, почем я знаю? Это будет плохо, неудобно, согласен, — но все же лучше, чем удовольствие быть застигнутым болезнью в месте, где нет никакой помощи... Повторяю, все это сведет меня с ума. Я собирался на этих днях ехать в Москву, когда получил письмо от сестры, умоляющей меня отложить отъезд. И так как, в сущности, я ехал туда только из-за тебя, то есть чтобы быть там ранее тебя, я соизволил внять доводам рассудка и отсрочить свой отъезд до первых дней сентября в чаянии, что ты тоже с своей стороны будешь достаточно благоразумна, чтобы не двигаться из Овстуга, — если только санитарное состояние Овстуга не будет иметь ничего подозрительного, — прежде, чем узнаешь, что я прибыл в Москву и когда я сам сообщу тебе об этом из Москвы же. Я, ты хорошо знаешь, ничем не рискую, так как моя природа антихолерическая по существу. К тому же мое воображение не может терзаться на мой собственный счет ввиду того, что я нахожусь в печальной невозможности быть разлученным с самим собой когда бы то ни было. Ах, великий Боже, как охотно перенес бы я эту разлуку! Я, право, думаю, что она тяготила бы меня еще менее, чем тебя.

Что касается квартирного вопроса, ты можешь считать его решенным, но нелегко будет добиться того, чтобы помещение освободили раньше первых дней октября, и, конечно, временное пребывание в гостинице, если бы оно продлилось от двух до трех недель, было бы грустным началом. Но, в конце концов, ты положительно не можешь согласиться на пристанище, которое я тебе предлагаю? Что касается Дарьи, нет причин, чтобы ее сестра временно не приютила ее у себя, так как по последним известиям, полученным мной из Петергофа, двор, по-видимому, значительно продлит свое пребывание там. Но все эти заочные распределения на расстоянии являются чем-то совершенно бесполезным и нелепым. Ах, не это меня беспокоит!

Вчера — 24-го — мы присутствовали при кончине, которая, можно сказать, возбудила всеобщее сожаление... Это, увы! кончина нашего славного, нашего великолепного, нашего пышного лета, приснопамятного лета 1854 года[2]. Еще накануне оно казалось полным жизни. Я провел вечер у графини Бобринской и, возвращаясь от нее около полуночи, мог в последний раз насладиться все еще мягкой и ласкающей температурой воздуха. Но в ту же самую ночь жестокий западный ветер перевернул все. И этот ураган продолжался без перерыва более суток, так что половина Островов очутилась под водой, дороги превратились в потоки, лодки застревали в садах, а я, пообедав вчера на Островах у княгини Юсуповой, с некоторым трудом добрался до города.

Прошлой ночью был гром, и гром, свойственный этому времени года, ибо он всегда является предвестником окончательной атмосферической перемены. Зато и воздух сегодня вполне отличается от того, что ласкал нас все это время, и чувствуешь себя целиком вступившим в совсем новую, но весьма знакомую полосу. Если что-либо может утешить в этой резкой и горестной перемене, так это мысль о всех удовольствиях, которые воспоследуют за этим для флота наших любезных врагов. Теперь-то они вдоволь насладятся Балтийским морем. Черное море тоже ничуть не учтивее во время равноденствия; и при этом у них вдобавок холера, и, по при-

знанию самих английских газет, она опустошает их войска, особенно войска французов, потери которых вследствие болезни исчисляются более чем 10 000 человек.

На этот раз гвардия выступает в самом деле. Ее сопровождают молодые великие князья. Ссора с Австрией достоверна, и, по-моему, она возможна и с Пруссией, ввиду того что 4 предложения[3], сделанные этими двумя державами от имени всех 4-х, были категорически отвергнуты... И вот мы, более чем когда-либо, одни против всех...

У меня на столе номер «Revue» от 1-го июня, где находится вся моя переписка с тобой[4]. Это, конечно, единственная возможность, чтобы мои письма были перечитаны мною.

Покойной ночи, моя милая кисанька.

51. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

30 ноября 1854 г. Москва

Moscou. Mardi. 30 novembre

Merci, ma chatte chérie, pour ta chère lettre, qui n'avait pas besoin pour se faire valoir de se donner des airs aussi exclusifs et comminatoires. Chacune de tes lettres est la lettre *unique* pour moi et je t'en dirais volontiers la raison, mais j'aime mieux te la laisser deviner. Mais ce qui est vraiment unique dans son genre, c'est l'article de ton frère[1], unique et admirable de bon sens, de courage d'esprit et de loyauté. Malgré la nullité de mes rapports avec le Chancelier, je suis décidé à lui communiquer cet article, et peut-être le ferai-je d'ici même et dès aujourd'hui. Il l'appréciera beaucoup, comme il a toujours infiniment goûté tout ce que ton frère a écrit sur les événements du jour — car outre la lucidité et la modération d'esprit qui lui recommandent si fort le point de vue de ton frère, il y trouve un sentiment de bienveillance sincère pour la Russie qui est tout juste dans la mesure de son patriotisme national à lui. Il est vrai que de la part de ton frère ces sentiments de bienveillance à notre égard sont quelque chose de *plus désintéressé* et de plus méritoire. Voilà pourtant où nous en sommes. Et il se passera du temps, beaucoup de temps, peut-être, avant que cette malheureuse Russie, — la Russie, telle qu'on l'a

faite — ose se permettre un sentiment plus vif de son Moi et de son Droit, que ne peut avoir pour elle un étranger bien intentionné. Ici, pour ce qui en est du gros du public, il en est tout à fait comme à Pétersbourg, comme dans tout le reste du pays — à l'exception de quelques individus, qui voient clair, parce qu'ils ont toujours vu clair, ce qu'on appelle le public, ce faux peuple, cette contrefaçon du vrai pays, ici comme ailleurs, n'a qu'un profond sentiment de malaise et de déception, sans nulle intelligence vraie de la situation. On comprend qu'on a fait fausse, parce qu'on se trouve embourbé. Mais où a commencé la déviation? depuis quand? comment rentrer dans la bonne voie? et où est-elle, et quelle est-elle, cette bonne voie — voilà, certes, ce que ces gens sont loin de deviner. Et il ne pouvait en être autrement. Le genre de civilisation qu'on a infligé à ce malheureux pays tendait fatalement à ce double résultat: instincts *faussés*, l'intelligence engourdie ou annulée. Ceci, encore une fois, ne s'applique qu'à cette écume de la société russe, qui se prétend civilisée, le public — car la vie nationale, la vie historique est encore intacte dans les masses. Elle attend son heure, et le moment venu, elle ne manquera pas à l'appel et saura bien se faire jour en dépit de tout et de tous. En attendant, il est clair pour moi que nous ne sommes qu'au début des déceptions et des humiliations de tout genre[2]. La première partie est perdue, décidément perdue[3] — et à moins d'un miracle, — qu'on ne mérite guères — on passera sous *les fourches caudines*[4], en cherchant à se persuader qu'après tout c'est une issue, comme une autre, et en essayant d'imposer par la force, cette persuasion aux récalcitrants.

Les nouvelles que tu me donnes, sur Gatchina, sont bien affligeantes[5]. Hélas, hélas? Qu'est-ce que l'homme. Mais c'est le propre des grandes crises politiques, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas aux réalités de seconde main, mais arrivent très promptement jusqu'à la réalité première, qui est l'homme, même infirme et douloureux.

Le voyage de Kitty est comme de raison ajourné jusqu'à nouvel ordre, et lors même qu'il se ferait plus tard, il est bien entendu qu'il ne se fera pas à nos frais. C'est un point que j'ai eu soin de bien constater, pour que personne n'en ignore.

Maintenant, ma chatte chérie, que te dirai-je à mon propre sujet? C'est que je suis encore ici et que je prévois que j'aurai beaucoup de peine à m'en aller d'ici, avant le 6. Ma mère, malgré sa réserve habituelle, met tant d'insistance à me garder jusque-là, que je n'ai le cœur ni de lui refuser tout net, ni de l'éconduire par quelque mensonge... Je me flatte bien, que ce retard — très positivement involontaire — te donnera un peu d'humeur,— mais pas trop — entends-tu? — pas assez, p<ar> ex<emple> pour t'empêcher de m'écrire une *seconde lettre unique* — et cette fois la dernière, je te le promets.

Il est certain que depuis longtemps je n'ai vu autant de monde, qu'à présent: on *se m'arrache*, c'est vrai[6]. Mais ce n'est certes pas là ce qui m'aurait retenu. Je suis depuis longtemps blasé par ce genre d'agrément. Le salon Сушков[7], s'il n'est pas le premier de l'Europe, en est, certainement, un des plus peuplés. C'est un va-et-vient continuel. Il pourrait bien en céder au nôtre de son superflu.

Ici tout le monde se rappelle à ton souvenir. Mon frère particulièrement. Je lui ai communiqué ta lettre, pour son renseignement particulier.

Bonjour, ma chatte. Boude-moi un peu. Mais porte-toi tout à fait bien — et sois persuadée d'une chose, c'est que de nous deux, celui qui toujours et partout, se trouve le plus dépareillé, par le fait de l'absence de l'autre, c'est encore *moi — moi — moi.*

J'embrasse les enfants et baise tes chères mains.

Je compte, avec la foi du paralytique de l'Evangile[8], sur une *seconde unique.*

Перевод:

Москва. Вторник. 30 ноября

Благодарю, моя милая кисанька, за твое драгоценное письмо, хотя оно и совсем напрасно прикинулось таким решительным и угрожающим, чтобы придать себе важности. Каждое твое письмо является для меня письмом *единственным*, и я охотно сказал бы тебе причину, но предпочитаю, чтобы ты сама ее угадала. Но что действительно единственно в



своем роде — это статья твоего брата[1]; она единственна и превосходна по своему здравому смыслу, по смелости ума и честности. Несмотря на незначительность моих сношений с канцлером, я решил сообщить ему эту статью и, быть может, сделаю это отсюда и сегодня же. Он весьма оценит ее, так как всегда чрезвычайно одобрял все, что твой брат пишет о событиях дня, ибо кроме ясности и умеренности, которыми так сильно подкупает канцлера образ мысли твоего брата, он находит в его статьях чувство искренней доброжелательности к России, как раз отвечающее его собственному национальному патриотизму. Правда, со стороны твоего брата эти чувства доброжелательности по отношению к нам имеют нечто *более бескорыстное* и заслуживающее большей похвалы. Вот, однако, к чему мы пришли. И пройдет время, пожалуй, много времени, прежде чем несчастная Россия — та Россия, какою ее сделали, — осмелится позволить себе более живое сознание своего Я и своего Права, чем может иметь хорошо расположенный к ней иностранец. Что касается большинства публики, здесь происходит совершенно то же, что в Петербурге, что и во всей остальной стране; за исключением нескольких лиц, которые ясно видят, в чем дело, потому что всегда это ясно видели, так называемая публика, т. е. не подлинный народ, а подделка под него, испытывает здесь, как и в других местах, лишь глубокое смущение и разочарование, без малейшего понимания настоящего положения. Понимают, что сбились с пути, ибо завязли. Но где началось уклонение? с каких пор? как вернуться на правильный путь? и где он, каков он, этот правильный путь, — вот, конечно, чего эти люди не в силах угадать. Да иначе и не может быть. Тот род цивилизации, который привили этой несчастной стране, роковым образом привел к двум последствиям: *извращению* инстинктов и притуплению или уничтожению рассудка. Повторяю, это относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, к публике, — ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока же

для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений всякого рода[2]. Первая ставка проиграна, решительно проиграна[3], — и если не свершится чудо, которого мы совсем не заслужили, нам придется пройти под *Кавдинскими вилами*[4], стараясь убедить себя в том, что в конце концов этот исход не хуже других, и пытаясь силою навязать это убеждение строптивым.

Известия, которые ты сообщаешь мне о Гатчине, весьма огорчительны[5]. Увы, увы, что такое человек? Но таково уж свойство великих политических потрясений: они не задерживаются на действительности второстепенной, но очень быстро настигают действительность главную, то есть человека, даже немощного и скорбного.

Путешествие Китти, кажется, отложено до нового распоряжения, и если оно состоится позже, то, разумеется, не на наш счет. Я озаботился точно установить этот пункт, дабы никто не оставался в неведении.

Теперь, моя милая кисанька, что сказать тебе про себя? Что я все еще здесь и предвижу, что мне будет очень трудно уехать отсюда ранее 6-го. Моя мать, несмотря на свою обычную сдержанность, так настойчиво просит меня побыть с нею до этого срока, что у меня не хватает духу ни отказать ей наотрез, ни отделаться какой-нибудь выдумкой... Льщу себя надеждой, что это запоздание — положительно невольное — тебя несколько раздосадует, но не очень (слышишь ли?), не настолько, например, чтобы помешать тебе написать мне *второе единственное письмо*, на сей раз последнее, обещаю тебе.

Могу с уверенностью сказать, что я уж давно не видел столько народа, сколько вижу теперь. Меня попросту *разрывают на части*[6], но не это, конечно, могло бы меня удержать здесь. Я уж давно пресытился подобного рода удовольствиями. Салон Сушковых[7] — если и не первый в Европе, то уж, конечно, один из самых многолюдных. Это вечная толчея. Он вполне мог бы уступить часть своего избытка нашему.

Здесь все просят передать тебе приветствия. Мой брат особенно. Я сообщил ему твое письмо для его особого сведения.

Добрый день, моя киска. Посердись на меня немного, но будь совсем здорова. И будь уверена в одном, — а именно, что из нас двоих один всегда и везде оказывается наиболее выбитым из колеи отсутствием другого — и это опять-таки *я, я, я.*

Обнимаю детей и целую твои милые руки.

С верой евангельского расслабленного[8] надеюсь на *второе единственное.*

52. К. ПФЕФФЕЛЮ

20 февраля/4 марта 1855 г. Петербург

20 février/4 mars 1855

Nous avons certainement quelque peu abusé des manifestes dans ces derniers temps. Ce n'est pas que notre pauvre Empereur défunt ait jamais donné beaucoup dans la phrase, bien loin de là. Il a poussé, on peut le dire, l'horreur de la phrase jusqu'à l'excès, car c'est cette horreur de la phrase qui plus que toute autre chose lui a fait vouer une haine personnelle de toute la presse en général. Mais il y avait malheureusement un tel désaccord entre ses instincts intimes et le faux système, le système inepte et anti-national dans lequel la Russie, gouvernement, cabinet et ce qu'on appelle la société roulent depuis quarante ans, que ces manifestes de l'Empereur Nicolas, presque toujours écrits par lui-même, et par lui seul, exprimaient bien la pensée de son cœur, mais ne pouvaient jamais être considérés comme le programme sérieux de la politique de son cabinet. Et voilà ce qui a dû nécessairement discréditer la valeur de ses paroles plus encore dans le pays même qu'à l'étranger. — Il n'en saurait être ainsi des premières paroles que son successeur adresse à la Russie, et il doit être permis, jusqu'à preuve du contraire, de les accepter avec une confiance moins découragée. Or, ce qui ne peut manquer de recommander ce manifeste à la bienveillance du pays, et ce qui par contrecoup ne manquera pas de déplaire au-dehors, c'est la netteté du dernier paragraphe. Il y a certainement de la dignité, en présence de cette coalition, ou plutôt de cette conspiration que des gouvernements de contrebande, ou des gouvernements fourvoyés et terrifiés, organisent contre la Russie, il est certainement digne et hono-

rable de répondre à tous ces cris de rage, par la déclaration positive que l'on maintiendra et que l'on poursuivra l'œuvre de Pierre le Grand, de Catherine II et des deux derniers Empereurs[1].

Q'une pareille déclaration compromette ou non le succès des conférences, c'est la dernière des considérations; car la paix qui pourrait résulter de ces conférences (et je tiens pour probable qu'une paix momentanée en sortira) ne sera pour l'Autriche, la France et l'Angleterre, qu'un mensonge de plus ajouté à tous leurs autres mensonges[2]. Il est peut-être nécessaire que la Russie passe par cette dernière épreuve d'une paix mensongère et impossible pour voir ruiné jusque dans ses derniers fondements le système de politique qui quarante ans pesa sur elle, et qui l'on peut à juste titre, au point de vue du sentiment national considérer comme une longue et persévérante apostasie.

Перевод:

20 февраля/4 марта 1855

Поистине мы несколько злоупотребляли манифестами в последнее время. Не то чтобы наш бедный покойный государь слишком увлекался фразой, отнюдь, он, можно сказать, испытывал чрезвычайное отвращение к фразе, и это отвращение внушило ему личную ненависть ко всей печати вообще. Но, к несчастью, существовал такой разлад между его задушевными устремлениями и ложной системой, нелепой и антинародной системой, в которой Россия, правительство, кабинет и то, что называют обществом, вращались более 40 лет, что эти манифесты государя императора Николая Павловича, почти всегда писанные им самим и исключительно самим, ясно выражали его самую задушевную мысль, но никогда не могли рассматриваться в качестве серьезной программы политики его кабинета. Это как раз и должно было непременно обесценить его слово и за границей, и еще более внутри страны. — Но нельзя так же относиться к первым словам, с коими его наследник обратился к России, и буде позволено, пока нет доказательств обратного, принимать их с большей верою. И то, что должно вызвать сочувствие в стране и что, следова-



тельно, не может понравиться загранице, — это четкая определенность последнего параграфа. Разумеется, достойно перед лицом этой коалиции, вернее, этого сговора, устроенного против России правительствами контрабандистов или правительствами сбитыми с толку и запуганными, — разумеется, достойно и доблестно отвечать на все эти яростные крики положительным заявлением о том, что мы будем отстаивать и продолжать дело Петра Великого, Екатерины II и двух последних императоров[1].

Вредит или нет это заявление успеху конференций — это решительно последнее из соображений, ибо мир, возможно, заключенный в итоге этих конференций (а я полагаю возможным, что следствием их будет временный мир), будет со стороны Австрии, Франции и Англии очередной ложью вдобавок ко всем прочим их обманам[2]. Быть может, необходимо, чтобы Россия прошла и это последнее испытание ложным и невозможным миром, для того чтобы увидеть, что политическая система, в течение сорока лет довлевшая над ней, разрушена до последнего основания и что ее можно справедливо полагать, с точки зрения национального чувства, долгой и упорной изменой.

53. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

21 мая 1855 г. Петербург

St-P<étersbourg>. Samedi. 21 mai 1855

Non, ma chatte chérie, décidément, je ne connais rien de plus irritant, rien qui soit plus intimement contrarié à ma nature que les chimères d'absence. C'est une contrariété, une privation, une irritation de tous les instants. C'est chaque fois, comme une amputation que tu me ferais subir. Je n'accuse personne, je ne m'en prends à personne. Mais il est de fait qu'à moins de quelque maladie bien douloureuse, je ne saurais m'imaginer un état pire que celui où ton absence me met[1]. Et encore si j'avais le choix, je préférerais les quatre semaines de maladie[2] que j'ai passées dernièrement sur ma chaise longue, à mon existence actuelle. Il est pourtant absurde de se sentir à un tel point dépendant à

quelque chose qui est en dehors de nous et si bien en dehors, que ce quelque chose peut se trouver séparé de nous par une distance de quelque mille verstes. Oui, c'est absurde, humiliant et surtout bien incommode.

Enfin, ce n'est qu'avant-hier, le 19 – plus de quinze jours après ton départ de P<étersbourg> – que j'ai reçu la première nouvelle de ton arrivée à Ovstoug[3]. Je ne suis pas étonné que tu y aies retrouvé tout intact le sentiment de n'en être jamais sortie et que ce sentiment ait été assez fort pour renouer l'absence actuelle à celle de l'année dernière, puisque moi-même j'éprouve quelque chose de semblable, en dépit de ces chambres que je n'ai jamais connues que peuplées de ta présence. Mais c'est qu'il me semble que depuis ton départ ces chambres n'ont plus la même physionomie, ou plutôt elles n'en ont aucune. Ce ne sont plus que des murs. Aussi me suis-je concentré tout entier dans ma chambre à moi, et même celle-là a l'air presqu'aussi <1 нрзб> que les autres. Aujourd'hui pourtant tout cela a l'air un peu moins étranger que d'habitude, grâce à la présence de *Dmitry* qui couche cette nuit à la maison. Il m'est arrivé ce matin, vers les 2 heures de l'après-midi. Je l'ai envoyé avec Николай faire une visite à son ami Костич. Antoinette l'a fait promener au Jardin d'été, puis il est allé, toujours accompagné de son fidèle cicérone, dîner à la Коломна, chez un de ses amis, en compagnie de Mr et de M<adame> Tamy. Le voilà revenu et déjà couché (il est près de minuit). Demain, dimanche, je l'envoie à Tsarskoïe, à la demande d'Anna, toujours accompagné du susdit N<icolas> – ne pouvant pas y aller moi-même avec lui, attendu que je sois sommé d'aller demain à une heure, prêter ce bienheureux serment[4], que par toute sorte de motifs j'avais ajourné jusqu'à présent. Ah, je ne demande pas mieux que de leur prêter tous les serments imaginables. Mais si je pouvais leur prêter un peu d'intelligence, cela leur serait assurément beaucoup plus utile[5].

Tous ces jours-ci nous n'avons eu que de mauvaises nouvelles: d'abord, celle de cette affaire devant Sébastopol[6], où nous avons eu 2500 h<ommes> hors de combat – et qui a fini pourtant par un échec, puisque nous avons été forcés d'abandonner, le lendemain, les retranchements que nous avions défendus la veille, au

prix de tant de sang. Puis est venue la nouvelle de l'occupation de Kertch[7], à l'entrée de la mer d'Asoff, où il ne s'est trouvé que 7 bataillons pour tenir tête à un corps ennemi de 20 m<ille> hommes. En un mot, en dépit de véritables prodiges de courage, de dévouement, etc., nous perdons continuellement du terrain sans qu'on puisse prévoir la chance d'une diversion favorable quelconque dans l'avenir. Bien au contraire. Il paraît que la même ineptie qui a marqué de son cachet notre conduite politique se retrouve dans notre gestion militaire – et il ne pouvait guères en être autrement. L'écrasement de l'intelligence, a été depuis nombre d'années le principe dirigeant du gouvernement. Les effets d'un pareil système ne pouvaient pas se limiter ou se restreindre – tout y a passé, tout a subi ce niveau de dépression, tout s'est crétinisé d'ensemble. Maintenant il faudrait je ne sais quelle gigantesque puissance d'ini<ti>ative dans le pouvoir pour venir en aide à cet état de choses, et certes jusqu'à présent elle ne s'est guères révélée. Quant à nos parages d'ici, la flotte ennemie est devenue en vue, et les pérégrinations des curieux à Oranienbaum[8] ont recommencé de plus belle. Il y a eu même l'autre jour une alerte assez vive pour faire accourir l'Empereur, mais on a été quitte pour l'émotion. Je ne serai pourtant pas étonné que nous eussions avant peu la nouvelle de quelque tentative sérieuse de la part de l'ennemi, sinon dans les environs immédiats de Péters<bourg>, au moins sur quelque point essentiel du littoral. Malgré cela, il n'y a jusqu'à présent d'inquiétude ici que pour Sébastopol.

Hier soir je suis allé prendre congé de W<ladimir> Karamzine[9], qui est parti dans la nuit, pour Iambourg. Il y avait là la pauvre Mad. Aurore, toute en larmes, à qui ce départ devait bien cruellement en rappeler un autre. Nix M<estchersky>[10] doit suivre son oncle sous peu de jours. Ant<oinette> Bloudoff, qui te fait remercier de ton souvenir, a eu de bonnes nouvelles de son frère, présentement à Simphéropol, mais dont l'état a été plus grave qu'on ne l'avait dit. Quant à son ganache de père[11], enfin je lui ai bâclé son travail tant bien que mal, et voici le petit mot, par lequel il m'en accuse réception, tout en me faisant pressentir que le dernier mot de cette affaire n'a pas encore été dit. Peut-on

pousser plus loin le ridicule de la niaiserie. Aline K<ozloff> te fait dire mille amitiés. J'ignore encore le résultat de sa négociation au sujet de l'Allg<emeine> Z<eitung>, mais je ne doute nullement du succès. Elle en a déjà écrit à Daria. Voici un billet à ton adresse, que je reçois à l'instant même de l'homme d'aff<aires> de Wiasemsky. Mad. Smirnoff a de nouveau été très souffrante tout ce temps-ci. J'apprends qu'au lieu de partir pour la campagne, elle s'est décidée à aller passer une partie de l'été à Tsarskoïe. Il en est ainsi de plusieurs autres à qui l'imminence des événements a fait ajourner leur départ. Bref, il me semble qu'il n'y a de parti jusqu'à présent, que toi. Le fait est que jusqu'ici on n'a pas même encore bougé de la ville, mais ceci, c'est grâce à l'aimable température que nous avons eu tout ce temps-ci et qui n'aurait pas déparé le mois de novembre. Il n'y a que depuis deux jours que l'on commence à se réchauffer.

Cette circonstance atmosphérique me console un peu du retard de la calèche, qui ne sera prête que dans le courant de cette semaine.

Et puis, j'avais encore à te dire — etc. etc. etc.... Oh la sotte manière de parler que de s'écrire. Non, ma parole d'honneur, c'est insupportable.

Перевод:

С.-Петербург. Суббота. 21 мая 1855

Нет, моя милая кисанька, для меня решительно нет ничего более мучительного, ничего, что глубже противоречило бы моей природе, чем химеры разлуки[1]. Это — ежеминутное разочарование, лишение, досада. Всякий раз ты как бы заставляешь меня подвергаться ампутации. Я никого не виню, никого не упрекаю. Но дело в том, что, за исключением какой-нибудь весьма мучительной болезни, я не могу представить себе состояния хуже того, в какое приводит меня твое отсутствие. И если бы я мог выбирать, то предпочел бы снова, как было недавно, четыре недели пролежать больным[2] на своей кушетке, чем испытывать нынешнее свое настроение. Однако нелепо быть до такой степени зависимым от че-



го-то, что вне нас, и настолько вне нас, что может даже оказаться отделенным расстоянием в какую-нибудь тысячу верст. Да, это нелепо, унизительно и, главное, неудобно.

Только третьего дня, 19-го, — больше, чем через две недели после твоего отъезда из Петербурга, — я получил наконец первое известие о твоем прибытии в Овстуг[3]. Я не удивляюсь, что тебя там охватило ощущение, будто ты никогда оттуда не уезжала, и что это ощущение оказалось достаточно сильным, чтобы связать настоящую разлуку с разлукой прошлого года, ибо я сам испытываю нечто подобное, несмотря на то что никогда не видел этих комнат иначе, как наполненными твоим присутствием. Но это потому, что мне сдается, будто с твоего отъезда эти комнаты не имеют прежнего облика, или, скорее, не имеют никакого. Это одни только стены. Вот я и заключился в своей собственной комнате, но даже и она представляется почти такой же <1 нрзб>, как остальные. Сегодня, однако, все это приобрело несколько менее чуждый вид, чем обычно, благодаря присутствию *Дмитрия*, который проводит эту ночь дома. Он появился сегодня около 2 часов пополудни. Я послал его с Николаем навестить его друга, Костича. Антуанетта гуляла с ним в Летнем саду. Потом он отправился, всё в сопровождении своего верного чичероне, обедать в Коломну, у одного из своих приятелей, в обществе г-на и г-жи Тами. Он только что вернулся и уже лег (сейчас около полуночи). Завтра, в воскресенье, я посылаю его в Царское, по просьбе Анны, опять в сопровождении вышеупомянутого Николая, так как я не могу ехать с ним сам, ввиду того что меня потребовали завтра в час дня для принесения пресловутой присяги[4], которую я все откладывал до сих пор под разными предлогами. Ах, я готов приносить им всевозможные присяги, но если бы я мог одолжить им немного ума; это было бы гораздо для них полезнее[5].

Все эти дни мы получали только плохие известия. Во-первых, известие о деле под Севастополем[6], где у нас выбыло из строя 2500 человек и которое все-таки окончилось поражением, так как мы были вынуждены покинуть на следующий день укрепления, которые отстояли накануне ценой такого

кровопролития. Потом пришло известие о взятии Керчи[7], при входе в Азовское море, где оказалось всего 7 батальонов для отражения неприятельского корпуса в 20 тысяч человек. Одним словом, несмотря на истинные чудеса храбрости, самопожертвования и т. д., нас постоянно оттесняют, и даже в будущем трудно предвидеть какой-нибудь счастливый оборот. Совсем напротив. По-видимому, то же недомыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, оказалось и в нашем военном управлении, да и не могло быть иначе. Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или ограничения — ничто не было пощажено, все подверглось этому давлению, всё и все отупели. Теперь потребовалась бы огромная двигательная сила со стороны власти, чтобы исправить это положение дел, и, разумеется, до сих пор она никак не проявилась. Что касается здешних мест, то неприятельский флот вновь появился на горизонте, и паломничество любопытных в Ораниенбаум[8] возобновилось пуще прежнего. На днях было довольно тревожное положение и даже прибыл государь, но все обошлось одним волнением. Я, однако, не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем о какой-нибудь серьезной попытке неприятеля, хотя и не в ближайших окрестностях Петербурга, но на каком-либо важном пункте побережья. Несмотря на это, здесь пока тревожатся только за Севастополь.

Вчера вечером я ездил прощаться с Владимиром Карамзиным[9], который ночью отправляется в Ямбург. Там была бедная госпожа Аврора, вся в слезах, которой этот отъезд должен был весьма жестоко напомнить другой. Никс Мещерский[10] через несколько дней следует за своим дядей. Антонина Блудова, которая благодарит тебя за память, получила хорошие известия о своем брате, находящемся сейчас в Симферополе; однако положение его было более тяжелое, нежели говорили. Что касается его тупоумного отца[11], то я наконец-то кое-как привел в порядок его работу, и вот записка, в которой он уведомляет меня о ее получении, давая мне понять, что этим дело еще не кончилось. Это глупо до смеш-

ного — дальше идти некуда! Алина Козлова шлет тебе тысячу дружеских приветствий. Я еще не знаю результата ее переговоров по поводу «Allgemeine Zeitung», но нисколько не сомневаюсь в успехе. Она уже писала об этом Дарье. Вот записка на твое имя, которую я только что получил от поверенного Вяземских. Госпожа Смирнова последние дни была опять очень больна. Мне сообщили, что, вместо того чтобы ехать в деревню, она решила провести часть лета в Царском. Так же поступили и некоторые другие, ибо ожидаемые важные события заставили всех отложить свой отъезд в деревню. Короче говоря, мне кажется, что до сих пор уехала одна ты. И правда, пока еще никто не трогался из города, но это благодаря приятной температуре воздуха, установившейся в последнее время и не уступающей ноябрю месяцу. Только два дня, как мы начинаем согреваться.

Это атмосферическое обстоятельство немного утешает меня в запоздании коляски, которая будет готова только на этой неделе.

А еще мне хотелось сказать тебе и то и се и это... Ах, что за дурацкий способ разговаривать посредством переписки. Нет, честное слово, это невыносимо.

54. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

20 июня 1855 г. Петербург

С.-Петербург. Понедельник. 20-го июня 1855

Je ne conçois pas, ma chatte chérie, que tu te plaignes, comme tu le fais dans ta lettre du 12, que j'ai reçue avant-hier, de la rareté de mes écritures. Il me semble que je te la prodigue à flots, cette abominable écriture, et que ce serait plutôt à moi de gémir de cette extrême ténuité de ces feuilles légères et rares qu'il me faut attendre une semaine entière pour en attraper une. Mais il est vrai de dire que fussent-elles aussi nombreuses que les feuilles de la forêt, cela ne me consolerait de rien. De toi à moi la correspondance épistolaire me paraîtra toujours une chose odieuse et contre nature, et Dieu me préserve de pouvoir jamais m'y établir confortablement... C'est une stupide moquerie après tout, que cette

manière de se rendre présent l'un à l'autre, et cela me fait éprouver tout juste l'impression que ressentent les manchots et autres mutilés quand ils croient avoir mal au membre qui leur manque... Ah, n'en parlons plus... Mais pour varier un peu la monotonie de mes exodes de lettres, tiens, ma chatte, lis cette petite annexe qui t'apprendra le grand événement, enfin accompli, du retour du couple W<iasemsky>. L'autre jour, c'était samedi dernier, j'ai trouvé en rentrant chez moi de la soirée Odoeffsky, un mot d'avertissement du <1 нрзб> Soboleff, m'annonçant cette heureuse nouvelle. Comme je devais le lendemain, dimanche, aller de bonne heure à Peterhof, j'ajournais jusqu'au soir l'entrevue désirée. Mais à mon retour, au lieu de l'entrevue, je n'ai trouvé que le billet qui m'avait été apporté par le Brochet envoyé aux informations, — si bien que jusqu'à présent je ne puis encore te parler, comme témoin *oculaire*, de ce cher Prince, qui, au dire du Brochet, a une mine excellente, et qui certes a bien démenti les sinistres prédictions, dont il avait couronné nos adieux à son départ d'ici, lorsqu'il m'assurait en montant en voiture que je ne le reverrais plus, ou que je ne le reverrais que dans un état pire que la mort. J'aime beaucoup des prévisions de malheur, aussi complètement démenties. C'est autant de pris sur l'ennemi, et c'est toujours un bon précédent pour l'avenir. J'ignore encore où ils vont s'établir. Hier à Peterhof, où leur arrivée était déjà connue, la *Woeykoff*, que je suis allé voir avec Anna, nous avait dit que le Prince Oldenbourg[1], pour continuer l'intimité commencée, leur avait offert un logement chez lui à Peterhof, — mais le Brochet m'a raconté en détail la conférence, dont il s'est trouvé être le témoin, entre la Princesse et son tapissier au sujet des arrangements à faire dans sa *villa* du Forestier, où elle compte se transporter de sa personne, mercredi prochain. Je livre tous ces faits à votre appréciation, pour en tirer les conjectures qui vous paraîtront les plus probables... Quoi qu'il arrive, tu n'auras pas de peine à te représenter *le milieu* — en y faisant intervenir les excellents Bloudoff, le non-moins excellent *Pletneff*, les Mestchersky—Karamzine, et moi, certes, le moins excellent de tous.

A propos d'Antoinette, elle me parle de toi chaque fois qu'elle me voit et me charge de te dire mille tendresses de sa part.



D'où as-tu pris que l'expédition de l'*Allgemeine*[2] coûtait si cher? Ne t'ai-je pas écrit que tout l'abonnement de la demi-année ne revenait qu'à 1 r<ou>ble ar<gent>, et j'aime à croire, que vous ne le recommencerez pas... Je t'envoie encore aujourd'hui 3 n<umér>os, le dernier de ces n<umér>os contient la première nouvelle télégraphique de leur déconfiture du 6/18 du mois sous Sébastopol[3]. On ne peut lire sans une véritable jouissance, dans leurs infâmes journaux, les détails de ce désastre, qui malgré eux se font jour à travers toutes leurs réticences et tous leurs mensonges. Le sang a percé à travers leur mauvaise foi, tant il a coulé à flots cette fois, et toutes les ruses de la rédaction n'y peuvent rien. Mais ce qu'il y a de plus étourdissant c'est de voir, comment, nous, ici, nous venons en aide à leurs mensonges et à leurs cachotteries, par la plate humilité de nos bulletins et le soin inqualifiable que nous prenons, dans nos rapports, d'atténuer les pertes de l'ennemi. Ainsi par ex<emple> on n'a pas osé dire, dans le dernier bulletin, qu'ils ont laissé entre nos mains, à la dernière affaire, *onze cents* prisonniers dont quatre cents se sont rendus sans *coup férir* — tout comme on n'a pas eu le courage de convenir, que d'après toutes les données recueillies le total de la perte éprouvée par l'ennemi s'élevait à plus de *quinze mille* hommes. Et quand on demande à ces idiots le motif de tous ces ménagements, ils vous disent que c'est pour ne pas irriter l'opinion. Ainsi, l'autre jour, dans je ne sais quel innocent article du Journal de St-Pétersb<ourg>[4], le pauvre Maltzoff avait cru qu'il lui serait permis de dire, que les Anglais faisaient sur nos côtes une guerre *de pirates*. Eh bien, le Chancelier[5] lui a fait effacer cette expression, comme trop injurieuse. Et voilà les gens qui dirigent les destinées de la Russie à travers la plus formidable crise qui ait jamais secoué le monde. Non, certes, à moins de supposer que Dieu, là-haut, se moque de l'humanité, il est impossible de ne pas pressentir la fin prochaine et imminente de cet épouvantable contresens, épouvantable et grotesque à la fois, de cette contradiction à faire rire et grincer des dents, entre les hommes et les choses, entre ce qui est et ce qui devrait être, impossible, en un mot, de ne pas pressentir une crise qui, comme un balai, balaiera toute cette décrépitude et toute cette ignominie. Il y a déjà

quelque trente ans, que le Baron *de Stein*[6], l'homme qui a le plus abhorré cette engeance, ayant rencontré notre Chancelier actuel à je ne sais quel congrès, disait de lui dans ses lettres: *Es ist der armseligste Wicht, den ich jemals gesehen habe.* Cela se trouve imprimé tout au long dans la biographie de Stein, dernièrement publiée en Allemagne.

Nous en sommes toujours encore à la vision d'Ezéchiel. Le champs est tout couvert d'ossements arides. Ces ossements se ranimeront-ils? Seigneur, Tu le sais![7] Mais certes, il ne faudra pas moins que le souffle de Dieu — un souffle de tempête.

Ah, qu'il me vaudrait mieux pouvoir te dire toutes ces choses-là de vive voix. — Ma chatte chérie. M'aimez-vous encore un peu?

Adieu... Je vais me plonger dans le bain...

Перевод:

С.-Петербург. Понедельник. 20-го июня 1855

Я не постигаю, моя милая кисанька, почему ты жалуешься, как, например, в письме от 12-го, полученном мной третьего дня, что я редко тебе пишу. Мне кажется, что я щедро наделяю тебя этим отвратительным бумагомараньем и что скорее я могу вздыхать о крайней скудости тех листков, легких и редких, которые мне приходится ожидать целую неделю, чтобы поймать хоть один. Но, по правде сказать, если бы они были столь же многочисленны, как листья в лесу, это меня ничуть не утешило бы. Письменное сообщение между тобой и мной всегда будет представляться мне чем-то омерзительным и противоестественным, и не дай Бог, чтобы я когда-либо к нему привык... В конце концов этот способ свидетельствования друг другу о своем существовании является глупой насмешкой и заставляет меня испытывать в точности то ощущение, какое присуще одноруким и прочим калекам, воображающим, что у них болит недостающий им член... Ах, да что об этом говорить... Но дабы внести некоторое разнообразие в монотонность вступительной части моих писем, вот, моя киска, прочти-ка это маленькое добавление, которое из-

вестит тебя о великом событии, наконец-то совершившемся, — о возвращении четы Вяземских. Намедни, — это было в прошлую субботу, — вернувшись домой с вечера Одоевских, я нашел записку <1 нрзб> Соболева, сообщавшего мне сию счастливую новость. Так как на другой день, в воскресенье, я должен был рано утром ехать в Петергоф, то отложил до вечера желаемое свидание. Но по возвращении домой вместо свидания нашел лишь эту записку, принесенную Щукой, посланным мной на разведки, так что до сих пор я не могу рассказать тебе в качестве *очевидца* о милом князе, по словам Щуки имеющем превосходный вид и, конечно, вполне опровергшем зловещие предсказания, коими он заключил, садясь в коляску, наше прощание: он сказал, отъезжая, что я не увижу его больше или увижу в состоянии хуже смерти. Я очень люблю предвещания несчастья, когда они так блестяще опровергаются. Хорошо хоть что-нибудь урвать у врага, а кроме того, это добрый знак для будущего. Я не знаю еще, где они поселятся. Вчера в Петергофе, где об их приезде было уже известно, *Воейкова*, у которой я был с Анной, говорила нам, что принц Ольденбургский[1], дабы продолжить начавшуюся дружбу, предложил им помещение у себя в Петергофе; однако Щука подробно рассказал мне совещание, свидетелем коего он оказался, между княгиней и ее обойщиком относительно того, что следует предпринять в ее *вилле* в Лесном, куда она рассчитывает переехать собственной персоной в будущую среду. Предоставляю все эти факты на вашу оценку, чтобы вы могли вывести из них те предположения, какие покажутся вам наиболее вероятными... Что бы ни случилось, тебе не трудно будет представить себе *среду*, введя в нее милейших Блудовых, не менее милейшего *Плетнева*, Мещерских—Карамзиных и меня, конечно наименее милейшего из всех.

Кстати об Антуанетте, она спрашивает про тебя всякий раз, как меня видит, и поручает передать тебе от нее тысячу нежностей.

Откуда ты взяла, что отправка «Allgemeine»[2] стоит так дорого? Разве я тебе не писал, что весь абонемент на полго-

да обходится лишь в 1 рубль серебром. Надеюсь, что вы успокоитесь на этом... Посылаю тебе сегодня еще 3 номера. Последний из этих номеров содержит первое телеграфическое известие об их поражении 6/18 сего месяца под Севастополем[3]. Испытываешь истинное наслаждение, читая в их подлых газетах подробности этого разгрома, которые против их воли пробиваются наружу, сквозь все недоговаривание и вранье. На сей раз столько было пролито крови, что она просачивается сквозь их лукавство, и, несмотря на все ухищрения редакции, ничего не удается скрыть. Но еще более поражаешься, наблюдая, как мы здесь поддерживаем их ложь и их утайки пошлым смирением наших бюллетеней и непостижимым старанием преуменьшить потери врага в наших донесениях. Так, например, в последнем бюллетене не решились сказать, что в этом деле они оставили в наших руках *тысячу сто* пленных, из коих четыреста сдались *без боя*, точно так же, как не посмели сознаться, что по всем собранным сведениям неприятель потерял в общей сложности свыше *пятнадцати тысяч* человек. А когда этих идиотов спрашивают о причине всей этой сдержанности, они вам говорят, что это для того, чтобы не раздражать общественного мнения. Так, например, на днях бедный Мальцов вообразил, будто ему будет дозволено в какой-то невинной статье для «Journal de St-Pétersbourg»[4] сказать, что англичане ведут *пиратскую* войну у наших берегов. Представь, канцлер[5] заставил его вычеркнуть это выражение, как слишком оскорбительное. И вот какие люди управляют судьбами России во время одного из самых страшных потрясений, когда-либо возмущавших мир. Нет, право, если только не предположить, что Бог на небесах насмехается над человечеством, нельзя не предощутить близкого и неминуемого конца этой ужасной бессмыслицы, ужасной и шутовской вместе, этого заставляющего то смеяться, то скрежетать зубами противоречия между людьми и делом, между тем, что есть и что должно бы быть, — одним словом, невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметет всю эту ветошь и все это бесчестие. Лет тридцать тому назад барон



Штейн[6], человек, наиболее ненавидевший это отродье, встретившись с нашим теперешним канцлером на каком-то конгрессе, писал про него в своих письмах: «Es ist der armseligste Wicht, den ich jemals gesehen habe»*. Все это во всех подробностях находится в биографии Штейна, недавно изданной в Германии.

Пока у нас все еще, как в видении Иезекииля. Поле усеяно сухими костями. Оживут ли кости сии? Ты, Господи, веси![7] Но, конечно, для этого потребуется не менее чем дыхание Бога — дыхание бури.

Ах, как я хотел бы рассказать тебе все это устно. Моя милая кисанька, любишь ли ты меня еще немножко? Прости... Иду погрузиться в ванну.

55. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

30 июля 1855 г. Петербург

Samedi. 30 juillet 1855

Ma chère Kitty. Préviens ta Grand-maman[1], que je serai rendu près d'elle mercredi prochain, c'est-à-d<ire> le 3 août. Je devais vous arriver il y a quelques jours, mais le bombardement de Sweaborg m'a retenu[2]. Je reviens en ce moment de Peterhof, où je suis allé prendre congé d'Anna. Les dernières nouvelles qu'on y avait reçues portent que le bombardement avait été interrompu, mais il recommencera, bien certainement; nos pertes jusqu'à présent ne sont pas considérables — mais il paraît, malheureusement, que la supériorité du tir était du côté de l'ennemi. Tout cela est bien triste et bien angoissant. J'ai revu hier les Bloudoff, qui se louent beaucoup de toi et de ta tante.

Au revoir à bientôt, ma fille chérie, et tâche, si c'est possible, de transmettre ces quelques lignes à Ovstoug, à ma femme par la poste la plus prochaine, qui est celle du lundi. — Je reçois à l'instant même une lettre de ma femme et je suis navré des inquiétudes que je lui ai causées. Mais comment peut-on être inquiet à mon sujet? Voilà ce qui me passe! Il me semble que je suis fait

* Это самое жалкое существо, какое я когда-либо видел (*нем.*).

pour éprouver toutes les inquiétudes et nullement pour en donner.

Je baise les mains à ta Grand-maman et je t'embrasse bien tendrement.

Перевод:

Суббота. 30 июля 1855

Милая Китти. Предупреди бабушку[1], что я явлюсь к ней в будущую среду, т. е. 3 августа. Я должен был к вам приехать несколько дней тому назад, но обстрел Свеаборга[2] задержал меня. Сейчас я вернулся из Петергофа, куда ездил попрощаться с Анной. По последним полученным там известиям, обстрел остановлен, но он, конечно, возобновится; наши потери пока незначительны, однако превосходство в огне было, кажется, к несчастью, на стороне противника. Все это очень грустно и очень тревожно. Вчера я снова виделся с Блудовыми, они говорили много приятного о тебе и о твоей тетушке.

До скорого свидания, милая моя дочь, постарайся, если возможно, ближайшей почтой, т. е. в понедельник, переслать эти несколько строк в Овстуг моей жене. — Я только что получил от нее письмо и очень удручен, что заставил ее тревожиться. Но зачем же нужно тревожиться обо мне? Вот уж чего не могу понять! Мне кажется, что я создан для того, чтобы испытывать всевозможного рода тревоги, а отнюдь не для того, чтобы причинять их.

Целую ручки твоей бабушки и нежно обнимаю тебя.

56. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

9 сентября 1855 г. Москва

Moscou. Vendredi. 9 septembre 1855

Il est certain, ma chatte chérie, il n'y a qu'à laisser faire le temps, il emporte et arrange tout, et pourvu qu'on se fasse ballot le plus que l'on peut, on n'a rien de mieux à faire qu'à se laisser emporter par cette locomotive. Cette philosophique appréciation me vient à l'occasion de mon voyage[1] dont je voulais te donner

quelques détails, et dont après huit jours il ne me reste plus le moindre souvenir... Mais ce qui est vraiment prodigieux et bien humiliant aussi, c'est qu'avec ces insignifiantes impressions il a suffi de ces 8 jours, pour – sinon emporter, – au moins pour affaiblir cette écrasante, cette foudroyante impression de la catastrophe de Sébastopol...[2] Le fil du télégraphe que j'avais côtoyé pendant 400 verstes, ne m'en avait rien dit, et c'est à mon arrivée, en venant échouer, Catherine[3] et moi, chez mon frère, que j'ai appris par lui cette terrible nouvelle. Il est probable que si je t'avais écrit à l'instant même, je t'eusse dit des choses très éloquentes et très émouvantes. Maintenant il est trop tard... Et d'ailleurs, dans le moment, où je t'écris, un magnifique soleil de matin entre dans ma chambre, et j'aime à penser que dans le même moment il inonde de cette même lumière ton balcon, le jardin qui est dessous et devant, aux mille teintes automnales, et tout ce panorama – trop vu – dont j'aimerais tant à te voir prendre le plutôt possible un mélancolique congé... comme je suis sur le point de le faire de celui que m'a offert Moscou, pendant ces huit jours.

Il y avait assurément quelque chose d'inusité et d'original dans l'impression que faisait le Kremlin *habité*[4]. En voyant tout ce va-et-vient de la vie affairée, tout ce mouvement de voitures, cette foule stationnant dans les cours du Palais, et tout cela en vue d'un intérêt présent – on avait le sentiment, comme si le charme venait de se rompre et que la vie allait reprendre après des siècles d'interruption.

Et puis lorsqu'on venait à rencontrer, dans les escaliers ou les corridors toutes ces figures connues de Pétersb<ourg> – Alexandrine Dolgorouky, Mad. Zacharjevsky[5], etc. etc., on sortait bien vite du rêve pour rentrer dans la réalité.

Hier, cependant, le 8, à l'heure où la messe se disait dans toutes les cathédrales, je suis monté sur la première plate-forme d'Ivan Véliki qui était couverte du monde qui était là à attendre (à tort ou à raison) l'apparition de l'Empereur sur le grand escalier extérieur à sa sortie d'une des cathédrales. Tout à coup ce sentiment du rêve m'a ressaisi. Il m'a semblé que le moment présent était passé depuis longtemps, qu'un demi-siècle et plus

avait déjà passé par là-dessus, que la grande lutte qui commence, après avoir parcouru tout un cycle de vicissitudes immenses et avoir enveloppé et broyé dans ses replis des Empires et des générations, était enfin terminée, qu'un nouveau monde en était sorti — que l'avenir des peuples était fixé pour des siècles — que toute incertitude avait disparu, que le Jugement de Dieu était accompli. L'e grand Empire était fondé... Il commençait sa carrière infinie là-bas, dans d'autres régions, sous un soleil plus brillant, plus près des souffles du midi et de la mer Méditerranée. Des générations nouvelles, avec des idées, des convictions toutes différentes étaient en possession du monde, et, sûres du résultat acquis, se souvenaient à peine des tristesses, des angoisses et de l'étroite obscurité, dans laquelle nous vivons en ce moment. Et alors toute cette scène du Kremlin, à laquelle j'assistais, cette foule si peu *consciente* de ce qui allait arriver, se poussant pour voir le pauvre Empereur qui doit durer si peu, et dont la vie s'usera et s'absorbera si vite dans les épreuves de ces premières heures de la grande lutte, — toute cette scène m'a paru comme une vision du passé et d'un passé déjà lointain, et comme si les hommes, que je voyais se mouvoir autour de moi, avaient déjà depuis longtemps disparu de cette terre... Je me suis tout à coup senti le contemporain de leurs arrière-petits-enfants[6].

Et c'est peut être cette disposition habituelle de mon esprit à envisager la lutte dans ses proportions et ses développements gigantesques, qui me rend parfois moins sensible aux revers et aux désastres du moment — bien que d'autres fois je me sente accablé de tristesse et de dégoût, et que pour ne pas perdre tout courage et tout intérêt à la vie, j'aie besoin de me rappeler que tu es là... .

Cette question d'Orient, destinée à survivre à toute cette génération, qu'elle aura ballottée et tourmentée jusqu'à sa fin, me rappelle ce mot d'un frère de Mad. Smirnoff, à l'occasion des impatiences et des fureurs qu'elle éprouvait contre son mari: «Mets-toi bien en tête, — lui disait-il, — que tu vivrais jusqu'à l'âge de 80 ans passés, que ton mari est destiné à te survivre tout juste d'une année...»

En fait de nouvelles, en *voici une* qui est assez poignante et que peut-être tu ignores encore. L'autre jour l'Empereur a reçu



l'avis que sa tante, la Reine douairière[7], allait arriver en Russie pour s'y fixer tout à fait à la suite d'une brouille avec son fils, qui, dans son extravagance, s'était avisé d'envoyer son grand cordon à Louis Bonaparte, en manière de félicitation pour la chute de Sébastopol, et à l'Empereur de R<ussie>, comme fiche de consolation, je suppose. L'indignation patriotique de la Reine est parfaitement légitime, et pas moins, ce n'est pas sans une sorte d'appréhension qu'on attend son arrivée.

Ma chatte chérie, j'aurais encore des volumes à t'écrire. Mais l'exécrable plume, que je sens se mouvoir sous mes doigts, et l'exécrable écriture qui en résulte, tout cela m'irrite les nerfs au dernier degré — et m'enlève toute liberté d'esprit, tout en me laissant au cœur un grand fonds d'attendrissement. Mais je t'aimerais encore beaucoup mieux de vive voix. Dieu te garde.

Перевод:

Москва. Пятница. 9 сентября 1855

Самое правильное, моя милая кисанька, это дать времени делать свое дело: оно все унесет и все устроит, а потому лучше всего дозволить этому двигателю увлекать себя, оказывая ему как можно меньше противодействия. На это философическое размышление навела меня мысль о моем путешествии[1], кое-какие подробности которого я хотел было тебе сообщить, но по прошествии недели оказалось, что я не сохранил о нем ни малейшего воспоминания... Однако поистине удивительно, а также весьма унизительно, что 8 дней поверхностных впечатлений было вполне достаточно, чтобы если не изгладить, то по крайней мере ослабить подавляющее и ошеломляющее впечатление севастопольской катастрофы...[2] Я 400 верст ехал вдоль телеграфной нити, но она ничего мне о том не поведала, и только от брата, у которого мы с Катериной[3] по приезде остановились, я узнал эту ужасную новость. Возможно, если бы я написал тебе тотчас же, то сказал бы что-нибудь очень красноречивое и очень захватывающее. Теперь же слишком поздно... К тому же в ту минуту, как я тебе пишу, великолепное утреннее солнце проникает в мою комнату, и я лелею мысль, что в эту же мину-

ту оно тем же светом заливает твой балкон и расстилающийся под ним и перед ним сад, расцвеченный тысячью осенних красок, и всю эту панораму, слишком хорошо знакомую, с которой — хочется думать — ты при первой возможности меланхолически распрощаешься, — как и я вот-вот распрощаюсь с той, что в течение недели предоставляла мне Москва.

Обитаемый Кремль[4] производит в самом деле необычайное и своеобразное впечатление. При виде всей этой толчеи суетливой жизни, этого движения экипажей, этой толпы, запрудившей дворцовую площадь и одушевленной интересом нынешней минуты, казалось, будто чары рассеялись и жизнь возобновляется после целых веков перерыва. Но затем, когда на лестницах или в коридорах доводилось встречать знакомые петербургские лица — Александрину Долгорукую, г-жу Захаржевскую[5] и т. д. и т. д., — сон быстро сменялся действительностью.

Однако вчера, 8-го, в то время когда во всех соборах совершалась обедня, я поднялся на первую площадку Ивана Великого, покрытую народом, ожидавшим — не знаю, тщетно или нет — появления государя на большой внешней лестнице при выходе его из одного из соборов. И тут меня вдруг вновь охватило чувство сна. Мне пригрезилось, что настоящая минута давно миновала, что протекло полвека и более, что начинающаяся теперь великая борьба, пройдя сквозь целый цикл безмерных превратностей, захватив и раздробив в своем изменчивом движении империи и поколения, наконец закончена, что новый мир возник из нее, что будущность народов определилась на многие столетия, что всякая неуверенность исчезла, что Суд Божий совершился. Великая Империя основана... Она начинала свое бесконечное существование там, в краях иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям юга и Средиземного моря. Новые поколения с совсем иными воззрениями и убеждениями господствовали над миром и, уверенные в достигнутых успехах, едва помнили о тех печалях, о той тоске и темной ограниченности, в которой мы живем теперь. И тогда вся эта сцена в Кремле, при которой я присутствовал, эта толпа, столь мало *сознававшая*, что должно совершиться в буду-



щем, и теснившаяся, чтобы видеть бедного государя, который так недолго просуществует и жизнь которого так скоро будет подорвана и поглощена при первых же испытаниях великой борьбы, — вся эта картина показалась мне видением прошлого и весьма далекого прошлого, а люди, двигавшиеся вокруг меня, давно исчезнувшими из этого мира... Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков[6].

И возможно, именно вследствие этого присущего моему уму свойства охватывать борьбу во всем ее исполинском объеме и развитии я бываю подчас менее чувствителен к неудачам и бедствиям настоящего момента, хотя временами и удручен печалью и отвращением и, чтобы не совсем потерять бодрости и интереса к жизни, должен вспомнить, что ты где-то около меня...

Восточный вопрос, которому суждено пережить наше поколение и который будет трепать и терзать его до конца нашего существования, напоминает мне остроумные слова брата г-жи Смирновой. Когда ею овладевал приступ нетерпения и гнева против мужа, он говорил ей: «Вбей себе хорошенько в голову, что, если ты проживешь до 80 лет с лишним, твой муж переживет тебя ровно на год...»

Из новостей сообщу тебе *одну* довольно прискорбную, которая, быть может, тебе еще неизвестна. На днях государь получил извещение, что его тетка, вдовствующая королева[7], собирается приехать на постоянное жительство в Россию вследствие ссоры с сыном, который из сумасбродства вздумал послать ленту своего высшего ордена Людовику Бонапарту в знак приветствия по случаю падения Севастополя, а императору Всероссийскому, вероятно, в виде утешения. Патриотическое негодование королевы вполне законно; однако ее приезд ожидается не без некоторого опасения.

Милая моя кисанька, я мог бы написать тебе еще целые тома, но отвратительное перо, движущееся в моих пальцах и оставляющее на бумаге отвратительные письмена, до крайней степени раздражает мои нервы и отнимает всякую свободу мысли, оставляя в сердце большой запас нежности. Но еще больше я любил бы тебя воочию. Да хранит тебя Бог.

57. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

17 сентября 1855 г. Петербург

Samedi. 17 septembre

Ma chatte chérie. Me voilà donc réintégré à Pétersbourg, depuis mardi dernier, juste six semaines après avoir quitté cet aimable séjour. Cette fois j'ai fait le voyage en nombreuse société de personnes de connaissance. Il y avait outre la P<rinc>esse Юсупов[1], les Муравьев[2], le Comte Перовский, ancien Ministre de l'Intérieur, avec son neveu le Comte Alexis Tolstoy, un Ministre de Hollande, Mr Dubois, etc. etc. C'était un peu moins ennuyeux, que le voyage d'au-delà de Moscou[3], mais c'était bien fatiguant tout de même, et je m'en suis trouvé excédé, moins encore pour mon propre compte que pour le tien, par anticipation[4]. Et cependant que ne donnerais-je pas pour te savoir déjà sur ce bienheureux chemin de fer, ayant déjà derrière toi toute cette première moitié du voyage, livrée, quoiqu'on fasse, à tant de chances difficiles à prévoir et à maîtriser.

En arrivant ici, j'ai trouvé l'appartement envahi par des blanchisseurs et décrotteurs qui avaient déjà terminé la moitié de la besogne, tes chambres déjà finies, et se disposaient à s'attaquer à la mienne, si bien que les premières nuits c'est dans votre chambre à coucher que j'ai établi ma couche provisoire...

A l'instant donné je suis interrompu dans mes écritures par le Brochet, qui me remet une lettre de toi. Ainsi, tu voudras bien me permettre de te quitter un instant pour te lire...

Merci, ma chatte, tu écris comme personne, et il est impossible de mieux formuler sa pensée que tu ne le fais... Ton style a presque autant d'expression, et une expression presqu'aussi aimable que ta chère et charmante figure... Quant au contenu de ta lettre qui est du 11, toutes les informations que tu as reçues depuis que tu l'as écrite, t'auront précisé la portée de la catastrophe de Sébastopol. Ah oui, tu as bien raison, la pensée, notre pauvre pensée humaine se noie et s'abîme dans ce déluge de sang si inutilement répandu, au moins en apparence... et cet affreux désastre n'est peut-être que le point <de> départ, le premier chaînon d'une série de désastres plus épouvantables encore... Je considère la Crimée, comme per-



due, et l'armée du P<rin>ce Gortchakoff terriblement compromise, c'est à peu près l'opinion générale ici – et en vérité, il serait difficile de conserver encore quelques illusions sur l'énorme gravité de la situation. Car quoi de plus grave qu'une situation telle que les succès même, dans la mesure où ils sont possibles, n'auraient d'autre résultat, que de prolonger, comme pour Sébastopol, l'agonie de la défense, et tout au plus de déplacer l'agression sans possibilité aucune de la repousser et de la briser. Jamais peut-être on n'a vu pareille chose, dans l'histoire du monde, un Empire, grand comme le Monde, réduit à une défensive aussi étroite, aussi complètement dénuée de toute chance, de toute possibilité d'une diversion tant soit peu efficace.

Pour se faire une idée un peu plus vraie de la nature de cette lutte, il faut se représenter la Russie, condamnée à ne se servir que d'un seul bras, pour repousser cette gigantesque agression de la France et de l'Angleterre réunies, tandis que l'autre bras se trouve engagé et comprimé sous le poids écrasant de l'Autriche qui s'est mise en position d'y ajouter tout celui de l'Allemagne, si par hasard nous nous avisions de nous servir de ce bras qu'on nous retient pour essayer de saisir l'ennemi qui nous accable... Il ne fallait pas moins, pour réaliser une combinaison, aussi essentiellement désespérée que la monstrueuse ineptie de cet homme de malheur[5], qui ayant eu pendant trente ans de son règne les chances les plus constamment favorables, les a toutes compromises et annulées, pour engager la lutte dans des conditions tout bonnement impossibles. Un homme qui voulant entrer dans une maison, commencerait par en murer les portes et les fenêtres, pour essayer d'y entrer par le mur, en y faisant une brèche *à coups de tête*, n'agirait pas d'une manière plus insensée que ne l'a fait, il y a deux ans, l'inoubliable défunt. L'énormité de cette ineptie, l'inconcevable infatuation qu'elle suppose sont telles, qu'il est presqu'impossible de n'y voir que l'écart, l'aberration d'esprit d'un seul individu, de n'imputer qu'à lui seul la responsabilité toute entière d'une démence pareille. Non certes – la méprise commise par lui n'a été que la conséquence dernière et suprême d'une déviation profonde et bien antérieure à lui, dans la direction imprimée aux destinées de la Russie, –

15 Зак 7712

et c'est précisément cette circonstance d'une déviation aussi ancienne et aussi profonde qui me fait supposer que le redressement ne pourra s'obtenir que par de longues et de bien cruelles épreuves. Quant au succès définitif de la lutte en faveur de la Russie, il me paraît aussi peu douteux maintenant qu'il l'a jamais été.

Toutes ces considérations générales ne m'empêchent pas de sympathiser profondément avec les angoisses bien légitimes de ton frère, qui certes avait le droit d'espérer un résultat plus satisfaisant de tant d'efforts de persévérance et d'abnégation vraiment admirables au profit des siens[6].

Mais voilà que le papier va me manquer et je ne t'ai encore rien dit. Hier j'ai dîné chez les Bloudoff, avec la Kozloff, etc., tout ce monde te salue et te désire vivement. Aujourd'hui j'ai fait chercher Dmitry qui se porte à charme. Il dîne en ce moment chez les Melnikoff, et ira ce soir, accompagné de Палагея, auprès d'Anna, à Tsarskoïe, où je compte aller le rejoindre demain dimanche. On y attend aujourd'hui l'Impératrice-mère. L'Empereur revient le 28[7].

L'a ville, socialement parlant, est encore assez déserte. Il y a encore du monde aux Iles, les Wiasemsky sont, je crois, encore au Forestier[8], etc. etc.

Mais comment veux-tu que je te parle à mille verstes de distance. Une fois pour toutes, j'exige que tu reviennes, entends-tu?

Перевод:

Суббота. 17 сентября

Милая моя кисанька, итак с прошлого вторника я снова водворился в Петербурге, — ровно через шесть недель после того, как покинул это приятное местопребывание. На этот раз я совершил путешествие в многочисленном обществе знакомых. Кроме княгини Юсуповой[1] тут были Муравьевы[2], граф Перовский, бывший министр внутренних дел, со своим племянником графом Алексеем Толстым, голландский посланник г-н Дюбуа, и т. д. и т. д. Это было не так скучно, как путешествие по ту сторону Москвы[3], однако все-таки весьма утомительно, и я порядком измучился, но не столько по при-



чине неудобств для себя лично, сколько в предвидении того, как потом измучаешься ты[1]. И, однако, чего бы я ни дал, чтобы знать, что ты уже на этой благословенной железной дороге и первая часть путешествия, полная всяких передряг, которые трудно предусмотреть и преодолеть, осталась для тебя позади.

Приехав сюда, я нашел квартиру наводненной малярами и мусорщиками, уже окончившими половину работы (твои комнаты уже отделаны) и собирающимися приняться за мою комнату, так что на первые ночи я перенес свое временное ложе в твою спальню...

В данную минуту мое писание прервано Щукой, который подал мне твое письмо. Поэтому позволь мне на мгновение тебя покинуть, чтобы тебя прочитать...

Благодарю, моя киска, ты пишешь как никто другой, и невозможно лучше тебя излагать свои мысли... Твой слог почти столь же выразителен, и выразительность его почти столь же приятна, сколь приятно выражение твоего милого и прелестного лица... Что касается содержания твоего письма, помеченного 11-м, то известия, полученные с тех пор, вероятно, раскрыли перед тобой все значение севастопольской катастрофы. О да, ты вполне права, — наш ум, наш бедный человеческий ум захлебывается и тонет в потоках крови, по-видимому, — по крайней мере так кажется, — столь бесполезно пролитой... И это ужасное бедствие, вероятно, только исходная точка, первое звено целой цепи еще более страшных бедствий... Я считаю Крым потерянным и армию князя Горчакова поставленной в очень тяжелые условия. Здесь почти все разделяют это мнение — и действительно, нельзя обманывать себя относительно огромной опасности положения. Ибо что может быть серьезнее такого положения, когда даже некоторые успехи — в той мере, в какой они возможны, — только продлили бы, как это было под Севастополем, агонию защитников и, самое большее, заставили бы противника направить на другое место свой удар, хотя и там не было бы ни малейшей надежды отвести или отразить его. Никогда еще, быть может, не происходило ничего подобного в ис-

тории мира: империя, великая, как мир, имеющая так мало средств защиты и лишенная всякой надежды, всяких видов на более благоприятный исход.

Чтобы получить более ясное понятие о сущности этой борьбы, следует представить себе Россию, обреченную только одной рукой отбиваться от гигантского напора объединившихся Франции и Англии, тогда как другая ее рука сдавлена в тисках Австрии, к которой тотчас примкнет вся Германия, как только нам вздумается высвободить эту руку, чтобы попытаться схватить теснящего нас врага... Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека[5], который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Если бы кто-нибудь, желая войти в дом, сначала заделал бы двери и окна, а затем стал пробивать стену *головой*, он поступил бы не более безрассудно, чем это сделал два года тому назад незабвенный покойник. Это безрассудство так велико и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нем заблуждение и помрачение ума одного человека и делать его одного ответственным за подобное безумие. Нет, конечно, его ошибка была лишь роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России, — и именно потому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями. Что же касается конечного исхода борьбы в пользу России, то, мне кажется, он сомнителен менее, чем когда-либо.

Все эти общие соображения не мешают мне глубоко сочувствовать весьма законным тревогам твоего брата, который, конечно, имел право ожидать более удовлетворительного результата от стольких поистине изумительных усилий, упорства и самоотверженности на пользу своей семьи[6].

Но вот бумага кончается, а я еще ничего тебе не сказал. Вчера я обедал у Блудовых с Козловой и т. д. Все тебе

очень кланяются и очень желают твоего возвращения. Сегодня я послал за Дмитрием, который чувствует себя прекрасно. Сейчас он обедает у Мельниковых, а вечером поедет в сопровождении Палагеи к Анне в Царское, где я рассчитываю встретиться с ним завтра, в воскресенье. Там ожидают сегодня императрицу-мать; государь возвращается 28-го[7].

Город в отношении общества еще довольно безлюден. Кое-кто еще на Островах; Вяземские, кажется, еще в Лесном[8] и т. д. и т. д.

Но как могу я говорить с тобой на расстоянии тысячи верст? Раз и навсегда я требую, чтобы ты вернулась, — слышишь ли?

58. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

5 октября 1855 г. Петербург

Ma fille chérie. C'est aujourd'hui que maman se met en route. Tout à l'heure un rayon de soleil vient de percer un nuage de pluie et illuminer mon papier. Ceci me paraît de bon augure pour son voyage. Et cependant je suis loin d'être sans appréhension — et ne me sentirai rassuré que quand je la saurai à Moscou... Partie le 5 d'Ovstoug, elle doit, j'aime à le croire, vous arriver le 8 au soir. As-tu pris quelque arrangement pour la faire descendre dans la maison où j'ai logé et où elle serait beaucoup mieux et à meilleur marché qu'à l'auberge. Je m'en remets de tous ces soins, ma fille, à votre zèle et à votre savoir-faire.

Dis à maman que ces lignes étaient en grande partie à son intention, elle n'en aura pas d'autres de moi écrites à son adresse avant que je ne la sache bien et dûment arrivée à Moscou. J'ai mes raisons superstitieuses pour cela... Quant à moi, je suis sans nouvelles d'elles depuis le 20 septembre.

Hier j'ai dîné chez l'Impératrice[1]. Cette femme a charme et prestige à la fois rehaussés encore et comme attendris par cette couronne d'épines qu'elle a sur sa tête[2]. J'étais assis à côté d'elle. Elle tenait sur ses genoux sa petite fille, et ses quatre garçons l'entouraient[3]. Et dans ce moment-même elle a reçu sur coup

deux dépêches télégraphiques qui n'annonçaient rien de bien consolant. Elle les lut, continua la conversation et ne nous les communiqua qu'après dîner. Il y avait tant de grâce dans cette faiblesse, supportant un pareil fardeau. — Elle a assurément beaucoup de charme.

Bonjour, ma fille.

Перевод:

Любезная моя дочь, сегодня мама́ отправляется в путь. В эту минуту солнечный луч проник через темную тучу и осветил мой лист бумаги. Это мне кажется добрым предзнаменованием для ее путешествия. И однако меня не покидают дурные предчувствия — и я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что она уже в Москве... Выехав 5-го числа из Овстуга, она прибудет к вам, я надеюсь, 8-го вечером. Предприняла ли ты необходимые хлопоты, чтобы устроить ее в том доме, где останавливался я и где ей будет гораздо удобнее и дешевле, чем в гостинице? Поручаю все эти хлопоты, милая дочь, твоему усердию и умению.

Передай мама́, что эти строки предназначены большей частью ей, она не получит от меня письма, адресованного ей лично, прежде чем я узнаю, что она благополучно и надлежащим образом добралась до Москвы. У меня есть для этого свои суеверные причины... Что до меня, я не имею от нее известий с 20 сентября.

Вчера я обедал у государыни[1]. Эта женщина обладает одновременно очарованием и величием, еще более подчеркнутыми и как бы смягченными терновым венцом, который ей достался[2]. Я сидел подле нее. Она держала на коленях младшую дочь, и четверо сыновей окружали ее[3]. В эту самую минуту ей подали две телеграммы, не содержавшие ничего утешительного. Она прочитала их и продолжила беседу, и сообщила нам их содержание только после обеда. Столько грации в этой слабости, выносящей столь тяжкий груз. — Она в самом деле весьма очаровательна.

Прощай, моя дочь.

59. М.П. ПОГОДИНУ

11 октября 1855 г. Петербург

С.-Петербург. 11-го октября 1855

В ответ на ваше письмо, любезнейший Михайло Петрович, вот что я имею вам сказать: государево возвращение неизвестно, но все ваши здешние друзья того мнения, что лучше вам дождаться оного и приехать сюда, в Петербург, чем ехать на авось в Николаев[1]. Что же касается до статьи вашей, то я наверное знаю, что она была читана и перечитана с большим участием и признательностью, и я не понимаю, каким образом в последнее время, в бытность двора в Москве, вы не имели случая сами в этом убедиться...[2]

Теперь, как бы ни было грустно и больно, вот вам мое задушевное роковое убеждение о настоящем кризисе: дело идет не о России одной, но о целом племени. Удержит ли оно за собою свою историческую самостоятельность для будущего развития или окончательно погубит и утратит ее. Более тысячи лет готовилась нынешняя борьба двух великих Западных племен противу нашего. Но до сих пор все это только были авангардные дела, теперь наступил час последнего, решительного, генерального сражения... Все авангардные дела были нами проиграны, — от исхода предстоящей битвы зависит решение вопроса: которая из двух самостоятельностей должна погибнуть: наша или Западная; но одна из них должна погибнуть непременно — *быть* иль *не быть, мы* или *они*...

Теперь, если мы взглянем на себя, т. е. на Россию, что мы видим?.. Сознание своего единственного исторического значения ею совершенно утрачено, по крайней мере в так называемой образованной, правительственной России. Живет ли оно еще в народе, одному Богу известно. — В чем же это историческое значение? А именно в том, что России, как единственной представительнице самостоятельной всего племени, предназначено было воссоздать эту самостоятельность для всего племени. Этот исторический закон России был ее жизненным условием, вне коего нет и для ней самой исторической жизни. — Все это, сознаю, очевидно до пошлости, но

вот что не пошло: для правительственной России сознание этого закона, несмотря на свою очевидность, — более не существует. Она уже не орган, а просто *нарост*. Теперь это омертвение распространится на всю массу или, неминуемо, должно вызвать из глубины ее последнюю, отчаянную реакцию народной и племенной жизни, не для России одной, но для всего племени; т. е. оживут ли кости сии?.. Господи, ты знаешь!.. и что же, скажите, перед этой необъятною, неразрешимою Задачею значит голос и усилия частного лица?

Так, вы правы, *Господи помилуй!* и... только.

Весь ваш

Ф. Тютчев

60. К. ПФЕФФЕЛЮ

Январь 1856 г. Петербург

Janvier 1856

La seule manière vraiment utile et profitable de servir la cause russe en Allemagne, c'est de se placer, pour la défendre, au point de vue de l'intérêt allemand. Et ceci, il faut le faire avec une entière franchise, une entière conviction. Il est certain que cela suppose un grand courage d'esprit, car il s'agit, ni plus ni moins, que d'oser être seul de son bord contre une sorte d'hallucination générale, qui envahit successivement deux générations, pour leur faire reconnaître l'évidence même. Et cette évidence la voici: la combinaison politique qui a dominé l'Europe pendant ces quarante dernières années, était la seule qui offrit à l'Allemagne toutes les garanties possibles et désirables pour la conservation de son indépendance politique, et de son intégrité nationale et territoriale, attendu que c'était la seule combinaison, qui pouvait, sinon annuler, du moins conjurer et suspendre l'action dissolvante de ce principe d'antagonisme qui travaille l'Allemagne depuis tant de siècles; si bien, qu'à certains égards, il est devenu comme le principe de sa vie historique.

Je sais bien, que c'est là un aveu qui doit terriblement coûter à faire, je ne dis pas seulement à la vanité nationale, mais même à un sentiment infiniment meilleur, celui d'une sorte de pitié filiale,

pour les infirmités incurables de la patrie. Mais les faits historiques sont malheureusement ce qu'ils sont. Et dans cet ordre de faits, il n'y en a pas de mieux constaté que ce dualisme, en quelque sorte organique, et l'impossibilité également reconnue pour l'Allemagne, de trouver en elle-même le moyen de le concilier définitivement — ou même de la conjurer d'une manière quelque peu durable. On aura beau se récrier, nier ou conjurer, rien à la longue ne prévaudra contre cette vérité d'expérience, tout comme il sera impossible à la longue de se refuser à ce fait évident, que jusqu'à présent la seule combinaison qui ait résolu ce problème d'une manière suivie, cela a été ce que pendant 40 ans on a appelé: l'alliance des trois cours du Nord, — c'est-à-dire, l'alliance des deux Allemagnes avec la Russie. On reconnaîtra plus tard que cette combinaison était, je ne dis pas la combinaison par excellence, mais la seule qui pût conjurer deux éléments, dont un seul eût suffi pour remettre en question tout le *statu quo* européen. C'est d'une part la résurrection de l'Empire français qui n'est, et ne peut jamais être autre chose qu'une tentative de reconstruction de l'Empire d'Occident, au profit exclusif de la France et au détriment tout aussi certain de la nationalité Allemande. Et l'autre élément de trouble et de bouleversement que l'alliance intime de la Russie avec les deux Allemagnes était seule en état d'apaiser, c'est cette terrible inimitié qui divise les deux races voisines: la race slave et la race allemande; cette guerre latente qui jusqu'à présent, n'a pu accepter que des compromis et supporter que des trêves; car il n'y a pas à s'y tromper, l'attitude que l'Autriche a prise vis-à-vis de la Russie[1], n'est pas seulement une évolution politique de deux Etats — c'est la reprise d'une guerre entre deux races et deux mondes. En s'attaquant à la Russie dans son présent et dans son avenir, l'Autriche s'est de fait attaquée à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus ancien et de plus durable encore que la Russie elle-même.

Elle a, pour exprimer ma pensée en quelques mots, par son hostilité contre la Russie, remis en question l'autonomie de la race slave tout entière. En effet, en y regardant de près, il sera facile de se convaincre que c'est ce caractère inhérent à la Russie,

d'être non pas seulement la gardienne, mais comme la personnification de l'autonomie de sa race, qui a soulevé contre elle l'hostilité de l'Autriche actuelle. Je sais bien que ce changement de front dans l'attitude politique de l'Autriche lui concilie dans le moment donné une très grande popularité en Allemagne, car en ranimant toutes les convictions de domination et de conquête au dehors, la politique du cabinet de Vienne flatte et caresse l'orgueil allemand dans sa plus persistante et sa plus incurable prétention, celle de la supériorité de sa race et du droit inaliénable de tutelle et de suzeraineté que cette supériorité lui confère sur la race slave. En un mot, bien des esprits en Allemagne se complaisent dans l'illusion que l'Autriche va recommencer ou plutôt continuer au profit de la patrie allemande, l'œuvre de conquête des anciens empereurs de la dynastie Saxonne. A cela il n'y a à objecter qu'une considération dont il serait temps de tenir quelque compte. Lorsque les Othons[4], au moment de la plus grande concentration des forces de l'Allemagne, se sont attaqués à la race slave, ce ne sont après tout que quelques rameaux qu'ils ont réussi à détacher du tronc. Ce n'est, pour ainsi dire, que l'avant-garde du corps principal de l'armée qu'ils ont eu à combattre. A l'heure qu'il est il s'agirait d'enfoncer et de vaincre le corps de bataille tout entier... Et qu'on ne dise pas, que ce sont là des suppositions gratuites ou exagérées. Ou le mouvement de volteface opéré par l'Autriche n'a pas de sens, ou c'est bien là, la fatalité qu'elle s'est créée, en se mettant, comme elle vient de le faire, en travers des destinées, non pas de la Russie seule, mais de la race slave toute entière...

Il est clair, qu'à présent l'Autriche ne pourrait jamais avec ses seules forces accomplir une œuvre que les forces réunies de l'Occident tout entier seraient impuissantes à réaliser. Mais néanmoins, rien qu'une tentative sérieuse dans cette voie ne pourrait manquer d'avoir pour l'Allemagne des conséquences incalculables.

Dans l'état actuel des forces respectives de l'Europe il est évident que l'Allemagne ne pourrait se faire envahissante en Orient, qu'à la condition de livrer à la France la meilleure partie d'elle-même. Le jour où le Danube deviendrait fleuve autrichien jusqu'à

son embouchure, il est plus que probable que le Rhin deviendrait français dans toute sa longueur, ce qui ne manquerait pas d'arriver, soit avec la connivence explicite et patiente de l'Autriche, soit par la seule force logique des choses. C'est bien certainement sur cette pente que la politique autrichienne, en rompant le faisceau de l'ancienne alliance, a placé les destinées de l'Allemagne, et le monde va bientôt juger de la vitalité qui reste à celle-ci, par les efforts plus ou moins énergiques qu'elle va faire pour la remonter.

A mon avis toute la question se réduit à ceci: reste-t-il assez de nationalité aux Allemands pour être autre chose qu'une avant-garde de la France?

Перевод:

Январь 1856

Единственный по-настоящему необходимый и верный способ послужить русскому делу в Германии — это встать ради его защиты на точку зрения немецких интересов. И это следует делать с полным чистосердечием, с полным убеждением. Разумеется, это предполагает большое духовное мужество, ибо речь идет ни больше, ни меньше, как о том, чтобы осмелиться остаться в одиночестве против всеобщей иллюзии, охватывающей одно за другим два поколения, дабы заставить их принять самое очевидное. И эта очевидность заключается в следующем: политическое положение, преобладавшее в Европе в течение последних сорока лет, единственное предлагало Германии все возможные и чаемые гарантии сохранения ее политической независимости, ее национальной и территориальной целостности, если учесть, что это было единственное положение, которое могло если не уничтожить, то, по крайней мере, предотвратить и замедлить разрушительное действие принципа антагонизма, терзающего Германию на протяжении нескольких веков так явно, что в некотором смысле он стал принципом ее исторической жизни.

Мне хорошо известно, что такое признание чрезвычайно тяжело дается, не скажу, национальному самолюбию, но даже чувству бесконечно более высокому, сродному чувству сы-

новней любви к неизлечимым скорбям отечества. Но исторические факты, к сожалению, остаются такими, каковы они есть. И в таком порядке вещей лучше всего проявляется двойственность, в некотором роде органическая, а также известная невозможность для Германии обрести в самой себе способ окончательного примирения этой двойственности либо устранения ее пусть даже длительными усилиями. Можно сколько угодно возражать, отрицать или заклинать, но ничто не может впредь возобладать над этой истиной, основанной на опыте, точно так же, как невозможно будет в конце концов отрицать очевидного факта, что до сих пор единственное учреждение, последовательно разрешавшее эту задачу, было то, которое на протяжении 40 лет именовалось союзом трех северных держав, то есть союзом двух Германий с Россией. Впоследствии признают, что это учреждение было не скажу наилучшим, но единственным, которое могло примирить два элемента, одного из коих было бы достаточно, чтобы вновь поставить под вопрос весь существующий европейский порядок. С одной стороны, это возрождение французской империи, которое не может быть ничем иным, как попыткой восстановления западной империи исключительно в выгодах Франции и в несомненный ущерб немецкой национальности. И с другой стороны — тревожный и разрушительный элемент, который можно было усмирить только с помощью тесного союза России с двумя Германиями, — это страшная вражда, разделяющая два соседних народа — славянский и германский; эта скрытая война до сих пор допускала только компромиссы и перемирия, ибо не стоит себя обманывать — отношение Австрии к России[1] является не просто политическим маневром — это возобновление войны между двумя народами и двумя мирами. Ополчаясь против России в настоящем и будущем, Австрия на самом деле покушается на нечто гораздо более великое, более сильное, древнее и основательное, чем даже сама Россия.

Если выразить мою мысль в нескольких словах, она своей враждой к России поставила под вопрос независимость всего славянского племени. В самом деле, приглядевшись, легко



убедиться, что России присуще неотъемлемое свойство быть не только покровительницей, но и олицетворением независимости племени, против которого вспыхнула ныне враждебность Австрии. Я знаю хорошо, что этой переменой своего политического лица Австрия снискала себе в настоящую минуту огромную популярность в Германии, потому что, поощряя всю ее убежденность в господстве и внешних победах, политика венского кабинета льстит Германии и ласкает ее тщеславие в ее самых настойчивых и неистребимых притязаниях на превосходство ее расы и на неотъемлемое право, вытекающее из этого превосходства, на опеку и господство над славянством. Одним словом, в Германии многие умы питаются иллюзией, будто Австрия в угоду германскому отечеству начнет, вернее продолжит, дело завоеваний древних императоров Саксонской династии. На это можно привести лишь одно возражение, которое пора хоть немного принять в расчет. Когда Оттоны[2] в момент наибольшего сплочения германских сил ополчились против славянства, то им в конце концов удалось оторвать от ствола всего лишь несколько веток. Другими словами, это был авангард армии, с которой им предстояло сразиться. В настоящее время дело было бы за тем, чтобы прорваться через главные воинские силы и победить их... И не стоит возражать, будто это надуманные или преувеличенные предположения. Либо полный поворот в направлении Австрии не имеет смысла, либо дело в роковой неизбежности, в какую она попала, поставив себя, как она это только что сделала, наперекор судьбам не одной только России, но и всего славянства.

Очевидно, что ныне Австрия не могла бы одними своими средствами осуществить дело, которое не под силу и всему объединенному Западу. Но тем не менее даже серьезная попытка в этом направлении не осталась бы без неисчислимых последствий для Германии.

При нынешней общей расстановке сил в Европе очевидно, что Германия могла бы двинуться на Восток только при условии, если она уступит Франции свою лучшую часть. В тот день, когда Дунай до самого устья станет австрийской

рекой, более чем вероятно, что Рейн сделается французским на всем своем протяжении, и это произойдет либо с явного и молчаливого попустительства Австрии, либо прямою логикой событий. Без всякого сомнения, именно на эту наклонную плоскость австрийская политика, разорвав звенья прежнего союза, поставила судьбы Германии, и мир скоро будет иметь возможность судить об оставшейся у нее жизнеспособности по тем более или менее энергичным усилиям, которые она сумеет сделать для своего подъема.

На мой взгляд, весь вопрос сводится к следующему: достаточно ли осталось национального чувства у немцев, чтобы быть чем-то иным, нежели только передовым отрядом Франции.

61. Н. Ф. ЩЕРБИНЕ

21 апреля 1856 г. Петербург

Суббота. 21 апреля

Милый поэт мой, довершите ваше благодеяние. Вы подарили мне ваши «Ямбы»[1]. Подарите мне ваше живое слово. Приходите сегодня, в *шесть* часов, обедать с нами. Давно уже, слишком давно, мы лишены беседы вашей — и того, что римский поэт называет *splendida bilis** вашей[2]. Приходите, прошу вас.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

62. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

22 июня 1856 г. Петербург

С.-Петербург. Vendredi. 22 juin 1856

Je reçois à l'instant ta lettre en date du 19 juin, ma bonne et chère Kitty, et je m'empresse d'y répondre. Je n'ai pas besoin de te dire, combien, dans ma solitude actuelle, j'aurais été heureux de mettre mon appartement à la disposition de Mad. Kiréeff et à la

* блестящей яростью (*лат.*).

tienne, mais malheureusement en ce moment-ci ce n'est pas plus un appartement, c'est un chaos et une ruine. On refait tous les poêles, on reblanchit et on rebadigeonne tous les plafonds, si bien que de toutes les chambres il n'y a d'habitable que le salon du milieu où je me suis refugié et retranché... Encore n'y fait si qu'y camper la nuit, et le jour venu je m'empresse de déserter la maison pour n'avoir pas sous les yeux le spectacle de désolation et pour n'être pas étourdi par le bruit et la poussière des ouvriers qui sont à domicile dans l'appartement. Tel est, ma fille chérie, l'état des choses et la conrariété que j'éprouve de ne pas pouvoir vous recevoir chez moi n'ayant pas peu à l'ennui que tout ce tracas me donne.

Je reviens à l'instant même de Царское Село où j'ai été passer deux jours auprès de ta sœur[1]. Je savais par elle l'invitation qu'elle t'avait adressée de venir la rejoindre à Peterhof et quasi-acceptation.

Pour ma part, je serai fort heureux de t'y voir et ne me demande pas mieux que de me mettre entièrement à tes ordres, jusque j'espère de te ramener à Moscou. Le séjour de Peterhof pourrait en effet être de quelque utilité à ta santé à la condition tout à fait que l'abominable temps dont nous avons été assiégés jusqu'ici vienne à cesser. S'il devait continuer, le séjour de Peterhof serait le dernier que je t'aurai conseillé, car avec la saison qu'il fait, toutes ces habitations aériennes de Peterhof sont de véritables glacières, et il faut des santés de fer pour être à l'épreuve de leur maudite élégance. Oui, c'est une véritable ignominie que d'être condamné à un pareil climat, et on se demande, quel est le crime, pour lequel on y a été déporté. Je ne sais le temps qu'il fait chez vous à Moscou. Mais ici il est tout bonnement exécrable. On ne sort qu'enveloppé de ses plus chauds vêtements, la pelisse excepté, et on se surprend à la regretter dix fois[2]. Ce qui ajoute encore à mon exaspération, c'est l'idée du contretemps qu'un pareil été fait éprouver à ma femme et à tes sœurs pour la cure qu'elles sont allés chercher dans un pays perdu et au prix de tant de fatigues.

Dis à Grand-maman que je lui baise ses chères mains et suis très impatient d'aller la retrouver.

Mille amitiés à ta tante, et mille tendresses pour toi, ma bonne et chère Kitty.

Перевод:

С.-Петербург. Пятница. 22 июня 1856

Я только что получил твое письмо от 19 июня, моя славная, любезная Китти, и спешу отвечать тебе. Нет нужды говорить, как в моем нынешнем одиночестве я был бы рад предоставить в твое и Киреевой распоряжение свою квартиру, но, к сожалению, в настоящую минуту, это не квартира, а хаос и руины. У нас переделывают все печи, белят и штукатурят потолки, так что жить можно только в средней гостиной, где я укрылся как в крепости... К тому же я только провожу там ночь, а с наступлением дня спешу покинуть дом, чтобы не быть свидетелем сего безотрадного спектакля и бежать от шума и пыли, поднимаемыми рабочими, хозяйничающими в квартире. Таково, любезная дочь, положение дел; и оттого что я не могу вас принять у себя, я испытываю не меньшую досаду, чем от всего этого беспорядка.

Я только что вернулся из Царского Села, где провел два дня с твоей сестрой[1]. Я узнал от нее, что она пригласила тебя приехать к ней в Петергоф и ты почти согласилась.

Что касается до меня, я был бы очень счастлив увидеть тебя и не желал бы ничего лучше, чем предоставить себя в твое полное распоряжение, вплоть до того, что надеюсь сопроводить тебя назад в Москву. Пребывание в Петергофе могло бы и в самом деле принести некоторую пользу твоему здоровью при непременном условии, что переменится скверная погода, докучающая нам доселе. Если же она будет упорствовать, то Петергоф — самое последнее место, которое я мог бы тебе посоветовать, потому что при такой погоде петергофские легкие сооружения превращаются в настоящие ледники. И нужно иметь железное здоровье, чтобы оказаться на высоте их окаянного изящества. Да, какая подлость быть приговоренным к такому климату, порой спрашиваешь себя, за какое преступление ты сюда сослан. Не знаю, какая погода у вас в Москве, но здесь она просто отвратительная. Выйти на улицу можно только в самой теплой одежде, кроме разве шубы, и десять раз поймаешь себя на мысли, что и шуба не помеша-

ла бы[2]. Я прихожу в еще большее отчаяние, когда думаю о том, как повлияло ненастное лето на лечение мамá и твоих сестер, за которым они добирались в глухие края ценою стольких усилий.

Передай бабушке, что я целую ее милые руки и жду с нетерпением того момента, когда вновь увижу ее. Усердно кланяюсь тетушке, а тебе, славная и любезная Китти, шлю тысячу нежностей.

63. М. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

3 июля 1856 г. Петербург

Oui, ma chère Marie, c'est avec une exécrable écriture que je vais répondre à ta chère lettre aussi bien calligraphiée qu'elle est gentiment écrite, et qui m'a fait un très sensible plaisir. Je m'associe de grand cœur à vos exercices dramatiques et je ne doute pas de vos succès, des tiens surtout, à en juger par un petit échantillon, dont j'ai été témoin il y a quelques années, je ne me souviens plus où[1]. Tu peux donc compter sur mes suffrages, ne fût-ce que pour te dédommager de ceux dont maman pourrait s'aviser de vouloir te frustrer... par suite, probablement, de la même malveillance qui lui fait nier le fait patent et incontestable de tes progrès de croissance...

Mais que tes succès dramatiques ne te fassent pas négliger un autre succès non moins essentiel — celui de ta cure[2]. Où en es-tu de tes bains de boue, etc. J'aime à croire qu'il n'est plus question de fièvre, et que la magnifique saison qu'il fait, combinée avec les influences salutaires d'Oesel, va opérer des miracles dans l'intérêt de vos santés à tous et à toutes.

Dis à Daria que je l'embrasse de tout mon cœur et suis heureux d'apprendre qu'elle s'ennuie moins que d'habitude. Dis-lui aussi que j'ai reçu une seconde lettre de Kitty, tout aussi remplie d'incertitude que la première relativement à son arrivée. — Embrassemoi aussi tes frères, dans un moment de trêve entre vous...

Ma fille chérie, je me proposais en commençant de remplir ces quatre petites pages — mais le Brochet vient m'annoncer qu'il est cinq heures et qu'il est temps de m'habiller pour aller dîner chez

les Bloudoff. Aussi donc à une autre fois. Mais avant de finir je te recommande plus que toute chose la santé de maman. Aie bien soin de cette santé-là, ma fille. Je te dirai plus tard pourquoi.

Mes amitiés à Cécile[1], et mes hommages à la P<rinc>esse Sophie[1].

Ah, quel atroce griffonnage. Ne m'imite pas, ma fille.

Перевод:

Да, моя дорогая Мари, своим отвратительным почерком я собираюсь отвечать на твое драгоценное письмо, написанное так аккуратно и такое милое; оно доставило мне самую живую радость. Я искренно интересуюсь вашими драматическими упражнениями и не сомневаюсь в ваших успехах, особенно в твоих, принимая во внимание тот небольшой образчик, свидетелем коего я был несколько лет назад, не помню уж, где это было[1]. Итак, ты можешь рассчитывать на мои похвалы хотя бы для того, чтобы вознаградить себя за те, коих мамá вдруг вздумает тебя лишить, — вероятно, вследствие той же недоброжелательности, которая заставляет ее отрицать очевидный и неоспоримый факт твоих успехов в росте...

Но ради своих драматических успехов не пренебрегай другими успехами, не менее существенными, — лечебными[2]. Сколько грязевых ванн ты приняла? — и т. д. Надеюсь, что больше и речи нет о лихорадке и что великолепная погода, в сочетании с благотворным воздействием Эзеля, сотворит чудеса и всех вас сделает здоровыми.

Скажи Дарье, что я целую ее от всего сердца и счастлив знать, что она скучает менее, чем обычно. Скажи ей также, что я получил второе письмо от Китти, столь же неопределенное в отношении ее приезда, как и первое. — Поцелуй за меня также братьев в минуту перемирия между вами...

Моя милая дочь, начиная письмо, я предполагал заполнить эти четыре странички, но Щука пришел объявить мне, что уже пять часов и мне пора одеваться к обеду у Блудовых. Итак, до другого разу. Но прежде чем кончить, прошу тебя прежде всего следить за здоровьем мамá. Береги его, дочка,—



со временем скажу тебе почему. Передай мой привет Цецилии[3] и мое почтение княжне Софи[4]. Ах, какие ужасные каракули! Не подражай мне, дочь моя.

64. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

23 июля 1856 г. Петербург

С.-Петербург. Lundi. 23 juillet 1856

Ma chatte chérie. C'est avant-hier, à Peterhof, dans un milieu de fêtes et de félicitations officielles[1] que j'ai reçu ta saisissante lettre du 16, où tu me racontes la catastrophe de cette mort si brusque et si brutale du pauvre S<erge> Mestchersky[2]. Non, la fragilité de la vie humaine est la seule chose ici-bas que toutes les phrases et toute la rhétorique des déclamations ne parviendront jamais à exagérer. Je me suis souvenu que la dernière fois où je l'ai vu, lui et sa femme, c'était au bal costumé du Gr<and>-Duc Constantin où je suis venu m'asseoir un moment à la même table qu'eux, assis paisiblement l'un à côté de l'autre, et pressentant si peu l'abîme qui allait s'ouvrir entre eux. Et qui sait, grand Dieu, si à cette table ils étaient les seuls imprévoyants.

Mais, moi au moins, je puis me rendre le triste et lamentable témoignage, que le sentiment d'angoisse et de terreur est devenu, depuis des années, l'état habituel de mon âme — et que si cela ne suffit pas pour conjurer la destinée, cela empêche au moins d'être frappé à l'improviste. Ah certes, ce n'est pas par un excès de sécurité que je pourrai jamais provoquer ses coups, et cependant toutes ces terreurs, toutes ces incessantes inquiétudes se résument pour moi dans une seule crainte, dans une seule préoccupation. Je suis comme un homme qui saurait d'avance qu'il ne peut mourir que d'un seul genre de mort, et qui par suite de cela verrait constamment et en tout des indices précurseurs de l'incident qu'il aurait à redouter. Mais il est certain que cette triste disposition d'esprit, qui est permanente en moi, est susceptible de s'exaspérer indéfiniment par le fait de l'absence... Ah que sont devenues ces années fabuleuses où l'on se sentait vivre en pleine sécurité, où l'on respirait librement et où l'on marchait sans souci sur un terrain qu'on ne savait pas encore miné sous ses pieds.

A l'heure qu'il est, néanmoins, même ces terribles impressions consignées dans ta lettre du 16 auront déjà commencé à s'affaiblir, et le contrecoup que j'en ai ressenti te paraîtra-t-il peut-être quelque peu anachronique. Mais c'est que chez moi, malgré la maladive mobilité de mon esprit, il y a certaines impressions qui répondent à une disposition d'esprit qui malheureusement est à l'état d'idée fixe.

Le P<rinc>e Obolensky est-il arrivé? Est-il déjà reparti? A-t-il emmené aussi Sophie Mestchersky?

Et toi, ma chatte chérie, que deviens-tu? Qu'as-tu décidé? Ecoute, je te l'ai dit, et je te le répète. Je ne veux pas que tu subordonnes l'époque de ton retour à d'autres convenances que *les tiennes*. Je sais trop bien et je comprends la juste horreur que tu éprouves à l'idée de rentrer à Pétersbourg, pour y prendre tes quartiers d'hiver — et je me sens attristé et humilié de la possibilité de me trouver englobé dans la solidarité de ce dégoût, bien légitime d'ailleurs. Et puis que tu reviennes ici pour le 12 ou pour le 19, tu peux être bien persuadée que je ne m'en irais pas d'ici, sans t'avoir revue. Non, certes, ce n'est pas moi, qui spontanément consentirai à donner quelques chances de plus à l'inconnu. Si tu reviens le 12, je ne partirai pour Moscou que le 19. Si c'est le 19 que tu reviens, eh bien, alors, je ne partirai que le 22 ou le 23, et j'y serai toujours assez à temps[3], pour ce que j'ai à y faire. Voilà donc qui est convenu: tu feras, comme tu voudras, et ce qu'il te conviendra le mieux de faire — sans te soucier le moins du monde de ce qui peut être agréable aux autres, à commencer par moi. Et cependant, ma chatte chérie, je t'avoue, que vingt fois par jour, je me dis, pour me tranquilliser l'esprit, que j'ai la chance de te revoir plutôt dans trois semaines que dans 4. Mais avant tout je tiens à deux choses — c'est de te voir revenue en bonne et parfaite santé, et puis d'être immédiatement excepté de cette impression de dégoût qui t'attend *au retour*.

Pourquoi as-tu empêché Marie de m'écrire. J'ai été très flatté du plaisir que lui a fait ma lettre. Je ne sais pas si la paresse habituelle ne m'aurait pas empêché de répondre à sa seconde épître, mais elle aurait certainement été lue avec le même plaisir que la première. Et à cette occasion laisse-moi, ma chatte chérie,

te répéter ici ce que je t'ai dit au sujet de Marie avant ton départ[4], c'est que s'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise, que sa santé te laissât les moindres inquiétudes, et que tu crusses nécessaire d'accepter la proposition qui t'avait été faite par les Mentque[5], — encore une fois, ma chatte, tu peux compter, que personne d'autre que moi, n'aurait besoin de se charger de la conduire auprès d'eux.

J'ai reçu hier une lettre de ma mère à laquelle je répondrai demain. La pauvre vieille femme est toute préoccupée du souci de me voir figurer convenablement et dignement aux fêtes du couronnement, — et pour stimuler mon zèle, elle cherche à me faire envisager la chose, comme un devoir de reconnaissance de ma part envers la Famille Impériale. Tout ceci me présage de grands ennuis. — Mais peut-être, que quand je t'aurai revue, les choses m'apparaîtront-elles sous un autre jour.

Que Dieu te conserve et te protège, ma chatte chérie.

Перевод:

С.-Петербург. Понедельник. 23 июля 1856

Милая моя кисанька, третьего дня в Петергофе, среди празднеств и официальных поздравлений[1], я получил твое письмо от 16-го с потрясающей вестью о внезапной и жестокой смерти бедного Сергея Мещерского[2]. Нет, непрочность человеческой жизни — единственная вещь на земле, которую никакие разглагольствования и никакое ораторское красноречие никогда не в силах будут преувеличить. Я вспомнил, что в последний раз видел его с женой на костюмированном балу у великого князя Константина Николаевича, где несколько минут просидел за одним столом с ними, и они, спокойно сидя рядом, и не предчувствовали, какая пропасть готовилась раскрыться между ними, и кто знает, великий Боже, может быть, не они одни были так же беззаботны за этим столом.

Я по крайней мере могу отдать себе печальную и горькую справедливость в том, что чувство тоски и ужаса уже много лет стало привычным состоянием моей души, — и если этого

недостаточно для умилостивления судьбы, то во всяком случае несчастье не застигнет меня врасплох. Ах, уж конечно я не наведу па себя ее ударов избытком спокойной уверенности, и, однако, все эти ужасы, все эти непрекращающиеся беспокойства сводятся для меня к одному страху, к одной заботе. Я подобен человеку, который заранее знает, какой род смерти ему предопределен, и вследствие этого всегда и во всем видит предвестников события, коего должен опасаться. Но пет сомнений в том, что мое постоянное прискорбное умонастроение беспредельно обостряется под влиянием разлуки... Ах, где то сказочное время, когда жилось беспечно, дышалось свободно и люди спокойно ходили по земле, не подозревая, что под ногами уже подложена мина.

Однако в настоящую минуту даже те ужасные впечатления, о которых ты сообщила в своем письме от 16-го, начали для тебя, вероятно, сглаживаться, так что потрясение, которое они во мне вызвали, покажется тебе до известной степени анахронизмом. Но дело в том, что, несмотря па болезненную живость моего ума, некоторые впечатления настолько соответствуют состоянию моего духа, что, к несчастью, принимают характер навязчивой идеи.

Приехал ли князь Оболенский? Уехал ли он уже? Увез ли он с собой Софи Мещерскую?

А ты, моя милая кисанька, что ты делаешь? На чем ты порешила? Слушай, я тебе уж это говорил и повторяю. Я не хочу, чтобы ты подчиняла время своего возвращения другим удобствам, кроме *твоих* собственных. Я слишком хорошо знаю и понимаю справедливый ужас, который ты испытываешь при мысли о возвращении на зиму в Петербург, и чувствую себя огорченным и униженным возможностью быть включенным в это отвращение, впрочем весьма законное. И так как ты возвращаешься сюда к 12-му или 19-му, ты можешь быть уверена, что я не уеду отсюда, не повидав тебя. Нет уж, конечно, по собственному побуждению я не соглашусь подвергнуть себя лишним случайностям неизвестного. Если ты вернешься 12-го, я уеду в Москву только 19-го; если ты приедешь 19-го, ну тогда я уеду 22-го или 23-го и все-таки

попаду к сроку[3], чтобы сделать там, что мне полагается. Итак, вот что решено: ты поступишь, как захочешь и как тебе удобнее, ничуть не заботясь о том, что может быть приятно другим, начиная с меня. И, однако, моя милая кисанька, признаюсь, что двадцать раз в день я для своего успокоения говорю себе, что свижусь с тобой, быть может, через три, а не через четыре недели. Но прежде всего мне нужны две вещи: чтобы ты вернулась вполне здоровой, а я чтобы был изъят из того чувства отвращения, которое охватит тебя *по приезде.*

Почему ты не дала Мари написать мне? Я был очень польщен удовольствием, которое ей доставило мое письмо. Не знаю, возможно, моя обычная лень и помешала бы мне ответить на ее второе послание, но, конечно, оно было бы прочитано с таким же удовольствием, как и первое. При этом позволь мне, моя милая кисанька, повторить тебе то, что я говорил по поводу Мари перед твоим отъездом[4], т. е. если бы оказалось, — чего не приведи Бог, — что ее здоровье внушает тебе хотя бы ничтожные опасения и ты находишь нужным принять предложение, сделанное Ментками[5],— то повторяю, моя киска, полагайся целиком на меня: отвезу ее к ним я и никто другой.

Вчера я получил письмо от моей матери, которой отвечу завтра. Бедная старушка очень озабочена тем, чтобы я прилично и достойно сыграл свою роль на коронации, и в виде поощрения старается меня уверить, что этого требует от меня благодарность к царской семье. Все это предвещает мне большую скуку, — но, может быть, когда я тебя увижу, все покажется мне в другом свете.

Да сохранит и оградит тебя Бог, моя милая кисанька.

65. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

9 сентября 1856 г. Москва

Moscou. Dimanche. 9 septembre. A minuit

Ah que j'en ai assez, mon Dieu, que j'en ai assez — et que j'aimerais revoir ta chère figure, pour me refaire les yeux et me reposer l'âme... Je rentre à l'instant de ce fameux bal masqué[1] qui

devait réunir dans les salles du Palais de Kremlin quelque chose comme quinze à vingt mille âmes, et je crois vraiment qu'il a tenu parole. La foule était énorme. Tout à l'heure en marchant ou plutôt traînant une polonaise, avec Kitty au bras[2], nous avons été surpris par une évolution faite en tête de la colonne par le Couple Impérial, ce qui a fourni à l'Empereur l'occasion de recommander à Kitty de ne pas perdre son père dans la foule et ce qui demain lui fournira matière pour un récit qui l'amusera beaucoup. Quant à moi, je dois l'avouer, tout ce mouvement, tout cet éclat, toute cette représentation grandiose, et ces pompes symboliques sous lesquelles on reconnaît tout à coup des figures si bien connues et si franchement, si humblement elles-mêmes, tout cela me fait l'effet d'un rêve, tant c'est vivant et en même temps incohérent et peu réel. Voici par ex<emple> la vieille Razoumoffsky et la vieille Tiesenhausen[3] (je nomme celles-ci parce que ce sont les dernières auxquelles je viens de parler) et tout à côté des Princes Mengréliens, Tatares, Imérétiens très authentiques, avec leurs magnifiques costumes et leurs figures solennelles, et des histoires de sang après eux – et même, comme ce soir, par ex<emple>, deux Chinois vivants et réels, – et puis à deux cents pas de ces salles ruisselantes de lumières et encombrées de cette foule si contemporaine, là-bas, sous les voûtes, les tombeaux d'Ivan III et d'Ivan IV. Si par hasard, on pouvait admettre que le bruit et le reflet de tout ce qui se passe dans leur Kremlin arrive jusqu'à eux, – comme ils doivent faire de grands yeux – tout morts qu'ils sont. Ivan IV et la vieille Razoumoffsky. Ah, combien il y a du rêve dans ce que nous appelons la réalité. Mais ce qui n'est <pas> un rêve, ma chatte chérie, c'est que je suis las de tout cela[4] et que j'éprouve un énorme besoin d'aller te retrouver, et que si ce n'était ma pauvre vieille mère si obstinément acharnée à me retenir le plus longtemps possible, je serais parti, pas plus tard que demain. Et cependant je suis bien décidé dans mon for intérieur à ne pas prolonger mon absence au-delà de 8 à 10 jours tout au plus. Je lui donnerai encore cette semaine-ci et je t'arriverai vers le milieu de la semaine d'ensuite, c'est-à-d<ire> vers le 20 ou le 21 du mois. C'est à cette époque que la Famille Imp<ériale> aura quitté Moscou. L'Impératrice-mère part déjà après-demain pour



s'acheminer vers de plus heureux climats. La Grande-D<uchesse> Marie va, dit-on, en Crimée – et pour cause. La Gr<ande>-Duchesse Hélène s'en va à l'étranger, pour un an, de même que la femme du Gr<and>-D<uc> Const<antin>, etc. etc. Mais quels stupides détails que ceux que je te donne là. En voici un, qui t'intéressera davantage. L'autre jour, au premier grand bal de la cour, je me trouvai à souper assis à côté d'un g<énér>al que je ne connaissais pas, – qui tout à coup m'adresse la parole et me demande des nouvelles de son cher Dima, et si les bains d'Arensbourg lui avaient fait du bien. C'était se nommer. Mon interlocuteur, comme tu penses bien, était le g<énér>al Melnikoff, l'homme d'esprit. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire une autre connaissance, qui n'est pas sans rapport avec toi. C'est le jeune Acton, le fils de Lady Granville. C'est en effet un garçon très distingué et très ressemblant au portrait que tu m'en avais fait, ce que je n'ai pas manqué de lui dire. Je l'ai rencontré à une soirée chez Mr Bachmetieff[5] qui tenait à lui faire faire ma connaissance, et je dois le dire, cette soirée, où il n'y avait d'étranger que lui, m'a laissé une impression des plus mélancoliques, tant j'ai été frappé du contraste qu'il y avait entre la distinction naturellement aristocratique des manières de ce jeune homme et la vulgarité, très naturelle aussi, de tout ce qui l'entourait. Et cela était venu s'ajouter, grâce à une foule de détails qu'il m'a donnés sur Munich, un souvenir si vivant de tout ce Passé de mille ans. Bref, je me suis senti saisir au cœur par un accès d'un véritable mal du pays, mais en sens contraire. Oh ma chatte chérie – pourvu que tu vives et que tu me restes...

Quant à Lady Granville, je l'ai rencontrée à un bal chez le Prince Gallitzine, mais j'ai eu à peine le temps d'échanger quelques mots avec elle. Quant à ce bal, qui a été très beau dans son genre, mais avec quelques détails d'un goût un peu suranné, comme l'Amphitryon[6] qui donnait la fête, – tu aurais bien ri de la figure désespérée de son neveu, l'excellent Prince Michel Gallitzine, qui se sentait froissé dans tous ses instincts d'élégance et de luxe fashionable. Ainsi, par ex<emple>, en se plaignant à moi du singulier choix ou manque de choix qui avait présidé aux invitations de son oncle, il ne pouvait se ravoir de la bizarrerie qui

lui avait fait inviter à son bal *quinze* médecins de la Faculté de Moscou.

Je devrais peut-être aussi te parler de la fête populaire qui s'est donnée hier. Mais je n'y suis pas allé et bien m'en a pris, car, comme je l'avais pressenti, cette soi-disant fête du peuple a été une chose aussi hideuse d'exécution, que stupide de conception. C'était une curée de toutes sortes de mangeailles avariées par les pluies auxquelles elles avaient été exposées depuis deux jours, servies à deux cents mille hommes pataugeant dans la boue et toute sorte d'ordures.

Et maintenant sans transition un mot sur ce malheureux Othon[7] qui est encore ici, qui vient dîner tous les jours chez les Souchkoff, et qui décidément est à la veille de devenir fou, car il est déjà dans cette phase de loquacité fébrile, intarissable, irréprimable, où nous l'avons vu dans le temps. Voilà un gaillard qui nous donnera de l'embarras.

Ma pelisse est arrivée, mais je ne l'ai pas encore retirée de la poste.

Ma chatte chérie, trêve de mauvaise plaisanterie et fais-moi de m'écrire sur le champs... Bonne nuit. Il est deux heures du matin. Je t'embrasse mille fois et je vais me coucher. Que Dieu te garde.

Перевод:

Москва. Воскресенье. 9 сентября. В полночь

Ах, до чего мне это надоело, Боже мой, до чего мне все это надоело, и как я хотел бы увидеть твое милое лицо, чтобы дать отдых своим глазам и успокоить свою душу... Я только что вернулся с пресловутого маскарада[1], который должен был собрать в залах Кремлевского дворца не то пятнадцать, не то двадцать тысяч душ, и, право, мне кажется, что так оно и было. Толпа была огромная. Мы под руку с Китти шли, или, вернее, плелись, в полонезе[2], и вдруг, благодаря внезапному повороту первых пар, столкнулись с царской четой, что дало повод государю посоветовать Китти не потерять своего отца в толпе, а ему самому даст завтра пищу для рассказа, который

очень его позабавит. Что же касается меня, то должен признаться, что все это движение, весь этот блеск, все это величественное зрелище и символическая пышность, под которой вдруг узнаешь столь знакомые лица, оставшиеся так откровенно, так смиренно самими собой, все это представляется мне сном, — так это живо и в то же время бессвязно и не похоже на действительность. Вот, например, старуха Разумовская и старуха Тизенгаузен[3] (я называю их, потому что они последние, с кем я говорил) и рядом с ними князья Мингрельские, Татарские, Имеретинские, самые подлинные, с их великолепными одеяниями и торжественными лицами, имеющие за собой кровавое прошлое, — и даже, как сегодня вечером, например, два живых и настоящих китайца, — а в двухстах шагах от этих залитых светом зал, переполненных столь современной толпой, там, под сводами — гробницы Ивана III и Ивана IV. Если можно было бы предположить, что шум и отблеск того, что происходит в Кремле, достиг до них, как бы эти мертвецы должны были изумиться! Иван IV и старуха Разумовская! Как похоже на сон то, что мы называем действительностью! Но уже не сон, милая моя кисанька, то, что от всего этого я устал[4] и ощущаю огромную потребность с тобой свидеться, и если бы не моя бедная, старая мать, так настойчиво требующая, чтобы я задержался здесь возможно дольше, я уехал бы не позже завтрашнего дня. И, однако, в глубине души я твердо решил отложить свой отъезд самое большее на 8 или 10 дней. Я уступлю ей еще эту неделю и появлюсь у тебя в середине следующей, т. е. около 20-го или 21-го сего месяца. К этому времени царская семья покинет Москву. Императрица-мать отбывает уже послезавтра в более теплые края. Великая княгиня Мария Николаевна, говорят, уезжает в Крым — и не без причины. Великая княгиня Елена Павловна отправляется на год за границу, так же как супруга великого князя Константина Николаевича, и т. д. Но что за пустяки я тебе здесь рассказываю. А вот что заинтересует тебя больше. Намедни на первом большом придворном балу я очутился за ужином около незнакомого генерала, который вдруг обращается ко мне с вопросом, как поживает его ми-

лый Дима и помогли ли ему ванны Аренсбурга. Этими словами он себя назвал. Мой собеседник, как ты догадываешься, был генерал Мельников, умный человек. Недавно мне довелось сделать другое знакомство, имеющее отношение до тебя. Это – молодой Эктон, сын леди Грэнвилл. Он в самом деле молодой человек, очень тонкого воспитания и обращения и точь-в-точь такой, каким ты его описала, о чем я и не преминул ему сказать. Я встретил его на вечере у г-на Бахметьева[5], который непременно хотел, чтобы я с ним познакомился, и должен сказать, что этот вечер, где из иностранцев был только он один, произвел на меня самое грустное впечатление, – до того я был поражен контрастом между природным аристократизмом этого молодого человека и вульгарностью, также прирожденной, всего, что его окружало. К этому еще прибавилось, благодаря множеству подробностей, которые он сообщил мне о Мюнхене, живейшее воспоминание обо всем этом прошлом, как будто тысячелетней давности. Одним словом, я почувствовал, что сердце у меня сжалось от самой настоящей тоски по родине, хотя и в противоположном смысле. О милая моя кисанька, – лишь бы ты была жива и мне осталась...

Леди Грэнвилл я встретил на балу у князя Голицына, но едва успел обменяться с ней несколькими словами. А что до бала, – который был очень хорош в своем роде, хотя кое в чем так же старомоден, как и сам Амфитрион[6], – то ты от души посмеялась бы над отчаянием, написанным на лице его племянника, милейшего князя Михаила Голицына, в котором было оскорблено его природное чувство элегантности и стремление к fashionable* роскоши. Так, например, жалуясь мне на странное соображение, каким руководствовался его дядя в своем выборе, или, вернее, отсутствии выбора, приглашенных, он не мог прийти в себя от его причудливой фантазии пригласить на бал *пятнадцать* врачей московского факультета.

Может быть, мне следовало бы описать тебе вчерашний народный праздник, но я на нем не был и хорошо сделал, ибо,

---

* фешенебельной (*англ.*).

как я и предчувствовал, этот якобы народный праздник был так же безобразно устроен, как и нелепо задуман. Это была раздача всевозможной еды, подпорченной дождем, который поливал ее в течение двух дней, и этим угощали двести тысяч человек, топтавшихся в грязи и всяких отбросах.

А теперь, без перехода, несколько слов о несчастном Оттоне[7], который все еще здесь, каждый день обедает у Сушковых и положительно близок к сумасшествию, так как находится уже в той стадии лихорадочной говорливости, неистощимой, безудержной, в какой мы его уже однажды видели. Вот малый, который причинит нам немало хлопот.

Моя шуба прибыла, но я еще не брал ее с почты.

Милая моя киска, брось плохие шутки и напиши мне немедленно... Покойной ночи. Теперь два часа утра. Целую тебя тысячу раз и иду спать. Да хранит тебя Бог.

66. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

13 мая 1857 г. Москва

Moscou. Lundi. 13 mai

Ma chatte chérie. Que c'est une chose contre nature, et tout à fait, mais tout à fait déplaisante que d'être séparé de vous. Je ne comprends pas que je puisse m'y résigner. Cela me paraît d'une inconcevable absurdité... Hier soir au club un Mons<ieur> *Dehn*, un aide de camps de l'Empereur, s'approche fort obligeamment de moi et me dit qu'il vous a rencontrées, jeudi dernier, au soir, à 80 verstes *de Rosslavl*. C'est le premier signe de vie qui m'arrivait de vous[1], depuis le moment où je vous ai vues remonter, sans moi, dans votre voiture de voyage à la porte de la Iverskaya... D'après l'indication sus-dite, je suis en droit de vous supposer arrivées sur place, vendredi dernier, ou au plus tard samedi, tout enveloppées déjà de ce beau temps qui n'a attendu que votre départ, pour arriver. Béni soit-il doublement, car il ne fallait pas moins que sa présence, pour rendre un peu acceptable et le voyage que vous alliez accomplir et ce séjour qui était au bout. Ici depuis trois jours il ne fait pas seulement beau — on est même assez heureux de souffrir de la chaleur, et je ne doute pas qu'il n'en soit de même,

à Ovstoug, si bien que je te vois déjà établie dans ta chambre, devant la porte du balcon, toute grande ouverte, et savourant témérairement, *un vent-coulis* prémédité. Et les lilas sont-ils déjà en fleurs? Et les rossignols, chantent-ils? Tout cela n'est pas de trop, pour aider Василий Кузьмич à vous faire les honneurs de ce manoir qui lui plaît tant... Anna qui est arrivée ici vendredi dernier, est revenue hier, dimanche, de son pèlerinage à Troïtza dont elle a été enchantée... Et cette fois ce qu'elle en a dit, était assez senti pour m'avoir communiqué une certaine envie d'y aller, mais ce n'est qu'avec toi, et avec toi seule que je voudrais faire cette course. Ce qui a beaucoup impressionné Anna, c'est un air de fête, et de joie répandu sur toute cette localité et sur toutes ces masses de pèlerins qui y séjournent, campant, à la belle étoile, dans l'enceinte et hors de l'enceinte du couvent, et le long de la route, toutes ces autres foules qui s'y acheminent, arrivant à pied, de tous les points et des confins de cet immense pays. Oui, s'il y a encore une Russie, elle est là et elle n'est que là... Pour ne pas sortir trop brusquement de cet ordre d'idées et d'impressions je devrai te parler maintenant de la visite que j'ai faite l'autre jour au père *Аксаков*[2], sur le désir qu'il avait exprimé de me voir, et qui m'a accueilli avec une tendresse et une joie dont tu aurais été touchée pour mon compte. C'est un sympathique vieux, malgré son air un peu hétéroclite que lui donne une grande barbe grise, qui lui descend sur la poitrine, et un accoutrement qui le fait ressembler à un vieux diacre, en retraite. Il m'a dit entr'autres choses, qu'il allait publier un nouveau fragment de sa chronique, comprenant le récit des premières années de son enfance, jusqu'à son entrée au gymnase.

Je laisse à Kitty le soin de vous raconter la cérémonie du mariage[3] à laquelle je n'ai pas pu assister, attendu que l'uniforme avait été déclaré de rigueur, condition que j'étais bien loin de pouvoir remplir, comme tu sais. Et à propos de l'uniforme[4] et de ce qui s'y rattache, il n'est pas impossible que je réalise l'espoir et l'attente de ma mère, en assistant à la cérémonie du baptême[5] qui pouvait bien être retardée jusqu'au 20 de ce mois. Car d'ici-là, le terme des 3 semaines réclamé par le tailleur sera bien certainement révolu[6]. J'ai donc la chance d'effacer de l'esprit de Sa

M<ajesté> I<mpériale> l'impression de l'*юродивый* que je lui avais laissée.

C'est demain, mardi, que je m'en vais d'ici, en compagnie d'Anna, de Mlle Шубина et peut-être de la P<rinc>esse Gagarine. Le temps est radieux — il est vrai, mais je n'aurai pas ta chère figure devant mes yeux... Je t'écris en ce moment à la table devant la glace, dans cette même chambre si laidement humble, — mais où il reste quelque chose de votre présence. La gravure lubrique est retournée à sa place ainsi que le lit — et toute la chambre respire maintenant une humidité tiède. Je n'ai pas eu le courage, d'aller m'imposer à la charmante veuve, n'ayant pas à exhiber quelque témoignage écrit de ta part — et cela m'a été une véritable privation. Car j'aurais été heureux de l'entendre parler de toi, avec cette sympathie... que je partage.

Mille tendresses à Daria et à Marie. Il y en a une, plus satisfaite que l'autre, de cet aimable séjour, qui, si j'avais le cœur bien né, devait m'être plus cher qu'à personne — et qui l'est aussi, tant que tu y es. Avez-vous déjà songé, c'est-à-d<ire> Daria, à ce que je vous avais recommandé?

Bonjour, ma chatte chérie, au revoir à bientôt. Que Dieu te garde précieusement.

Перевод:

Москва. Понедельник. 13 мая

Милая моя кисанька, сколь противоестественно и совсем, ну уж совсем несносно быть разлученным с тобой. Не понимаю, как я могу этому покоряться. Это представляется мне невообразимой нелепостью... Вчера вечером в клубе некий господин *Ден,* флигель-адъютант государя, очень любезно подходит ко мне и говорит, что он встретил вас в прошлый четверг к вечеру в 80 верстах от *Рославля.* Это первый признак жизни, полученной мной от вас[1] с той минуты, как вы опять сели без меня в вашу дорожную карету у Иверских ворот... Судя по только что указанному сведению, я вправе предполагать, что вы прибыли на место в прошлую пятницу или, самое позднее, в субботу, ласкаемые прекрасной погодой, которая только

и ждала вашего отъезда, чтобы установиться у нас. Вдвойне ее благословляю, ибо лишь при ее наличии делается приемлемым и предпринятое вами путешествие, и завершающее его пребывание в Овстуге. Здесь уж три дня не только хорошо — мы даже так счастливы, что страдаем от жары, и я не сомневаюсь, что в Овстуге то же самое, и представляю себе тебя сидящей в твоей комнате с открытой настежь дверью на балкон и смело наслаждающейся устроенным *сквозняком*. А что, цветет ли уже сирень? Поют ли соловьи? Все это не лишнее, чтобы помочь Василию Кузьмичу достойно принять вас в этом замке, который так ему любезен... Анна, приехавшая сюда в прошлую пятницу, вернулась вчера, в воскресенье, с своего богомолья к Троице, от которого она в восторге... И на этот раз то, что она рассказывала, было настолько прочувствованно, что возбудило и во мне желание туда съездить. Но я хотел бы совершить эту поездку лишь с тобой, с тобой одной. Что произвело сильное впечатление на Анну, это праздничное и радостное настроение, господствующее во всей этой местности и среди всей этой толпы богомольцев, расположившейся под открытым небом в ограде и за монастырской оградой, а вдоль дороги другие толпы, стекающиеся туда же пешком изо всех углов и со всех пределов этой необъятной страны. Да, если существует еще Россия, то она там и только там... Чтобы не нарушать слишком резко этого строя мыслей и впечатлений, мне бы следовало рассказать тебе теперь о том, как я посетил на днях старика *Аксакова*[2], выразившего желание меня видеть и принявшего меня с такой нежностью и радостью, которые бы тебя растрогали за меня. Это симпатичный старец, несмотря на его несколько странный вид, вероятно благодаря его длинной седой бороде, спускающейся на грудь, и необычной одежде, делающей его похожим на старого заштатного дьякона. Он мне сказал между прочим, что собирается печатать новый отрывок своей хроники, заключающий рассказ о первых годах его детства до поступления в гимназию.

Предоставляю Китти заботу описать вам церемонию бракосочетания[3], на котором я не мог присутствовать, так как было объявлено, что мундир обязателен, — условие для меня невы-



полнимое, как тебе известно. Кстати о мундире[4] и всем том, что к нему относится: нет невероятия, что осуществится надежда и ожидание моей матери, что я буду присутствовать на церемонии крещения[5], которое может быть отложено до 20 числа сего месяца, ибо до того времени несомненно истечет трехнедельный срок, требуемый портным[6]. Следственно, мне представляется случай изгладить из памяти его величества императора впечатление *юродивого*, которое я на него произвел.

Завтра, во вторник, я уезжаю отсюда в обществе Анны, госпожи Шубиной и, может быть, княгини Гагариной. Погода, правда, лучезарная, но перед моими глазами не будет твоего милого лица... В настоящую минуту я пишу тебе за столом, перед зеркалом, в той же комнате, столь уродливо скромной, — но где еще осталось что-то от вашего присутствия. Сладострастная картина вернулась на свое место, так же как кровать, и вся комната пропитана теперь тепловатой сыростью. У меня не хватило смелости навязать мое посещение прелестной вдове, так как я не мог предоставить ей никакого письменного сообщения от тебя, — и это было для меня настоящим лишением, ибо я был бы счастлив слушать, как она говорит о тебе с той симпатией... которую я разделяю.

Тысяча нежностей Дарье и Мари. Одна из них более довольна этим приятным местопребыванием, которому, если бы я был иначе рожден, надлежало быть для меня дороже, чем для кого бы то ни было, — да так оно и есть, пока ты там. Думали ли вы, т. е. Дарья, о том, что я вам поручил?

Добрый день, моя милая киска, до скорого свиданья. Пусть Господь бережно хранит тебя.

67. Н. В. СУШКОВУ

30 июня 1857 г. Петербург

С.-Петербург. 30 июня 1857

Николай Васильевич, теперь моя очередь просить вас о доставлении мне известий из Овстуга. Вот уже вторая почта, что я без писем. В последний раз я получил три письма вдруг, от 8, 11 и 16 июня, а штемпель петербургский был один и тот же на

17 Зак. 7712

всех трех, что свидетельствует об аккуратности и исправности почтового устройства в Брянске. Это, однако же, невыносимо, и если бы знать только, кто виноватый, я бы настоял непременно, чтобы Прянишников[1] по шеям прогнал этого мерзавца.

Скажите Бодянскому, что я от души благодарю его за его письмо, которого содержание, касающееся Майкова, я уже п сообщил Вяземскому[2]. Вчера, в Петров день, я был у Вяземского на именинах и имел случай еще раз напомнить и подтвердить ему сказанное в письме. Ковалевский[3] еще здесь и должен, как мне Вяземский сказывал, видеться с ним перед своим отъездом, и если Ковалевский, с своей стороны, поддержит ходатайство Бодяпского, то кажется пет причины сомневаться в успехе. Вчера же узнал я от Вяземского, что по делу «Славянской антологии», о которой была также у нас речь в Москве, уже воспоследовало решение, согласное с желаниями Бодяпского...[4] Вы пишете мне о молодом Уварове...[5] я, точно, хорошо с ним знаком и знаю его как достойного молодого человека и не сомневаюсь, что и ему будет приятно с вами сблизиться.

От Анны я получил из Веймара, от 22 июня, два письма, одно ко мне, другое к жене, которое по нынешней же почте и посылаю в Овстуг. Она пишет, что уже о сю пору ей очень грустно по России и что немцы своею болезненною сюсептибельностью ей страшно надоели. Она на другой же день должна была выехать из Веймара и теперь давно уже в Киссипгене, с императрицей. На днях говорили здесь, что возвращение государя ускорено будет, но по самым последним известиям оно все-таки воспоследует не прежде 15 июля. К этому же времени я жду и брата и поэтому надеюсь, что если вы не уедете из Москвы прежде 20 июля, то мы еще вас застанем. А когда вы ждете Дашипьку? Знаете ли, однако, что эта беспрестанно повторяющаяся неисправность почт прегпусная вещь. Последнее мое известие из Овстуга от 16-го, и вот уже две недели, что я решительно не знаю о том, что там происходит. — Я даже не имею до сих пор известия о приезде Мити. Простите, Николай Васильевич. До скорого свидания. Сообщите мое маранье маминьке и скажите ей, прошу, что я целую ее ручки и, впрочем, совершенно здоров, благодаря лету. Но надолго ли оно? Признаюсь, не без труда, я

нынешним летом отказываюсь от поездки за границу, которую, при теперешних обстоятельствах, мне так удобно было бы совершить, выпросивши у Горчакова, по его возвращении, курьерскую дачу в Киссингене, – но этому, кажется, не бывать. Еще раз простите.

Вам от души преданный

Ф. Тютчев

68. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

9 июля 1857 г. Петербург

Mardi. 9 juillet

Voici, mon Prince, deux pièces de vers de *Mey*, dont je vous ai parlé l'autre jour et qui m'ont paru assez remarquables pour vous être communiquées... Celle, intitulée ***Вихорь*** se fonde, à ce que m'a dit l'auteur, sur une superstition populaire que j'ignorais et que vous ignorez peut-être aussi, et qui assurément est du *fantastique* le plus prononcé et le plus original. Il y a encore trois ou quatre autres pièces dans le même genre, le *Домовой* p<ar> ex<emple>, et qui forment, comme un cycle complet de démonologie populaire russe.

Et à propos de Mey, comme je lui ai fait part de l'observation que vous aviez faite dernièrement à son sujet, il m'a prié de mettre sous vos yeux son apologie, appuyée de mon témoignage. Ce que je puis attester en toute conscience, c'est qu'en effet, sa santé est dans un état déplorable...

Je ne manquerai assurément pas de me rendre à votre aimable appel pour le 12 juillet.

Mille respects

Ti Tutchef

Перевод:

Вторник. 9 июля

Вот, князь, два стихотворения *Мея*[1], про которые я вам говорил на днях и которые показались мне достаточно замечательными, чтобы сообщить их вам. То, которое озаглавлено «Ви-

хорь», основывается, как сказал мне автор, на одном народном поверье, которого я не знал и которое вам, быть может, тоже неизвестно, но оно, несомненно, отличается самой яркой и самой оригинальной *фантастичностью.* Есть еще три или четыре пьесы в том же роде, как, например, «Домовой», образующие как бы законченный цикл русской народной демонологии.

Кстати о Мее: я сообщил ему сделанное вами на его счет замечание, и он просил меня представить вам его оправдание, подкрепленное моим свидетельством. И действительно, я могу по совести подтвердить, что здоровье его в плачевном состоянии...[2]

Конечно, я не премину явиться на ваш любезный зов 12 июля[3].

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

69. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

6 сентября 1857 г. Москва

Moscou. Vendredi. 6 septembre 1857

Ma chatte chérie, je t'écris à tout hasard, pour avoir le dernier mot[1]. Je veux être là, présent à vos côtés, quand vous saluerez, d'un dernier regard, du haut de votre balcon, cet entonnoir de verdure que vous avez si souvent regardé, ces arbres, cette église, ces toits, enfin tout cet horizon que vous aimez, et qui va garder ensevelis bientôt sous le même niveau tant d'heures que vous y avez laissé tomber, avec les feuilles qui tombent à leur tour[2], et ce certain papillon de notre connaissance, qui nous a accompagnés dans notre dernière promenade... où est-il maintenant? Il est là où nous irons aussi.

Ma chatte chérie. Que Dieu te garde et te conduise. Dis à Marie que je lui recommande d'avoir le plus grand soin de toi, que je l'autorise à t'obliger de descendre de voiture, chaque fois qu'il y aura la moindre apparence de danger, et dans les couchées à te faire accepter le coin le moins incommode, etc. — Et en dépit de toutes tes recommandations, ce voyage qui va commencer aussitôt que tu auras lu ce griffonnage, pèse sur moi, comme un cauchemar[3], et le magnifique soleil, qui luit en ce moment jusque

dans mon réduit quasi-souterrain, ne réussit pas à me rassurer... Une fois arrivée ici, tu peux y descendre, avec assez de confiance, car tu le trouveras suffisamment *durchgewärmt*... Puisses-tu y être déjà... Quant à moi, je pars décidément demain, ayant donné à ma mère juste autant de temps qu'à mon séjour à Ovstoug. Daria, partie hier avec Сушков pour le couvent de Troïtza, ne reviendra que demain soir et ne me trouvera plus.

Au revoir donc, ma chatte chérie. Je te recommande, du fond du cœur, à toutes les puissances amies et tutélaires. J'embrasse Kitty, dont la présence à côté de toi me rassure un peu. J'embrasse Marie et W<ania> et je te charge de dire mille amitiés à mon frère que je compte bien revoir bientôt à P<étersbourg>. Dis-lui que je tiens d'une source parfaitement sûre, que le manifeste au sujet de l'émancipation est déjà signé[4], et qu'il paraîtra aussitôt après le retour de l'Empereur[5].

P. S. Je suis curieux de savoir, comment cette présente et dernière missive sera inscrite dans ton carnet[6], reçu du V<ieux> ou du G<racieux> ou tout brutalement, de

Tutchef.

Viens, ma chatte chérie, viens consoler un pauvre goutteux abandonné.

Перевод:

Москва. Пятница. 6 сентября 1857

Милая моя кисанька, пишу тебе наудачу в последний раз[1]. Я хочу быть там, подле тебя, когда ты бросишь прощальный взгляд с высоты твоего балкона на эту воронку из зелени, на которую ты так часто смотрела, на эти деревья, эту церковь, эти кровли, наконец, на весь этот горизонт, который ты любишь и где будет погребено столько часов, уже прошедших, вместе с листьями, падающими в свою очередь[2]; а наша знакомая бабочка, сопровождавшая нас в прогулке... где она теперь? Там, где все мы будем.

Милая моя киска, да хранит тебя Бог и да сопутствует он тебе. Скажи Мари, что я поручаю ей иметь особую заботу о тебе, что я уполномочиваю ее заставлять тебя выходить из экн-

нажа всякий раз, когда представится малейшая видимость опасности, а на ночлегах соглашаться занять наименее неудобный угол и т. д. — и, вопреки всем твоим наставлениям, путешествие, в которое ты пустишься тотчас по прочтении этих каракуль, давит меня, подобно кошмару[3], и даже великолепному солнцу, освещающему в данную минуту мое почти подземное убежище, не удастся меня ободрить. Приехав сюда, ты можешь остановиться здесь довольно спокойно, так как это помещение достаточно *durchgewärmt...** Если бы ты была уже здесь... Что касается меня, я положительно уезжаю завтра, пробыв с моей матерью ровно столько же времени, сколь в Овстуге. Дарья, уехавшая вчера с Сушковым в Троицкий монастырь, вернется только завтра вечером и уже меня не застанет.

Итак, до свидания, милая моя киска. Из глубины сердца поручаю тебя всем дружеским и покровительственным силам. Целую Китти, чье присутствие около тебя меня немного успокаивает. Целую Мари и Ваню и поручаю тебе передать тысячу дружеских приветствий моему брату, которого я надеюсь скоро увидеть в Петербурге. Скажи ему, что я знаю из совершенно достоверного источника, что манифест об освобождении крестьян уже подписан[4] и будет обнародован тотчас по возвращении государя[5].

P. S. Мне интересно знать, как настоящее и последнее письмо будет внесено в твою записную книжку[6]: получено от старика, или от любезника, или просто от

Тютчева.

Приди, милая киска, приди утешить бедного покинутого подагрика.

70. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

19 сентября 1857 г. Петербург

Jeudi. 19 septembre 1857

Merci, ma fille chérie, de ta piété filiale épistolaire qui est vraiment au-dessus de tout éloge... Voici pour la récompenser

---

* прогрето (*нем.*).

deux lettres d'Anna, dont l'une pour moi, l'autre pour maman, à qui tu pourras, j'espère, les communiquer toutes deux, aussitôt reçues. Car enfin à l'heure qu'il est je crois avoir quelque droit de les supposer arrivées...[1] Mais dans quel état seront-elles arrivées. Le temps leur a été, il est vrai, assez favorable, mais ont-elles eu au moins une seule couchée passable tout le long de la course. Insiste, de grâce, auprès de maman pour qu'elle se donne quelque repos à Moscou. J'aime à croire qu'on aura eu soin de chauffer *la grotte* pour son arrivée. Dis à maman que je ne lui écris pas *à elle* directement, parce que j'ai la superstition de croire qu'une lettre adressée ainsi de confiance à une personne qu'on attend l'empêche d'arriver... et cette croyance après tout n'est pas plus absurde que tant d'autres. Mais qu'elle sache, comme si je lui écrivais, que j'exige qu'avant toute chose elle se repose et se refasse un peu avant de repartir.

Dis aussi mille, mille tendresses à Kitty qui, elle aussi, aura grandement besoin de se défatiguer en arrivant...

Tu verras, ma chère Daria, par les lettres d'Anna que nous avons la chance de la revoir plutôt que nous ne le pensions. Mais il est vrai que ce serait au prix du sacrifice pour elle, du voyage de Kieff[2], ce que je regretterai beaucoup. Quant à l'autre voyage supposé et manqué, celui de Stuttgart, et l'entrevue des 2 Empereurs, il y a chance, d'après les dernières nouvelles, pour qu'il ait eu lieu[3]. Car on m'a assuré hier qu'on avait reçu une dépêche télégraphique de l'Empereur, annonçant l'arrivée inopinée à Stuttg<art> de l'Impératrice Marie, accompagnée de la Reine de Grèce...[4]

Outre les deux lettres d'Anna il y a sous ce pli une troisième incluse, de Feldmann[5], qui contient des données sur l'état actuel de l'affaire des chemins de fer. Tu la communiqueras d'abord à l'oncle Сушков qui, comme de raison, n'y comprend pas grand chose, et puis tu auras soin de l'expédier le plutôt possible à l'oncle Nicolas... Et à propos de l'oncle Сушков, n'oublie pas de le remercier de ma part, et très cordialement, du plaisir qu'il t'a procuré, en te conduisant à Троица. C'est vraiment un monstre d'obligeance que cet homme.

Mille tendresses aussi à ma sœur. Quant à ta Grand-maman, dis-lui que je lui baise tendrement les mains et lui promets d'aller

sans faute la voir dans le courant de l'hiver, à condition qu'elle me promette à son tour d'être plus scrupuleuse pour son régime et de se soigner davantage.

Adieu, ma fille, le papier manque, comme tu vois. Je vous embrasse — et au revoir enfin.

Перевод:

Четверг. 19 сентября 1857

Благодарю тебя, милая дочь, за твое дочернее усердие в переписке, оно на самом деле выше всякой похвалы... В качестве вознаграждения вот тебе два письма Анны, одно ко мне, другое к мама́, которой ты можешь, надеюсь, по получении показать оба. Ибо я думаю, что в настоящую минуту имею право предполагать, что они приехали...[1] Но в каком состоянии они добрались. Правда, погода им весьма благоприятствовала, но удалось ли им обрести хотя бы один сносный ночлег за всю поездку. Будь любезна, прояви настойчивость, чтобы мама́ немного передохнула в Москве. Надеюсь, что к ее приезду натопили *пещеру*. Передай мама́, что я не пишу прямо *к ней*, ибо я суеверно полагаю, что письмо, самонадеянно адресованное тому, кого ждешь, помешает ему приехать, и это суеверие в конце концов не более нелепое, чем любое другое. Но пусть она знает, как будто я написал это ей, что прежде всего она должна отдохнуть и немного оправиться перед отъездом.

Передай тысячу, тысячу нежностей Китти, которая тоже очень нуждается в отдыхе по приезде...

Из писем Анны ты увидишь, милая Дарья, что мы можем надеяться увидать ее гораздо раньше, чем предполагали. Но, правда, ценою жертвы с ее стороны, отказом от поездки в Киев[2], о чем я очень сожалею. Что касается до другой предполагавшейся и несостоявшейся поездки — в Штутгарт — и встречи двух императоров, то, судя по последним новостям, есть надежда, что она состоится[3]. Ибо вчера меня заверили, что получена телеграфическая депеша государя, извещающая о неожиданном прибытии в Штутгарт государыни Марии Александровны в сопровождении греческой королевы...[4]

Помимо двух писем Анны в конверте прилагаю и третье, от Фельдмана[5], содержащее сведения о нынешнем положении дела с железными дорогами. Прежде всего дай его дядюшке Сушкову, который, разумеется, не слишком разбирается в этом деле, а затем как можно скорее перешли дядюшке Николаю... Что касается до дядюшки Сушкова, не забудь самым сердечным образом поблагодарить его от моего имени за то, что он доставил тебе такую радость, сопроводив к Троице. Этот человек является поистине образцом предупредительности.

Тысяча нежностей и моей сестре. Что касается до бабушки, передай, что я нежно целую ей ручки и непременно обещаю приехать зимой повидаться с нею при условии, что она тоже пообещает тщательнее заботиться о своем распорядке и здоровье.

Прости, милая дочь, лист кончается, как ты видишь. Обнимаю вас и жду наконец.

71. М. П. ПОГОДИНУ

13 октября 1857 г. Петербург

С.-Петербург. 13 октября 1857

Извините, почтеннейший Михайло Петрович, если за болезнию я не мог ранее отвечать вам. Бесполезным считаю уверять вас, что я в полной мере сочувствую всем вашим мыслям и намерениям. Но дело не в сочувствии, а в содействии.

Итак, на первых порах бумаги ваши я сообщил графу Блудову, и вот первый его отзыв о вашем предположении издать ваши боевые записки...[1] Определительнее и положительпее этого отзыва вы, вероятно, здесь ни от одной из предержащих властей не получите... Буде дело и пойдет на лад, то знаете ли, чем оно все-таки кончится? — После нескончаемых проволочек поставят вам в непременное условие сделать столько изменений, оговорок и уступок всякого рода, что письма ваши утратят всю свою историческую современную физиономию, и выйдет из них нечто вялое, бесхарактерное, нечто вроде полуофициальной статьи, задним числом написанной.

Сказать ли вам, чего бы *я* желал? Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь добрый или даже недобрый человек — *без вашего согласия и даже без вашего ведома* издал бы эти письма так, как они есть, — за границею...[2] Такое издание имело бы свое значение, свое полное, историческое значение. — Вообще, мы до сих пор не умеем пользоваться, как бы следовало, русскими заграничными *книгопечатнями*, а в нынешнем положении дел это орудие *необходимое*[3]. Поверьте мне, правительственные люди — не у нас только, но везде — только к тем идеям имеют уважение, которые без их разрешения, без их фирмы гуляют себе по белому свету... Только со *свободным* словом обращаются они, как взрослый с взрослым, как равный с равным[4]. На все же прочее смотрят они — даже самые благонамеренные и либеральные — как на ученические упражнения... Вот почему и в отношении к письму вашему, назначаемому для ж<урнала> «Nord», я, признаюсь вам, не вижу никакой надобности сообщать его предварительно кн. Горчакову. Содержание письма таково, что подвергнуть вас неприятной ответственности оно никак не может. Если и есть кой-какие места, которые следовало бы несколько смягчить, так, напр<имер>, где вы говорите о современном быте русского крестьянина, редакция журнала возьмет уже это сама на себя. По крайней мере, ваша основная мысль пребудет цела и неприкосновенна и колорит статьи не изменится...

Вот вам, почтеннейший Михайло Петрович, мое задушевное убеждение. Впрочем, располагайте мною, как знаете. Я всегда к вашим услугам. Дальнейшие отзывы гр. Блудова я не премину вам сообщить, и они, вероятно, оправдают вполне мое... *воззрение.*

Мы здесь живем в тревожном ожидании августейшего решения по следующему вопросу: подобает ли московской полиции распоряжаться в первопрестольном граде, верно-любезной Москве нашей, как англичане и башибузуки распоряжались в *Керчи*[5]. That is the question*.

---

* Вот в чем вопрос (*англ.*)[6].

Простите... Да сохранит вас Господь Бог по возможности бодрым душевно и телесно.

Вам усердно преданный

Ф. Тютчев

72. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

5 июня 1858 г. Петербург

Pétersbourg. Jeudi. 5 juin 1858

Enfin, enfin j'ai eu hier la triste satisfaction de revoir inscrite sur ta lettre, sur deux de tes lettres, arrivées, comme de coutume, toutes deux à la fois, cette odieuse date d'Ovstoug – juste *dix-huit* jours après votre départ pour ce charmant endroit dont ta présence m'oblige à me préoccuper avec une sollicitude si parfaitement contradictoire, car il y entre pour le moins autant de haine que d'affection... Et cette année-ci un autre élément vient s'y associer, c'est celui d'une très réelle inquiétude.

Je ne m'imagine pas que vous soyez précisément sur une mine. Mais il est bien évident qu'on n'a plus sous les pieds le terrain solide et inébranlable d'autrefois[1], et qu'un beau matin on pourrait se réveiller embarqué sur un glaçon flottant... Et de devoir me dire, que je te laisse courir de pareilles chances, -- là-bas, dans ce pays perdu,– toi, qui – si les choses eussent suivi leur cours raisonnable, n'aurais jamais dû en approcher de mille lieues, – tandis que moi, je vis bêtement et lâchement ici, dans la plus profonde et la plus parfaite sécurité – ah que tout ceci est digne de moi -- et bien fait pour me confirmer dans les sentiments que je me suis voués... La tranquillité qui règne dans le pays ne me rassure pas du tout, – non pas que je la crois peu sincère, mais elle tient évidemment à un malentendu, elle tient à la confiance sans bornes que le peuple place dans le pouvoir – dans sa bienveillance et l'efficacité des intentions du pouvoir en sa faveur. Or, quand on est à même de voir ce qui se passe ici, ou plutôt ce qui ne se passe pas, toute cette mollesse, et ce décousu d'action, – cette insuffisance de moyens si flagrante, devant des difficultés si réelles, – il est impossible en présence de cette incurie apparente du gouvernement, si parfaitement à contresens, dans la situation



donnée, — impossible, dis-je, de ne pas se laisser envahir par les plus vives appréhensions. Car non seulement personne ne sait ici ce qui se passe dans les comités et où en est à l'heure qu'il est l'œuvre commencée, — mais personne n'a même l'air de se soucier de le savoir[2] — on ne pourrait pas moins parler de la chose, que si elle était déjà faite et parfaite depuis une vingtaine d'années — et cependant il est évident que rien, jusqu'à présent, n'a été sérieusement entamé comme réforme, bien que tout ait été mis en question, comme statu quo.

Mais je me sens outré, ma chatte chérie, outré contre moi-même, de toutes ces généralités que je te débite là, quand je te sais, à mille verstes de moi, personnellement et si directement exposée à toutes les chances de la situation donnée — encore une fois, je me soupçonne être parfaitement méprisable.

Mon frère, qui est encore ici, attendant toujours sa réunion générale des actionnaires qui doit avoir lieu dans huit jours, — mon frère est assurément l'homme le moins fait, par la nature de son esprit, aussi bien que par la trempe de son caractère, pour se retrouver au milieu des circonstances actuelles, dont il ne peut supporter ni le vague, ni la gravité... Aussitôt revenu à Moscou, il ira vous rejoindre à la campagne, d'où il ne tardera pas à s'en aller, non sans quelques remords et hésitations, pour gagner l'étranger... Enfin, j'ai réussi à le caser au *club*, où il passe maintenant la moitié de la journée dans un certain milieu offrant de l'analogie avec celui auquel il est habitué... L'autre jour, c'était dimanche dernier, nous avons été dîner chez Anna, que nous avons trouvée, plus particulièrement exaspérée de fatigues, ce jour-là, précisément parce que c'était un dimanche à quoi je n'avais guères songé. Mais le premier moment surmonté, tout s'est assez convenablement passé. Le lendemain, lundi, j'ai dîné chez le P<rinc>e Щербатов[1], le curateur de l'Université, en société de Mssrs Хрущов et Валуев. Il n'a été question à ce dîner, comme de raison, que de la presse, de la censure, de la sottise arrogante des uns, de la pusillanimité des autres, de l'incapacité de tous, etc. etc., toutes choses mille fois dites, mille fois vraies, et qui ne mènent à rien. Щербатов a définitivement donné sa démission et y persiste.



Mardi dernier — c'était avant-hier — je suis allé dîner au Forestier, chez les Wiasemsky, en compagnie de Mr Павлов[4], littérateur de Moscou, très connu, mais que, je crois, tu ne connais pas. C'est un homme de beaucoup d'esprit et de talent, le même que sa femme, non moins connue que lui[5], a fait dans le temps écrouer par le Comte Zakreffsky et exiler temporairement à Perm. Il est ici pour affaires. Il se sent la vocation, tout homme d'esprit qu'il est, de fonder un nouveau journal politico-littéraire[6], et qui, comme de raison, sera un journal modèle et très supérieur à tous ceux qui existent déjà. Comme il n'a trouvé de sympathie et d'appui éventuel pour son projet, qu'auprès de moi seul, il s'est cramponné à moi avec toute l'énergie du désespoir, ce qui pourrait peut-être devenir importun, moins désireux et besogneux de société que je ne le suis, surtout d'une société intelligente comme est la sienne. Hier, lui et moi, nous avons dîné ensemble chez les Baratinsky[7], déjà établis dans leur nouveau et fort joli logement, place Michel. La veille Mad. B<aratinsky> était venue m'inviter elle-même, de chez l'ami Делянов[8], malade pour le moment. Mais un peu avant l'heure du dîner, une invitation de la Gr<ande>-Duchesse Catherine est venue nous l'enlever, ce qui au reste n'a pas empêché le dîner d'être fort bon et assez animé. J'apprends aussi que Хомяков и Тургенев sont ici pour le moment. — Mais, mon Dieu, quel intérêt cela peut-il avoir pour toi. Ah que c'est bête, une lettre!..

Tamy que j'ai rencontré l'autre jour au Ministère des Aff<aire>s Etr<angères> m'a dit que Dima avait heureusement subi son second examen et passerait le troisième incessamment. Je lui ai promis d'aller la semaine prochaine les chercher en calèche, pour les conduire aux Iles, ce qui a paru faire plus de plaisir, que de raison, à l'excellent Tamy.

Que tu es absurde, ma chatte chérie, avec ta prétendue dette de 200 r<oubles>. Tu ne m'en dois plus que *60* — m'entends-tu, rien que soixante, dont je n'aurai que faire avant deux ou trois mois. — Mais voilà la fin du papier. Ah que c'est donc bête, une lettre. Je vous embrasse toutes — mais toi, mille fois en particulier.

P. S. Je m'aperçois que j'ai non pas oublié, mais omis de te dire mille choses essentielles. Mais c'est qu'en écrivant je ne dis

jamais ni ce que je veux, ni de la manière dont je voudrais le dire, et c'est ce qui me dégoûte effroyablement d'écrire. Aussi, après t'avoir laissée dans ma dernière lettre sous le coup de la nouvelle que je devais figurer le lendemain, à titre de chambellan de service, dans le programme de la fête[9], je m'aperçois que je ne t'ai pas un mot dans celle-ci, de l'événement accompli... Eh bien, il est trop tard maintenant pour réparer cette omission, et tu n'en sauras rien, et c'était pourtant bien beau et bien glorieux. Malheureusement c'était aussi bien long. Convoqués à 9 du matin au palais d'Hiver, à 11 heures nous stationnions encore dans la grande cour du palais, parqués dans nos voitures respectives, et attendant le signal du départ. Toute la place couverte de troupes aussi bien que les toits de spectateurs, tambours aux champs, soleil magnifique et un charivari de musique inexprimable grâce à ce feu de file de l'hymne national qui éclatait sur toute la ligne, à mesure que l'Empereur passait devant les rangs. Je me trouvais dans l'avant-dernière voiture du cortège, dorée sur toutes les coutures, attelée de six chevaux et escortée de la livrée à pied. J'avais en face de moi deux imbéciles, plus anciens que moi, à ce qu'il paraît, puisqu'ils étaient dans le fond de la voiture. L'un des deux était Mr Зубов, marié à une cousine de la Euler. Je me sentais encore plus ennuyé que ridicule. Vers une heure la consécration était finie, une procession, dont j'avais bénévolement fait partie, en côtoyant hors des rangs la personne d'Alexandrine Dolgorouky, qui était particulièrement jolie ce jour-là, la procession était entrée dans l'église. C'est alors, que me sentant accablé de fatigue, et réduit à la dernière inanition, — m'étant convaincu, d'ailleurs, de la gratuité absolue d'une présence plus longue, et ayant devant moi l'avenir vraiment effroyable d'une messe qui commençait à peine, messe d'archevêque, suivie d'une панихида en mémoire des cinq souverains fondateurs et édificateurs de l'église, Pierre I, Catherine II, Paul, Alexandre et Nicolas, et d'un tedeum non moins solennel et non moins long, pour l'Empereur régnant, — c'est alors, dis-je, sous le coup de toutes ces influences impérieuses et irrésistibles, — que j'ai fait ce qu'il était profondément dans ma nature de faire — en prenant la clé des

champs, toute clé de chambellan qu'elle était, et m'en allant, solitaire et superbe à travers les rues éblouies de mes splendeurs pour gagner par le chemin le plus direct ma chambre, ma robe de chambre et mon déjeuner dont j'avais un pressant besoin. Mais rassure-toi, tout s'est parfaitement bien passé et terminé en mon absence et personne ne s'est aperçu ni même douté du vide que j'y avais laissé...

Перевод:

Петербург. Четверг. 5 июня 1858

Вчера — наконец-то, наконец-то! — я имел грустное удовлетворение вновь увидеть на твоем письме, — на двух твоих письмах, прибывших, по обыкновению, одновременно, — эту ненавистную помету: Овстуг; они пришли ровно через *восемнадцать* дней после вашего отъезда в это прелестное место, о котором, благодаря тому, что ты там, я вынужден проявлять заботливость — нежную, но совершенно противоречивую, ибо она содержит в себе по меньшей мере столько же ненависти, сколько любви... А в нынешнем году к этому присоединилось и нечто иное, — а именно весьма реальное беспокойство.

Я не воображаю себе, будто под вас подложена мина, но вполне очевидно, что теперь мы уже не стоим на прежней твердой и неколебимой почве[1] и что в одно прекрасное утро можно проснуться на оторванной от берега льдине... И подумать только, что там, в этом затерянном краю, я подвергаю тебя подобным случайностям, тебя, которая, если бы все шло своим разумным течением, и за тысячу верст не должна бы к нему приближаться, — тогда как сам в это время глупо и подло живу здесь, в величайшей и полнейшей безопасности. Ах, все это мне поделом и еще более укрепляет меня в чувствах, которым я предаюсь... Тишина, господствующая в стране, ничуть меня не успокаивает; но не потому, чтобы я считал ее неискренней, а потому, что она основана на очевидном недоразумении, на безграничном доверии народа к власти, на его вере в ее к нему доброжелательность и благонамеренность. Когда же приходится видеть то, что делается, или, вернее, не

делается здесь, — всю эту слабость и непоследовательность, эту вопиющую недостаточность мер ввиду абсолютно реальных затруднений, — невозможно при наличии такой явной нерадивости правительства, столь противоречащей данному положению, невозможно, говорю я, не поддаться самым серьезным опасениям. Ибо не только никто не знает здесь, что происходит в комитетах и до чего доведена начатая работа, но никто как будто и не интересуется этим[2]. Об этом деле говорят так мало, как если бы оно было решено и подписано лет двадцать назад; однако очевидно, что ни к одной реформе еще не приступлено всерьез, хотя сложившееся положение поставлено под сомнение.

Но я негодую на себя, моя милая кисанька, негодую, что распространился перед тобою на общие темы в то время, когда ты находишься за тысячу верст от меня и лично и непосредственно подвергаешься всем случайностям нынешнего положения вещей; еще раз — я сознаю себя достойным полного презрения.

Мой брат все еще здесь и по-прежнему в ожидании общего собрания акционеров, которое должно состояться через неделю; так вот, мой брат совсем не способен, как по свойству своего ума, так и по складу своего характера, применяться к современным обстоятельствам и не может ни перенести их неопределенности, ни понять их важности... Тотчас по возвращении в Москву он поедет к вам в деревню, а оттуда не замедлит отправиться за границу — не без некоторых угрызений совести и колебаний... Наконец-то мне удалось пристроить его в *клубе*, где он проводит половину дня в известном кругу, сходном с тем, к какому он привык. На днях (это было в прошлое воскресенье) мы поехали обедать к Анне, которую застали более чем когда-либо раздраженной от усталости в этот день именно потому, что это было воскресенье, о чем я не подумал. Но после первого неприятного момента все обошлось довольно прилично. На другой день, в понедельник, я обедал у князя Щербатова[3], попечителя университета, в обществе господ Хрущова и Валуева. Разумеется, за этим обедом только и говорилось, что о печати, о цензуре, о на-



хальной глупости одних, о малодушии других, о неспособности всех и т. д.; все это было уже тысячу раз сказано, все это тысячу раз верно, и все-таки ни к чему не ведет. Щербатов окончательно подал в отставку и настаивает на ней.

В прошлый вторник (то есть третьего дня) я обедал в Лесном у Вяземских в обществе г-на Павлова[4], очень известного московского литератора, но которого ты, кажется, не знаешь. Это человек большого ума и таланта, тот самый, который по настоянию своей жены, не менее известной, чем он[5], был когда-то арестован графом Закревским и временно выслан в Пермь. Он здесь по делам. Несмотря на свой ум, он чувствует себя призванным основать политико-литературный журнал[6], который, разумеется, будет ученее и гораздо выше всех уже существующих. Так как он встретил сочувствие и посильную поддержку лишь во мне одном, то и уцепился за меня со всей энергией отчаяния, что могло бы надоесть всякому, менее меня ищущему общества и нуждающемуся в нем, особенно в обществе такого умного человека, как он. Вчера мы с ним вместе обедали у Боратынских[7], уже водворившихся в своей новой и очень красивой квартире на Михайловской площади. Накануне госпожа Боратынская, навестив перед тем моего приятеля Делянова[8], который сейчас болен, сама приезжала звать меня. Но незадолго до обеда приглашение великой княгини Екатерины Михайловны похитило ее у нас, что, впрочем, не помешало обеду быть очень вкусным и довольно оживленным. Я узнал также, что Хомяков и Тургенев сейчас находятся здесь. Но, Боже мой, что тут интересного для тебя! Ах, какая глупая вещь — письмо!..

Тами, которого я встретил намедни в министерстве иностранных дел, сказал мне, что Дима благополучно выдержал свой второй экзамен и будет теперь же сдавать третий. Я обещал ему заехать за ними в коляске на будущей неделе, чтобы прокатить их на Острова, что, по-видимому, доставило добрейшему Тами большее удовольствие, чем эта прогулка того заслуживает.

Как ты смешна, моя милая кисанька, со своим мнимым долгом в 200 рублей. Ты мне должна только *60*, слышишь ли,

18 Зак 7712

только шестьдесят, которые мне не понадобятся раньше двух или трех месяцев. Но вот бумага кончается. Ах, до чего это глупая вещь — письмо! Целую вас всех, но тебя тысячу раз особенно.

P. S. Замечаю, что я не то чтобы забыл, но, вернее, упустил сообщить тебе тысячу важных вещей. Но это потому, что, когда я пишу, я никогда не говорю ни того, что хотел бы, ни так, как хотел бы, — вот это-то и внушает мне безмерное отвращение к писанию. Итак, оставив тебя в моем последнем письме под впечатлением известия, что на следующий день я буду фигурировать в качестве дежурного камергера в программе праздника[9], я вижу, что в этом письме ни слова не сказал тебе о совершившемся событии... Ну, теперь слишком поздно исправлять это упущение, и ты ничего не узнаешь. Однако это было очень красиво и очень торжественно, но, к сожалению, и очень продолжительно. Вызванные к 9 часам утра в Зимний дворец, в 11 часов мы находились еще на большом дворе, рассаженные по каретам в ожидании минуты выезда. Площадь — вся покрытая войсками, так же, как крыши — зрителями; барабаны, бьющие поход; великолепное солнце и невыразимое смешение музыки всех полков, начинавшей играть национальный гимн по мере того, как государь объезжал ряды. Я находился в предпоследней карете процессии, золоченной по всем швам, запряженной шестью лошадьми и сопровождаемой придворными лакеями. Передо мной сидели два болвана, вероятно старше меня, ибо они помещались в глубине кареты. Один из них — господин Зубов, женатый на кузине госпожи Эйлер. Я чувствовал себя смешным, а еще более скучающим. Около часу освящение кончилось. Крестный ход — я добровольно принял в нем участие, следуя вне рядов подле Александры Долгорукой, которая особенно была хороша в этот день, — крестный ход вернулся в собор. Тут-то я, почувствовав себя разбитым от усталости, изнуренным от голода, да еще убедившись в том, что мое дальнейшее присутствие совершенно излишне (а впереди еще была поистине ужасающая перспектива только что начавшейся обедни — архиерейской обедни, а за ней панихиды по пяти государям, основателям и



создателям собора: Петре I, Екатерине II, Павле, Александре I и Николае, и не менее торжественного и длинного молебна за царствующего императора), — тут-то я, повторяю, под влиянием всех этих настоятельных и непреодолимых причин, сделал то, что так свойственно моей природе, — я сбежал... и, одинокий и великолепный, шел по улицам, ослепленным моим блеском, чтобы кратчайшим путем добраться до своей комнаты, своего халата и завтрака, в котором я ощущал крайнюю потребность. Но успокойся, все обошлось прекрасно и закончилось без меня, и никто даже и не заметил того, что меня нет на месте.

73. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

6 июня 1858 г. Петербург

С.-Петербург. 6 juin 1858

Cette fois-ci, ma chatte chérie, tu n'auras que quelques mots de moi, rien qu'une date, je ne t'écris que pour te dire que tes ordres ont été remplis relativement aux payements à faire. Le Brochet te rendra compte, en temps et lieu de ce qui le concerne. Quant à moi, j'ai été moi-même porter à Tamy les 200 r<oubles> que tu m'as chargé de lui transmettre, ainsi que les 18 ½ r<oubles> pour les garçons. Je suis allé les voir ce soir accompagné de mon frère. Quand je dis les garçons, il est entendu qu'il ne s'agit que de Dmitry qui vient de subir son cinquième examen. Voilà donc la moitié de la carrière déjà parcourue. Il lui en reste encore cinq à subir. Il paraît satisfait et très sûr d'un résultat favorable. Sa santé est bonne, à la surdité près, qui hélas ne diminue guères. J'avais voulu l'emmener aux Iles, mais il s'y est refusé. Il est vrai que le temps n'était guères engageant. Tous ces jours-ci, nous avons flotté entre quatre et cinq degrés de chaud. On sentait la glace toute vive dans l'air — et voilà ce qu'il faut accepter comme un été. Ah quel chien de pays... Hier, j'ai été faire une tournée de visites aux Iles[1]. J'ai trouvé partout les cheminées flambantes. La pauvre vieille Julie Str<oganoff>[2] sur le point de rentrer en ville pour se réchauffer. Tu comprends qu'avec une pareille température il n'y a guères moyen de continuer les bains.

Aujourd'hui, cependant, le fonds de l'air s'est un peu adouci et il est possible qu'il fasse beau demain. Je le voudrais bien à cause d'une course que je dois faire à Tsarskoïe, où je vais, pour plaider la cause de Mr Павлов et de son journal à venir[3]. — Je quitte à l'instant une réunion de gens d'esprit et surtout de beaucoup de paroles, assemblés chez Хомяков. C'est toujours les mêmes redites. Mais voilà mon frère qui rentre du club. Il est minuit et demi passés et comme il tient à avoir son bout de conversation avant de se coucher, je t'embrasse à la hâte et te quitte, en te souhaitant la bonne nuit.

Перевод:

С.-Петербург. 6 июня 1858

На сей раз, милая моя кисанька, ты получишь от меня всего несколько слов — ничего, кроме даты; пишу тебе лишь для того, чтобы сообщить: твои указания относительно необходимых платежей выполнены. Во всем, что касается Щуки, он даст тебе своевременный отчет. Что до меня, то я сам отнес Тами 200 рублей, которые ты поручила ему передать, а также $18^1/_2$ рублей, предназначенные для мальчиков. Я побывал у них сегодня вечером вместе с братом. Говоря «мальчики», я разумею, конечно, Дмитрия: он только что выдержал пятый экзамен. Итак, половина скачки уже позади. Остается сдать еще пять экзаменов. Он, по-видимому, доволен и вполне уверен в благоприятном результате. Здоровье его хорошо, за исключением глухоты, которая, увы, почти не уменьшается. Я хотел повезти его на Острова, но он отказался. И в самом деле, погода не особенно к тому располагала. Все эти дни температура у нас колебалась от четырех до пяти градусов тепла. Воздух обдавал ледяной свежестью, — извольте, видите ли, мириться с тем, что это и есть лето. Ах, что за скверная местность... Вчера объехал с визитами Острова[1] и повсюду нашел пылающие камины. Бедная старушка Жюли Стр<оганова>[2] собирается вернуться в город в надежде отогреться. При такой температуре продолжать ванны, как ты догадываешься, нельзя. Меж-



ду тем, сегодня немного потеплело, и завтра, возможно, будет хорошая погода. Мне это было бы очень кстати ввиду предстоящей поездки в Царское, куда я отправлюсь похлопотать за г-на Павлова и его будущий журнал[3]. — Я только что пришел от Хомякова, у которого собиралось общество умных и, в особенности, многоречивых людей. Говорилось опять все то же. Но вот вернулся из клуба мой брат. Сейчас уже более половины первого ночи, и поскольку он жаждет со мной побеседовать перед отходом ко сну, тороплюсь тебя обнять и прощаюсь, пожелав тебе покойной ночи.

74. Н. В. СУШКОВУ

24 сентября 1858 г. Петербург

С.-Петербург. Середа. 24 сентября 1858

Николай Васильевич, передайте, прошу вас, Н.Ф. Павлову, что, прочитав его письмо, я все-таки не могу ему дать другого совета, <как> *приезжайте сами сюда*[1]. Письменно ничто не может ни объясниться, ни уладиться... Вера в действенность письма есть, конечно, один из самых странных предрассудков, хотя иногда и живое слово также мало ведет к делу, каково, например, живое и слишком живое слово Бахметьева[2]. Уезжая отсюда, он уверил меня, что со стороны министерства никаких препятствий не предстоит изданию предполагаемого журнала, но есть ли в этих словах какой-нибудь положительный смысл, это одному Богу известно. Слова Бахметьева — это как аккорды Эоловой арфы[3], вызываемые своенравным дуновением мимолетного ветерка, но предумышленной мелодии в них искать не следует — итак, если в пояснение этих загадочных слов не воспоследует формальное разрешение, то, чтобы не терять понапрасну времени, я ничего другого придумать не могу, кроме вышесказанного средства.

Ваше письмо к Ковалевскому[4] я ему сообщил тотчас по приезде, но, признаюсь вам, я не ожидаю от него желанного успеха... брату Николаю Ивановичу скажите, прошу вас, что Мальцова[5] здесь нет, он за границей и неизвестно, когда воро-

тится. Следственно, надобно будет искать других посредников и путей до Штиглица[6], и я не отчаиваюсь найти их — но не приедет ли он сам в Петербург? И когда?

Маминьке скажите, что я у ней целую ручки и буду к ней писать на днях. Послезавтра здесь крестины[7], и я жду дочерей в город, по крайней мере одну из них, Дарью, которая уже в полном отправлении своих придворных обязанностей[8]. — Сестру и Kitty от души обнимаю, вам же усердно кланяюсь и благодарю еще раз за ваше радушное гостеприимство.

Вам искренно преданный

Ф. Тютчев

75. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

4 октября 1858 г. Петербург

Samedi

Je t'enverrai demain tes frères, puisque tu y tiens. Quant à l'argent en question, tu peux être tranquille, il m'a été exactement remis.

Embrasse Anna et dis-lui que je souhaite la bonne fête à sa charmante élève.

J'irai vous voir dans le courant de la semaine, à moins que vous ne partez pour Гатчина. En attendant amuse-toi bien au bal, en dépit de l'admonition de ce maître des cérémonies qui prétendait qu'on n'était pas au bal pour s'y amuser.

Au revoir donc, à bientôt.

Перевод:

Суббота

Я пришлю к тебе завтра братьев, как ты просишь. Что касается до денег, можешь быть покойна, они мне аккуратно переданы.

Обними Анну и передай, что я поздравляю ее прелестную ученицу с днем рождения.

На неделе я приеду навестить вас, если только вы не уедете в Гатчину. А пока веселись на балу вопреки утверждению

одного распорядителя, будто на балы приходят не для развлечений.

Итак, до скорого свидания.

76. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

14 октября 1858 г. Петербург

Mardi. 14 octobre 1858

Ma bonne et chère Kitty, les nouvelles que tu me donnes au sujet de ta Grand-maman m'auraient rendu fort heureux sans cette fatale circonstance de l'état de faiblesse où elle est et qui, de ton propre aveu, est plus marqué qu'il n'était avant sa maladie... Que Dieu la conserve... Oui, certainement, j'irai la voir aussitôt que je le pourrai – et le plutôt serait le mieux, je le sens... J'espère que ma santé, à moi, n'y mettra pas obstacle, tout ce temps-ci je me suis assez bien senti. Mais depuis deux ou trois jours, je sens de nouveau dans les pieds une certaine raideur douloureuse, trop bien connue, mais encore assez forte, dans ce moment, pour m'empêcher de bouger, mais cela va venir – ce n'est assurément pas une maladie, mais c'est un inconvénient et une <1 нрзб>...

Venons à present à l'affaire de la pelisse de maman. Comment as-tu pu penser que dans une question qui me tient si fort à cœur, j'aie pu abandonner quelque chose au hasard. Non, certes, je ne l'ai pas jetée sur le chemin de fer, mais je l'ai fait porter à la grande poste, d'où elle a été expédiée le 30 septembre à la destination de Briansk. Si bien que d'après toutes les probabilités raisonnables, on devrait pouvoir compter que la dite pelisse a dû parvenir à Ovstoug assez à temps, pour que ma femme ait pu se mettre en route le 10, comme elle se le proposait. Cela aurait dû se passer ainsi, et cependant je n'ose l'espérer – et me voilà, plus que jamais, dans les perplexités – ne lui ayant pas écrit depuis deux postes à la campagne et n'osant pas, pour un motif superstitieux, lui adresser une lettre à Moscou – tant que je n'ai pas nouvelle qu'elle a réellement quitté Ovstoug... Si cependant j'étais plus heureux que je n'ose m'en traiter et qu'elle fût réellement sur le point d'arriver à Moscou, demande-lui, en mon nom, qu'aussitôt

arrivée, elle me le fasse savoir par le télégraphe, dont je prendrai les frais à me charger...

Je te charge aussi, ma bonne Kitty, de dire à mon frère que j'avais rempli, même avant de l'avoir reçue, la recommandation qu'il me fait de remettre au *чиновник* en question l'argent qui lui revenait. Il peut désormais disposer de lui.

Tes sœurs sont toujours à Gatchina[1]. J'ai eu de leurs nouvelles par le P<rin>ce Gortchakoff[2] qui en revient et qui m'a dit qu'on s'y amusait beaucoup. Il a vu Daria faisant le thé chez l'Impératrice, et a entrevu Anna.

Baise les mains à Grand-maman et dis-lui, ma chère Kitty, que je la supplie de se bien soigner — et dis mille tendres amitiés à ta tante et à l'oncle Сушков. J'ai été atterré par la nouvelle de l'état où se trouve la pauvre C<omt>esse Ростопчин. — Pauvre, pauvre créature. Que Dieu lui soit en aide.

Перевод:

Вторник. 14 октября 1858

Моя добрая, любезная Китти, твои вести о бабушке меня бы очень порадовали, если бы не роковое обстоятельство — ее слабость, по твоему признанию, еще более усилившаяся после болезни... Храни ее Господь... Да, разумеется, я навещу ее как только смогу — и ей тут же станет лучше, я это чувствую... Надеюсь, что мое собственное здоровье не станет препятствием к поездке, все это время оно было весьма удовлетворительным. Но вот уже дня два-три я вновь испытываю хорошо знакомую боль в ногах, пока еще не такую сильную, чтобы помешать мне двигаться, но все впереди. Это, разумеется, не болезнь, а просто неудобство и <1 нрзб>...

Перейдем же теперь к делу с шубой мамá. Как ты могла подумать, что я в столь волнующем меня вопросе могу пустить дело на самотек. Нет, конечно, я не бросил ее на железной дороге, но велел доставить на почтамт, откуда она была отправлена 30 сентября в Брянск. Так что, по здравому рассуждению, можно полагать, что пресловутая шуба попадет в Овстуг в срок, чтобы моя жена могла 10 числа, как она и

предполагала, отправиться в путь. Так должно было случиться, но я, однако, не смею на это надеяться — и потому более чем когда-либо пребываю в тревоге, поскольку не писал в деревню, пропустив две почты, и не смею из суеверия писать ей в Москву, пока не получу известие, что она и впрямь покинула Овстуг... Если все же я более удачлив, чем смею надеяться, и она на самом деле вот-вот прибудет в Москву, попроси ее от моего имени, чтобы тотчас по приезде она известила меня об этом по телеграфу, а я позабочусь об оплате депеши...

Поручаю тебе, любезная Китти, передать моему брату, что я выполнил, даже прежде, чем получил, его поручение и передал пресловутому *чиновнику* причитавшиеся ему деньги. — Он может теперь им располагать.

Сестры твои все еще в Гатчине[1]. Я известился о них через князя Горчакова[2], только что вернувшегося оттуда и сказывавшего, что там было очень весело. Он встречался с Дарьей за чаем у государыни, а также мельком видел Анну.

Поцелуй за меня ручки у бабушки и скажи ей, любезная Китти, что я умоляю ее следить за своим здоровьем; передай тысячу нежностей тетушке и дядюшке Сушковым. Я был поражен известием о состоянии бедной графини Ростопчиной. Бедное, бедное создание. Помогай ей Бог.

77. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

18 октября 1858 г. Петербург

St-Pétersbourg. Samedi

Je rentre à l'instant de la gare du chemin de fer de Moscou, où je me suis transporté dès l'aube à la rencontre de maman. Mais j'en suis revenu les mains vides. Ce sera donc pour *demain dimanche,* ainsi que tu le verras par la lettre ci-jointe qui m'est parvenue hier[1].

Je te sais gré, ma fille chérie, de ne m'avoir pas écrit de Gatchina, si c'est le trop d'amusement qui t'en a empêché. Sache que chaque fois que tu t'amuses, tu remplis vis-à-vis de ton père le plus sacré de tes devoirs... Viens te reposer chez nous de tes fatigues.

Demain tu trouveras pour toute probabilité maman arrivée... J'embrasse Anna que j'espère bien aller voir dans le courant de la semaine prochaine — ne fût-ce que pour constater qu'elle est encore au monde... Et quant à toi, je compte bien te voir demain. Bonjour.

T. T.

Перевод:

С.-Петербург. Суббота

Я только что вернулся с Московского вокзала, куда отправился рано утром встречать мамá. Но вернулся я оттуда с пустыми руками. Надеюсь встретить ее *завтра, в воскресенье*, как ты увидишь из прилагаемого письма, полученного мною вчера[1].

Я очень рад, милая дочь, если ты не написала мне из Гатчины только потому, что тебе помешали развлечения. Знай, что всякий раз, когда ты веселишься, ты выполняешь самый священный долг по отношению к своему отцу... Приезжай к нам отдохнуть после всех треволнений.

Завтра, по всей вероятности, ты уже застанешь мамá... Обнимаю Анну и надеюсь увидать ее на той неделе — только ради того, чтобы убедиться, что она еще жива... Что касается до тебя, очень надеюсь повидаться завтра. До свидания.

Ф. Т.

78. Евг. П. КОВАЛЕВСКОМУ

25 марта 1859 г. Петербург

Четверг. 25 марта 1859

Милостивый государь

Евграф Петрович,

Позвольте мне письменно обратиться к вашему превосходительству с моею, вам уже известною, покорнейшей просьбою...[1] Я поставлен в неприятную, в неутешительную необходимость серьезно заняться расстроенным состоянием моего здоровья. В течение последних пяти лет это расстройство не переставало усиливаться. С самого начала все

врачи, с которыми я советовался, настоятельно требовали от меня одного и того же: т. е. употребления некоторых минеральных заграничных вод, но я, по разным обстоятельствам, а в последнее время по делам службы, отклонял исполнение этой воли. Однако же опыт нынешней зимы, в продолжение которой я страдал более и упорнее противу прежнего, убедил меня наконец в неудобстве дальнейших отлагательств — и вот посему я вынужденным нахожусь прибегнуть к ходатайству вашего превосходительства. Я вправе надеяться, что *два*, много *три* месяца вполне достаточны будут для предполагаемой цели если не выздоровления, то, по крайней мере, окончательного убеждения... Впрочем, я и теперь, вероятно, не решился бы просить об этом, если бы не имел полной уверенности, которую, конечно, и ваше превосходительство разделяете, что мое временное отсутствие при данных обстоятельствах не может причинить ни малейшего ущерба пользам службы, ни вверенному мне ведомству...

Итак, еще раз поручая и себя, и просьбу мою испытанному благоволению вашего превосходительства ко мне,

с истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть,

милостивый государь,

вашего превосходительства

покорнейший слуга

Ф. Тютчев

79. В КАНЦЕЛЯРИЮ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

27 марта 1859 г. Петербург

С.-Петербург. 27 марта 1859

Вследствие запроса, сделанного мне ото вчерашнего числа сего месяца из канцелярии г. министра народного просвещения, честь имею уведомить канцелярию, что по предписанию здешних врачей я желал бы отправиться для пользования себя минеральными водами — на берега Рейна, а именно в *Крейц-*

нах. После чего мне, может быть, нужно будет взять несколько морских ванн либо в *Остенде,* либо в одном из приморских городов северной Франции.

Ф. Тютчев

80. А. М. ГОРЧАКОВУ

21 апреля 1859 г. Петербург

Mardi. Ce 21 avril 1859

Mon Prince,

j'aurais une grande grâce à vous demander, et pour ménager votre temps je vais vous le demander sans phrase: ce serait de m'accorder dans la première quinzaine du mois prochain une expédition de courrier pour Berlin. Si, par hasard, vous aviez aussi, mon Prince, quelques papiers à faire porter à Munich, quelques informations à y envoyer, je serais heureux de m'en charger. Car après Berlin je voudrais aller à Munich pour quelques jours... Et maintenant, mon Prince, laissez-moi vous le dire encore une fois, et cela du fond de mon cœur: que Dieu vous fait en aide, car plus que jamais vous êtes l'homme nécessaire, l'homme irremplaçable pour le Pays. Plût au Ciel, hélas, que ce ne fût là qu'un vain compliment, et je crois vous connaître assez[1], mon Prince, pour être persuadé que vous partagez entièrement le regret que j'éprouve à constater ce fait en présence de la situation donnée, bien grave déjà, à l'heure qu'il est, et qui d'un moment à l'autre peut s'aggraver démesurément...[2]

Eh bien, ce ne sont pas les dangers de cette position en elle-même qui m'effrayent pour vous et pour nous. Vous trouverez en vous-même assez de ressources et d'énergie pour faire face à la crise, telle qu'elle s'annonce. Mais ce qui est vraiment inquiétant, ce qui est déplorable au-delà de toute expression, c'est la démoralisation profonde du milieu dans lequel vit le Pouvoir chez nous, et qui nécessairement pèse aussi sur vous, sur les meilleures inspirations que vous pouvez avoir...

Je ne crois vraiment pas, que jamais il y ait eu quelque chose d'aussi parfaitement médiocre, — d'âme, de caractère et d'intelligence — à la tête de la nôtre... Par tout ce que j'entrevois, par

tout ce que j'entends dire autour de moi, j'ai comme le pressentiment d'une immense lâcheté qui couve encore et attend de nouvelles complications pour s'enhardir — mais qui certainement, à l'heure donnée, ne ce fera pas faute d'éclater au grand jour... et c'est encore une fois, l'alliance autrichienne qui sera la formule de tous les instincts-là... C'est une chose à remarquer qu'à l'heure qu'il est, l'alliance autrichienne ou je ne sais quel demi-retour honteux vers cette alliance, n'a plus une valeur, une signification déterminée et spéciale, mais c'est devenu comme le credo de toutes les lâchetés et de toutes les médiocrités, comme le mot d'ordre et le signe de ralliement de tout ce qui est antinational par égoïsme ou par origine...

Or tous ces gens-là sont vos ennemis naturels... Ils ne vous pardonnent pas d'avoir détruit un système, qui était comme le lieu natal de toutes ces intelligences, comme le domicile politique de toutes ces convictions. Ce sont des émigrés qui voudraient rentrer dans leur Patrie, et vous les en empêchez... Je sais, mon Prince, que vous avez eu jusqu'à présent l'appui sympatique de l'Empereur, et que, il faut l'assurer, il ne vous manquera pas à l'avenir... C'est immense... et cependant ce n'est pas assez... En face de la situation, telle qu'elle est, et surtout telle qu'elle peut devenir, l'Empereur lui-même, pas moins que vous, aurait besoin, dans la question extérieure, d'un plus ferme point d'appui dans la conscience nationale, dans une opinion nationale suffisamment éclairée — et on a, comme à plaisir — par maladresse une prévention réciproque, laissée s'accumuler les malentendus entre la Presse et le Pouvoir, tout ceci, je le sais, a été dit et répété cent fois. C'est devenu, à force de redites, d'une insipide, d'une nauséabonde banalité, et cependant, dans les circonstances données, ce lieu commun est, plus que jamais, d'une poignante actualité...

En un mot, mon Prince, — pour vous, comme pour l'Empereur lui-même, il n'y a, — contre le milieu qui vous assiège, et plus ou moins vous opprime tous deux — il n'y a, dis-je, d'autre point d'appui, d'autre moyen des réactions que dans l'opinion du dehors, dans la grande opinion — dans l'expression de la conscience publique... Mais pour cela, il faut qu'on l'autorise et même qu'on la provoque à se formuler...

Le système que vous représentez aura toujours pour ennemis tous ceux qui sont les ennemis de la Presse. Comment donc la Presse ne serait-elle pas votre auxiliaire?..

Je vais, mon Prince, pour trois ou quatre jours à Moscou[3]. Je verrai quelques-uns de ces Messieurs... que voulez-vous que je leur dise?..

Ф. Тютчев

Перевод:

Вторник. 21 апреля 1859

Милостивый государь князь,

хочу просить вас об одном одолжении и, чтобы не отнимать у вас времени, прямо скажу вам, в чем дело: это — курьерская экспедиция в Берлин в течение первой половины будущего месяца. Если бы случайно у вас оказались, князь, какие-нибудь бумаги или какие-либо инструкции в Мюнхен, я был бы счастлив взять на себя их доставку, так как после Берлина мне бы хотелось поехать на несколько дней в Мюнхен... А теперь, князь, позвольте мне еще раз сказать вам, и из самой глубины моего сердца: да поможет вам Бог, — ибо более, чем когда-либо, вы — человек необходимый, человек незаменимый для страны. Ах, дал бы Бог, чтобы это был лишь пустой комплимент, а я, кажется, достаточно вас знаю[1], князь, чтобы быть уверенным в том, что вы вполне разделяете горечь, которую испытываю я, утверждая это перед лицом настоящего положения, довольно-таки серьезного уже в данный момент и которое с минуты на минуту может невероятно ухудшиться...[2]

Но не опасности создавшегося положения сами по себе пугают меня за вас и за нас. Вы обретете в самом себе достаточно находчивости и энергии, чтобы противустать надвигающемуся кризису. Но что действительно тревожно, что плачевно выше всякого выражения, это — глубокое нравственное растление среды, которая окружает у нас правительство и которая неизбежно тяготеет также над вами, над вашими лучшими побуждениями.

Я, право, не знаю, стояло ли когда-нибудь во главе какого бы то ни было общества что-либо столь же посредственное в отношении души, характера и ума, как то, что стоит во главе нашего. Все, что я примечаю, все, что я слышу вокруг себя, внушает мне как бы предчувствие невероятной подлости, которая пока еще назревает и, чтобы осмелеть, ждет новых осложнений, но которая в данный момент не преминет разразиться открыто... И союз с Австрией еще раз сделается формулой для всех этих устремлений... Следует заметить, что в настоящее время союз с Австрией или какой бы то ни было постыдный полувозврат к этому союзу не имеет более определенного и особенного смысла и значения, но сделался как бы credo всех этих подлостей и посредственностей, как бы лозунгом и условным знаком всего антинационального по эгоизму или происхождению...

И вот эти-то люди являются вашими естественными врагами... Они не простят вам разрушения системы, которая представляла как бы родственные узы для всех этих умов, как бы политическое обиталище всех этих убеждений. Это — эмигранты, которые хотели бы вернуться к себе на родину, а вы им препятствуете... Я знаю, князь, что до сих пор вы пользовались сочувственной поддержкой государя, и надо надеяться, что она не изменит вам и впредь... Это имеет огромное значение... но все-таки этого недостаточно... Перед лицом создавшегося положения и ввиду того, во что оно может превратиться, сам государь по вопросам внешней политики не менее вас нуждается в более твердой точке опоры, в национальном сознании, в достаточно просвещенном национальном мнении, а тут, как нарочно, неумелость или взаимные предубеждения позволили накопиться недоразумениям между печатью и правительством... Все это, я знаю, было сказано и пересказано сотню раз; в силу беспрестанных повторений сделалось нелепой, тошнотворной пошлостью, и тем не менее в данных условиях эти общие места, более чем когда-либо, приобретают острую злободневность...

Одним словом, князь, для вас, так же как и для самого государя, нет против среды, осаждающей и более или менее

угнетающей вас обоих, нет, говорю я, другой точки опоры, другого средства противодействия, как во мнении извне, в великом мнении — в выражении общественного сознания... Но для этого нужно разрешить ему высказаться и даже вызывать его на это...

Система, которую представляете вы, всегда будет иметь врагами тех, кто является врагами печати. Как же печати не стать вашей союзницей?..

Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву[3]. Я увижу кое-кого из этих господ... Что хотите, чтобы я им передал?

Ф. Тютчев

81. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

27 апреля 1859 г. Москва

Moscou. Lundi. 27 avril 1859

Eh bien, ma chatte chérie, as-tu reçu ma dépêche télégraphique, déterminée par ma *quinzième* selle? En attendant, il me semble, grâce à l'absence de tes nouvelles, qu'il y a un siècle que je t'ai quittée[1], et si cela ne tenait qu'à moi, je partirais d'ici, aujourd'hui plutôt que demain, pour aller en chercher, tant je me sens talonné par la certitude de cette date du *six* du mois prochain[2], et par l'incertitude au sujet de mon propre départ. Je me flatte que la lettre que je compte, à coup sûr, recevoir de toi aujourd'hui même, *recevoir aujourd'hui même,* me donnera quelques lumières sur ce dernier sujet. En me référant aux écritures de Daria, que je suppose avoir été suffisamment explicites sur nos faits et gestes antérieurs, je devrai te parler d'un *demi-raout* que nous avons eu avant-hier, chez les Souchkoff, tout composé, pour moi, de figures connues et anonymes, et couronné d'un souper — et à la date d'hier de la séance publique[3] d'une société littéraire, nouvellement ressuscitée[4] après trente et quelques années d'interruption et à laquelle je me souviens, hélas, d'avoir jadis appartenu, à titre de membre adjoint. Cette fois-ci, j'ai fait le coup de force incroyable d'être *entièrement* prêt, à une heure de l'après-midi, pour assister à cette séance où



il y avait un nombreux public, même en dames, mais je dois l'avouer, plus nombreux qu'élégant. J'ai été obligé d'aller prendre mon siège de membre effectif, à une longue table, couverte d'un drap rouge, où j'ai trôné, comme les autres, dans une douce majesté, exposé aux regards bienveillants de la curiosité publique. Le président de la société, qui est *Хомяков*, et qui, cette fois en frac, faisait, accroupi dans son fauteuil, la plus drôle figure de président qu'on ait jamais vu, a ouvert la séance par la lecture d'un discours, très spirituel et écrit en très beau langage sur cet éternel thème de la signification respective de Moscou et de Pétersbourg. – Puis est venue une lecture de l'ami Pavloff, toute palpitante d'actualité, et qui a été fort applaudi. Puis des vers sur l'Italie[5], etc. etc. J'étais assis entre *Шевырев* et *Погодин*. Le tout avait un caractère de sereine solennité, légèrement tempérée par une pointe à peine sensible de ridicule. L'auditoire féminine m'a paru généralement laid, mais plein de sympathie et d'intérêt pour la séance à laquelle il assistait... Décidément Moscou est une ville archilittéraire, et où toute cette littérature écrivante et lisante se prend fort au sérieux, et où, comme de raison, la coterie règne et gouverne – la coterie littéraire, bien entendu, la plus insupportable de toutes. Pour moi, il me serait positivement impossible de vivre ici – dans ce milieu si plein de lui-même, et si sourd pour tous les échos du dehors. Ainsi p<ar> ex<emple> il ne m'est pas prouvé qu'un intérêt puéril, comme celui de la séance d'hier ne l'emporte de beaucoup, dans les préoccupations du public d'ici, sur celui des formidables événements[6] qui se préparent au dehors. Aujourd'hui je dîne avec Сушков, chez l'ami Павлов où il y aura le rédacteur du *Русский вестник*. Hier, à la séance, j'ai revu Al<exandre> *Karamzine* qui a beaucoup insisté pour que j'aille voir sa femme qui demeure, hélas, de l'autre côté de la rivière. J'aurais mille courses de ce genre à faire, et que j'aurais peut-être tenté de faire, sans cet encombrement incroyable, dans les rues de gros cailloux et de pavés qui empêchent décidément la circulation. Je ne t'ai rien dit de ce que je voulais te dire – mais j'attends ta lettre. J'embrasse ma chère Marie avec conviction. Et toi donc, ma chatte chérie?

19 Зак. 7712

Перевод:

Москва. Понедельник. 27 апреля 1859

Ну, моя милая кисанька, получила ли ты мою телеграфическую депешу, вызванную тем, что меня в *пятнадцатый раз* прослабило? И поскольку от тебя нет никаких известий, мне кажется, будто прошел целый век с тех пор, как я тебя покинул[1], и если бы это зависело только от меня, я тотчас, не откладывая на завтра, уехал бы к тебе — до того меня подгоняет уверенность в несомненности *шестого* числа будущего месяца[2] и неуверенность в моем собственном отъезде. Льщу себя надеждой, что письмо, которое я рассчитываю наверняка получить сегодня же, — *сегодня же получить*, прольет какой-нибудь свет на этот последний вопрос. Полагаясь на письма Дарьи, которые, думаю, достаточно подробно изложили наше предыдущее времяпрепровождение, я расскажу тебе только о состоявшемся третьего дня у Сушковых *полурауте* из лиц частью мне знакомых, частью неизвестных и завершившемся ужином, а также и о вчерашнем публичном заседании[3] некоего литературного общества, только что воскресшего после более чем тридцатилетнего перерыва[4], — общества, к которому, помнится, я, увы, когда-то принадлежал в качестве члена-сотрудника. На этот раз я совершил невероятный подвиг, так как был *вполне* готов к часу дня, дабы присутствовать на этом заседании с многочисленной публикой (даже дамами), но, должен признаться, более многочисленной, чем нарядной. Мне пришлось занять место действительного члена за длинным столом, покрытым красным сукном, где я и восседал, подобно другим, в кротком величии, под благожелательными взглядами общего любопытства. Председатель *Хомяков* на сей раз был во фраке и, скорчившись на своем кресле, представлял самую забавную из когда-либо виденных мною фигур председателей. Он открыл заседание чтением весьма остроумной речи, написанной прекрасным языком, на вечную тему о значении Москвы и Петербурга. Затем читали письмо приятеля моего Павлова, все трепещущее злободневностью и которому очень рукоплескали, затем стихи об Италии[5] и т. д. Я сидел между *Шевыревым* и *Погодиным*. Все вместе взятое

носило отпечаток безмятежной торжественности, слегка умерявшейся чуть приметным оттенком смешного. Женская половина слушателей в целом показалась мне некрасивой, но преисполненной сочувствия и интереса к заседанию, на коем она присутствовала. Положительно Москва архилитературный город, где все эти писатели и читатели принимаются как нечто весьма серьезное и где, само собой разумеется, господствует и управляет кружок, — я имею в виду литературный кружок, самый невыносимый из всех. Я был бы не в состоянии жить здесь, в этой среде, столь мнящей о себе и чуждой всем отголоскам извне. Так, например, я не уверен, чтобы ребяческий интерес к вчерашнему заседанию не преобладал в мыслях здешней публики над интересом к грозным событиям[6], готовящимся за рубежом. Сегодня я обедаю с Сушковым у друга моего Павлова, где будет редактор *«Русского вестника»*. Вчера, на заседании, я видел Александра *Карамзина,* который очень настаивал на том, чтобы я навестил его жену, живущую, увы, в Замоскворечье. У меня набралась тысяча подобных поездок, которые я, быть может, и попытался бы осуществить, если бы не невероятное нагромождение на улицах булыжников и камней, которые положительно мешают движению. Я ничего не сказал тебе из того, что хотел сказать, но я жду твоего письма. От души целую мою дорогую Мари. А тебя, моя милая кисанька?

82. В. А. ЧЕРКАССКОМУ

5 мая 1859 г. Петербург

Mardi. 5 mai

En supposant, mon Prince, que vos travaux législatifs[1] vous laissent assez de loisir pour accepter une invitation à dîner à *Tsarskoïe*, ma fille Anna m'a prié de vous demander si vous consentirez à venir dîner chez elle après-demain, *jeudi*?[2]

Les préparatifs d'un départ imminent pour l'étranger m'ont seuls empêché jusqu'ici d'aller vous trouver, et c'est pourquoi je serai doublement charmé de la réussite de ma négociation.

Mille hommages

Ф. Тютчев

Перевод:

Вторник. 5 мая

Полагая, князь, что ваша законодательная деятельность[1] оставляет вам достаточно свободного времени для того, чтобы принять приглашение на обед в *Царское,* моя дочь Анна просила меня узнать у вас, не согласитесь ли вы приехать к ней отобедать в *четверг,* послезавтра?[2]

Из-за сборов в предстоящую мне поездку за границу я не смог до сих пор вас повидать, поэтому мне будет вдвойне приятно, если эти мои переговоры окажутся успешными.

С глубочайшим почтением

Ф. Тютчев

83. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

3/15 июня 1859 г. Рейхенхаль

Reichenhall. 3/15 juin 1859

Ma fille chérie, je vous avais promis à mon départ de tenter un généreux effort pour vous écrire. Eh bien, le <1 нрзб> aidant, je me trouve, je crois, dans les conditions voulues pour acquitter cette promesse... J'entre en *matière* sans autre préambule... Il est bien entendu, n'est-ce pas, que dans le moment actuel il ne peut être question que de *matière* politique, ne vous en déplaise. — A Berlin, où je me suis arrêté huit jours et où mon séjour a coïncidé avec le retour de Vienne du g<énér>al Willisen après sa mission manquée ou à peu près — j'ai trouvé une grande confusion, une grande irrésolution et les courants les plus opposés dans la direction générale des esprits, l'irritation contre la France très vive, mais contenue et réprimée par l'appréhension nullement dissimulée de se laisser exploiter au profit exclusif de l'Autriche, de se laisser aller à quelque grande duperie dans le genre de ceux, dont jusqu'à présent la Russie seule était censée avoir le monopole. — Et de là une impatiente colère, aussi bien dans la presse prussienne que dans les hommes du gouv<ernemen>t, à la vue de la turbulente agitation des petits Etats de l'Allemagne, s'arrogeant le droit, au nom de la Patrie Allemande, d'adresser à la



Prusse les sommations les plus cavalières et les plus impérieuses, en un mot, la position d'un maître d'école, auquel ses écoliers s'aviseraient tout à coup de faire la leçon et d'adresser des mercuriales... Voilà plus qu'il n'en faut pour motiver les fluctuations et les perplexités de l'opinion publique à Berlin, telle que je la trouvais à mon arrivée et qui assurément n'ont pas cessé depuis. Car les succès des armes françaises en Italie et le changement de Ministère qui va avoir lieu en Angleterre ne peuvent que les aggraver encore...[1]

Mais à peine ai-je eu quitté Berlin que déjà à Leipsick, à Hof, où je rencontrai, à ma très grande contrariété personnelle, les premiers convois, transportants des régiments autrichiens, tout avait changé de face, et on se sentait entré comme dans un autre milieu... Mais c'est à mon arrivée à Munich que je me suis convaincu que tout ce qu'on m'avait dit de l'excitation générale des esprits n'avait rien d'exagéré pour cette partie de l'Allemagne. En effet, à moins de l'avoir vu et expérimenté, il est difficile de se faire une idée vraie d'une pareille épidémie de déraison, s'attaquant également à toutes les classes, à toutes les positions, depuis le plus haut jusqu'au plus bas de l'échelle, depuis le nouveau Ministre des aff<aires> étrangères, depuis du tel grand seigneur, comme le Comte Arco-Valley et tant d'autres jusqu'à l'épicier du coin, depuis l'opinion la plus modérée et jadis la plus gouvernementale, jusqu'aux nuances les plus tranchées de l'opinion ultramontaine ou libérale... Ce que je dis là n'est pas une phrase, une éjection en l'air, acceptée sur la foi d'un témoignage étranger, dont je n'avais guères besoin, grâce à mes longs antécédents de Munich, où dès mon arrivée je me suis trouvé d'emblée en rapport avec toutes les classes de la société... Je tombai des nues, en entendant des hommes que j'ai toujours connus sensés et réfléchis, débiter avec conviction et emportement sur la situation actuelle et sur ce qu'il serait urgent de faire dans l'intérêt de l'Allemagne, les plus incroyables billevesées tantôt parlant de marcher sur Paris, sans attendre la Prusse, tantôt menaçant la Prusse elle-même pour la forcer à se déclarer... Et lorsque le premier moment de stupeur passé, on prenait la peine de leur faire toucher au doigt l'extravagance de

toutes les propositions, ils avaient l'air de se rendre à l'évidence, mais pour recommencer le moment d'après... Je ne crois pas qu'à l'heure qu'il est il y a dans tout le royaume de Bavière trois hommes – au moins, certainement pas à Munich – trois hommes, dis-je, le Roi régnant y compris, qui ne soient plus ou moins sous le coup de cette incroyable hallucination, et ce qui est vrai de la Bavière, c'est aussi de la presque localité de l'Allemagne non prussienne... Et voilà ce qui fait que cette effervescence, cette infatuation des esprits, qui sur tel point donné a assurément quelque chose de ridicule et de grotesque, – prise dans son ensemble a quelque chose de très grave et de très significatif... Car, tout en faisant la part des appréhensions personnelles qui ne sont que trop bien motivées par les souvenirs du premier Empire, il y a dans cette explosion si générale et si spontanée de sympathie pour l'Autriche de la part de toute cette Allemagne qui n'est pas la Prusse, quelque chose qui mérite une très sérieuse considération de la note, car cela tient à tout ce qu'il y a de plus intime, de plus intimement allemand, dans la nature de toute la race allemande. C'est-à-dire ce tout ce qu'il y a de plus intimement hostile vis-à-vis *de Nous* et *des Nôtres*...

En effet, la popularité si baroque, mais si réelle, de l'Autriche en Allemagne tient essentiellement à ceci: c'est que par elle et en elle la race allemande se sent en possession de dominer, de confisquer à son profit, d'annuler moralement plus encore que politiquement les deux autres grandes races de l'Europe, en tout ou en partie, la race latine en Italie, la race slave partout, où elle peut l'atteindre...

Il peut sembler absurde et ridicule que des gens qui depuis mille ans n'ont jamais su s'organiser d'une manière tant soit peu pratique chez eux, soient possédés à ce point de l'amour de la domination chez les autres. – Soit. Mais il suffit d'observer le premier Allemand venu en Russie – le plus intelligent comme le plus médiocre – de l'observer, dis-je, dans ses rapports journaliers avec tout ce qui n'est pas de sa race, pour comprendre, à quel point la conviction intime, fanatiquement intolérante et implacable de sa supériorité de race est le fond

même de sa nature, la condition première de son existence morale, et à quel emportement de haine et de fureur il peut se sentir poussé par tout ce qui tendrait à mettre en doute la légitimité de cette conviction... Voilà ce qui explique le phénomène historique d'une ingratitude plus forte même que l'instinct de sa propre conservation qui a signalé pendant quarante ans les rapports de l'Allemagne toute entière, peuples et gouvernements, vis-à-vis de la Russie — d'une ingratitude qu'elle est loin de désavouer ou de regretter, même sous la terrible pression des circonstances actuelles, même au mépris de cette vérité, de jour en jour plus évidente qu'en dehors de l'alliance russe il n'y a pas d'union possible pour l'Allemagne, telle que l'Histoire l'a faite — d'une ingratitude, en un mot, plus forte que tout intérêt et tout calcul politique de sa part, puisqu'elle est le premier et le plus fort instinct de sa nature. — Mais en voilà assez pour le moment...

Тютчев

Перевод:

Рейхенхаль. 3/15 июня 1859

Любезная моя дочь, я обещал тебе при отъезде совершить благородное усилие, чтобы написать тебе письмо. Итак, с помощью <1 нрзб> я, кажется, пребываю в нужных условиях для того, чтобы выполнить свое обещание... Приступаю к *предмету* без прочих предисловий... Разумеется — не так ли — в настоящую минуту речь может идти только о политическом *предмете*, если ты не возражаешь.

В Берлине, где я пробыл неделю и где мое пребывание совпало с возвращением из Вены генерала Виллизена после его провалившейся или почти провалившейся миссии, я нашел великое смущение, великую нерешительность и самые противоположные направления в общем настроении умов, возмущение против Франции весьма горячее, но сдерживаемое и подавляемое из нескрываемого опасения позволить использовать себя в исключительных выгодах Австрии, дать вовлечь себя в великий обман вроде тех, на какие до

сих пор имела монополию одна Россия. Отсюда сердитое раздражение как в прусской печати, так и в правительственных чиновниках при виде шумных волнений в маленьких государствах Германии, присваивающих себе право от имени матери Германии выдвигать самые дерзкие и настойчивые требования к Пруссии; одним словом, это положение школьного учителя, которому ученики вздумали вдруг устроить нагоняй... Этого более чем достаточно, чтобы объяснить колебания и растерянность умов в Берлине, какие я застал при моем приезде, и вряд ли с тех пор они изменились. Ибо успехи французских войск в Италии и предстоящая смена кабинета в Англии могут только усугубить эти настроения...[1]

Но едва я покинул Берлин, как уже в Лейпциге, в Гофе, где я встретил, к великому своему огорчению, первые конвои, перевозившие австрийские войска, все переменилось, и казалось, что я попал в другой мир... Однако приехав в Мюнхен, я убедился, что все, что мне говорили о всеобщем возбуждении умов, ничуть не было преувеличением для этой части Германии. В самом деле, не увидав и не прочувствовав на деле, трудно составить себе верное представление о подобной эпидемии безрассудства, охватившей равно все классы общества, все звания, начиная с самых высоких и кончая самыми низшими, начиная с министра иностранных дел, с такого важного вельможи, как граф Арко-Валлей, и ему подобных и кончая последним лавочником на углу, начиная с самой умеренной точки зрения, прежде бывшей проправительственной, и кончая самой крайней ультрамонтанской или либеральной точкой зрения... Все, что я говорю, не просто фраза, не слухи, подхваченные и принятые на веру с чужих слов, — я в этом не нуждаюсь, благодаря тому, что долго прожил в свое время в Мюнхене и с самого моего приезда сюда я имел с избытком общение со всеми классами общества... Я упал с облаков на землю, услышав, как люди, коих я привык считать здравомыслящими и рассудительными, горячо и убежденно высказывали самую невероятную чушь о нынешнем положении и о том, что теперь необходимо сде-

лать в интересах Германии, то призывая идти на Париж, не дожидаясь Пруссии, то угрожая самой Пруссии, чтобы заставить ее проявить себя... И когда после первого замешательства пытаешься указать им на очевидную нелепость всех этих предложений, они как будто соглашаются, но через минуту начинают все сначала... Не думаю, что в настоящую минуту во всей Баварии найдется три человека — и, разумеется, не в Мюнхене — три человека, включая правящего короля, не находящихся во власти этой невероятной иллюзии; а то, что верно для Баварии, верно и почти для всей не прусской Германии... Эти бурлящие и самонадеянные настроения в таком своем виде, конечно, несколько смешны и преувеличены, но взятые во всей своей совокупности они приобретают нечто очень серьезное и значительное... Ибо, помня об опасениях, вполне оправданных памятью о первой Империи, есть в этом всеобщем и стихийном взрыве симпатий к Австрии со стороны не прусской Германии нечто заслуживающее очень серьезного внимания к духу этих симпатий, ибо тут кроется все самое глубинное, всецело германское, свойственное всему германскому народу. То есть все, что глубоко враждебно *Нам* и *Нашим*...

В самом деле, популярность Австрии в Германии, столь странная, но столь же реальная, ведет по существу к следующему: благодаря ей и через нее германская раса чувствует себя вправе господствовать, отбирать в свою пользу, полностью или частично уничтожать еще более нравственно, чем политически, две другие великие расы Европы — латинство в Италии и славянство всюду, где она может его настигнуть...

Может показаться нелепым и смешным, что люди, которые на протяжении тысячи лет так и не смогли организоваться более или менее прочно на своих землях, так охвачены страстью господства на чужих землях. — Пусть так. Но достаточно взглянуть на первого попавшегося немца, приехавшего в Россию, — будь он самый умный или самый заурядный — взглянуть на его повседневные отношения со всем, что не относится к его расе, чтобы понять, до какой

степени глубокое, фанатически нетерпимое и непримиримое убеждение в своем расовом превосходстве является основой его природы, первым условием его нравственного существования и какую ненависть и ярость у него вызовет все, что захочет подвергнуть сомнению законность этого убеждения... Вот что объясняет такой исторический феномен, как неблагодарность, еще более сильная, чем инстинкт самосохранения, проявлявшаяся на протяжении сорока лет со стороны Германии — и народа и правителей — в отношении России; неблагодарность, далекая от раскаяния и сожаления даже под тяжким давлением нынешних обстоятельств, даже вопреки истине, день ото дня становящейся все очевиднее, что кроме союза с Россией нет другого возможного для Германии — такой, какой ее создала История. Словом, неблагодарность, более сильная, чем любая выгода или политический расчет с ее стороны, потому что эта неблагодарность есть первый и самый сильный инстинкт ее натуры. — Но довольно на сегодня...

Тютчев

84. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

15/27 июня 1859 г. Мюнхен

Munich. Lundi. 15/27 juin

Ma chatte chérie, je suis rentré hier soir à Munich avec ton frère et Hubert[1], après avoir passé vingt-quatre heures à Tegernsee où je suis arrivé la veille vers les cinq heures de l'après-midi, splendidement favorisé du temps, et attendu de ton frère qui m'a reçu au saut de la voiture. Nous sommes aussitôt allés rejoindre sa femme et ses filles qui s'étaient acheminées vers Tegern, pour faire une visite à la Salisbury. Mais nous ne réussîmes, hélas, à la trouver, et voilà une entrevue manquée, peut-être pour l'éternité... tant il est vrai, qu'ici-bas on ne marche que de déceptions en déceptions. Quant à mon entrevue avec les montagnes et le lac de Tegernsee, elle m'a, comme de raison, inondé de mélancolie. Je n'ai, décidément, plus assez de vie, pour tenir tête à de pareilles impressions. Elles

anéantissent en moi, jusqu'au sentiment de mon identité. En général, tout mon organisme physique et moral est tellement ébranlé, que ce qui devrait être, et serait pour tout autre, une occasion de plaisir et de distraction, m'éprouve de la manière la plus pénible et la plus fatiguante, surtout l'isolement. Ah l'isolement, c'est ma mort...

Ton frère et toute sa famille ont été charmants pour moi. Aussi leur suis-je bien tendrement attaché. Et toi aussi, ma chatte chérie, tu as été charmante pour moi. J'ai su, par la belle sœur, la recommandation que tu lui as fait faire, de me fournir du thé. Hier par grand extraordinaire j'ai pu dîner avec eux à 1 heure, attendu que la veille je n'avais pas dîné du tout. J'ai retrouvé à Tegernsee les Luxburg[2], qui m'ont chargé de leurs compliments pour vous, et un des Eichthal...[3] Mais tout ce que je vois me fait l'effet d'un rêve... J'ai revu, revisité, reparcouru, tout ce que je connaissais si bien, et tout ce qui m'est devenu si parfaitement étranger. Il faut une santé bien normale, ou une grande dose de frivolité et d'insouciance, pour surnager à de certaines impressions. Ici, je suis descendu aux 4 saisons, où sans toi, je me trouve tout à fait hors de saison. Je partirai d'ici, ou ce soir, ou peut-être demain matin, le train de ce soir s'arrêtant à Augsbourg. Mais où vais-je? Et pourquoi? Il me semble que je rêve, tout éveillé: mais ce qui n'est pas un rêve, c'est le nouveau désastre des Autrichiens[4]. Je commence à trouver que le bon Dieu nous venge trop...

En attendant, mon infirmité, sans me faire sérieusement souffrir, me devient parfois très incommode. Ma chatte chérie, conserve-toi. Tu es la seule branche qui me tient suspendu au-dessus du Néant. Ecris-moi à *W<ild>bad.*

Перевод:

Мюнхен. Понедельник. 15/27 июня

Милая моя кисанька, я вернулся вчера вечером в Мюнхен с твоим братом и Гюбером[1], проведя сутки в Тегернзее, куда я приехал накануне около пяти часов дня, при великолепной погоде и встреченный твоим братом при выходе из экипажа.

Мы тотчас пошли за его женой и дочерьми, которые направились в Тегерн, чтобы посетить г-жу Солсбери, но нам не удалось ее застать; итак, это свидание может быть упущено навеки, — ибо вполне справедливо, что в этом дольнем мире переходишь от разочарования к разочарованию. Что же касается моего свидания с горами и озером Тегернзее, оно, разумеется, преисполнило меня меланхолии. У меня положительно нет более достаточной жизненности, чтобы выдерживать подобные впечатления. Они уничтожают во мне даже самое сознание моей личности. Вообще мой организм физически и нравственно так расшатан, что то, что для другого послужило бы удовольствием и развлечением, действует на меня самым тяжелым и утомительным образом, особенно одиночество. Ах, одиночество — это смерть моя...

Твой брат и его семья были очаровательны по отношению ко мне. Зато и я к ним очень нежно привязан. И ты также, милая моя кисанька, была очень мила ко мне: я узнал от твоей невестки о поручении, которое ты ей дала, снабжать меня чаем. Вчера, в виде редкого исключения, я мог обедать с ними в час, так как накануне совсем не обедал. В Тегернзее я застал Люксбургов[2], которые шлют тебе приветы, и одного из Эйхталей...[3] Но все, что я вижу, представляется мне сном... Я вновь увидел, посетил, обошел все, что было мне так знакомо и что стало мне совершенно чуждым. Надо иметь очень уравновешенное здоровье или много легкомыслия и беспечности, чтобы не поддаться известным впечатлениям. Здесь я остановился в «Четырех временах года», где без тебя чувствую себя совсем не к месту. Я выеду отсюда сегодня вечером или, может быть, завтра утром; вечерний поезд останавливается в Аугсбурге. Но куда я еду? И зачем? Мне кажется, что я грежу наяву. Но что не сон, так это новое поражение австрийцев[4]. Я начинаю находить, что Господь Бог слишком за нас мстит...

Пока же моя хворь, не причиняя мне настоящих страданий, становится подчас очень неудобной. Милая моя киска, береги себя. Ты единственная ветка, удерживающая меня над Небытием. Пиши мне в *Вильдбад.*

85. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

5/17 июля 1859 г. Вильдбад

Wildbad. Dimanche. 5/17 juillet 1859

Ma chatte chérie, je vous déclare que je n'en puis plus. Je sens que ma patience ne tient plus qu'à un fil et que ce fil va se rompre. J'ai pris en horreur cet absurde endroit[1] et je le hais comme un écureuil qui aurait un brin de raison haïrait nécessairement la roue où il est condamné à tourner, sans relâche. Je suis las de voir toutes ces infirmités grotesques, toute cette ridicule infirmerie ambulante, tournant avec tant de conviction, toujours dans le même cercle, et cela en présence de ces arbres si sains, et de ces ruisseaux si frais, qui ont l'air de se moquer d'eux. Ah, que l'humanité est une chose dégoûtante, là surtout où, comme ici, elle se laisse aller, avec une bonhomie cynique, à étaler ses plaies et ses misères... Ce qui, pour ma part, légitime entièrement le dégoût que j'ai pour ce séjour, c'est ma profonde conviction de l'absurdité de ma présence au milieu de tous ces éclopés... Les médecins sont des ânes, et l'ami Pfeuffer[2] en est un, tout comme les autres. Car ce n'était pas une médiocre ânerie de m'avoir envoyé ici, où je n'avais absolument que faire, ainsi que *Burkhard* lui-même en est convenu. Ce dernier m'a avoué que les eaux de Wildbad n'avaient et ne pouvaient avoir aucune prise directe sur mon mal, qui est un engorgement de sang dans les vaisseaux du bas ventre, que tout le résultat favorable que je pouvais attendre de mes bains, c'est qu'ils pouvaient contribuer à calmer les nerfs et à donner un peu plus de ton à l'activité de la peau... Aussi l'événement ne justifie-t-il que trop cette appréciation. Car, après je ne sais combien de bains que je viens de prendre, et qui sont d'ailleurs fort agréables à prendre, j'en conviens, mon mal, qui à ce qu'il paraît, ne se doute pas de la cure que je fais, continue son train, comme par le passé, tantôt s'exaspérant, tantôt s'atténuant, mais toujours sans cause appréciable. Ainsi, depuis quelques jours je suis de nouveau beaucoup plus souffrant, et toute cette eau, où je me plonge régulièrement tous les jours, à six heures du matin, n'y fait absolument rien. *Как с гуся вода*, comme s'exprime le dic-

ton russe. Mais en voilà assez de ces dégoûtants détails, dans lesquels je ne suis entré que pour te préparer à ce qui va incessamment arriver. En effet, je n'attends qu'une nouvelle lettre de toi, m'annonçant tes résolutions définitives, pour mettre un terme à la mystification de ma cure de Wildbad, et pour m'en aller d'ici, t'attendre, à Bade, avec tout autant d'impatience, mais peut-être avec un peu moins d'ennui... Que ce serait donc une chose charmante à toi et tout à fait digne de *celle qui tient, en toute circonstance,* à consoler le Vieux, que ce serait, dis-je, une complaisance gracieuse de ta part, si toi aussi, ma chatte chérie, tu consentais, en quittant Wurtzbourg, à te rendre directement à Bade, sauf à nous arrêter, à Heidelberg, à notre retour. Eh bien, qu'en dis-tu? Où serait l'obstacle à cette transposition: serait-ce, par hasard, l'entrevue avec l'excellente Berthe, mais je suppose qu'il serait indifférent à celle-ci de venir au rendez-vous indiqué, deux jours plutôt ou plus tard. Et grâce à l'arrangement que je propose, je pourrai en être aussi, et pour ma part, j'aurai grand plaisir à en être... Mais c'est toi, surtout que je tiens à revoir le plutôt possible, car je sens qu'il me faut ta présence, pour me redonner un peu de conviction. Car, en dépit de mon apparente sociabilité, je me sens toujours énormément isolé, dépaysé, et intérieurement ahuri, chaque fois que je ne t'ai pas vue depuis quelque temps. Je perds en quelque sorte le sentiment de mon identité. Ajoute à cela, dans le moment actuel, la pénible et angoissante ignorance, où je suis, de l'état de Daria, dont j'ai eu, il est vrai, dernièrement des nouvelles indirectes par le Prince Troubetzkoy[3], marié à la Smirnoff, mais les nouvelles ne sont pas d'une date plus récente, que celle de la lettre de Kitty. Ce Prince T<roubetzkoy>, qui d'ailleurs est un imbécile, a vu, à Schwalbach, d'où il vient et où il a laissé sa femme, le Comte Pouchkine[4], marié à la Chérémétieff, qui a quitté Pétersb<ourg> vers le 18 du mois dernier, v<ieux> st<yle>, et qui prétend qu'à cette époque Daria allait beaucoup mieux... Mais il me faudrait quelque chose de plus explicite et de plus positif.

Le Tascher dont je t'ai annoncé, je crois, l'arrivée à W<ildbad> dans ma dernière lettre, c'est, décidément, Tascher le fils,



autrement le Duc Tascher, qui n'en est pas moins resté aussi Pierrot et aussi bon enfant que par le passé. Nous avons eu grand plaisir à nous revoir. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à un thé, chez les Oldenbourg, qu'ils ont donné à toute la *société d'élite* de l'endroit le jour de la fête de l'Impératrice-mère, un thé, suivi d'un feu d'artifice, etc. etc. Quant au Duc Tascher, bien que son intelligence n'ait pas grandi avec sa fortune, il est assurément très curieux à entendre sur le chapitre du régime actuel en France, régime qu'il connaît nécessairement en détail, et dont il parle avec une bonhomie et une simplicité d'appréciation, qui ne laisse que mieux voir le fond des choses... et quel bas-fond que ce fond-là. C'est un régime redevenu presque pour ainsi dire primitif à force de corruption. C'est presque l'état de nature... comme dans les bains publics en Russie. Et quand on pense qu'une force matérielle aussi écrasante se trouve aux ordres de toute cette dépravation morale et intellectuelle, de tout ce mensonge si brutalement cynique, alors ma foi, il y a de quoi frémir pour l'avenir du monde... Ce qui vient d'arriver, cette insigne rouerie de la paix qui vient de se conclure[5], cette rouerie, exécutée avec tant d'aplomb, et presque de gaîté, comme une niche d'écolier, sur cent mille cadavres, qui en ont payé la façon, — eh bien, toute cette iniquité en même temps qu'elle doit faire bondir d'indignation toute âme honnête, n'en sera pas moins acceptée, comme un véritable bienfait, par l'Europe entière, et un nouveau progrès, un progrès énorme, aura été fait dans la voie de démoralisation, où l'on s'enfonce de plus en plus... C'est l'avenir de la pauvre Allemagne, qui est véritablement navrant, avenir d'impuissance croissante et d'ineffable ridicule... Certes, ton frère lui-même n'avait guères pensé, que ses sinistres et intelligentes prévisions se réaliseraient si tôt... Car, qui pourrait douter maintenant, en voyant ce qui se passe et ce qui se prépare, que l'illustre Confédération Italienne ne doive promptement ramener par ricochet, son digne pendant, la Confédération Rhénane, de non moins glorieuse mémoire...

J'interromps ici cette longue épître, à laquelle j'ajouterai ce soir quelques mots. Car je me flatte que la poste d'aujourd'hui

m'apportera *enfin* une lettre de toi, et le tout ne partira que demain matin. Quel stupide arrangement. Les Mestchersky qui sont allés avant-hier à Stuttgart devaient revenir ici, ce soir. La jeune femme[6] est *vraïment très* originale. Ah, ma chatte chérie, qu'il serait temps que je te revoie...

Dimanche soir

Eh bien, voilà encore une poste qui ne m'a rien apporté. Non, vraiment, ma chatte chérie, vous vous conduisez bien mal. Vous deviez avoir un peu plus de ménagement pour un pauvre esprit malade comme est le mien. Vous n'ignorez pas le mal affreux que me fait cette privation de nouvelles, et combien toutes ces attentes trompées ajoutent à la surexcitation déjà bien pénible de mon malheureux cerveau.

Pas plus tard que ce soir j'ai rencontré la Princesse d'Oldenbourg, qui du haut de son âne m'a interpellé pour me demander si j'avais enfin reçu des nouvelles de Daria. J'ai été obligé de lui dire que non. Que je ne pouvais en avoir que par toi — et que toi, tu avais cessé de m'écrire. La Princesse a été fort étonnée et j'ai vu que l'âne lui-même a secoué les oreilles. Enfin je te préviens que si demain soir je n'ai pas une lettre de toi je fais jouer le télégraphe, pour te demander raison de ce silence, dût-il aller te réveiller au beau milieu de la nuit. Je ne sais comment cela se fait, mais tout le monde autour de moi reçoit régulièrement ses lettres, il n'y a que moi qui suis toujours frustré dans mon attente... Il paraît que tout le monde est plus digne que moi d'un peu d'affection. Tu me demandes dans tes lettres de te dire ce que je voudrais que tu fasses, me promettant de te conformer à mes désirs. Là-dessus, je te fais proposition sur proposition — et dans deux jours tu vas t'en aller de Munich sans que je sache s'il y a quelque chose de convenu entre nous...

En un mot, je suis le mécontent, le dépité, le maltraité — et quand tu me diras que je suis l'aimé, je n'en croirai pas le mot...

Et puis qu'est-ce que c'est que les quatre filles que j'ai et dont pas une ne daigne me donner un signe de vie. Il vaut bien la peine d'être le père d'une aussi nombreuse progéniture.

Bonne nuit et rien de plus...

P. S. Cette lettre étant la dernière que tu recevras de moi avant ton départ de Munich, je tiens à savoir au plutôt si tu consens à pousser jusqu'à Bade et dans ce cas, quel jour à peu près tu comptes y arriver? C'est de Munich même, que j'attends cette réponse, sans préjudice d'une autre lettre, que tu m'écriras de Wurtzbourg — où je ne manquerai pas de t'écrire aussi *poste restante.*

Перевод:

Вильдбад. Воскресенье. 5/17 июля 1859

Милая моя кисанька, объявляю тебе, что я не могу больше этого выносить. Я чувствую, что мое терпение держится на нитке, и эта нитка готова оборваться. Я возненавидел это глупое место[1], и ненавижу его, как белка, имеющая хоть каплю смысла, должна непременно ненавидеть колесо, в котором она осуждена безостановочно вертеться. Я устал смотреть на все эти уродливые недуги, весь этот нелепый двигающийся лазарет, с таким убеждением вращающийся все на том же месте, и это в виду таких здоровых деревьев, таких прохладных ручьев, которые как будто смеются над ними. Ах, до чего отвратительно человечество, особенно там, где оно, как здесь, с циничным благодушием выставляет напоказ свои язвы и свои немощи... Что вполне оправдывает мое отвращение к этому местопребыванию, это мое глубокое убеждение в том, что мое присутствие среди всех этих калек бесцельно... Доктора — ослы, и приятель Пфейфер[2] таков же, как остальные, ибо было немалой глупостью послать меня сюда, где мне совершенно нечего делать, с чем согласился и сам *Буркгард.* Сей последний признался мне, что воды Вильдбада не могут оказать никакого прямого действия на мою болезнь, так как она происходит от застоя крови в сосудах нижней части живота, и единственная польза, какую я могу ожидать от моих ванн, это что они будут способствовать успокоению нервов и придадут несколько более жизненной энергии коже... К тому же последствия с избытком подтверждают эту оценку, ибо после большого количества ванн, взятых мной, которые, впрочем, весьма

приятны, я должен в этом сознаться, моя болезнь, по-видимому, ничуть не подозревающая о предпринятом мной лечении, продолжается по-старому, то усиливаясь, то ослабевая, но всегда без всякой видимой причины. Вот уже несколько дней, как я опять чувствую себя гораздо хуже, и вся эта вода, в которую я аккуратно погружаюсь каждый день в 6 часов утра, не приносит мне никакой пользы. *Как с гуся вода*, как говорится в русской пословице. Но довольно распространяться об этих отвратительных подробностях, и я сделал это только для того, чтобы приготовить тебя к тому, что неминуемо должно последовать. Действительно, я жду лишь письма от тебя с уведомлением о твоих окончательных намерениях, чтобы положить предел моей лечебной мистификации в Вильдбаде и чтобы уехать отсюда и дожидаться тебя в Баден-Бадене с таким же нетерпением, но, может быть, несколько меньшей скукой... Как было бы мило с твоей стороны и вполне достойно *той*, которая *при всех обстоятельствах* желает утешить старика, — повторяю, как было бы хорошо, если бы ты тоже, моя милая кисанька, покинув Вюрцбург, направилась бы прямо в Баден-Баден с тем, чтобы на возвратном пути оттуда нам вместе остановиться в Гейдельберге. Ну что ты на это скажешь? В чем препятствие к подобной перестановке? Неужели в свидании с милейшей Бертой, но я предполагаю, что ей безразлично приехать в указанное место двумя днями раньше или позже, а благодаря изменению, которое я вношу, я тоже мог бы, и с большим удовольствием, участвовать в этом свидании... Но в особенности тебя я хочу видеть возможно раньше, потому что я чувствую, что мне нужно твое присутствие, дабы придать себе немного уверенности. Ибо, вопреки моей кажущейся общительности, я всегда ощущаю себя чрезвычайно одиноким, выбитым из колеи и внутренне оцепеневшим всякий раз, что не вижу тебя в течение некоторого времени; я как бы теряю сознание своей собственной личности. Прибавь к этому тяжелое и томительное неведение, в каком я нахожусь сейчас насчет состояния Дарьи, о которой, правда, я имел недавно косвенные известия через князя Трубецкого[3],

женатого на Смирновой, но известия эти не более поздние, чем письмо Китти. Этот князь Трубецкой, который вдобавок болван, видел в Швальбахе, откуда он прибыл и где оставил свою жену, графа Пушкина[4], женатого на Шереметевой, который уехал из Петербурга около 18-го числа прошлого месяца старого стиля и который утверждает, что в то время Дарье было гораздо лучше. Но мне требуется нечто более определенное и более положительное.

Таше, о прибытии которого в Вильдбад я тебе, кажется, сообщал в моем последнем письме, действительно Таше-сын, иначе герцог Таше, — тем не менее оставшийся таким же наивным и добродушным, как и прежде. Мы очень друг другу обрадовались. Наша первая встреча произошла за чаем у Ольденбургских, на который они пригласили все здешнее *избранное общество,* в день рождения императрицы-матери, за чаем следовал фейерверк и т. д. и т. д. Что касается герцога Таше, хотя его умственные способности и не возросли с его благосостоянием, но его, конечно, весьма интересно послушать, когда он говорит о современном режиме Франции, что, очевидно, ему известно во всех подробностях и о чем он отзывается с добродушием и простотой оценки, позволяющими тем лучше проникнуть в суть вещей... И что это за низменная суть! Это строй, ставший, так сказать, примитивным вследствие своей испорченности. Это почти первобытное состояние... как в общественных банях в России. И когда подумаешь, что такая подавляющая материальная сила находится в распоряжении всей этой нравственной и умственной развращенности, всей этой грубо-циничной лжи, тогда, право, есть от чего содрогнуться за будущность мира... То, что теперь произошло, эта беспримерная подлость с заключением мира[5], эта подлость, совершенная так самоуверенно и почти весело, как шутка школьника, над сотней тысяч трупов людей, поплатившихся за это жизнью, — ну так вот, все это беззаконие, возмущающее душу каждого честного человека, будет тем не менее принято всей Европой как настоящее благодеяние, и сделан будет новый шаг, огромный шаг на пути к деморализации, куда

углубляются все больше и больше... Будущность бедной Германии поистине плачевна, ей предстоит возрастающее бессилие и невыразимо нелепое положение... Конечно, твой брат сам не подозревал, что его зловещие и разумные предсказания так скоро осуществятся... Ибо кто теперь, видя, что происходит и что готовится, может сомневаться в том, что славная Итальянская конфедерация рикошетом не восстановит весьма скоро свою достойную пару, не менее славной памяти Рейнскую конфедерацию...

Прерываю здесь это длинное послание, к которому прибавлю несколько слов вечером, так как надеюсь, что сегодняшняя почта *наконец-то* доставит мне письмо от тебя, и все вместе будет отправлено завтра утром. Как все это нелепо! Мещерские, уехавшие третьего дня в Штутгарт, должны вернуться сегодня вечером. Молодая женщина[6] *в самом деле* очень оригинальна. Ах, милая моя киска, как мне пора бы с тобой свидеться...

Воскресенье вечером

Ну вот еще одна почта, ничего мне не доставившая! Право, милая моя киска, ты ведешь себя очень плохо. Ты должна бы немножко больше беречь такой бедный больной рассудок, каков мой. Ты знаешь, какой ужасный вред приносит мне этот недостаток известий и как все эти обманутые ожидания усиливают чрезмерное возбуждение моего несчастного мозга, уж и без того весьма мучительное.

Как раз сегодня вечером я встретил принцессу Ольденбургскую, которая с высоты своего осла спросила меня, имею ли я наконец известия от Дарьи. Я принужден был ответить ей, что нет, что я могу получить их только через тебя, — а ты перестала мне писать. Принцесса была очень удивлена, и я заметил, что даже осел потряс ушами. Одним словом, предупреждаю тебя, что, если завтра к вечеру я не получу от тебя письма, я прибегну к телеграфу, хотя бы он разбудил тебя среди ночи, и потребую объяснений относительно этого молчания. Не знаю, как это делается, но все вокруг меня аккуратно получают письма, только я один всегда обманут в своих



ожиданиях... По-видимому, все более меня достойны небольшой привязанности. Ты спрашиваешь в своих письмах, что я хочу, чтобы ты предприняла, обещая сообразоваться с моими желаниями. На это я шлю тебе предложение за предложением — через два дня ты уезжаешь из Мюнхена, а я так и не знаю, что между нами решено...

Одним словом, недовольный, раздосадованный, обиженный — это я, и когда ты мне станешь говорить, что я — любимый, я этому ничуть не поверю...

И потом, к чему эти четыре дочери, из которых ни одна не соблаговолит подать мне признака жизни? Стоит быть отцом столь многочисленного потомства!

Покойной ночи — и больше ничего...

P. S. Поскольку это письмо — последнее, которое ты получишь от меня до твоего отъезда из Мюнхена, мне необходимо как можно скорее узнать, согласна ли ты добраться до Бадена и, в таком случае, к которому приблизительно числу рассчитываешь ты туда прибыть? Жду ответа еще из Мюнхена, не говоря о другом письме, что ты пришлешь мне из Вюрцбурга, куда я также не премину тебе написать *до востребования*.

86. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

19/31 июля 1859 г. Эмс

Ems. 19/31 juillet 1859

Ma fille chérie, je suis heureux, en datant cette lettre d'Ems, de n'avoir que de bonnes nouvelles à t'apprendre. L'état de santé, où j'ai trouvé Daria[1], en arrivant ici avant-hier, a grandement calmé les inquiétudes que j'avais conçues à son sujet. Je l'ai retrouvée à peu près telle que je l'avais laissée à mon départ de Pétersb<ourg>, sauf, peut-être, une nuance, en plus, de dépression de nerfs. C'est loin, assurément, d'être un état de santé satisfaisant, mais, grâce au Ciel, c'est encore plus loin de celui qu'on m'avait fait craindre par toutes les exagérations qu'on avait accréditées sur son compte. Le lendemain même de mon arrivée ici je réunis en consultation *quatre* médecins, et si

je m'arrêtais à ce chiffre modeste, c'est uniquement pour obéir aux protestations de la patiente. Les quatre médecins réunis, c'était *Carrel*, Rauch, ancienne célébrité médicale de Pétersb<ourg>, puis deux médecins d'ici, Frank et Kobel. Après de longues discussions, accompagnées ou plutôt précédées de toute sorte de perquisitions et d'enquêtes, ils ont, à la grande joie de ta sœur, définitivement approuvé *Ems*, en joignant à l'usage des bains celui de l'eau d'Egre prise intérieurement. Après quatre semaines de cette cure ils venont, s'il y a lieu à lui prescrire de bains de *Schwalbach* ou à les remplacer par des frictions. Plus tard ils voudraient que ta sœur allât faire une cure de raisins en Suisse – ce qui, par parenthèse, sourit beaucoup à Daria, et ce qui pourrait s'arranger à merveille, attendu que les Mestchersky – Karamzine qui se proposent de faire la même cure à Vevey doivent s'y rendre pour l'époque, où Daria aura terminé la sienne ici, jusque-là tout est à merveille. Mais un point sur lequel il sera plus difficile de lui faire entendre raison et néanmoins d'après la déclaration unanime des quatre médecins est le point essentiel de toute l'affaire, c'est la nécessité, *l'absolue* nécessité d'un séjour d'hiver en Italie, à Nice, par ex<emple>. Ils m'ont tous les quatre très positivement déclaré que c'était là la condition essentielle du succès. Jusqu'à prés<ent> Daria, comme tu le penses bien, ne veut pas en entendre parler, mais je ne désespère pas de la voir finalement se ranger du parti de la raison, lequel, d'ailleurs, dans les circonstances données n'aura rien pour elle de trop pénible, car je ne doute pas que l'Impératrice-mère qui est la bonté même en vue de lui faciliter le séjour d'hiver à Nice ne consente à l'abriter sous son aile... C'est entre tes mains, chère Anna, que je remis toute cette affaire que tu es plus que personne en position de faire aboutir à un résultat satisfaisant – et il faut qu'elle aboutisse, car encore une fois c'est, comme on dit, la clef de la position... Nous avons trouvé Daria établie dans le même hôtel que les Mouravieff[2] qui sont pour elle d'une tendresse et d'une sollicitude extrême. Ils comptent encore rester ici quinze jours à 3 semaines, ce dont je suis très content pour le compte de Daria et un peu aussi pour le mien, attendu que je me propose

de mettre ce temps à profit pour faire cette pointe *sur Paris*, dont je serais très curieux de voir la physionomie dans le moment actuel, si toutefois il peut encore être question de physionomie là où tout est grimace et tiraillement de nerfs...[3] A mon retour je viendrai relever les Mouravieff, et plus tard je compte la conduire en Suisse auprès les Mestchersky, si cette combinaison avait se réaliser... Mais comme dans tous les cas cela ne pourra guères se réaliser avant le mois de s<eptem>bre, je me trouvai dans la nécessité de demander un supplémentaire congé de six semaines à deux mois, ce qui, j'espère, ne me sera pas refusé par Kovaleffsky et encore moins par l'Empereur...[4]

Quant à ma femme qui par des raisons financières est obligée de songer à rentrer plus tôt que plus tard, elle a été vivement contrariée de n'avoir pu donner plus de vingt-quatre heures à Daria, mais les Mentque[5] qui sont depuis quinze jours à l'attendre près d'Ostende, étaient là, comme un aiguillon arraché à son corps, et suivant son habitude elle a mis un empressement, d'autant plus consciencieux, à les aller trouver qu'elle se promet moins de plaisir de cette réunion qui, en effet, n'en saurait offrir la moindre chance.

Mais c'est assez parler des autres — tandis que c'est de toi surtout que je voudrais te parler. Ma fille chérie, ai-je besoin de te dire qu'il ne m'arrive jamais de lire tes lettres ou de penser à toi sans une émotion sérieuse, car bien sérieuse est la destinée que Dieu t'a faite. Un homme de génie a dit que la plus rare et la plus méritoire chose qu'il puisse y avoir dans l'homme, c'est l'aptitude à *une résignation active*. Or, c'est précisément cette aptitude-là que ta destinée semble t'être proposée d'exercer et de développer en toi. Que Dieu qui t'a imposé cette tâche te donne aussi la force physique et morale d'y suffire. Adieu, ma bonne fille.

Перевод:

Эмс. 19/31 июля 1859

Любезная моя дочь, я счастлив, что в этом письме, которое пишу в Эмсе, могу сообщить тебе только хорошие вести. Прибыв сюда третьего дня, я застал Дарью в таком состоя-

нии здоровья[1], что мои тревоги в значительной мере улеглись. Я застал ее почти такой же, какой оставил при отъезде из Петербурга, кроме, разве, одного дополнительного нюанса — упадка нервов. Разумеется, это далеко до удовлетворительного состояния здоровья, но, слава Богу, еще дальше от того, чего я боялся вследствие преувеличенных рассказов, которых наслушался. На другой день после моего приезда сюда я собрал консилиум из *четырех* докторов, и если я остановился на столь скромном их числе, то только повинуясь протестам нашей больной. Четверо докторов — это *Карель*, Раух, прежнее медицинское светило в Петербурге, а также два местных врача — Франк и Кобел. После долгих дискуссий, сопровождаемых, вернее, предшествуемых тщательным осмотром и обследованием, они единодушно одобрили Эмс, к великой радости твоей сестры, прибавив к купанию прием внутрь воды Эгра. Месяц спустя после этого лечения они пропишут ей в случае необходимости воды Швальбаха, которые можно заменить растиранием. Затем они рекомендовали твоей сестре пройти курс лечения виноградом в Швейцарии — что, между прочим, очень понравилось Дарье и может великолепно осуществиться, если Мещерские — Карамзины, предполагающие пройти такое же лечение в Веве, отправятся туда в ту пору, когда Дарья закончит свое лечение здесь; до сих пор все великолепно. Но есть пункт, по которому трудно заставить ее прислушаться к голосу рассудка, — это необходимость, *совершенная* необходимость провести зиму в Италии, к примеру в Ницце, и тем не менее по единодушному заверению четверых докторов тут ключ всего лечения. Они все четверо решительно объявили, что в этом заключается самое главное условие успеха. До сих пор, как ты знаешь, Дарья не хочет об этом и слышать, но я все же не отчаиваюсь в конце концов призвать ее к голосу рассудка, в сложившихся обстоятельствах это не составит для нее особого труда, ибо я не сомневаюсь в том, что императрица-мать, олицетворение самой доброты, примет ее к себе под крылышко, чтобы облегчить ее пребывание зимой в Ницце... И я передаю в твои руки, любезная Анна,

это дело, которое только ты, как никто другой, можешь довести до благополучного конца. А довести до конца его нужно, поскольку, повторяю, говорят, что это главный пункт... Мы нашли Дарью в одной гостинице с Муравьевыми[2], которые с ней чрезвычайно нежны и предупредительны. Они предполагают пробыть здесь еще две-три педели; я очень этому рад и ради Дарьи и немного ради себя, потому что хочу употребить с пользой то время, что они здесь пробудут, и съездить *в Париж*, мне бы очень хотелось взглянуть на его физиономию в настоящую минуту, если только можно назвать физиономией гримасу и нервное подергивание...[3] По возвращении я сменю Муравьевых и позднее рассчитываю повезти ее в Швейцарию к Мещерским, если эта комбинация осуществится... Но поскольку в любом случае все это может случиться не раньше сентября, я вынужден просить дополнительный отпуск на полтора-два месяца и надеюсь, что Ковалевский и тем более государь мне не откажут...[4]

Что касается до моей жены, которая вынуждена из денежных соображений думать о том, как бы скорее вернуться домой, она очень раздосадована, что смогла уделить Дарье всего одни сутки, но Ментки[5], уже две недели ожидавшие ее в Остенде, терзали ее как колючка в теле, и по своему обыкновению она проявила тем более добросовестное усердие, чтобы встретиться с ними, что не видела для себя удовольствие от этой встречи, не имеющей и в самом деле никакой привлекательности.

Но довольно о других — больше всего мне бы хотелось поговорить о тебе. Любезная моя дочь, надо ли говорить, что я никогда не могу читать твои письма или думать о тебе без глубокого волнения, ибо глубоко значительную судьбу даровал тебе Господь. Один гениальный человек сказал, что самое редкое и самое достойное качество в человеке — это способность к *смиренному деланию*. И вот развивать и воспитывать в себе такую способность, видно, как раз и уготовала тебе судьба. Пусть Господь, возложивший на тебя это бремя, даст тебе физических и нравственных сил, чтобы перенести его. С Богом, моя славная Анна.

87. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

8/20 августа 1859 г. Париж

Paris. 8/20 août 1859

Oui, ma fille chérie, je le reconnais, je m'en accuse, je suis un père absurde, un père indigne, une espèce d'Enfant prodigue en fait de père, ce qui ne m'empêche pas de t'aimer tout aussi tendrement que l'enfant prodigue aimait, je suppose, ce père auquel il est resté si longtemps sans écrire et même sans lui donner de ses nouvelles par une autre voie, tandis que moi, je sais qu'à l'heure qu'il est tu dois avoir été informée par l'excellent Mr. Eblenz de mes faits et gestes et surtout de l'imminence de mon départ pour aller te rejoindre[1]. Oui, dans 8 jours, je compte être auprès de vous. En attendant, je sais par maman, que tu es, Dieu merci, plus satisfaite de l'état de ta santé et que la cure te fait du bien[2]. Je suis impatient de m'en assurer par moi-même.

Hier j'ai revu Marie Mestch<ersky> et j'ai appris par elle le changement survenu dans les projets de ses beaux-parents[3]. Je ne veux pas préjuger d'ici la modification que cela pourrait faire subir aux tiens. Dans tous les cas je me mets entièrement à ta disposition et ne demande pas mieux que de faire ce qui pourra le mieux te convenir. Nous discuterons à loisir, à Ems, toutes ces questions.

Croirais-tu que ce n'est qu'aujourd'hui que nous nous sommes rejoints, mon frère et moi, bien que nous fussions tous les deux à Paris depuis plus de 8 jours. Il prétend avoir ignoré jusqu'à l'éventualité de ma présence à Paris, tandis que moi j'étais persuadé, qu'à défaut de mes lettres, il devait le savoir soit par celles de maman, soit directement par toi, car je ne supposais pas possible que, passant comme il l'a fait, ou au moins comme il l'aurait pu faire, à 25 minutes d'Ems, il n'y fût pas allé pour te voir. Et soit dit entre nous, j'ai peine à comprendre, et encore plus à lui pardonner, une pareille brutalité.

Enfin... C'est par lui que j'ai appris le retour d'Anna, de Hapsal[4], à la suite de l'heureux accident arrivé à la Grande petite Duchesse. Mais j'aimerais avoir des nouvelles directes d'Anna, soit sur ce qui la concerne, elle personnellement, soit sur ce qui a



rapport à toi. Puis j'attends aussi avec une certaine impatience, bien qu'avec une entière sécurité, une réponse de P<étersbourg> à ma lettre à Kovaleffsky[5]. Et si, par hasard, cette réponse était déjà arrivée, je te prie de me la garder, jusqu'à mon retour.

Je ne te dis rien de ce que j'ai vu à Paris, d'abord, parce que cela ne t'intéresse pas, et puis que ce sont des impressions qui ne se racontent. Mais en définitive je suis très content d'être venu ici.

Maintenant, pour bien finir, laisse-moi te charger de mille tendresses, toutes pleines de reconnaissance, pour ta tante et pour Мих<аил> Ник<олаевич>[6], que je ne puis, encore une fois, suffisamment remercier de l'affection mieux que paternelle, qu'ils t'ont témoignée tous les deux.

Au revoir, à bientôt, ma fille chérie.

Перевод:

Париж. 8/20 августа 1859

Да, милая моя дочь, сознаюсь, каюсь, я несуразный отец, недостойный отец, нечто вроде блудного сына в роли отца, но это не мешает мне любить тебя столь же нежно, как, я полагаю, любил своего отца блудный сын, хоть он и не писал ему очень долго и даже вообще не подавал признаков жизни, тогда как я-то ведь знаю, что в данную минуту тебе уже известно от любезнейшего г-на Эбленца о моих делах и поступках и, главное, о предстоящем моем отъезде отсюда к тебе[1]. Да, через неделю я рассчитываю быть у тебя. Пока же я знаю от мама́, что у тебя, слава Богу, получше со здоровьем и что лечение идет тебе на пользу[2]. Мне не терпится убедиться в этом самому.

Вчера я опять виделся с Мари М<ещерской> и узнал у нее об изменениях, происшедших в планах ее свекра и свекрови[3]. Не хочу пока предрешать, как это обстоятельство может повлиять на твои планы. В любом случае предоставляю себя целиком в твое распоряжение и хочу только поступить так, как будет лучше для тебя. В Эмсе мы на досуге обсудим все эти вопросы.

Поверишь ли, мы с братом только сегодня встретились, хотя оба находимся в Париже больше недели. Он говорит, что даже и не предполагал, что может обнаружить меня в Париже, я же был уверен, хоть и пе писал ему, что он должен знать об этом из писем мама́ или от тебя, поскольку я не допускал возможности, чтобы, проезжая в 25 минутах пути от Эмса, как он это сделал или, по крайней мере, мог бы сделать, он не заглянул туда повидаться с тобой. И, между нами говоря, мне трудно понять и еще труднее простить подобную неучтивость.

И наконец... Именно от него я узнал, что Анна возвращается из Гапсаля[4] из-за счастливого происшествия с маленькой великой княжной. Однако я предпочел бы узнать от самой Анны обо всем, что касается ее лично, а также обо всем, что имеет отношение к тебе. Кроме того, я с некоторым нетерпением жду ответа из П<етербурга> на мое письмо к Ковалевскому, хотя совершенно уверен, что получу его[5]. Если случайно этот ответ уже пришел, прошу тебя сохранить его до моего возвращения.

Ничего не пишу тебе о том, что я видел в Париже, во-первых, потому, что это тебе неинтересно, а кроме того, о таких впечатлениях и не расскажешь. Но в конечном счете я очень доволен, что приехал сюда.

А теперь, чтобы закончить письмо как подобает, прошу тебя передать твоей тетушке и Михаилу Николаевичу[6], что я им очень признателен за более чем родственную заботу, которую они оба проявляют по отношению к тебе.

До скорого свидания, моя милая дочь.

88. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

25 августа/6 сентября 1859 г. Баден-Баден

Bade-Bade. 25 août/6 sept<embre> 1859

Eh bien, ma bonne et chère Anna, voici une question vidée et décidée. Daria se résigne à accepter pour l'hiver le séjour de Nice, et je lui dois la justice de dire qu'elle s'est exécutée de fort bonne grâce. Après nous être rejoints à Francfort, à mon retour de Paris,



il a été convenu entr'elle et moi — que nous irons à Heidelberg consulter Chelins sur son état et en général et en particulier sur la question du séjour d'hiver à Nice, et elle m'avait promis qu'elle accepterait l'opinion de Chelins, comme un arrêt définitif et sans appel. Ne l'ayant pas trouvé à Heidelberg, nous avons été le chercher à Bade, où il est établi pour le moment. Son avis, comme de raison, a été très explicitement concluant en faveur de Nice, et maintenant que la chose est décidée et archi-décidée en principe, c'est à toi, ma chère Anna, qu'il appartient d'en assurer la mise à exécution. Il est clair que Daria ne peut pas de son propre chef, en retrouvant l'Impératrice-mère à Vevey, lui adresser la demande de la garder auprès d'elle, quelque disposée que S<a> M<ajesté> puisse être à lui accorder cette faveur. Nous espérons donc que c'est l'Impératrice Marie qui par son intervention providentielle daignera arranger toute cette affaire, et elle mettrait le comble à ses bienfaits, si elle te chargeait, toi, de déclarer de sa part à Daria que non seulement elle l'autorise, mais qu'au besoin elle lui donne l'ordre positif de se conformer aux prescriptions des médecins, en se laissant attacher pour cet hiver au service de l'Impératrice-mère. Ceci contribuerait puissamment à mettre du calme dans l'esprit de ta sœur. — Quant à moi, tu peux bien croire que je suis tout disposé à lui tenir société pendant les quatre ou cinq semaines que durera sa cure en Suisse, et au besoin de l'accompagner même jusqu'à Nice, si c'était nécessaire. C'est même dans cette prévision qu' j'ai écrit il y a plus d'un mois déjà au Ministre Kovaleffsky pour lui demander une prolongation de congé jusqu'au octobre — mais à ma grande surprise, je n'ai pas reçu jusqu'à présent le moindre signe de vie. Tu pourrais, peut-être, ma chère Anna, me donner quelque éclaircissement à ce sujet. Car si K<ovaleffsky> a reçu ma lettre, il l'aura certainement mis sous les yeux de l'Empereur — ce succès que je demande et puis le demander avec d'autant moins de scrupule qu'en vérité il ne peut en rien préjudicier *l'intérêt du service*, attendu que l'excellent *Komaroffsky*[1] qui me remplace provisoirement dans mes fonctions ne demande pas mieux que de continuer ce provisoire et qu'il est de tout point *apte* à la chose. L'intérêt public par conséq<uence> n'aurait nullement à souffrir de mon absence

momentanée, et voilà ce qui me donne la confiance de même en dépit du silence de Kovaleffsky, que ma demande n'a pas été repoussée. Cependant un mot de certitude me ferait grand plaisir.

Ce n'est qu'à mon retour de Paris que j'ai été mis en possession de ta dernière lettre, vieille déjà d'un mois et plus... Ma pauvre fille chérie, tu es assurément une vaillante petite créature, et personne au fond du cœur ne t'admire plus que ton père et ne te sait plus de gré de lui ressembler aussi peu. Tu serais presque une petite sainte, si la *passion*, dans le sens le plus terrestre du mot, ne tenait pas tant de place dans l'accomplissement de ta tâche, et si tu n'avais pas pris pour devise l'adage allemand retourné : «Der *Tochter* schenk ich, die *Mutter* denk ich». Mais il est certain que l'objet de ton culte[2] mérite bien cette adoration absolue et que le Bon Dieu Lui-même ne saurait t'en vouloir.

Absorbée, comme tu es, et de tant de manières différentes, je comprends qu'aucun détail du dehors ne saurait t'intéresser. Ainsi je t'épargne tout ce que j'avais à te dire sur mon séjour à Paris qui, je l'avoue, a extrêmement grandi mon opinion en faveur de l'homme qui à l'heure qu'il est est la France toute entière... Et il est *bien fort* en ce moment...[3]

Quant à Bade qui est encore très animé et vraiment charmant, j'y ai retrouvé, comme de raison, une foule de Russes, mais ni Wiasemsky, ni Titoff, tous les deux en ce moment à Interlaken. Quant à Titoff, tu ne tarderas pas à le revoir à Pétersb<ourg>.

Maman dans deux jours d'ici sera à Paris, et j'espère qu'elle pourra réaliser la promesse qu'elle a faite à Daria de passer par la Suisse pour la voir. Moi, je t'écrirai aussitôt arrivé à Vevey. En attendant laissez-moi, ma fille chérie, vous embrasser encore une fois de tout mon cœur.

T. T.

Перевод:

Баден-Баден. 25 августа/6 сентября 1859

Что ж, моя славная, милая Анна, один вопрос исчерпан и решен. Дарья согласилась с необходимостью провести зиму в Ницце, и, я должен отдать ей должное, согласилась весьма

охотно. Встретившись с нею во Франкфурте после моего возвращения из Парижа, мы условились ехать в Гейдельберг для консультации с Шеленом по поводу ее здоровья, а также по поводу необходимости ехать на зиму в Ниццу, и она обещала мне, что беспрекословно подчинится решению Шелена как окончательному. Не застав его в Гейдельберге, мы отправились в Баден-Баден, где он находится в настоящее время. Его мнение, разумеется, определенно склонилось в пользу Ниццы, и теперь, когда решение принято и принято в принципе окончательно, теперь, любезная Анна, тебе предстоит воплотить его в жизнь. Очевидно, что Дарья не может сама при встрече с императрицей-матерью в Веве обратиться к ней с просьбой оставить ее при себе, как бы ее величество ни была расположена оказать ей эту милость. Потому мы надеемся, что государыня Мария Александровна своим покровительством уладит это дело, и она бы довершила свои благодеяния, если бы поручила тебе объявить от ее имени Дарье, что она не просто разрешает, но решительно приказывает ей подчиниться предписаниям докторов и поступить на эту зиму в распоряжение императрицы-матери. Это бы очень помогло успокоить твою сестру.

Что касается до меня, то, поверь, я готов быть рядом с ней в Швейцарии те четыре-пять недель, которые понадобятся для лечения, и в случае надобности сопроводить ее даже в Ниццу. Предусмотрев такую возможность, я написал больше месяца назад министру Ковалевскому письмо с просьбой продлить мне отпуск до октября. Однако, к моему великому удивлению, до сих пор я не получил в ответ ни малейшего признака жизни. Может быть, ты, любезная Анна, сумеешь разъяснить мне что-нибудь по этому поводу. Ибо если Ковалевский получил мое письмо, он непременно показал бы его государю. Я ожидаю положительного ответа и могу надеяться на него без особых угрызений совести, поскольку, по правде говоря, это ничуть не будет в ущерб *интересам службы*, ибо бесценный *Комаровский*[1], временно заменяющий меня на моем посту, не желает ничего лучшего, как продолжать это дело, к коему он весьма *способен*. Следовательно, обществен-

ные интересы ничуть не пострадают от моего временного отсутствия, вот почему, даже несмотря на молчание Ковалевского, я верю, что моя просьба увенчается успехом. Тем не менее письмо, подтверждающее мои мысли, меня бы очень порадовало.

Я получил твое последнее письмо только по возвращении из Парижа, оно пролежало более месяца... Моя бедная милая дочь, ты поистине отважное маленькое создание, и никто так не восхищается тобой в глубине души, как твой отец, который радуется, что ты так мало на него похожа. Ты стала бы почти святой, если бы *страсть* в самом земном смысле этого слова не занимала так много места при исполнении твоего долга и если бы ты не избрала своим девизом немецкую поговорку: «Der *Tochter* schenk ich, der *Mutter* denk ich»*. Но, без всякого сомнения, предмет твоего обожания[2] вполне его заслуживает, и сам милосердый Господь не попенял бы тебе за это.

Ты настолько занята, причем самыми разнообразными обязанностями, и я понимаю, что никакая подробность со стороны не может тебя заинтересовать. Поэтому я опущу все, что мог бы сказать о моем пребывании в Париже, благодаря которому, признаться, сильно выросло мое мнение о человеке, олицетворяющем ныне всю Францию... И в настоящую минуту он *очень силен...*[3]

Что касается до Бадена, еще весьма оживленного и поистине очаровательного, я там встретил, разумеется, целую толпу русских, но ни Вяземского, ни Титова среди них не было, оба сейчас находятся в Интерлакене. А Титова ты скоро увидишь в Петербурге.

Мама́ через два дня должна приехать в Париж, и я надеюсь, что она сумеет выполнить свое обещание и заедет повидать Дарью в Швейцарии. Я напишу тебе тотчас, как приеду в Веве. А пока позволь мне, любезная дочь, еще раз обнять тебя и прижать к сердцу.

Ф. Т.

---

* «Дочери дарю, а думаю о матери» (*нем.*).

89. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

1/13 сентября 1859 г. Баден-Баден

Bade-Bade. 1/13 sept<embre>

Ma fille chérie. J'ai reçu hier votre lettre et je pars[1]. Bade est aimable, mais ma fille l'est encore davantage[2]. Je serai près de vous, à la fin de cette semaine, et cette fois je tiendrai parole.

Je vous embrasse.

T. T.

Перевод:

Баден-Баден. 1/13 сентября

Моя милая дочь. Получил вчера от тебя письмо и выезжаю[1]. Баден мне мил, но дочь моя мне еще милее [2]. Я приеду в конце недели. На этот раз слова не нарушу.

Целую.

Ф. Т.

90. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

11/23 октября 1859 г. Женева

Genève. 11/23 octobre 1859

Merci, ma fille chérie, grand merci pour tes deux chères lettres[1], dont j'ai reçu la première, celle de Martigny, trois jours après qu'elle eût été écrite, et la seconde, celle qui est datée de Gênes, hier seulement. Toutes deux m'ont fait plus de plaisir que des lettres ne m'en font d'ordinaire et m'ont fait vivement sentir, à quel point vous m'étiez chère... Décidément, ma fille, vous n'aimez pas un ingrat... J'ai eu grand plaisir à suivre dans ta seconde lettre un itinéraire qui m'est connu en partie jusqu'à cette ville de Gênes qui m'est si bien connue...[2] Rien peut-être ne nous fait mieux sentir, mieux toucher au doigt la fragilité de notre existence individuelle que cette apparition des générations nouvelles, des jeunesses qui nous succèdent et nous remplacent dans les mêmes lieux, dans les mêmes voies, par où nous avons passés étant jeunes... Mais quel dommage, qu'en arrivant à Gênes, tu n'y aies pas retrouvé le même

21 Зак 7712

soleil resplendissant qui éclatait sur elle le jour où je la quittais. Il est vrai qu'à cette époque il était de vingt ans plus jeune... Enfin j'aime à croire qu'à l'heure qu'il est tu as été amplement dédommagée par le soleil de Nice et que tu t'es entièrement refaite à ses rayons qui doivent encore être bien généreux et bien vivifiants de toutes les fatigues et turbulations du voyage... J'amerais surtout en avoir *la certitude*, car ce que tu me dis de retour de cet accès qui est venu t'assaillir à l'improviste en présence du P<rin>ce de Carignan[3] (circonstance, d'ailleurs, très indifférente) ne laisse pas que de me tourmenter *un peu* et même *beaucoup*... De grâce, Daria, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour venir en aide aux éléments, chargés maintenant du soin de travailler au rétablissement et au raffermissement de ta santé, et au nombre de ces éléments, n'oublie pas le thé de C<1 нрзб> en un mot, désire de te bien porter aussi *passionnément* que je le fais, moi, pour toi... Il me tarde et beaucoup d'avoir des détails sur ton installation à Nice, où vous devez être arrivés depuis plusieurs jours — et si le *Génie du Lieu* t'a souri à ton arrivée...

Mais je m'aperçois que je ne t'ai pas encore expliqué, comment il y fait que douze jours après ton départ je suis encore dans ces parages qui, certes, n'ont plus rien d'attachant à l'heure qu'il est. Mais je suppose que tu tiens entre les mains l'explication de cette énigme sous le forme d'une lettre à mon adresse que le dernier courrier qui vous est arrivé de Pétersb<ourg> doit t'avoir apporté. Je serais très fâcheux au moins qu'il n'en fût pas ainsi... Ce qui m'arrive est une preuve de plus de l'inanité de nos calculs les plus raisonnables pour déposer le mauvais vouloir de la fatalité, aussi bien dans les petites choses, comme dans les grandes... Toi, qui as suivi depuis l'origine et à travers toutes ses péripéties ma transaction avec Hilferding au sujet de l'envoi de l'argent, tu peux me rendre le témoignage que rien n'a été négligé de ma part pour mener la chose à bien... et que l'homme le plus pratique et le plus circonspect ne s'y serait pas pris autrement... Eh bien, rien n'y a fait, la taquinerie du sort a prévalu sur tous mes calculs, et il se trouve que c'est aussi bêtement qu'inutilement que je me condamne depuis dix jours à croquer ici le marmot dans l'attente de cette bienheureuse lettre de change qui, malgré mes avertissements télégraphiques, n'en a pas

moins été me chercher là, où je n'étais pas... C'est au moins ce que je dois inférer de la communication de Hilferding-père qui m'écrit en date de *24* septembre dernier[4] qu'il m'allait expédier la susdite lettre de change par le courrier qui partit deux jours après pour Vevey... Le cher homme croyait assurément bien faire, et il est probable qu'à sa place tout autre en eût fait autant... Maintenant, de dire pourquoi l'avis que d'après tes sages inspirations je me suis empressé de faire parvenir en temps utile à Ch<arles> Péterson[5] n'a pas produit le résultat désiré. Voilà, certes, ce que je ne saurai... La seule chose qui n'est que trop certaine, c'est que je me suis damné *d'attendre inutilement*, ce qui est le comble des misères humaines... Et encore, si à l'heure qu'il est j'avais la certitude que cette chienne de lettre de change t'est réellement parvenue! Dans ce cas où tu l'auras déjà réexpédiée à Vevey, ou, sinon, je t'aurais demandée *de me l'envoyer sur-le-champ* à Berlin, à l'adresse de la Légation... Mais en voilà assez sur cette dégoûtante histoire... qui m'irrite à un point que je ne puis dire...

Et maintenant pour me retremper un peu l'esprit, quelques mots au sujet de l'Impératrice. Je suis plus touché que je ne puis dire de la bonté qu'elle a de te parler quelquefois de moi, tant pour mon propre compte que pour le tien. Je suis heureux que la seule fois, où il m'a été donné de l'approcher, l'impression qu'elle m'a laissée, je lie au souvenir de ces quelques beaux jours passés au milieu des scènes les plus splendides et les plus gracieuses de la création... Il y a aussi bien de la grâce dans cette grandeur si parfaitement humaine qui lui est propre...[6] Que Dieu la conserve...

Et toi aussi, ma fille chérie... Au revoir. Je me flatte d'avoir de tes nouvelles soit à Berlin, soit déjà à Weimar[7]. Je pars d'ici au plus tard après-demain.

Tout à toi.

Перевод:

Женева. 11/23 октября 1859

Благодарю тебя, любезная дочь, очень благодарю за два твоих милых письма[1], первое из которых, из Мартиньи, я получил через три дня после отправки и второе, из Генуи, толь-

ко вчера. Оба они доставили мне больше радости, чем обыкновенно приносят письма, и живо дали почувствовать, как ты мне дорога... В самом деле, моя дочь, ты любишь не неблагодарного человека... В твоем втором письме я с удовольствием следовал за тобой по отчасти знакомому мне маршруту до Генуи, столь памятной мне...[2] Ничто, наверное, не дает нам сильнее почувствовать, буквально ощутить кожей хрупкость нашего существования, как появление новых поколений, идущих по нашим следам и заменяющих нас в тех же местах и на тех же путях, по которым и мы проходили молодыми... Но как жаль, что в Генуе ты не обнаружила яркого солнца, радостно сиявшего над ней в тот день, когда я покидал ее. Правда, в ту пору оно было на двадцать лет моложе... Словом, мне бы хотелось верить, что в настоящую минуту ты полностью вознаграждена солнцем Ниццы и вполне оправилась под его лучами, еще достаточно щедрыми и бодрящими после всех тягот и треволнений путешествия... Мне бы особенно хотелось быть *уверенным* в этом, ибо то, что ты пишешь о своем повторном приступе, неожиданно случившемся в присутствии принца Кариньянского[3] (обстоятельство, впрочем, совершенно неважное), обеспокоило меня *немного* и даже, признаться, *сильно*... Прошу тебя, Дарья, сделай все, что в твоих силах, чтобы помочь тем средствам, которые предназначены содействовать поправлению и укреплению твоего здоровья, и в числе этих средств не забывай про отвар <1 нрзб> одним словом, желай своего выздоровления так же *горячо*, как желаю его я... Мне очень не терпится узнать подробности о том, как ты устроилась в Ницце, куда вы должны были приехать уже несколько дней назад, и понять, улыбнулся ли тебе *гений места* при твоем приезде...

Но я вспомнил, что еще не объяснил, как случилось, что я задержался уже на двенадцать дней после твоего отъезда в этих краях, не имеющих об эту пору ничего привлекательного. Хотя я предполагаю, что ты держишь в руках объяснение этой загадки в виде письма, обращенного ко мне и присланного с последним курьером из Петербурга. Я буду очень огорчен, если это не так... Все, что со мной произошло, лиш-

ний раз подтверждает тщету наших самых благоразумных намерений, пытающихся противостоять злой воле рока как в малых делах, так и в больших...

Ты, с самого начала следившая за всеми перипетиями моей договоренности с Гильфердингом по поводу присылки денег, ты можешь засвидетельствовать, что я ничем не пренебрег со своей стороны ради того, чтобы довести дело до благополучного конца... и даже самый практический и предусмотрительный человек не мог бы сделать больше... Увы, ничего не поделать, насмешка судьбы взяла верх над всеми моими расчетами, и оказалось, что я глупо и бесполезно больше десяти дней жду у моря погоды ради благословенного векселя, который, несмотря на все мои предупреждения телеграммами, отправился искать меня там, где меня уже нет... Во всяком случае, такой вывод я сделал из сообщения Гильфердинга-отца, который *24* сентября писал мне[4], что пошлет пресловутый вексель с курьером, отправляющимся два дня спустя в Веве... Милейший человек, разумеется, хотел сделать лучше, и, возможно, на его месте любой поступил бы так же... Теперь сказать, почему уведомление на имя Карла Петерсона[5], сделанное мною по твоему разумному совету, не имело желанного успеха. Вот уж чего я не понимаю... Единственно верно только то, что я приговорен к *бесполезному ожиданию* вдобавок ко всем прочим неприятностям... Да еще если бы я был вполне уверен, что ты на самом деле получила этот проклятый вексель! В таком случае ты могла уже отправить его в Веве, а если нет, то прошу, *пошли мне его немедленно* в Берлин, на адрес посольства... И довольно об этой отвратительной истории... не могу выразить, как она меня раздражает...

А теперь, чтобы немного улучшить настроение, несколько слов о государыне. Не могу сказать, как я тронут ее добротой, тем, что она говорила несколько раз обо мне с тобой и на мой счет и на твой. Я счастлив, что впечатление, оставленное ею в этот единственный раз, когда я был удостоен чести приблизиться к ней, вызывает в моей душе воспоминания о нескольких самых прекрасных днях, проведенных мною среди самых

великолепных и грациозных явлений со дня творения... В ее величии, сочетающемся со свойственной ей человечностью, столько изящества...[6] Храни ее Господь...

И тебя тоже, моя любезная дочь... До свидания. Надеюсь получить от тебя весточку либо в Берлине, либо уже в Веймаре[7]. Уезжаю отсюда самое позднее послезавтра.

Душевно преданный тебе.

91. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

24 октября/5 ноября 1859 г. Берлин

Berlin. 5 novembre/24 octobre 1859

Que Dieu vous bénisse, ma fille chérie, et vous tienne compte de votre piété épistolaire. C'est encore à Weimar[1] que j'ai reçu la lettre de change égarée, avec votre p<ost>-scriptum si fervent, et hier m'est parvenue ici ta lettre du 16/28. Je l'accepte comme un heureux augure pour mon grand voyage. Car c'est ce soir que je me lance définitivement, non pas dans l'éternité, mais dans l'infini et surtout dans l'incertain. Oh, ma fille, que l'on est incomparablement mieux sur les bords de la Méditerranée, bercée par le chant constant de ses vagues[2], même assourdi par ses éclats et ses tempêtes, qu'on y est mieux que dans les brumes silencieuses et glaciales où je vais redescendre...

Mets bien à profit la vie qui t'entoure et absorbes-en le plus que tu pourras. — Je t'écrirai plus longuement aussitôt arrivé à Pétersb<ourg>. — Les nouvelles que tu me donnes de la santé de Kitty me désolent[3]. Il faut absolument qu'au printemps prochain elle aille te rejoindre aux eaux d'Allemagne. — J'ai eu hier des nouvelles de maman et par ricochet d'Anna, satisfaisantes. Je leur ai envoyé ta lettre. Les Maltitz qui ont été très heureux de me revoir, te font dire mille tendresses.— Encore une fois, soigne-toi bien, ma fille chérie, et quand il t'arrive de regarder cette belle Méditerranée, tantôt brillante et calme, tantôt agitée, donne aussi un souvenir à ce flot plus modeste du lac de Genève, que nous regardions par ta fenêtre au coucher du soleil, avec ses montagnes si sérieuses qui le regardaient comme nous.



Et puissions-nous nous revoir au printemps prochain. Au reste, en allant à Pétersb<ourg>, j'ai le sentiment de me rapprocher de toi...

Le témoignage de souvenir que l'Impératrice a bien voulu te charger de me transmettre, me pénètre de reconnaissance. Mets-en l'hommage à ses pieds, où je voudrais bien aller me mettre en personne — et rappelle-moi dans l'occasion au gracieux souvenir de ta charmante voisine, la C<omt>esse Schouvaloff. Adieu, ma fille chérie. Que Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Берлин. 5 ноября/24 октября 1859

Да благословит тебя Бог, милая моя дочь, и да воздаст тебе за твое эпистолярное прилежание. Еще в Веймаре[1] я получил затерявшийся почтовый перевод с твоей столь обстоятельной припиской, а вчера сюда пришло твое письмо от 16/28. Я считаю это хорошим предзнаменованием для моего великого путешествия. Ибо как раз сегодня вечером я решительно погружаюсь если не в вечность, то, по крайней мере, в бесконечность и уж во всяком случае в неопределенность. Ах, дочь моя, насколько же лучше чувствуешь себя на берегах Средиземного моря под немолчный, убаюкивающий говор его волн[2] и даже под оглушительные раскаты его бурь, насколько же лучше чувствуешь себя там, нежели среди безмолвных ледяных туманов, в которые мне скоро предстоит погрузиться...

Так вбирай же в себя полнее жизнь, тебя окружающую, впитывай ее в себя как можно больше. — Тотчас же по приезде в Петербург я напишу тебе более подробное письмо. — То, что ты сообщаешь о здоровье Китти, очень меня огорчает[3]. Будущей весной ей непременно нужно поехать с тобой на воды в Германию. Вчера я получил удовлетворительные известия о мама́ и косвенным путем об Анне, также неплохие. Я послал им твое письмо. Чета Мальтиц очень была рада повидаться со мною, они шлют тебе самый сердечный привет. Еще раз, лечись хорошенько, милая дочка, и когда будешь любоваться прекрасным Средиземным морем, порою сверка-

ющим и спокойным, а порою бурным, вспомни и более скромные волны Женевского озера, которые мы созерцали из твоего окна при заходе солнца, вспоминай и величественные горы, созерцавшие его вместе с нами.

Хорошо бы нам увидеться весной. Впрочем, я отправляюсь в Петербург с ощущением, что приближаюсь к тебе.

То, что императрица соблаговолила вспомнить обо мне и передать мне через тебя привет, преисполняет меня благодарностью. Повергни изъявление этой благодарности к ее стопам, я хотел бы сам к ним припасть, — и при случае передай мой поклон своей очаровательной соседке графине Шуваловой. Прощай, моя милая дочь. Храни тебя Бог.

92. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

4/16 или 5/17 ноября 1859 г. Петербург

НА ВОЗВРАТНОМ ПУТИ

I

Грустный вид и грустный час —
Дальний путь торопит нас...
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край...
Путь далек — не унывай...

Ах, и в этот самый час,
Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой,
Дышит в зеркале Лемана...[1]
Чудный вид и чудный край —
Путь далек — не вспоминай...

II

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой...



Все голо так — и пусто-необъятно
　　В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
　　Стоячих вод, покрытых первым льдом.

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
　　Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
　　Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
　　Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
　　В лазурные глядятся озера...[2]

Voici, ma fille chérie, quelques pauvres rimes, qui m'ont servi à tromper les ennuis d'un fastidieux voyage et que je t'envoie en guise d'une longue lettre...

Pour être juste, cependant, je dois te dire qu'en ce moment même brille un très beau soleil — non pas, il est vrai, sur des rosiers ou des orangers en fleur, mais bien sur de jeunes glaçons, fraîchement épanouis.

Hier je suis allé, à Tsarskoïe voir Anna que j'ai trouvée assez bien de santé et d'humeur. Nous avons comme de raison longuement parlé de toi... Est-il vrai, que tu as repris en dernier lieu, tes évanouissements d'autrefois? J'avais eu pourtant de meilleures nouvelles de ta santé, par la voie de la C<om>tesse Panine[3]. — Ah, ma fille chérie, qu'il me tarde d'être enfin rassuré sur ton état. — Je te confie à la garde du bon Dieu et à son beau soleil d'Italie.

Перевод:

Вот, моя милая дочь, несколько скромных рифмованных строк, они помогли мне отвлечься от тягот надоевшего путешествия, посылаю их тебе вместо длинного письма...

Однако справедливости ради должен тебе сказать, что в эту самую минуту ярко светит солнце, правда, озаряет оно не

розовые кусты и не цветущие апельсиновые деревья, а свежие, только что распустившиеся сосульки.

Вчера я отправился в Царское повидаться с Анной и нашел ее в добром здоровье и довольно хорошем настроении. Как и следовало ожидать, мы много говорили о тебе... Правда ли, что в последнее время у тебя опять бывают обмороки? А ведь у меня были — через графиню Панину[3] — более благоприятные известия о твоем здоровье. — Ах, милая моя дочь, когда же наконец я буду спокоен за тебя. — Да хранит тебя Бог, вверяю тебя Ему и прекрасному солнцу Италии.

Комментарии



1850-е гг. — время творческой зрелости Тютчева, зрелости поэта, философа и политического мыслителя.

Эти годы — тяжелое время для Тютчева, заполненное длившейся годами личной драмой, сложностями с устройством жизни повзрослевших детей, материальными трудностями, неналаженным бытом.

Эти годы — тяжелое время для России, когда империя, занимавшая первенствующее положение на европейском континенте, потерпела в Крымской войне 1853–1856 гг. сокрушительное поражение. Результатом было падение международного престижа страны, больно ударившее по всем мыслящим людям. Общественные потрясения и личные невзгоды проходили через ум, душу и сердце Тютчева, определяли настрой его поэтического творчества.

Революционные события 1848 г. в Западной Европе отозвались во всех областях российской жизни, вызвали к жизни знаменитые политические предвидения Тютчева, которым внимали и которые ценили тютчевские собеседники и корреспонденты. Тютчев считал Россию главной и едва ли не единственной силой, борющейся с революцией как мировым злом. Он писал К. Пфеффелю, своему единомышленнику и одному из своих самых активных корреспондентов, о катастрофе, приведшей к установлению во Франции республики, и социализме как истоке болезни, «разъедающей общество» (см. письмо 7). Тютчевское понимание социализма было близко к представлениям крупнейшего политического мыслителя своего времени славянофила А.С. Хомякова.

Главным содержанием российской жизни после Крымской войны стала полная столкновений и противоречий подготовка крестьянской реформы, призванной сломать многовековой уклад. Эрн. Ф. Тютчева в письме К. Пфеффелю передавала слова мужа: «В петербургском обществе <...> весьма мало интересуются вопросом, который в большей или меньшей степени касается каждого, — я имею в виду великое дело освобождения крестьян. В этой стране люди решительно легкомысленны, да к тому же еще глупы и невежественны» (*ЛН-2*. С. 299). Глубокий внутренний кризис вел страну, по мнению Тютчева, к катастрофе. Передавая особенности тютчевской мысли, И.С. Аксаков писал: «Взор Тютчева был очевидно устремлен только па конечные результаты, не

останавливаясь на возможных промежуточных случайностях» (*Биогр.* С. 210).

Отношение Тютчева к России было двойственным: он верил в ее высокое предназначение, верил в избранность русского народа и одновременно с большим трудом переносил повседневные тяготы российского бытия. В силу сложившихся обстоятельств Тютчеву приходилось о многом умалчивать. И потому столь важное значение обретает его переписка, где суть воззрений поэта и мыслителя проявилась во всей глубине. Обращаясь к эпистолярному наследию Тютчева, необходимо вникать не только в смысл написанного, не только прочитывать между строк, но и разбираться, что скрыто, о чем и почему поэт *не пишет*. В первую очередь это касается его переписки со второй женой, Эрнестиной Федоровной, игравшей огромную роль в его жизни. Большинство публикуемых в настоящем томе писем адресовано ей.

Нередко Эрнестина Федоровна брала на себя роль вдохновительницы поэта: «Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне» (*ЛН-2*. С. 241). «Муж продиктовал мне несколько строк на злободневные политические темы. Он находился в таком нервном возбуждении, что не в состоянии был писать сам, но вы должны рассматривать вложенные сюда листочки как письмо от него», — писала она К. Пфеффелю (там же. С. 248). Многолетний обмен политическими и литературно-философскими размышлениями между Тютчевым и Пфеффелем осуществлялся преимущественно через Эрнестину Федоровну. Она писала от имени мужа и многим другим, как, например, П.А. Вяземскому: «Мой муж так и не закончил письмо, которое начал писать пять недель назад и о котором я в свое время вам сообщила. Он предпринял труд слишком грандиозный, утомился, не добравшись до середины, и на этом все остановилось. Быть может, мы найдем когда-нибудь эти листки в его портфеле, заботливо сохраненные автором и совершенно им позабытые» (там же. С. 245). В комментариях к письмам Тютчева содержатся обширные выдержки из переписки его жены, прекрасно иллюстрирующие особенности характера поэта.

Став женой русского поэта, Эрнестина Федоровна всей душой приняла Россию как родину своего мужа. Вступая в брак с Тютчевым, она не знала русского языка, и его поэзия долгие годы ускользала от ее понимания. В 1853 г. в одном из писем Эрн. Ф. Тютчевой падчерице Анне есть строки, замечательно передающие обстановку в доме поэта и настроение его жены, вполне осознающей значение поэзии мужа: «Вечерами папа́ читает нам по-русски и по-француз-



ски, и я так счастлива, что понимаю почти все, когда он читает по-русски. Вечера, проведенные таким образом, под звук его мягкого и звонкого голоса, для нас, его слушательниц, очаровательны» (там же. С. 253).

Эрн. Ф. Тютчева играла исключительную роль в поддержании сплоченности семьи, сложной по составу: взрослые дочери от первого брака поэта, дети-подростки от второго брака... В письме 1852 г. Анны Тютчевой к подруге, О.Н. Смирновой, дочери известной мемуаристки А.О. Смирновой, представлена живая зарисовка семейной жизни: «Дом наш представляет собой нечто вроде начальной школы, основанной на взаимном обучении. Мамá учит трех моих сестер английскому языку, моя сестра обучает меня русскому. Я же даю Мари и Ивану уроки по всем предметам, ибо у нас нет гувернантки, и меня эта обязанность очень занимает» (там же. С. 251).

В 1850-е гг. все более значительную роль в жизни Тютчева начинают играть его повзрослевшие дочери, особенно старшая, Анна. Дочери были любящими, великодушными и понимающими собеседницами, читательницами и ценительницами творчества Тютчева-поэта. Для понимания реалий повседневной жизни Тютчева, наложивших яркий отпечаток на его творчество, большую ценность представляет переписка дочерей между собой и с Эрнестиной Федоровной.

Крайне болезненной для всех членов тютчевской семьи темой были отношения Тютчева и Е.А. Денисьевой. Несмотря на то что прямого упоминания о ней, в недавнем прошлом подруге тютчевских дочерей, нигде нет, их письма полны эвфемизмов: например, Эрнестина Федоровна пишет Анне Тютчевой: «...в силу тысячи разных причин ему необходимо порвать с некоторыми дурными привычками» (там же. С. 259).

В 1850-е гг. Тютчев вел обширную переписку, которая отразила разносторонние интересы поэта, его внимание к политическим и общественным проблемам, его непреходящую заботу о семье, его светские и литературные связи. Среди тютчевских корреспондентов — его сестра Дарья и ее муж Н.В. Сушков, с которыми он обсуждал семейные и литературно-общественные вопросы; его давние друзья и постоянные собеседники: П.А. Вяземский, П.Я. Чаадаев, М.П. Погодин, немецкий публицист К. Пфеффель (не только друг, но и родственник). Для писем к ним характерны дружеская интонация и откровенность. По служебным, литературным и светским делам Тютчев переписывался с Е.П. Ковалевским, А.М. Горчаковым, С.С. Уваровым, Н.Ф. Щербиной, А.И. Козловой, В.А. Черкасским, вел. кн. Марией

Николаевной. Для каждого корреспондента Тютчев находил свой стиль и свою манеру обращения. Он всегда был блестящ, остроумен и обаятелен. Его письма, в основном написанные по-французски, отличает прекрасный слог, многие представляют собой законченные литературные миниатюры.

В том включено 92 письма. На русском языке — № 2, 3, 28, 45, 59, 61, 67, 71, 74, 78, 79. Остальные письма написаны по-французски. Публикуются впервые: № 10, 30, 31, 58, 62, 73, 75–79, 83, 86, 88, 90. Тексты писем подготовлены *Л.В. Гладковой* (1, 3–7, 13, 22, 27, 28, 30–32, 45, 52, 55, 58–63, 67, 68, 70, 71, 74–80, 82, 83, 86–92), *Н.В. Кисловой* (8–12, 14–21, 23–26, 33–36, 38–44, 46–51, 53–54, 56–57, 64–66, 69, 72, 73, 81, 84, 85), *М.К. Тюнькиной* (2, 29, 37). Переводы с французского языка выполнены *Л.В. Гладковой* (7, 30, 31, 52, 58, 60, 62, 70, 75–77, 83, 86, 88, 90), *Н.В. Кисловой* (10, 73), *М.К. Тюнькиной* (29, 37), а также использованы переводы из *Изд. 1984, ЛН-1, ЛН-2* и других печатных источников, отредактированные *Л.В. Гладковой* и *Н.В. Кисловой* (1, 4, 6, 8–9, 11–27, 32–36, 38–44, 51, 53–57, 63–66, 68–69, 72, 80–82, 84–85, 87, 89, 91–92). Текстологический комментарий подготовлен *Л.В. Гладковой*, историко-литературный комментарий написан *Н.И. Цимбаевым* и *Л.В. Гладковой* (7, 30, 31, 52, 60, 70, 75, 77–79, 83, 86, 88, 90).

Приносим благодарность А.К. Бегининой, любезно предоставившей для настоящего издания автографы писем Ф.И. Тютчева, хранящиеся в *Собр. Пигарева*. Также благодарим сотрудников РГАЛИ, РГБ, РГИА, ГАРФ, ГИМ, *ИРЛИ* за помощь в работе над этим томом.

1. Д.И. СУШКОВОЙ

Д.И. Сушкова — младшая сестра Тютчева. Она и ее муж, литератор Н.В. Сушков, были людьми, близкие отношения с которыми поэт сохранял долгие десятилетия. С этой семьей поэта связывала не только родственная, но и дружеская приязнь.

Тютчев любил сестру, в письмах не называл ее иначе как «любезная Дашинька», «добрая Дашинька», «любезный друг» и ценил в ней то, что она всегда понимала его и от души принимала таким, каков он есть, без осуждения, без претензий; ценил и то, что в ее доме с 1853 г. постоянно жила его младшая дочь от первого брака Екатерина (Китти). Не менее высоко ставил он и дружбу с Н.В. Сушковым, с которым познакомился только после женитьбы того на Д.И. Тютчевой в 1836 г., и сразу почувствовал к нему «дружеское, братское» расположение. Он писал в письме Сушкову от 3 июля 1836 г.: «Сердцу, которое умеет так чувствовать и любить, сестра могла смело вверить судьбу свою». В том же письме он характеризовал сестру: «Теперь не мне говорить вам о добрых свойствах жены вашей. Ум и чувствительность, конечно, хороши, но вы, без сомнения, выше всего оценили в ней ее редкое прямодушие — корень всякого добра. С самого детства это свойство составляло главную черту ее характера» (т. 4 наст. изд. С. 48–49).

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 4–5 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 489–490.

[1] Тютчев благодарил Сушкова за присланный им экземпляр «Комедия без свадьбы. Комедия в одном действии. В вольных стихах. Н.В. Сушкова». Пьеса была напечатана в Москве в 1849 г. в Университетской типографии. В тютчевской библиотеке хранится экземпляр без титульного листа, на обложке которого рукой Сушкова написано другое заглавие: «Сыграл ни в чью. Пословица в лицах, в одном действии, в вольных стихах Н.В. Сушкова». Автор вынес здесь в заглавие заключительную реплику героя комедии: «А все комедия без свадьбы остается, а я сыграл ни в чью». В текст Сушков внес поправки, которыми вос-

22 Зак 7712

станавливал искаженные цензурой места (описание экземпляра см.: Белевцева Н.П. Книги, принадлежавшие Тютчеву. – *ЛН-2.* С. 638–639).

[2] Ирония Тютчева, обращенная на модный свет, объяснима. После революционных событий 1848 г. и установления во Франции республиканского правления отношения с ней были надолго испорчены, что в культурной сфере нередко находило выражение в насмешках над галломанией и даже в стремлении избегать общения на французском языке, который тем не менее оставался языком аристократических салонов, где могла быть сыграна легкая комедия Сушкова.

[3] Племянница Н.В. Сушкова – гр. Е.П. Ростопчина (урожд. Сушкова). Еще ребенком, по ее словам, она, «под впечатлением восторга от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина, сделала сама попытку заняться поэзией и написала оду на Шарлотту Корде, но впоследствии сожгла ее». Двадцати лет она опубликовала в альманахе «Северные цветы» стихотворение «Талисман» под псевдонимом Д-а. В замужестве (за сыном Ф.В. Ростопчина, известнейшего московского главнокомандующего, занимавшего этот пост во время войны с Наполеоном, А.Ф. Ростопчиным, писателем и библиографом) начала часто публиковаться, вначале подписываясь Р-а, Р-Е. П., а позже и полным именем.

Ее стихотворения в 1830–1840-е гг. имели большой успех, о них лестно отзывались В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Современники видели в Ростопчиной не только «молодую женщину с черными ясными глазами, с умным очаровательным лицом, грациозную в движениях», но и «поэта-графиню», обладавшую «поэтически чистой и благородной душой» (цит. по: *Ростопчина.* С. 5). Первый сборник Ростопчиной (1841) встретил благосклонный прием публики и заслужил восторженный отзыв литературного критика П.А. Плетнева. В 1846 г. в Риме соотечественники увенчали ее лавровым венком. Отличительной чертой поэзии Ростопчиной, по замечанию В.Г. Белинского, была «светскость». Поэтесса воспевала балы, утонченные аристократические отношения, ценила эстетику литературных салонов. Белинский, находя у нее «поэтическую прелесть» и «высокий талант», подчеркивал пустоту содержания и служение автора «богу салонов» (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 457).

Новое драматическое произведение Ростопчиной – драма в стихах «Нелюдимка» (Москва, 1850). Сомнения Тютчева в даре Ростопчиной-драматурга были вполне основанны, да и поэзию Ростопчиной он ценил не слишком высоко, отчетливо понимая степень ее литературного дарования, однако симпатизировал ей, хотя нередко

отзывался о ней иронично; ее письма именовал «кокетливо-любезными». В октябре 1844 г. в письме к родителям он передавал приветы Н.В. Сушкову: «Я часто встречаю его поэтическую племянницу, особенно у ее приятельницы госпожи Смирновой, где на днях я обедал с ней. Не знаю, умножились ли ее добродетели, но достоверно то, что она не приобрела более такта, нежели было у нее в прошлом» (т. 4 наст. изд. С. 299).

В 1850 г. им было написано стихотворение «Графине Е.П. Ростопчиной (в ответ на ее письмо)», которое содержало и отклик на драматическую поэму «Нелюдимка» (т. 2 наст. изд. С. 26).

Ростопчина же относилась к Тютчеву почти благоговейно, что при ее трудном характере было редкостью.

[4] Речь идет о кн. М.А. Львовой и о ее дочери Е.А. Львовой, в замужестве гр. Бобринской.

[5] Кн. М.А. Голицын — дипломат и давний знакомый Тютчева, его постоянный собеседник по вопросам внешней политики; его жена, Мария Ильинична (урожд. кнж. Долгорукова). В начале Крымской войны А.Ф. Тютчева писала в дневнике: «Мой отец, Михаил Голицын и Муханов обсуждали опубликованную английским правительством тайную переписку, имевшую место между ним и нашим правительством незадолго до войны. В то время оба правительства собирались делить шкуру медведя, не убив его» (*Тютчева*. С. 156).

[6] В 1849 г. П.Я. Чаадаев заказал у парижского литографа Каттье свой литографический портрет, который рассылал литераторам и светским знакомым. Для того времени это был поступок неординарный, продиктованный отчасти двойственной репутацией «басманного философа», отчасти его высокомерным отношением к окружавшим. Иногда литографированный портрет рассылался и без ведома Чаадаева, что приводило к долгим и неприятным объяснениям. Тютчев был чаадаевским посредником при рассылке портрета лицам, жившим в Петербурге и за границей. В 1850 г. Эрн. Ф. Тютчева писала Вяземскому: «Чаадаев поручил Тютчеву распространить в Петербурге литографии своего портрета, но хранить эти 10 картин дома было скучно. Кому их предложить? К счастью, я не знаю, кто из нас двоих вспомнил, что завтра день св. Филиппа. Знакомый нам Филипп жаждал поздравления. Тотчас же мы свернули одну из 10 литографий, сделали из нее красивый пакет и на внешней стороне я под диктовку мужа написала: “Почтеннейшему имениннику Филиппу Филипповичу Вигелю”. Далее шли поздравительные стихи, написанные Тютчевым от имени Чаа-

даева». Вигель был давним врагом Чаадаева и шутку Тютчевых не оценил (см.: Наше наследие. 1988. № 1. С. 101).

[7] Брат поэта, Н.И. Тютчев, в семейном кругу был известен своим нежеланием вступать в брак и умением уклоняться от попыток родственников женить его. На протяжении десятилетий он брал на себя заботу о тютчевских делах по имению и регулярно высылал брату деньги, о чем упоминается ниже.

Симеон Столпник — христианский аскет, выходец из Малой Азии, проживший более ста лет (359–459). Прославился проповедью идеи самоограничения: «Можно владеть собою и без оков, можно привязать себя к делу и месту одним разумом и волею своею».

[8] Бульвар *Батиньоль* — до Наполеоновских войн неизвестный пригород французской столицы; один из ключевых пунктов обороны Парижа в 1814 г.; в 1830-х гг. начал быстро заселяться и к концу 1840-х гг. превратился в фешенебельный район, населенный зажиточными буржуа, а также представителями артистического и литературного мира. После февраля 1848 г. правительство Николая I приказало всем российским подданным покинуть пределы Франции и прервало с ней дипломатические отношения. Тютчев извещает о том, что в самом конце 1849 г. последовала долгожданная отмена стеснительных ограничений на поездки во Францию.

2. Ф. Н. ГЛИНКЕ

Федор Николаевич Глинка — прозаик, поэт и публицист, в молодости декабрист, активный общественный деятель; в 1840–1850-е гг. был идейно близок Тютчеву, встречался с ним на литературных вечерах, в середине 1850-х гг. разделял увлечение Тютчева спиритизмом.

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 421. Л. 1–1 об.

Первая публикация — отрывок: Поэты тютчевской плеяды / Сост. В. Кожинов, Е. Кузнецова. М., 1982. С. 191; полностью, с неточностями: Прометей. 1983. № 13. С. 339–340; в окончательном прочтении: Меценат и мир. 2001. № 14–16. С. 144–145 (публикация М.К. Тюнькиной).

[1] О какой именно историко-политической статье тютчевского цикла 1848–1849 гг. идет речь, установить не удалось. Существенно

важным представляется единомыслие двух поэтов и православных мыслителей.

[2] Авдотья Павловна Глинка всецело разделяла религиозно-философские искания мужа, в ряде случаев выступала как его соавтор (поэма «Таинственная капля»).

3. М. П. ПОГОДИНУ

М.П. Погодин — товарищ Тютчева по Московскому университету и кружку С.Е. Раича. В 1845 г., по возвращении в Россию, Тютчев возобновил знакомство с ним. К этому времени Погодин, известный историк и литератор, покинул Московский университет, где он был профессором, и сосредоточил свои силы на издании журнала «Москвитянин». Тютчева и Погодина до некоторой степени сближали интерес к славянским народам и вера в великую историческую миссию славянства. Погодин был внимательным читателем политических статей Тютчева, высоко ценил его поэзию, особенно те его стихотворения, где поэт выражал свое видение современных европейских событий.

Печатается по автографу — Мураново. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1.

Первая публикация — без даты, как письмо к неизвестному: Новый путь. 1903. № 11. С. 15. С установленным адресатом и датой: *Изд. 1980.* С. 105.

[1] В 1850 г. в «Москвитянине» (№ 8. Кн. 2) была напечатана подборка тютчевских стихотворений, присланных автором по настоятельной просьбе издателя-редактора. Среди них: «Еще томлюсь тоской желаний...», «Итак, опять увиделся я с вами...», «Тихой ночью, поздним летом...», «Когда в кругу убийственных забот...», «Вновь твои я вижу очи...», «Как дымный столп светлеет в вышине!..», «Слезы людские, о слезы людские...», «Святая ночь на небосклон взошла...». Этой серьезной публикации, где имя поэта не было названо, предшествовало появление в предыдущем номере журнала, также без подписи, стихотворения «Наполеон», важного для понимания историко-философских размышлений Тютчева. В комментарии к нему редактор сообщал: «Мы получили все эти стихотворения (вместе с десятью, которые будут помещены в последующем нумере) от поэта, слишком известного всем любителям русской словесности. Пусть читатели порадуются вместе с нами этим звукам и отгадают имя» (Москвитянин. 1850. № 7. Кн. 1. С. 164).

Идеи стихотворения близки тому, что говорил Погодин в своих университетских лекциях: «Взглянув на Россию в минуту ее покоя, рассмотрим теперь одно из ее действий, совершившееся пред нашими глазами. Вся Европа, приготовлявшись в продолжение нескольких лет, собрав свои силы, в лице двадцати языков, вторглась чрез беззащитные границы в самую средину ее, под предводительством величайшего из полководцев древнего и нового мира, который в этом походе поставлял свою славу, видел конец многолетних трудов, исполнение любимейших желаний, и что же? Чрез несколько месяцев, по слову царскому, не осталось ни одного иноплеменника на земле русской, и грозный враг, покоритель царств и народов, судия всего света, влачит на пустынном острове унылые дни свои, и в часы гениальных откровений, смотря в будущее, предвещает Европе русское владычество.

Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится оспоривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?» (Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 3–4).

Ср. у Тютчева:

И ты стоял — перед тобой Россия!
И, вещий волхв, в предчувствии борьбы,
Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы!..»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой!..
Но новою загадкою в изгнанье
Ты возразил на отзыв роковой...

Года прошли — и вот, из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки, тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец...
Но чуток сон — и по ночам, тоскуя,
Порою встав, ты смотришь на Восток,
И вдруг, смутясь, бежишь, как бы почуя
Передрассветный ветерок.

Погодин стремился печатать стихотворения Тютчева регулярно и просил поэта присылать стихи. Год спустя в «Москвитянине» было опубликовано программное политическое стихотворение «Море

и Утес (в 1848 году)». Указание на 1848 г. было важно и для Тютчева, и для Погодина, оно давало возможность читателям верно истолковать строки:

Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила –
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?

Волн неистовым прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой –
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

Позднее И.С. Аксаков так комментировал высоко ценимый Погодиным цикл политических стихотворений Тютчева: «Скажем здесь несколько слов только об общем характере этих патриотических и политических стихотворений: в них (за исключением двух-трех) менее всего слышится его внутреннее, духовное раздвоение, его ирония, обращенная на самого себя, его нравственная тоска, – а также и тот особенный личный процесс поэтического творчества, который налагает такую оригинальную печать на его поэзию и дает ей такую своеобразную прелесть. Его политическое миросозерцание, его убеждения относительно исторической будущности русского народа были, как мы уже знаем, тверды, цельны – до односторонности, до страстности, – а потому только в этом отделе стихотворений и доходит он до торжественных, почти "героических" звуков, столько вообще чуждых его поэзии» (*Биогр.* С. 116).

[2] Первоначально Погодин получил от Тютчева стихотворение «Святая ночь па небосклон взошла...» (т. 1 наст. изд. С. 215) без последних четырех строк.

4. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Кн. П.А. Вяземский – поэт и критик, давний знакомый Тютчева и его постоянный собеседник в петербургских салонах. «Самым оригинальным и прелестным зрелищем в то время были беседы и

общение князя Вяземского с его другом Тютчевым... — вспоминал В.П. Мещерский. — Тютчев, со своими белыми волосами, развевающимися по ветру, казался старше князя Вяземского, но был моложе его; но, находясь перед Вяземским, он казался юношей по темпераменту... Бывало, Тютчев приходил к горячо им любимому Вяземскому отвести душу, и сразу рисуется прелестная картина: безмятежного, с умным лицом, где добрая улыбка попеременно сменяется ироническою усмешкою, старика Вяземского и пылающего своим вдохновением или своею главною заботою минуты старика Тютчева. Тютчев усаживается, как всегда, уходя в кресло, князь Вяземский сидит прямо в своем кресле, покуривая трубку, и Тютчев начинает волноваться и громить своим протяжным и в то же время отчеканивающим каждое слово языком в области внешней или внутренней политики. А князь Вяземский только с перерывами издает звуки вроде: гм... — пускает из трубки дым, такой же спокойный, как и он, и, когда Тютчев окончит свою тираду, вставляет в промежуток между другою тирадою какое-нибудь спокойное или остроумное размышление, часто с единственною заботою оправдать или извинить, — после чего Тютчев, как бы ужаленный этим спокойствием, уносится еще дальше и еще сильнее в область своих страстных рассуждений. Изумительно кроткая терпимость была отличительною чертою князя Вяземского. Нетерпимость была отличительною чертою его друга Тютчева» (*Мещерский. Воспоминания*. С. 214–215).

Тютчев особенно сблизился с Вяземским под впечатлением европейских потрясений 1848–1849 гг., которые они оценивали сходным образом. Посредником в их переписке нередко выступала Эрн. Ф. Тютчева, которая в ноябре 1849 г. сообщала Вяземскому: «С тех пор как мы прибыли в Россию, вы всегда были нашим добрым гением» (*ЛН-2*. С. 238). Вяземский был одним из первых читателей политических статей и стихотворений Тютчева, в том числе тех, которые оставались неизвестны даже ближайшему окружению поэта. В октябре 1849 г. Эрн. Ф. Тютчева извещала Вяземского: «Мой муж очень бранил меня за то, что я посвятила вас в его политические предвидения в отношении России, но тем не менее вот стихи, написанные им для вас; он полагает, что они дополняют и разъясняют это предвидение» (там же. С. 236). Стихотворения, написанные для Вяземского и отосланные ему: «И ты стоял — перед тобой Россия!..», «Рассвет», «Два демона ему служили...», «Сын Революции, ты с матерью ужасной...». Их автографы хранились в архиве Вяземского. Здесь же хранился автограф,



ныне известный как <Отрывок>, датированный 13 сентября 1849 г., который содержал упоминавшиеся выше предвидения. Тютчев приводит «два великих провиденциальных факта», которые должны были свершиться вскоре и «положить начало в Европе новой эре» (т. 3 наст. изд. С. 201):

«1) окончательное образование великой Православной Империи, законной Империи Востока — одним словом, России ближайшего будущего, — осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя;

2) объединение Восточной и Западной Церквей.

Эти два факта, по правде говоря, составляют лишь один, который вкратце можно изложить так:

Православный Император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима.

Православный Папа в Риме, подданный Императора».

Эти выводы Тютчева можно расценивать как резюме трактата «Россия и Запад», над которым он работал осенью 1849 г. Однако в начале следующего года он решительно охладел к задуманному труду. Эрн. Ф. Тютчева 1/13 января 1850 г. писала своему брату К. Пфеффелю: «Что же касается моего мужа, который два месяца назад, казалось, был убежден, что мир обрушится, если он не напишет труд, часть которого я вам послала и для которого были подготовлены все материалы, — так вот, мой муж вдруг все забросил. Он даже забыл или почти забыл о том, как ему хотелось, чтобы фрагмент, посланный мною в ваше распоряжение, появился в какой-нибудь заграничной газете» (*ЛН-2*. С. 240–241).

Настоящее письмо к Вяземскому опровергает устоявшееся в литературе мнение, что Тютчев к январю 1850 г. навсегда забросил работу над политическим трактатом.

Печатается впервые на языке оригинала по черновому автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 1–4 об.

Первая публикация — в русском переводе с приведением по-французски отрывка: *Биогр.* С. 175–178.

[1] Речь идет о статье, которая была напечатана 1 января 1850 г. в парижском издании «Revue des Deux Mondes» под первоначальным заглавием «Папство и Римский вопрос». В позднейших публикациях — «Римский вопрос». Статья рассматривалась Тютчевым как глава трактата «Россия и Запад», но имела и самостоятельный политический интерес. В ней Тютчев писал: «В течение трех по-

следних веков историческая жизнь Запада была — и не могла не быть — лишь непрерывной войной, постоянной атакой на всякий христианский элемент в составе старого западного общества. Эта разрушительная работа продолжалась долго, так как до нападения на установления необходимо было уничтожить их скрепляющую силу, то есть веру.

Первая французская революция навсегда останется памятной датой мировой истории именно тем, что положила почин возведению антихристианской идеи на престол правительственного управления политическим обществом» (т. 3 наст. изд. С. 164–165).

Вину за происходившее он в значительной мере возлагал на папский престол: «В течение веков Церковь на Западе, под покровительством Рима, почти совсем растеряла предписанный ей изначально законом характер» (там же. С. 163).

[2] На Флорентийском соборе 1439–1443 гг. в присутствии византийского императора высшие иерархи Западной, римско-католической, и Восточной, греческой или православной, Церквей предприняли неудачную попытку объединения, что нашло отражение в провозглашенной в 1439 г. Флорентийской унии, вскоре отвергнутой в Константинополе. О влиянии решений Флорентийского собора на православное сознание русского народа много размышлял А.С. Хомяков. В то время, когда Тютчев работал над «Римским вопросом», Хомяков писал: «Подозрительность и вражда к западной мысли стала проявляться с некоторою силою после Флорентинского собора и латинского насилия в русских областях, тогда подвластных Польше. Развились они вполне вследствие безумной и глубокой ненависти к русским людям, доказанной Швециею и купечеством и баронством прибалтийским; более же всего вследствие вражды и лукавства польских магнатов и латинского духовенства. Мало-помалу народная стихия стала являться исключительною и враждебною ко всему иноземному» (*Хомяков 1988*. С. 204–205).

В статье «Римский вопрос» Тютчев действительно не упоминал Флорентийский собор, но ее итоговый вывод подводил читателя к мысли о желательности и близости воссоединения церквей: «Православная Церковь никогда не теряла надежды на такое исцеление. Она ждет его, рассчитывает на него — не только с верой, но и с уверенностью. Как *Единому* по своему началу и *Единому* в Вечности не восторжествовать над разъединением во времени? Вопреки многовековому разделению и всем человеческим предубеждениям она всегда признавала, что христианское начало никогда не погибало в римской Церкви и что оно в ней всегда сильнее люд-

ских заблуждений и страстей. Поэтому она глубоко убеждена, что христианское начало окажется сильнее всех его врагов» (т. 3 наст. изд. С. 177).

Условия, на которых должно совершиться это воссоединение, изложены в приведенном выше <Отрывке>.

[3] Тютчев повторяет излюбленные суждения славянофилов. Тогда же А.С. Хомяков писал: «Это духовное рабство перед западным миром, этот ожесточенный антагонизм против русской земли, рассмотренные в продолжение целого столетия, представляют весьма любопытное и поучительное явление. Отрицание всего русского, от названий до обычаев, от мелочных подробностей одежды до существенных основ жизни, — доходило до крайних пределов возможности. В нем проявлялась какая-то страсть, какая-то комическая восторженность, обличающая в одно время величайшую умственную скудость и совершеннейшее самодовольствие. Конечно, эти крайности, по-видимому, принадлежат более первому периоду нашей европеизации, чем последнему; но последний, при большем бесстрастии, заключает в себе большее презрение и полнейшее отрицание всего народного» (*Хомяков 1988*. С. 207).

[4] Об этом Тютчев писал в статье «Россия и Революция»: «Человеческое *я*, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом, человеческое *я*, заменяющее собой Бога, конечно же, не является чем-то новым среди людей; новым становится самовластие человеческого *я*, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обществом. Это новшество и получило в 1789 году имя Французской революции» (т. 3 наст. изд. С. 145).

[5] Здесь прямая отсылка к более раннему письму Вяземскому от марта 1848 г., где Тютчев делился своими первыми впечатлениями от европейских потрясений: «Очень большое неудобство нашего положения заключается в том, что мы принуждены называть *Европой* то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: Цивилизация» (т. 4 наст. изд. С. 444).

[6] В статье «Россия и Революция» эта мысль была развернута и поставлена в связь с ненавистью европейских народов и государств, в первую очередь Германии, к России, которая одна противостоит Революции (см. т. 3 наст. изд. С. 148).

[7] Настоящее письмо осталось, по-видимому, неоконченным и не было отослано Вяземскому. 30 марта 1850 г. Эрн. Ф. Тютчева сообщала князю: «Мой муж пишет вам (по крайней мере начал вам пи-

сать, но я не уверена, что это великое произведение будет когда-нибудь завершено), чтобы высказать дополнительные соображения по поводу своей статьи о папстве» (*ЛН-2.* С. 244). 7 мая она писала Вяземскому, не скрывая иронии: «Мой муж так и не закончил письмо, которое начал писать пять недель назад и о котором я в свое время вам сообщила. Он предпринял труд слишком грандиозный, утомился, не добравшись до середины, и на этом все остановилось. Быть может, мы найдем когда-нибудь эти листки в его портфеле, заботливо сохраненные автором и совершенно им позабытые» (там же. С. 245).

Его первый публикатор И.С. Аксаков так развивал тютчевские идеи: «Мы полагаем, что собственно в письме ход его мыслей был бы таков: Папство, разумеется, не отрицает зависимости человека от Бога; оно исповедует христианской учение о Боге как Превысшей Истине и Силе, от которой лишь одной принцип земной власти получает свое освящение. Но наследовав все властолюбивые похоти и дух рационализма древнего Рима, оно ввело в христианское миросозерцание понятие о внешнем церковном авторитете и устроило церковь как царство от мира, как государство. В противоположность Революции, низводившей, так сказать, Бога с престола, Папство само себя, как церковь-государство, возвело на высоту Божьего престола, отождествило себя с Богом, признав себя в лице государя-папы непогрешимою истиною и источником всякой власти, от которого лишь одного исходят и зависят все власти земные. Но в борьбе с мятежным стремлением, олицетворяемым Революцией и несущим на своем знамени "несть Бог", Папство представляется единственным убежищем, единственным церковным знаменем для устрашенных Революцией христиан Запада. Тогда как обществу, заразившему плоть и кровь свою революционным принципом, мысль человеческая отказывается предугадать исход, — для Папства, насколько жива еще в нем христианская стихия, казалось бы, есть еще исход, и именно тот, о котором говорит Тютчев. Но само собой разумеется, при современном положении дела, вопрос о воссоединении церквей, как и упоминается в письме Тютчева, получает несколько иное значение, чем соглашение догматических различий, хотя и оно, конечно, необходимо. Возвращение к древнецерковному вселенскому единству возможно для Рима лишь под условием: развенчания себя как высшего земного авторитета, смирения пред вселенским единством, отрешения от всех мирских атрибутов власти, возрождения в духе братской любви и свободы Христовой. Другого спасительного исхода

для Рима и для западного христианства, без сомнения, нет, но не подлежит также никакому сомнению (как Тютчев и выразился вполне определенно в своей статье), что этому исходу должен предшествовать целый ряд ужасных потрясений, превратностей, бедствий» (*Биогр.* С. 182–183).

5. К. ПФЕФФЕЛЮ

Барон К. Пфеффель – баварский политический деятель, известный германский публицист. Младший брат Эрн. Ф. Тютчевой, они с детства были тесно связаны. Семейная и дружеская переписка с ним была отрадой всей ее жизни. К. Пфеффель познакомился с Тютчевым еще в 1830 г. в Мюнхене, быстро подружился с ним и особенно близко сошелся после женитьбы поэта на его сестре. Пфеффель высоко ценил в Тютчеве блестящий ум, одухотворенность, талант политического мыслителя и публициста, живо интересовался его взглядами и деятельностью. Он не знал русского языка и не без сожаления говорил: «le poète m'échappe nécessairement» («поэт неизбежно ускользает от меня». – *Фр.*). Пфеффель не только ценил, но и понимал Тютчева, он, едва ли единственный из ближайших знакомых поэта, в полной мере осознал раздвоенность его духовной природы, которая проявлялась, в частности, в том, что, с одной стороны, тот был скептиком, вольтерьянцем, с другой – глубоко религиозным человеком, увлекался пантеизмом Гегеля и одновременно был чистым романтиком в своем поэтизировании и одушевлении природы.

К. Пфеффеля восхищали политические предвидения Тютчева, он содействовал появлению тютчевских политических статей в иностранной печати. Для Тютчева он был ценным источником, осведомлявшим его о европейских политических делах. К. Пфеффель до определенной степени разделял тютчевские представления о России как главной и даже единственной силе, борющейся против европейской революции.

Пфеффель подробно входил и в чисто житейские проблемы семейной жизни сестры. Иногда он играл роль посредника в ее сложных отношениях с мужем. В 1846 г. он писал ей из Мюнхена: «Сожалею, что не могу сочувствовать вашему нежеланию просить мужа о возмещении тех сумм, которые вы ему предоставили как для уплаты его долгов, так и на содержание его дочерей. Я знаю Тютчева, знаю благородство его чувств и уверен, что он всегда намеревался восполнить при первой же возможности ущерб, причиненный им

вашему состоянию. Следовательно, для меня существует только вопрос о том, подозревает ли он размеры жертв, принесенных вами для того, чтобы помочь ему, и позволит ли ему наследство, которое он должен разделить с братом, предоставить сумму, необходимую для расчета с вами» (*ЛН-2.* С. 219).

Многолетний обмен политическими и придворными новостями, литературно-философскими размышлениями Тютчев и Пфеффель вели через Эрн. Ф. Тютчеву, которая чаще писала брату от своего имени. В письме от 1/13 января 1850 г. она восхищенно и грустно рассказывала брату о методе творческой работы Тютчева над политическими статьями и письмами: «Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне. Я не устаю удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, — кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки — это поток, который течет легко и свободно. Но если даже ему и присущ дар политика и литератора, то нет на свете человека, который был бы менее, чем он, пригоден к тому, чтобы воспользоваться этим даром. Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было правилам ни с чем не сравнимы. Его здоровье, его нервозность, быть может, порождают это постоянное состояние подавленности, из-за которого ему так трудно делать то, что другой делает, подчиняясь требованиям жизни и совершенно незаметно для себя. Это светский человек, оригинальный и обаятельный, но, надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы иметь возможность заниматься политикой и литературой так, как это делает он, т. е. как дилетант. К несчастью, мы отнюдь не миллионеры» (там же. С. 241–242).

Настоящее письмо написано рукою Эрн. Ф. Тютчевой. День спустя она сообщала Пфеффелю: «Вчера вечером муж продиктовал мне несколько строк на злободневные политические темы. Он находился в таком нервном возбуждении, что не в состоянии был писать сам, но вы должны рассматривать вложенные сюда листочки как письмо от него» (там же. С. 248).

Печатается впервые на языке оригинала по подлиннику (рукой Эрн. Ф. Тютчевой под диктовку Ф.И. Тютчева) — *Собр. Пигарева.*

Первая публикация — в значительно отредактированном виде: *СН.* Кн. 22. С. 279–283, 265–269; в русском переводе: *Изд. 1984.* С. 144–147.



[1] «Германские дела» — устойчивое политико-дипломатическое понятие того времени, связанное с существованием Германского союза, созданного на Венском конгрессе в 1815 г. Первоначально Германский союз был объединением 38 немецких государств, затем к ним примкнуло еще одно. Германский союз включал немецкие земли Австрийской империи, землю Шлезвиг-Гольштейн, которая была подвластна Дании, и Люксембург, подчиненный Голландскому королевству. Он должен был заменить собой распавшуюся в эпоху Наполеоновских войн «Священную Римскую империю» германской нации. Существование Германского союза, имевшего свой собиравшийся во Франкфурте-на-Майне Союзный сейм, давало политико-правовые основания говорить о Германии как союзном государстве. В действительности объединение отдельных немецких государств в Германский союз, где господствовала меттерниховская Австрия, было иллюзорным. Главным противником австрийской гегемонии была королевская Пруссия.

В революционный 1848 г. идея германского единства охватила широкие слои народа. Попытка франкфуртского парламента, настроенного демократически, поставить вопрос о подлинном объединении Германии оказалась неуспешной во многом потому, что в нем преобладали сторонники объединения Германии без Австрии. Сам парламент был разогнан в 1849 г., и тогда же Пруссия предложила проект создания Германской федерации под своим главенством. Австрийское правительство выступало за сохранение прежнего устройства Германского союза, что привело к резкому обострению отношений между двумя странами. Дело шло к войне между Пруссией и поддерживавшими ее другими немецкими государствами, которые составили Прусскую унию, и Австрийской империей. Российская дипломатия, озабоченная поддержанием европейского равновесия, играла посредническую роль. В октябре 1850 г. во время Варшавской встречи Николая I с австрийским императором и прусским наследным принцем удалось добиться отказа Пруссии от ее претензий, что означало и роспуск Прусской унии. Должен был уйти в отставку прусский министр иностранных дел Иосиф Радовиц, который был главным инициатором политики, направленной на уменьшение влияния Австрии в германских делах.

Николай I считал успокоение Германии и предотвращение в ней междоусобной войны заслугой России и своей личной, следствием возросшего влияния России в европейских делах после подавления революций 1848 г. Особое значение царь и его окружение придава-

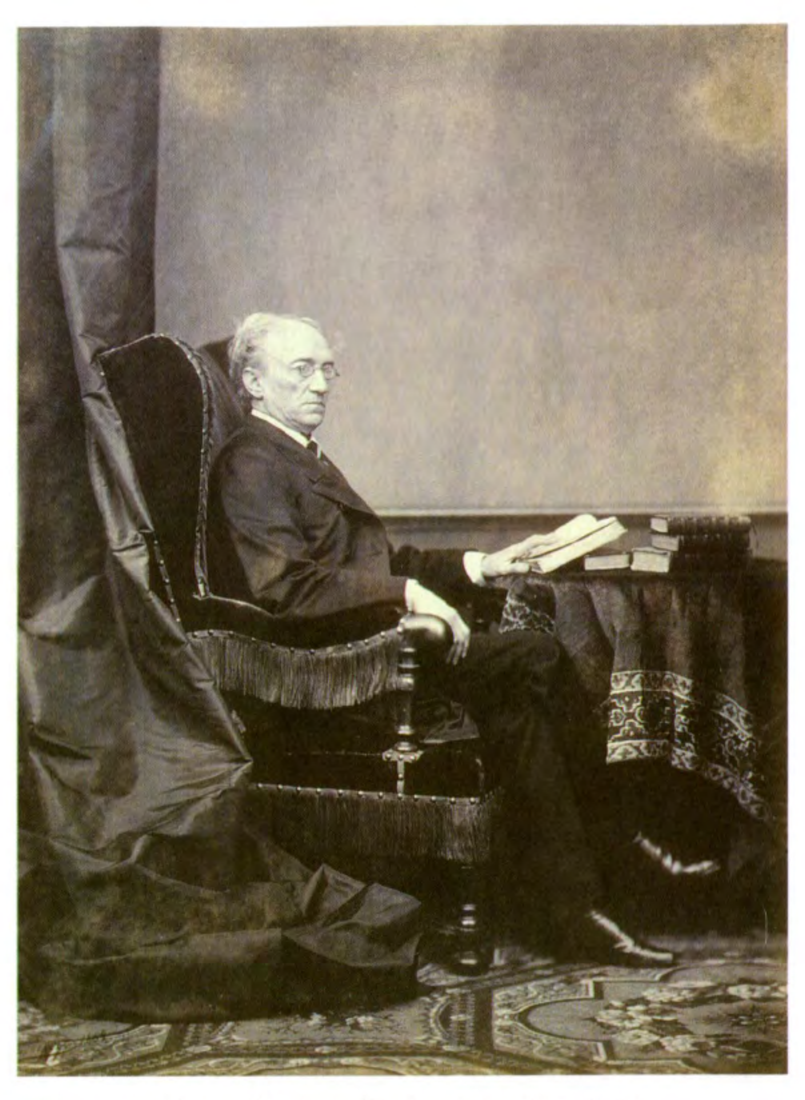
ли участию российской армии в 1849 г. в подавлении венгерской революции, что спасло Австрийскую империю от развала. Российский император серьезно рассчитывал на «австрийскую благодарность», что, как показали дальнейшие события накануне и во время Крымской войны, было грубым политическим заблуждением. Между тем руководитель российской внешней политики К.В. Нессельроде смотрел на Австрию как на самого надежного союзника в европейских делах и на Востоке. В 1850 г. он утверждал: «Наградой за нашу дальновидную политику является прочный и тесный союз с Австрией» (Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX в. М., 1978. С. 131).

[2] В 1815 г. австрийский император Франц I, прусский король Фридрих Вильгельм III и российский император Александр I подписали, по инициативе последнего, Акт о Священном союзе. Правители трех великих европейских государств — католического, протестантского и православного заявляли в нем о своем желании создать единую европейскую христианскую нацию: «Единое преобладающее правило да будет как между помянутыми властями, так и подданными их приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа под именем христианской нации, поелику три союзные государя почитают себя аки постановленными от провидения для управления тремя областями сего одного народа, а именно: Австриею, Пруссиею и Россиею, исповедуя таким образом, что самодержец народа христианского, во многом единого, не иной есть, как тот, кому, собственно, принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечные, то есть наш Божественный Спаситель, Иисус Христос, глагол всевышнего, слово жизни. Соответственно с сим, их величества с нежнейшим попечением убеждают своих подданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил человеков Божественный Спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести и который един прочен» (Внешняя политика России XIX – начала XX века. Сер. 1. М., 1972. Т. 8. С. 505).

Провозглашенные принципы единой христианской нации легли в основу политики легитимизма, которая проводилась Священным союзом. В рамках этой политики осуществлялись поддержка законных, легитимных династий и режимов и борьба с революционно-освободительным движением европейских народов. Принципы Священно-



А.Ф. Тютчева, великий князь Сергей Александрович
и великая княжна Мария Александровна. 1862. *Фотография*



Федор Иванович Тютчев. Петербург. 1862.
Фотография И. Робийяра



Елена Александровна Денисьева. Конец 1850-х гг.
Раскрашенный дагерротип



Эрн. Ф. Тютчева, жена поэта, и его дочь Мария.
Петербург. Конец 1850-х гг. ***Фотография С. Левицкого***



Николай Алексеевич Бирилев. 1855.
Литография А. Мюнстера с рис. В.Ф. Тимма



Адмирал Павел Степанович Нахимов.
Худ. Л. Блинов

Кронштадт. 1850-е гг. *Гравюра неизв. худ.*



Галерея Санкт-Петербургской пассажирской станции. 1851.
Худ. А. Петцольт

**Автографы писем Тютчева Ф.Н. Глинке от 16 февраля 1850 г.
и Н.В. Сушкову от 24 сентября 1858 г.**

Освящение Исаакиевского собора 30 мая 1858 г.
Худ. Ф. Тимм. Литография

Овстуг. Усадебный дом. 1861.
Худ. О. Петерсон



го союза во многом утратили свое практически-политическое значение уже в 1820-е гг., но Николай I их твердо придерживался, не желая считаться с реалиями европейской жизни.

[3] Ни в это время, ни позже Тютчев не верил в возможность германского единства, которое он называл «единством хаоса». Этому был посвящен один из разделов его трактата «Россия и Запад». Здесь он указывал на решающую роль России, великой Восточной империи, в германских делах, на дуализм, «внутренне свойственный Германии» и обусловленный враждебным соперничеством Австрии и Пруссии.

Позднее, касаясь вопроса о возможности германского единства под главенством Пруссии, которое казалось Тютчеву несбыточным, И.С. Аксаков задавался вопросом: «Следует ли, в виду совершившихся фактов, признать соображения и выводы Тютчева ошибочными?» И давал ответ, где вспоминал быстрый и жестокий исход австро-прусской войны 1866 г. и выявлял особенности тютчевских историко-политических прозрений: «Взор Тютчева был очевидно устремлен только на конечные результаты, не останавливаясь на возможных промежуточных случайностях, способных, по его мнению, только задержать, но не отвратить развязку. Да и самое смелое воображение едва ли в то время отважилось бы даже предположить картину тех ужасов, каких мы были зрителями в 1866 году. Можно ли было ожидать, во второй половине XIX века, такого беззастенчивого нарушения трактатов, договоров, связей, одним словом — всех гарантий общественного бытия, какие придуманы пресловутою Европейскою цивилизацией? Мыслима ли была внутренняя междоусобная, кровавая война в мирной, просвещенной, многоученой и книжной Средней Германии, где, казалось, каждая пушка упирается лафетом в какой-нибудь университет, а дулом — в музей, библиотеку, академию?» (*Биогр.* С. 210–211).

[4] Осенью 1850 г. население Гессена выступило против политики своего курфюрста, чем воспользовались Австрия и Пруссия. Под предлогом наведения порядка они ввели войска в Гессен, что рассматривалось как проба сил в борьбе за главенство над Германией. По настоянию Николая I Пруссия и Австрия должны были вывести свои войска из Гессена.

[5] В состав Датского королевства входил Шлезвиг-Гольштейн, немецкое население которого в 1848 г. стремилось к отделению и опиралось на поддержку Пруссии. Намерение Пруссии воевать с Данией ради присоединения Шлезвиг-Гольштейна вызвало резкое противодействие России. Однако в 1864 г., развязав вторую шлез-

23 Зак. 7712

виг-гольштейнскую войну, Пруссия сумела добиться своего, что стало прелюдией к объединению Германии под ее эгидой.

[6] Невозможность германского единства Тютчев обуславливал ростом самосознания славянских народов, с их национальной и религиозной самобытностью. Для него политический панславизм был важным фактором будущего европейского устройства.

[7] Здесь Тютчев кратко излагает выводы трактата «Россия и Запад»: «В Германии междоусобная война составляет саму основу ее политического положения. Сейчас это более, чем когда-либо, Германия Тридцатилетней войны — Север против Юга, разрозненные государства против единой Власти, — но все неизмеримо возросло под воздействием революционного принципа. В Италии теперь не только, как прежде, соперничество с Германией и Францией или ненависть Италии к пребывающему за горами Варвару. Налицо, кроме того, смертельная война, объявленная Революцией, взявшей на вооружение итальянское национальное чувство, опороченному римским Папством католицизму. Что же до Франции, которая не может более существовать без отречения на каждом шагу от того, что вот уже 60 лет составляет ее жизненный принцип, от Революции, — это страна, по логике вещей и воле рока приговоренная к бессилию. Это общество, приговоренное инстинктом самосохранения прибегать к услугам одной своей руки лишь только для того, чтобы связать другую» (т. 3 наст. изд. С. 186).

Тютчев вполне очевидно недооценивал мощное движение, которое охватило все слои итальянского народа и вошло в историю как Рисорджименто (Возрождение). Его представители высказывались за освобождение разрозненных итальянских земель от иноземного, прежде всего австрийского, господства («война против варвара») и отстаивали идею объединения Италии. В конечном итоге это привело к возникновению в 1861 г. Итальянского королевства.

[8] В 1850 г. папа Пий IX своей буллой объявил о восстановлении католических епископств в Англии, где католицизм утратил свое первенствующее положение еще в XVI в.

6. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Письмо — свидетельство не просто дружеской близости двух поэтов, но их поэтического содружества и сотворчества. В нем идет речь об изменениях, которые Тютчев предлагал внести Вяземскому в написанное тем стихотворение «Послание к графу Д.Н. Блудову».

Адресат стихотворения был равным образом давно и хорошо известен обоим поэтам. В разное время они служили под его началом и знали его литературные пристрастия, восходившие к карамзинской эпохе. Юбилей Д.Н. Блудова праздновался 8 января 1851 г. Вяземский принял предложенный Тютчевым первый вариант строк последней строфы и исправил стих «И нет конца твоим стрелам» так, как советовал Тютчев.

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2898. Л. 5–5 об.

Первая публикация — *Мурановский сб.* С. 49, 54.

На л. 5 помета рукой П.А. Вяземского: «Тютчева, кажется, о стихах моих к графу Блудову». На л. 6 рукой Ф.И. Тютчева: «Его Сиятельству князю П.А. Вяземскому».

7. К. ПФЕФФЕЛЮ

Печатается по первой публикации — *СН.* Кн. 22. С. 283, в новом русском переводе.

Местонахождение автографа неизвестно.

[1] Имеется в виду Февральская революция 1848 г. во Франции. О «февральской катастрофе» как «страшном откровении» и последней странице в «книге эмансипированного человеческого разума» Тютчев писал в незавершенном трактате «Россия и Запад» (т. 3 наст. изд. С. 182).

8. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

В июне 1851 г. Эрн. Ф. Тютчева уехала на все лето в Овстуг с детьми Марией, Иваном и Дмитрием. С 10 июня по 14 июля 1851 г. Тютчев находился в Москве в обществе родных, Сушковых и своих старых друзей. Настоящее письмо — первое в цикле писем Тютчева к жене лета 1851 г., писем болезненно-напряженных, где светские новости, жалобы на плохое самочувствие перемежались со страстными сетованиями на разлуку, на невозможность скорой встречи. Все лето Тютчев писал жене отчаянные письма — предлагал приехать к ней, говорил о ее возвращении к нему. Для понимания того, что лежало в основе происходивших событий и было источником

трагической раздвоенности поэта, важно знать то, о чем в письмах не говорится ни слова: 20 мая 1851 г. у Тютчева и Е.А. Денисьевой родилась дочь Елена.

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 7–9 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 109–112.

[1] Село Овстуг Брянского уезда Орловской губернии в середине XVIII в. было частью приданого жены Н.А. Тютчева, деда поэта, и с тех пор входило в состав недвижимого имущества семьи. После смерти Ивана Николаевича, отца Тютчева, имение не было разделено и осталось в совместном владении братьев Николая и Федора Ивановичей.

[2] После многолетнего перерыва, когда он служил за границей, проводил отпуска, а потом и жил в Петербурге, Тютчев посетил Овстуг вместе с братом Николаем в конце августа 1846 г. Он приехал на могилу отца, который умер в Овстуге 23 апреля 1846 г. и похоронен там же. Сам Тютчев был в это время за границей, и известие о смерти отца получил из письма своей кузины П.В. Муравьевой, которой дал знать об этом Сушков. «Мой муж написал Полине Муравьевой, которая со всеми необходимыми предосторожностями сообщит Федору о нашей потере», — писала 29 апреля сестра поэта Д.И. Сушкова матери в Овстуг (*ЛН-2.* С. 217). Тютчев на похороны не поехал, опасаясь не успеть вернуться обратно ко времени родов жены — Эрн. Ф. Тютчева родила сына Ивана 30 мая. Он отвечал Муравьевой: «Ощущаешь себя постаревшим на двадцать лет, ибо сознаешь, что на целое поколение приблизился к роковому пределу». Далее он писал: «По-видимому, смерть его была столь же спокойной, сколь благостной и любвеобильной была его жизнь. Это была натура лучшая из лучших, душа, которую благословило Небо... Без сомнения, и я, и все мы будем вечно сожалеть, что никто из его детей не присутствовал при его последних минутах». Он утешался тем, что все, «кто его окружали, оплакивали его так, как оплакивают родного отца» (т. 4 наст. изд. С. 336).

31 августа 1846 г. он писал из Овстуга Эрн. Ф. Тютчевой: «Я испытал в течение нескольких мгновений то, что тысячи подобных мне испытывали при таких же обстоятельствах, что вслед за мною испытает еще немало других и что, в конечном счете, имеет ценность только для самого переживающего и только до тех пор, покуда он находится под этим обаянием. Но ты сама понимаешь, что оба-



яние не замедлило исчезнуть и волнение быстро потонуло в чувстве полнейшей и окончательной скуки» (там же. С. 367).

После 1846 г. Тютчев не раз, правда всегда на короткое время, приезжал в Овстуг. Как писала 20 августа/1 сентября 1855 г. дочь Тютчева Дарья Федоровна, ее отец любил гулять в окрестностях имения: «Мы отправились вместе, папá и я, сперва на могилу дедушки, а затем в рощу, с которой у папá связано столько детских воспоминаний». «Он рассказал мне, что однажды, — продолжала Дарья, — гуляя со своим дядькой в роще у кладбища, нашел мертвую горлицу в траве; они похоронили ее, а папá написал эпитафию в стихах. Ты помнишь ночные фиалки, которые так благоухают по вечерам? Так вот, весной папá приходил после заката солнца в рощу и собирал этот душистый чудоцвет в тишине и мраке ночи; это вызывало в нем неясное чувство таинственности и благоговения» (*ЛН-2*. С. 276).

Под впечатлением первого посещения могилы отца Тютчевым было написано стихотворение «Итак, опять увиделся я с вами...», где он выразил отношение к родным местам.

Комментируя это стихотворение, И.С. Аксаков отмечал глубочайшее своеобразие духовной природы русского поэта Тютчева, которая находилась в разительном противоречии с внешними фактами его биографии: «Каким же непостижимым откровением внутреннего духа далась ему та чистая, Русская, сладкозвучная, мерная речь, которою мы наслаждаемся в его поэзии? Каким образом там, в иноземной среде, мог создаться в нем Русский поэт — одно из лучших украшений Русской словесности?.. Конечно, язык — стихия природная, и Тютчев уже перед отъездом за границу владел вполне основательным знанием родной речи. Но для того, чтобы не только сохранить это знание, а стать хозяином и творцом в языке, хотя и родном, однако изъятом из ежедневного употребления; чтобы возвести свое поэтическое, Русское слово до такой степени красоты и силы, при чужеязычной двадцатидвухлетней обстановке, когда поэту даже некому было и поведать своих творений... для этого нужна была такая самобытность духовной природы, которой нельзя не дивиться» (*Биогр.* С. 53).

Иначе судили некоторые последующие мемуаристы и исследователи, которым нескрываемая любовь поэта к южной природе («о Юг блаженный»), недовольные суждения об унылости северного пейзажа и бесконечном однообразии российских просторов давали основание говорить о его нерусскости. Знавший его гр. С.Д. Шереметев писал: «У него было русское пламенное чувство, но ни

жизнью своею, ни воспитанием своим он русским не был и русской деревни не знал и потому не любил, хотя он и воспевал деревню — "бедную" деревню и "скудную" природу, — и то лишь в поэтических грезах, сидя где-нибудь в Тироле или Баварии, где он был у себя дома. Я готов восторгаться светлою чистотою поэзии Тютчева, но видеть в нем мыслителя и хранителя истинно русских преданий, выразителя истинно русских чувств — нет, я этого не могу» (*Шереметев.* С. 161).

Близкие Тютчева воспринимали Овстуг иначе, нежели он. Вынужденная подолгу жить там, Эрн. Ф. Тютчева признавалась князю Вяземскому: «Я люблю русскую деревню; эти обширные равнины, вздувающиеся точно широкие морские волны, это беспредельное пространство, которое невозможно охватить взглядом, — все это исполнено величия и бесконечной печали. Мой муж погружается здесь в тоску, я же в этой глуши чувствую себя спокойно и безмятежно. У меня всегда есть о чем подумать или, вернее, есть что вспомнить» (*ЛН-2*. С. 251–252). Выросшая в Германии дочь поэта Анна вспоминала, как она впервые приехала в Россию, на родину, чуждую ей по языку, по нравам, даже по верованиям. Она прибыла в Петербург и «впервые увидела эти тяжеловесные каменные громады, всегда окутанные мглой и сыростью, и это низкое небо, серое и грязное, лениво нависающее в течение всего почти года над Северной Пальмирой. Впечатление, вынесенное мною тогда, не изменилось и впоследствии; никогда мне не удалось полюбить эту великолепную и мрачную столицу». Вскоре, однако, душа и сердце Анны Тютчевой «сроднились с Россией»: «Я окончательно привязалась к своей новой родине после летнего пребывания в деревне отца в Орловской губернии. Вскоре я страстно полюбила русскую природу. Широкие горизонты, обширные степи, необозримые поля, почти девственные леса нашего Брянского уезда создавали самую поэтическую обстановку для моих юных мечтаний» (*Тютчева.* С. 9, 14).

[3] Гр. Д.Н. Блудов и его дочь Антонина Дмитриевна (Антуанетта, позже известная мемуаристка) были дружны с Тютчевыми. А.Д. Блудова живо интересовалась литературной и общественной жизнью, среди ее добрых знакомых были В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, А.С. Хомяков. По своим духовным интересам дочь, в отличие от отца, была близка к славянофилам, ее особенно занимала судьба славянских народов, что сближало ее с Тютчевым. В светском обществе ее нередко воспринимали иронически, многих утомляла ее показная ученость. С.А. Соболевский, библиофил, библиограф, приятель

А.С. Пушкина и добрый знакомый Тютчева, сочинил на Блудову эпиграмму (цит. по: *Смирнова-Россет.* С. 678):

> Смешны мне синие чулочки
> Хотя б и в пожилых годах,
> Хотя б на министерской дочке,
> На камер-фрейлинских ногах.

Блудовы жили на даче в Петровском парке, который был излюбленным местом гуляний москвичей.

[4] Имеются в виду гр. К.Ф. Сен-При, эмигрировавший в Россию из Франции, и гр. А.К. Сен-При (литературный псевдоним — Алексис Гиньяр), публицист, историк, автор брошюр и острых политических статей о России.

[5] Митрополит Московский и Коломенский Филарет (В.М. Дроздов), имевший репутацию книжника и аскета. В определенной степени Тютчеву были близки некоторые идеи проповедей «московского Златоуста» в той их части, где речь шла об отрешении от явлений действительной жизни, пассивных добродетелях и преданности воле Божией.

[6] Именины Чаадаева приходились на Петров день, большой церковный праздник в честь апостолов Петра и Павла, 29 июня ст. ст.

[7] Речь идет о подмосковном имении Кузьминки, владении С.М. Голицына, попечителя Московского учебного округа, о котором некая светская дама писала своей подруге А.О. Смирновой: «Князь Голицын, хотя и очень знатен по происхождению, не обладает, однако, как мне кажется, ни подходящей внешностью, ни возрастом, чтобы внушить достаточно пылкие чувства молодой особе» (*Смирнова-Россет.* С. 588). Князю было тогда пятьдесят пять лет, и он был неудачливым женихом молодой Смирновой. В понедельник, 7 июля, в Кузьминках отмечался престольный праздник Влахернской Божией Матери.

[8] М.А. Голицын был ровесником Тютчева, с ним он начинал дипломатическое поприще.

[9] История Лавинии Жадимировской, по одной из легенд, относилась к так называемым «васильковым дурачествам» Николая I, который якобы стал так именовать свои романтические приключения, услышав, как Тютчев однажды поэтически назвал их «des bleuets», «васильки» (французский каламбур: «bluettes» — «остроумный пустячок» имеет сходное звучание).

Лавиния, урожд. Бравур, происходившая из небогатого, но благородного семейства и необычайная красавица, восемнадцати

лет была выдана замуж за богатого, с прекрасной репутацией коммерции советника Жадимировского, без ума влюбившегося в нее и не потребовавшего приданого. В свете она пользовалась редкостным успехом и стала предметом интереса императора. Ко всеобщему удивлению, Николай I получил отказ, что все объяснили несколько необычной верностью «благородной жены». Однако вскоре Лавиния бежала с немолодым к тому времени и некрасивым вдовцом кн. С.В. Трубецким, отставным пехотным штабс-капитаном, имевшим маленькую дочь. Оскорбленный император отдал приказ задержать беглецов, хотя Жадимировский вовсе не требовал возвращения жены.

Вскоре оба были под конвоем отправлены в Петербург, а нарочный, привезший в столицу эту весть, получил от мстительного императора крупную награду. Жадимировский увез жену за границу, против ожидания беспрепятственно получив паспорта, и скандал был замят. Трубецкой же, разжалованный в рядовые, лишенный чинов, дворянства и княжеского достоинства, полгода провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, позже был отправлен в Оренбургские линейные батальоны в порт Петровский на Аральском море, в 1855 г. уволен в отставку с чином подпоручика и до конца жизни состоял под секретным надзором.

9. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 10–11 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 151–152.

[1] Нет сомнения в искренности слов, обращенных к жене. Тем не менее сближение Тютчева с Е.А. Денисьевой началось в августе 1850 г., когда он с ней и со своей старшей дочерью Анной совершил путешествие в Валаамский монастырь. За пределами поэтического образа, созданного Тютчевым, о Денисьевой известно немного. Мать Лели (так называли ее в домашнем кругу) умерла очень рано, отец, А.Д. Денисьев, женился вторично и поселился в Пензенской губернии; девочка осталась на попечении одной из многочисленных тетушек, А.Д. Денисьевой, инспектрисы Смольного института благородных девиц.

Анна Дмитриевна нередко надолго оставляла Лелю в семьях своих богатых знакомых, например у гр. А.Г. Кушелева-Безбородко,

в доме которого собирались известные литераторы, актеры и музыканты. Оказавшись в избранном обществе, Леля, которую, по словам А.И. Георгиевского, «природа одарила большим умом и остроумием, большою впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, и когда она попала в блестящее общество, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, при своей природной веселости и очень счастливой наружности всегда собирала около себя множество блестящих поклонников» (*ЛН-2*. С. 107).

В числе поклонников Е.А. Денисьевой оказался и Тютчев. А.Д. Денисьева была наставницей его дочерей Дарьи и Екатерины, и семья Тютчевых поддерживала с ней добрые отношения, иногда принимая ее вместе с племянницей. Е.А. Денисьева была немногим старше Анны Тютчевой и находилась с ней в приятельских отношениях. Тютчев мог встречать Денисьеву и во время своих посещений дочерей в Смольном институте.

О событиях весны 1851 г. А.И. Георгиевский писал: «На след тайных свиданий между ними в нарочно нанятой для того близ Смольного квартире первый напал эконом Смольного монастыря Гаттенберг. На беду в марте 1851 г. предстоял торжественный выпуск воспитанниц того класса, который Анна Дмитриевна вела в продолжение 9 лет: ожидали, что ее по этому случаю сделают кавалерственной дамой, а Лелю фрейлиной. И вдруг ужасное открытие! <...> Несдобровать было бы Тютчеву, если бы он не поспешил тотчас же уехать за границу. Гнев отца ее не знал пределов и много содействовал широкой огласке всей этой истории, которая, впрочем, не могла не обратить на себя общего внимания по видному положению в свете обоих действующих лиц и по некоторой прикосновенности к ней Смольного монастыря и заслуженной его инспектрисы. Анна Дмитриевна тотчас же после выпуска оставила Смольный... бедную Лелю все покинули, и прежде всех сам Тютчев; отец не хотел ее больше знать и запретил всем своим видаться с нею, а из бывших ее подруг осталась ей верна одна лишь Варвара Арсеньевна Белорукова. Это была самая тяжкая пора в ее жизни; от полного отчаяния ее спасла только ее глубокая религиозность, только молитва, дела благотворения и пожертвования на украшение иконы Божией Матери в соборе всех учебных заведений близ Смольного монастыря, на что пошли все имевшиеся у нее драгоценные вещи» (там же. С. 110).

В описании Георгиевского очевидная неточность: Тютчев не уезжал за границу и не покидал Денисьеву. Их роман длился, против

ожиданий людей, знавших непостоянство поэта, без малого полтора десятка лет. Георгиевский писал: «Только своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою на все любовью могла она приковать к себе на целых 14 лет такого увлекающегося, такого неустойчивого и порхающего с одного цветка на другой поэта, каким был Тютчев, — такою любовью, которая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным попранием всякого рода светских приличий и общепринятых условий. Это была натура в высшей степени страстная, требовавшая себе всего человека, а как мог Феодор Иванович стать вполне ее, "настоящим ее человеком", когда у него была своя законная жена, три взрослые дочери и подраставшие два сына и четвертая дочь» (там же. С. 125).

В отношениях с Денисьевой проявилась раздвоенность Тютчева, который, будучи поглощен политическими и поэтическими грезами, легко забывал, по словам князя В.П. Мещерского, «реальную прозу жизни». К неприемлемой поэтом «прозе жизни» относилось реальное, материальное существование его возлюбленной Лели с их тремя общими детьми. Она была крайне стеснена в средствах, однако легко мирилась с нехваткой денег и умела ее скрывать; обладая исключительным вкусом, всегда изысканно одевалась и выглядела строго и благородно. У Елены Денисьевой был не вполне обычный характер: она, по словам Георгиевского, «не допустила бы никогда, чтобы между ею и обожаемым ею Феодором Ивановичем мог быть замешан какой-нибудь материальный вопрос: ей нужен был только сам Тютчев и решительно ничего, кроме него самого». «Мой боженька», — называла она Тютчева (там же. С. 125, 123).

Денисьева была страстной, увлекающейся, неуравновешенной и глубоко религиозной; тяготилась своим ненормальным положением и облегчение находила в своеобразном убеждении, что именно она и есть настоящая Тютчева, и Георгиевскому доводилось слышать: «Не правда ли, ведь я состою с ним в браке, в настоящем браке?» (там же. С. 111).

В семье Тютчевых о Денисьевой старались не говорить. Однако после ее ранней, столь трагически воспринятой поэтом, смерти в августе 1864 г., сестра и дочери Тютчева приняли близко к сердцу не только его горе, но и судьбу детей Денисьевой и Тютчева. Д.И. Сушкова писала тогда Е.Ф. Тютчевой: «...я верю его раскаянию, его отчаянию, но, <...> увы, убеждена, что он же первый будет пренебрегать этими тремя детьми, забывая о них» (там же. С. 352). Женщины

проявили тогда редкое благородство души: «Упокой, Господи, — писала Екатерина тетушке Сушковой в середине августа 1864 г., — ее бедную душу, по-видимому, много страдавшую, раз она так быстро изнурила тело» (там же. С. 350). «Да благословит Господь будущее этих детей, да поможет Он им стать людьми порядочными и честными. Я опасаюсь, — сетовала Сушкова, — что они наследуют пылкое воображение своих родителей — это роковое, пагубное свойство...» Она соглашалась с предложением племянницы взять на себя заботу о детях: «...самым разумным представляется <...> устроить их в Швейцарии...» (там же. С. 357). К старшей девочке, «младшей Леле», перешла от матери безудержная возбудимость; от нее скрывали «неправильность отношений между ее отцом и матерью»; и когда в случайном разговоре это внезапно открылось ей, «она предалась, — как писал Георгиевский, — чрезмерному горю, плакала и рыдала, проводила бессонные ночи и почти не принимала пищи <...> бывшая у нее в зародыше чахотка развилась с чрезвычайной быстротой...» (там же. С. 138).

Георгиевский, часто навещая Денисьеву, имел редкую возможность близко наблюдать Тютчева в домашней, семейной обстановке; в данном случае не имело значения, что это была вторая, незаконная семья. Георгиевский был искренне, как к сестре, привязан к Денисьевой, но старался быть объективным. Характер Денисьевой проявлялся иногда очень бурно, что она давала почувствовать Тютчеву. Георгиевский не без иронии писал: «Сам Тютчев еще при жизни Лели рассказывал об ее страстном и увлекающемся характере и нередко ужасных его проявлениях, которые, однако же, не приводили его в ужас, а напротив, ему очень нравились, как доказательство ее безграничной, хотя и безумной, к нему любви. <...> Но что бы это было, если бы он покусился на действительный разрыв с нею! И очень немудрено, что страх перед возможными проявлениями ее чрезмерной страстности действовал на него не менее сдерживающим образом, чем блаженство чувствовать себя так любимым» (там же. С. 125–126).

[2] В апреле 1851 г., когда Тютчев не имел никакой надежды спасти себя от «буйной слепоты страстей», а возлюбленную от «судьбы ужасного приговора», он написал стихотворение, обращенное к жене:

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была –
Ты, ты, мое земное провиденье!..

Стихотворение постигла печально-романтическая судьба. Оно было вложено в альбом-гербарий Эрн. Ф. Тютчевой и обнаружено ею спустя два с лишним десятилетия. «Стихи эти замечательны не столько как стихи, – писал тогда, в 1875 г., И.С. Аксаков в письме к сестре своей жены Е.Ф. Тютчевой, – сколько потому, что бросают луч света на сокровеннейшие, интимнейшие брожения его сердца к жене... Каков же был ее сюрприз, ее радость и скорбь при чтении этого привета d'outre tombe (замогильного), такого привета, такого признания ее подвига жены, ее дела и любви!» (*Изд. 1987.* С. 397).

[3] На А.С. Цуриковой чуть было не женился Николай Иванович, старший брат Тютчева. Он был старше поэта всего на два года, но, по словам И.С. Аксакова, относился к тому «не только с братскою, но с отцовскою нежностью, и ни с кем не был Федор Иванович так короток, так близко связан всею своею личною судьбою с самого детства». Он был «его постоянным гением-хранителем, – при всякой беде, всюду поспешал к нему на помощь» (*Биогр.* С. 307).

10. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 12–13 об., 47–47 об.

Публикуется впервые.

[1] Речь идет о В.П. Давыдове, внуке гр. В.Г. Орлова, сыне его дочери. Официально он стал именоваться Орловым-Давыдовым, получив в 1856 г. графский титул. Тютчев много лет дружил с ним, ценил его общественную и литературную деятельность. В.П. Орлов-Давыдов многократно приглашал Тютчева в свое имение Отрада, расположенное в Серпуховском уезде Московской губернии. Тютчев долго собирался к друзьям и посетил Отраду в 1869 г. На поэта произвела глубокое впечатление отрадненская атмосфера, самой характерной чертой которой, по позднему свидетельству И.С. Аксакова, был «живой союз с церковью и не менее живой союз с русским народом» (т. 2 наст. изд. С. 563–564). Памятью об этом визите стали строки, посвященные хозяйке имения – О.И. Орловой-Давыдовой (там же. С. 202).

Зимой 1851 г. на балу у В.П. Давыдова, бывшего тогда петербургским губернским предводителем дворянства, была А.Ф. Тютчева. В дневнике за 1854 г. она писала: «Всякий вечер мы собираемся маленьким кружком у цесаревны... Сегодня вечером за чаем разговор зашел о балах. Я вспомнила бал у Орлова-Давыдова, где три года назад я увидела цесаревну... Я рассказала об этом инциденте цесаревне, которая посмеялась и назвала меня дерзкой за то, что я обозвала ее прелестной дамочкой» (*Тютчева*. С. 178).

[2] А.А. Жерве, ближайший сослуживец Тютчева, всегда старался идти навстречу пожеланиям коллеги.

[3] Жизненные пути Тютчева и А.С. Хомякова пересекались не часто, но их связывало глубокое взаимное уважение, внимательное отношение к поэзии и публицистике друг друга и, главное, единство воззрений на особенности русского исторического развития, на особый характер отношения России к Европе, вера в великое будущее славянских народов. Их политические сочинения нередко содержали внутреннюю перекличку — они воистину были совопросники века сего. Зачинатель славянофильства и признанный вождь славянофильского кружка, Хомяков из всех славянофилов был наиболее близок Тютчеву. Как и Тютчев, он писал некоторые свои статьи, преимущественно богословского содержания, по-французски и печатал их за границей. Взгляды Хомякова, малоизвестные в России за пределами узкого круга избранных посетителей московских салонов, оказали большое влияние на членов тютчевской семьи.

А.Ф. Тютчева вспоминала: «Ко времени моего приезда в Россию, благодаря полученному мною воспитанию и природным склонностям, религиозный интерес был во мне преобладающим. В Мюнхенском институте католические патеры, само собою разумеется, пускали в ход все возможные средства, чтобы привлечь меня к католицизму. Но та несколько искусственная экзальтация, которую они сумели мне внушить, не имела характера глубокого и сознательного убеждения и не могла не рассеяться под влиянием умственного развития. Вначале, не понимая по-русски, я не могла следить за нашей службой, которая мне казалась длинной и утомительной. Но потребность в молитве постоянно приводила меня в церковь, и я постепенно стала понимать молитвы и проникаться красотой православных обрядов.

Два или три года спустя одна брошюра в несколько страниц — небольшой религиозный полемический трактат о нашей церкви, очень краткий, но яркий и вдохновенный, — произвела це-

лый переворот в моем нравственном сознании. Это краткое изложение догматов нашей церкви принадлежало перу москвича А.С. Хомякова. <...> Я никогда не забуду, какой лучезарной радостью исполнилось мое сердце при чтении этих страниц, которые с тех пор я так часто перечитывала и которые всегда производили на меня то же впечатление глубокой содержательности. Хомяков, однако, не был богословом по специальности; это был просто человек умный, писатель, поэт, ученый и прежде всего душа, глубоко проникнутая богосознанием. Он жил в Москве и стоял во главе той небольшой группы умных людей, которых наше глупое общество иронически прозвало "славянофилами" ввиду их национального направления, но которые, по существу, были первыми мыслящими людьми, дерзнувшими поднять свой протестующий голос во имя самобытности России, и первые поняли, что Россия не есть лишь бесформенная и инертная масса, пригодная исключительно к тому, чтобы быть вылитой в любую форму европейской цивилизации и покрытой, по желанию, лоском английским, немецким или французским; они верили, и они доказали, что Россия есть живой организм, что она таит в глубине своего существа свой собственный нравственный закон, свой собственный умственный и духовный уклад и что основная задача русского духа состоит в том, чтобы выявить эту идею, этот идеал русской жизни, придавленный и не понятый всеми нашими реформаторами и реорганизаторами на западный образец» (*Тютчева*. С. 12–13).

[4] С гр. М.Ю. Виельгорским Тютчев был близок много лет. Очень хорошо относилась к нему и Эрн. Ф. Тютчева, называя при этом его дочь Софью «очаровательнейшей женщиной, которую только можно себе представить» (*ЛН-2*. С. 210). Софье, жене писателя В.А. Соллогуба, по ее собственному позднейшему рассказу, было посвящено стихотворение Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Виельгорский был известен как музыкант и композитор-любитель; Р. Шуман во время своего посещения Петербурга встречался с Виельгорским, исполнял в его доме одну из своих симфоний и назвал хозяина гениальнейшим из дилетантов. Граф занимался и организаторской деятельностью; так, по его совету К. Шуберт, известный виолончелист и композитор, директор Филармонического общества и инспектор музыки при императорских театрах, устроил в Петербургском университете утренние симфонические концерты, в которых оркестр состоял из студентов и других любителей. Эти концерты, на которых исполнялась классическая музыка, стали в 1850-е гг. началом создания Русского музыкального общества.

Дружба Тютчева с Виельгорским далеко не случайна. Музыка играла немалую роль в жизни поэта, но еще большую — в его поэзии. Лирика Тютчева необыкновенно музыкальна. Существуют десятки, если не сотни музыкальных трактовок его стихотворений, причем не только в романсах, но и в хоровых произведениях, и в инструментальных. Интересно, что своеобразный синтез музыки и стиха — музыкально-тактовая теория стихосложения была впервые представлена именно на примере стихотворения Тютчева «Последняя любовь» А. Белым. Последний в своих философско-эстетических представлениях уделял много внимания преломлению в поэзии законов музыкальной композиции, которые позволяют передавать «душевную созвучность окружающего мира».

[5] *Щука* — камердинер Тютчева был на год старше своего барина и служил у него с 1830-х гг.; по происхождению он был чех; и он сам, и окружающие почти забыли его настоящее имя — Эммануил Тума, которое было заменено прозвищем «Brochet» — Щука. Впервые, вспоминала Эрн. Ф. Тютчева, он появился в ее семье, чтобы помогать матери ухаживать за ее братом, больным тифом (незадолго перед этим от той же болезни умер ее муж). Эммануила наняли, чтобы он дежурил у постели больного, но «с первой же ночи громкий храп возвестил, что он понимает бодрствование по-своему». Его решили уволить, но, подобно многим слугам, которые не желали расставаться со своими господами и от которых решительно невозможно было избавиться, «он и посейчас у нас, вот уже двадцать три года или более с тех пор, как его должны были уволить» (там же. С. 103).

11. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 14–15 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 112–113.

[1] В частных письмах Тютчева как нигде проявляется странная двойственность его натуры. Парадоксально, что в ее основе лежит искренность, доведенная до абсолюта. «Недавно папá говорил мне, — писала в дневнике А.Ф. Тютчева в 1847 г., — что самое важное условие для утверждения нашего счастья — это полная правдивость в отношении самого себя. <...> Только правда, чистая правда и без-

заветное следование своему незапятнанному инстинкту» (*ЛН-2*. С. 220–221). Почти все, кто близко общался с Тютчевым, признавали, что «полная правдивость» в каждый отдельный момент нередко окружающими переносилась с трудом. Особенно тяжело приходилось жене. В сентябре 1851 г. она сетовала брату: «На словах он готов согласиться с необходимостью подчиниться всем благоразумным решениям, но едва вы пытаетесь осуществить что-нибудь из того, что было признано необходимым, как он пускает в ход все средства, чтобы все расстроить, и в результате получается, что выгоднее предоставить делам идти своим чередом, чем пытаться привести их в порядок» (там же. С. 249).

[2] Давид был вторым царем израильским и сменил первого царя, Саула. При Сауле, который пошел искать потерявшихся ослиц, а нашел царство и который был помазан на царство Самуилом (знаменитейшим и мудрейшим из судей израильских, составителем библейской Книги Судей, но не устоявшим, однако, перед требованием народа: «Пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы», — хотя и предостерегал народ от опасности деспотии), страна достигла высокой степени хозяйственного, военного и политического развития, однако царь Саул не выдержал испытания властью, утратил справедливость, окружил себя пышностью и затосковал. Тогда-то и был призван ко двору Давид, чтобы искусной игрой на арфе развлекать и вдохновлять царя. Давил снискал сначала признательность Саула, а позже его ненависть и был тайно помазан Самуилом на царство еще при жизни Саула. Вспоминая об этой библейской истории, Тютчев возвращается к одной из своих излюбленных идей: непредсказуемости, неотвратимости судьбы и тщетности попыток ее изменить своей волей (см.: 1 Царств. 9–31; 2 Царств. 1–12).

[3] «Наш дитятя», — называла Тютчева Эл. Ф. Тютчева и писала в 1837 г. его матери, Екатерине Львовне, что ей легче справляться с тремя грудными младенцами, чем с одним мужем: «Я <...> не могу надеяться на его совет или поддержку» (*ЛН-2*. С. 197). Тютчев и тогда часто казался старым и больным, хотя настоящая старость была еще далеко. Едва достигнув тридцати с небольшим лет, он, по свидетельству его первой жены, нередко выглядел, как «подавленный, удрученный, больной, опутанный множеством неприятных и тягостных для него отношений, освободиться от которых он не способен в силу уж не знаю какого душевного бессилия...» (там же). Летом 1851 г. душевные потрясения Тютчева отражались на его самочувствии, что, однако, не было главным препятствием для поездки в Овстуг.

[4] В почтовых каретах по летним дорогам, даже если не было слякоти, передвигаться без сильной тряски было невозможно, что для не вполне здорового человека было не только неприятно, но и не всегда безопасно.

12. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 16–17 об.

Первая публикация – в русском переводе: *Изд. 1980*. С. 113–116.

[1] Весной и летом 1851 г. Эрн. Ф. Тютчева читала «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина. Тютчев с удовольствием сам знакомился с ее комментариями и показывал их близким знакомым: она обладала свежим взглядом на мир, умела хорошо формулировать свои мысли, некоторые реалии жизни Западной Европы знала лучше Тютчева, однако он не всегда одобрял ее замечания.

[2] Модный в середине XIX в. способ лечения нервических заболеваний; компрессы на животе, которые мешали активному образу жизни, считались, однако, более прогрессивным средством, нежели советы медиков начала века гладить живот шерстяной рукавицей для успокоения нервов.

[3] А.И. Козлова – дочь поэта И.И. Козлова, близкая знакомая всего семейства Тютчевых и приятельница дочерей поэта.

[4] Речь идет о летнем театре в Петровском парке.

[5] В первой половине 1850-х гг. П.А. Вяземский был сильно болен; его здоровье оказалось подорвано еще в 1849 г. смертью от холеры старшей дочери Марии; предпринятое сразу после этого путешествие в Константинополь к сыну Павлу, служившему там в русском посольстве, и в Иерусалим не пошло ему на пользу. 1851–1855 гг. он провел во Франции, Германии, Швейцарии.

[6] Н.И. Тютчев, «толстый брат», как его именовала Эрнестина Федоровна Тютчева, после Училища колонновожатых служил в Генеральном штабе; много лет провел в Варшаве, потом в Вене; по выходе в отставку подолгу жил в Париже.

[7] М.П. Леонтьева была дочерью солигаличского уездного предводителя дворянства П.А. Шипова; училась в Смольном, была выпущена с шифром; назначена фрейлиной к дочери императрицы Марии Федоровны Екатерине Павловне. Вышла замуж за генерала

Н.Н. Леонтьева, первая жена которого, урожд. Пестель, близкая родственница декабриста, оставила ему троих сыновей. Ее братья, Иван и Сергей, были деятельными членами ранних декабристских организаций; Сергей в описываемое время был генерал-адъютантом, сенатором, близким знакомым Сушковых.

Она овдовела в сорокапятилетнем возрасте; императрицей Александрой Федоровной была назначена гофмейстериной при дворе ее дочери Марии Николаевны; с 1839 г. – начальница Смольного института и тридцать шесть лет, вплоть до своей смерти восьмидесятилетней старухой, занимала этот высокий пост. Леонтьева немало сделала для процветания Смольного, при ней были устроены образцовый лазарет, снабженная современным оборудованием кухня, где тщательно соблюдались правила гигиены, хорошая библиотека.

«Она действительно была немаловажною особой, – писала о ней Е.Н. Водовозова, учившаяся в Смольном в середине XIX в. (в будущем детская писательница, педагог, мемуаристка). – Начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала».

Эта характеристика, начатая в мажорном тоне, заканчивается убийственно: «Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века» (*Институтки*. С. 221).

Подобная тональность отзывов учениц об их alma mater в высшей степени характерна. Она соответствует общей тенденции, распростра-

нившейся в России в середине XIX в., когда к воспитанию девочек в закрытых учебных заведениях оказалось привлечено внимание широкой общественности. При множестве достоинств даваемого там образования, при очевидной пользе для пансионерок, большинство которых не имели возможности иным способом приобрести подобающее дворянской девице воспитание и положение в обществе, институты подвергались и мягкой, и жесткой критике как бывших воспитанниц, так и представителей общественности. Молодые девушки выходили из стен институтов, где они жили в полной изоляции от окружающей среды, абсолютно незнакомыми с реальностью и неприспособленными к ней.

Чуть позже описываемого времени, во второй половине 1850-х – начале 1860-х гг., была предпринята решительная реформа женского воспитания и образования, которую со всей энергией взялся проводить К.Д. Ушинский. В результате оно в значительной степени было модернизировано в соответствии с требованиями нового времени, установлена единообразная программа, предметы стали преподаваться на русском языке, введены летние отпуска, расширен социальный состав учащихся и пр.

Правда, к моменту поступления дочерей Тютчева в институт до реформ Ушинского оставалось еще несколько лет, и в представлении поэта ничто не говорило в пользу их пребывания там, кроме жестокой необходимости. Условия семейной жизни не позволяли дать им иное образование. Две недели спустя после этого письма Тютчев, не чинясь, напишет жене о Леонтьевой: «...злонамеренная дура, не только злая, но и трусливая» (см. письмо 16).

13. П.Я. ЧААДАЕВУ

П.Я. Чаадаев был другом Тютчева и его постоянным неуступчивым оппонентом. Родственник и биограф «басманного философа» М.И. Жихарев писал: «Очень замечательно, что наиболее несогласные были с ним и наиболее дружными. Бешеный его противник Федор Иванович Тютчев часто говаривал: "L'homme, que je contredis le plus est aussi celui que j'aime le mieux" ("Человек, с которым я больше всего спорю, это человек, которого я больше всего люблю". – *Фр.*). Их споры между собою доходили до невероятных крайностей. Раз середи Английского клуба оба приятеля подняли такой шум, что клубный швейцар, от них в довольно почтенном расстоянии находившийся, серьезно подумал и благим матом прибежал посмотреть, не произошло ли в клубе небывалого явления рукопашной схватки и

не пришлось бы разнимать драку» (Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С. 108).

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 103. К. М1032. Ед. хр. 67. Л. 1.

Первая публикация — *Изд. 1980.* С. 116.

На обороте письма рукой Ф.И. Тютчева: «Милостивому государю Петру Яковлевичу Чаадаеву *от Тютчева*».

14. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 18–19.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 116–118.

[1] С конца лета 1850 г. до начала лета 1852 г. Тютчевы жили в Петербурге на Невском проспекте у Аничкова моста. «С грехом пополам, — писала Эрнестина Пфеффелю в сентябре 1850 г., — мы устроились в просторной квартире, расположенной в прекрасном месте, <...> но это все, что я могу сказать вам пока, т. к. гостиная наша совершенно лишена обстановки по той печальной причине, что нам не хватает денег на покупку мебели» (*ЛН-2.* С. 247).

В середине лета 1851 г. в столице стояла необычная для тех мест жара; дожди были крайне редки; зелень, которой в городе и без того было мало, совсем пожухла; Тютчева донимала пыль, что крайне раздражало его и ослабляло некрепкое здоровье.

[2] А. Пирлинг (урожд. Картемон) — в 1840–1860-е гг. классная дама Смольного института. Ее отец был в свое время гувернером Ф. и Н. Тютчевых. «Отсюда обоюдное признание, взаимное и всеобщее удовлетворение, принятие под свое покровительство и все, что из этого следует», — писал Тютчев родителям при поступлении дочерей в институт в 1845 г. (т. 4 наст. изд. С. 326).

[3] Возможно, речь идет об императрице Александре Федоровне.

15. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 20–21 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 118–121.



[1] Письма неизвестны.

[2] Если сравнить эти слова, написанные 25 июля, с письмом, посланным двумя днями ранее («...как бы то ни было — дело испорчено <...> не представляю, каким путем мне удастся его изменить»), сразу становится ясным, в каком нервном напряжении находился Тютчев.

[3] В.В. Беккер, достаточно известный в столице врач, был сторонником натуральной школы и считал, что пациент должен сам стараться помочь выздороветь своему организму, а не полагаться в борьбе с болезнью только на достижения медицины.

[4] Речь идет о Д.П. Колошине, дипломате, младшем сослуживце Тютчева. Позже поэт подружился с его старшим братом Сергеем (см.: *ЛН-2*. С. 289), писателем и публицистом. Д.И. Сушкова писала дочери Тютчева Китти (1857): «Твой отец отправился в Эрмитаж вместе с Сергеем Колошиным, который будет ему хорошим проводником, он будет оберегать его от толпы, защищать» (там же. С. 291).

[5] Вел. кн. Елена Павловна, потеряв в 1848 г. мужа, вел. кн. Михаила Павловича, целиком посвятила себя общественной деятельности. Так, например, во время Крымской войны она основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, которая сыграла очень значительную роль в организации помощи раненым и послужила прообразом российского Красного Креста. Среди прочего она покровительствовала наукам и искусствам. Она симпатизировала Тютчеву, который был постоянным гостем ее салона. Однажды, правда, как писала Д.Ф. Тютчева своей тетушке Сушковой в марте 1854 г., Елене Павловне пришлось объявить Тютчеву, что она «решила не приглашать его на свои приемы» из-за его «шевелюры, обилие и беспорядок которой оскорбили взор». Об этом великая княгиня объявила во время обеда, на который позвала Тютчева, чтобы «высказать ему свое восхищение его стихами» (там же. С. 262).

Дружеские отношения поэта со знатью, по словам Георгиевского, огорчали Денисьеву; она тяжело переживала подобострастное отношение к нему своей тетушки Анны Дмитриевны, которое было исполнено почтительности потому, что он был «так любим при Большом дворе и при Малых дворах, особенно же у великой княгини Елены Павловны» (там же. С. 110–111).

[6] Здесь речь идет о писателе и музыкальном критике кн. В.Ф. Одоевском и его жене Ольге Степановне. Одоевский по прямой линии происходил от мученика кн. Михаила Всеволодовича Черниговского и считался одним из последних Рюриковичей.

Тютчевы много лет встречались с ними. Незадолго до описываемого времени они посетили ставший известным литературный вечер у Одоевских, на котором читалась пьеса И.С. Тургенева «Нахлебник», написанная для бенефиса М.С. Щепкина. Она была запрещена к постановке и читалась в частных домах. «Был у Одоевских, — писал П.А. Плетнев в ноябре 1849 г. Я.К. Гроту, — которые собрали весь beau monde слушать Щепкина, читавшего Тургенева». Тютчев, по словам его жены, нашел пьесу «поразительно правдивой и чрезвычайно трагичной» (там же. С. 238–239).

[7] Сын П.А. Вяземского, Павел Петрович, служил в Министерстве иностранных дел; позднее стал сенатором; много занимался историей, палеографией, историей литературы (в частности, доказывал существование следов классического влияния в памятниках древнерусской литературы); основал общество любителей древней письменности. В 1851 г. жил с семьей в Гааге, где числился при русском посольстве.

16. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 22–23 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980*. С. 121–124.

[1] Тютчев был знаком с великой княгиней с 1840 г., вхож в ее салон, пользовался ее покровительством, особенно при устройстве судьбы дочерей, и обессмертил ее имя стихотворением «Живым сочувствием привета...».

Интересную характеристику великой княгине дала А.Ф. Тютчева: «Я застала ее в роскошном зимнем саду, окруженной экзотическими растениями, фонтанами, водопадами и птицами, настоящим миражом весны среди январских морозов. Дворец великой княгини Марии Николаевны был поистине волшебным замком, благодаря щедрости императора Николая Павловича к своей любимой дочери и вкусу самой великой княгини, сумевшей подчинить богатство и роскошь, которыми она была окружена, разнообразию своего художественного воображения. Это была, несомненно, богатая и щедро одаренная натура, соединявшая с поразительной красотой тонкий ум, приветливый характер и превосходное сердце, но ей недоставало возвышенных идеалов, духовных и умственных интересов» (*Тютчева*. С. 32).

[2] А.А. Воейкова была фрейлиной вел. кн. Марии Николаевны и много содействовала устройству судьбы всех дочерей Тютчева. Ее сестра Мария была фрейлиной вел. кн. Александры Иосифовны. Их мать А.А. Воейкова (урожд. Протасова), племянница В.А. Жуковского, воспетая им знаменитая «Светлана».

[3] С.А. Бобринская — жена гр. А.А. Бобринского. А.О. Смирнова рассказывала анекдот, что в нее в свое время был безумно влюблен В.А. Перовский, и, когда Жуковский сообщил ему о ее замужестве, он «был так потрясен, что отстрелил себе кончик пальца на правой руке»; на вопрос же, кто ее выдал замуж, Перовский позже отвечал: «Мужики, восемь тысяч душ» (*Смирнова-Россет*. С. 470–471). Впоследствии, в тютчевские времена, она была хозяйкой петербургского салона, о котором П.А. Вяземский говорил, перефразируя Евангелие от Матфея, что там «находились немногие, но избранные» (Мф. 20, 16).

[4] Н.Ф. Арендт был одним из самых выдающихся российских хирургов своего времени; прошел всю наполеоновскую кампанию; его необыкновенное искусство и смелость в рискованных операциях имели необыкновенный успех, которому нередко современники придавали некие мистические черты. В действительности удачливость хирурга обуславливалась тем, что он чуть ли не первый в России понял значение послеоперационного периода и окружал больного чрезвычайно тщательным уходом.

17. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 24–25 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980*. С. 124–127.

[1] См. письмо 14, примеч. 1. Лопатин — домовладелец.

[2] А.Л. Гофман был в это время управляющим IV Отделением собственной его величества канцелярии и членом Главного совета женских учебных заведений. От него во многом зависело определение дочерей Тютчева в Смольный институт.

[3] Отношения второй жены Тютчева с его семьей всегда беспокоили поэта, несмотря на то что в целом они были неплохими, а с Николаем даже дружественными.

[4] Этим летом Эрнестина Федоровна проявляла необычайную выдержку и присутствие духа, противостоя бесконечным жалобам

мужа на ее отсутствие. Свое пребывание в деревне она объясняла заботой о детях и полным расстройством материальных дел: «Нам совершенно необходимо было бы шесть месяцев в году проводить в деревне, — писала она брату К. Пфеффелю в сентябре 1851 г., объясняя причины долгой жизни врозь с мужем, — но заставить моего мужа внять в этом случае голосу рассудка, хотя бы в том, что касается не его самого, а только нас, — вещь совершенно невозможная. С огромным трудом я осталась теперь в деревне на три месяца» (*ЛН-2*. С. 249).

[5] Павловск расцвел со строительством железной дороги и особенно после того, как в 1849 г. его стал опекать вел. кн. Константин Николаевич, «самый величественный» из великих князей, как его описывала А.Ф. Тютчева: «...в его взгляде, в его осанке чувствуется владыка» (*Тютчева*. С. 125). Среди прочего в Павловске были устроены обсерватория, музей, театр; его музыкальные вечера привлекали известных исполнителей и изысканную публику.

[6] «Париж не доставляет ему особого наслаждения, — писала несколькими годами ранее, летом 1844 г., Эрн. Ф. Тютчева брату о муже, — и так как театр больше его не занимает, я думаю, прости меня Господи, что ему порой не хватает парилки, где сидит на своем насесте Снегирь» (*ЛН-2*. С. 208). «Le Bouvreuil» — так иронически называли гр. Э. Межана, мюнхенского приятеля Тютчева. Поэту полюбилось прозвище, и он перенес его в данном случае на гр. Г.А. Строганова.

[7] К. де Местр, французский эмигрант на русской службе, которому в это время было без малого девяносто лет, был достаточно колоритной личностью, и Тютчев живо интересовался его службой при штабе А.В. Суворова, участием в кампании 1812–1814 гг. и, не в последнюю очередь, производством гр. де Местра-младшего в генерал-майоры русской армии с награждением золотой шпагой и орденом Св. Анны с бриллиантами за заслуги в войнах против Наполеона. Выйдя в отставку, граф много путешествовал по Западной Европе. Де Местр был довольно известным автором оригинальнейшего «Путешествия вокруг моей комнаты» (1794, переведено на русский язык в 1802), с его философией спокойствия и ненасилия, и трогательной «Молодой сибирячки» (русский перевод — 1840); из-под его пера вышли не только прозаические литературные произведения, но и переводы русских поэтов на французский язык, и естественнонаучные исследования; он занимался даже воздухоплаванием и был художником-миниатюристом и пейзажистом. Однако более всего он был известен как младший брат знаменитого католическо-

го мыслителя Ж. де Местра. Он говорил: «Мы с братом были как две стрелки одних часов. Он часовая, а я лишь минутная, но показывали мы одно и то же время, хотя каждый по-своему». Он был женат на фрейлине С. Загряжской. Граф умер в Стрельне на даче Н.Н. Ланской, вдовы А.С. Пушкина; похоронен в Петербурге, а на могиле завещал сделать надпись: «Ксавье, брат Жозефа де Местра». На родине, в Шамбери, обоим де Местрам был поставлен общий памятник.

В свое время Тютчев с глубоким интересом вникал в идеи его старшего брата Ж. де Местра, в частности о божественном происхождении монархической власти, и находился под их определенным воздействием. Позже тютчевские пророчества о великой вселенской империи воспринимались как развитие теократических идеалов де Местра: «Если бы в Мюнхене мне сказали, что со временем Тютчев будет в петербургских салонах исполнять роль некоего православного графа де Местра <...> я был бы необыкновенно поражен», — писал И.С. Гагарин А.Н. Бахметевой в 1874 г. (там же. С. 45).

18. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 26–27 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 167–169.

[1] Н.И. Тютчев опекал Дарью и Екатерину, сопровождая их в Петербург.

[2] У Тютчева были необыкновенно обширные светские и общественно-культурные связи, и он их все по возможности использовал в интересах своих детей. П.А. Плетнев был литератором пушкинского круга, известным педагогом. В разные годы он преподавал русский язык и словесность вел. кн. Елене Павловне, вел. княжнам Марии Николаевне и Ольге Николаевне, наследнику-цесаревичу Александру Николаевичу, ему покровительствовала императрица Александра Федоровна. Близость к придворным кругам делала Плетнева человеком влиятельным, что он охотно использовал, хлопоча за литературных друзей. В 1849 г. Плетнев, 58-летний ректор Петербургского университета, женился на молодой княжне А.В. Щетининой. Их брак не мог не занимать Тютчева.

[3] Ц.И. Капелло много лет была гувернанткой детей Эрн. Ф. и Ф.И. Тютчевых.

[4] Стихотворение «В разлуке есть высокое значенье...» и комментарий к нему см. т. 2 наст. изд. С. 44, 281, 379.

19. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 28–29 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 127–128.

[1] Бар. А.М. Крюденер (урожд. гр. Лерхенфельд-Кефферинг), по матери, принцессе Турн-унд-Таксис, кузина императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, в молодости привлекла восторженное внимание Генриха Гейне. В письме к Тютчеву Гейне сделал ей прелестный комплимент: «Я отправился в “Трибуну” на поклон Венере Медицейской; она поручила мне передать привет ее сестре — божественной Амалии» (*ЛН-2.* С. 33). Было время, когда «государь <Николай 1> занимался в особенности бар. Крюднер», которая «была блистательно хороша» (*Смирнова-Россет.* С. 8–9).

А. Крюденер была давней знакомой Тютчева, одной из его муз. Ей он посвятил стихотворение «Я встретил вас — и все былое...».

20. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 30–31 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 129–131.

[1] Девочки, Екатерина и Дарья, были погодками и одновременно, по возвращении семьи из Мюнхена, поступили в Смольный институт «для продолжения образования», обе в качестве пенсионерок, одна — вел. кн. Марии Александровны, будущей императрицы, другая — вел. кн. Марии Николаевны. Институт непосредственно вошел в жизнь семьи Тютчевых более чем на десять лет, но его отдаленное влияние на тютчевских дочерей можно было наблюдать еще долго.

Пепиньерками назывались выпускницы института, оставленные при нем в пепиньерском (педагогическом) классе для подготовки к

должности классной дамы. Кроме слушания лекций в институте они должны были дежурить в «кофейном», т. е. младшем, классе во время болезни классных дам и спрашивать у маленьких уроки. Пепиньерки одевались лучше других воспитанниц: их форменное платье было серым с черным передником и с кисейной, а по праздникам — кружевной, пелеринкой.

До 1860 г. Смольный институт состоял из двух учебных заведений: Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, иначе Александровской половины. На Николаевской половине учились дочери лиц не ниже полковника или статского советника и потомственных дворян; в Александровскую принимали дочерей лиц от штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей священнослужителей и дворян, внесенных в третью часть дворянской книги, т. е. тех, кто получил потомственное дворянство за выслугу определенного чина на гражданской службе или за награждение российскими орденами.

На Николаевской половине было четыре класса, различавшихся цветом платьев: коричневого (кофейного), самый младший; голубого, серого и белого цвета; на платья надевались передники — у трех младших возрастов белые, а у «белых» (старших) зеленые шелковые. Со временем два старших класса объединились, и остались «кофейный», «голубой» и «белый», при этом у «белых» были платья зеленого цвета как воспоминания о прежних правилах (непосвященным трудно было сразу разобраться в институтской иерархии цветов!). На Александровской половине были два класса, «кофейный» и «белый».

Смольный был образован еще Екатериной II — для помощи в «создании новой породы людей», которой можно достичь, если «произвесть сперва способом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, которые детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие они получили сами, и от них дети передали паки своим детям...».

Судьба выпускниц женских институтов складывалась по-разному. Многие стали впоследствии просто уважаемыми матерями семейства; многие, правда, остались незамужними и нередко проводили всю жизнь в стенах института, подобно Леонтьевой, которая сорок пять лет прожила в Смольном. Подобная судьба была вполне достойной, гарантировала не только пожизненный стол и кров, но и достаточно высокое положение в обществе. Из институтов выходи-

ли, бывало, и истинные дарования, как, например, Е.Н. Водовозова (см. письмо 12, примеч. 8). Дочь небогатого смоленского помещика из древнего шляхетского рода Цевловских, она вышла замуж за учителя словесности, преподававшего в институте. По смерти Василия Ивановича Водовозова она стала женой его друга, ученика и тезки Семевского, известного историка, основателя журнала «Голос минувшего». Ее литературные «вторники» были «центром, вокруг которого в течение многих десятилетий объединялась петербургская интеллигенция левого, главным образом народнического, направления» (*РП-1*. С. 455).

Основой жизни института были «чинность, безгласие, наружная добропорядочность и повиновение». Для маленьких девочек был тяжел переход от домашних, семейных привычек к казенной жизни у всех на глазах, но не менее сложен оказывался последующий переход к внеинститутской жизни. Отсюда происходили особенности барышень-институток: малокровие и хрупкость, восторженность и экзальтированность, а то и истеричность.

Крайне сурово судила институтскую жизнь старшая дочь Тютчева Анна, которая, по ее словам, скоро поняла, «как плохо воспитывают» ее сестер. Она, во многом воспринявшая идеалы отца, видела, что многие правила института ведут к формированию лицемерия, а то и безнравственности, от чего она всемерно оберегала младших сестер: «Я <...> старалась противодействовать злу, проводя с ними как можно больше времени; не давала им читать плохих романов, которые ученицы добывали себе с большой легкостью». Это была так называемая «подземная», тайная библиотека, о которой вспоминали многие институтки. Вывод А.Ф. Тютчевой неутешителен: «Касаясь <...> вопроса о воспитании в женских учебных заведениях России, я совсем не имею в виду входить в подробности, которые завели бы меня слишком далеко, я хочу лишь сказать, что в этом отношении я узнала жизнь нашей родины с одной из самых характерных и самых тяжелых сторон: это поверхностное и легкомысленное воспитание является одним из многих результатов чисто внешней и показной цивилизации, лоск которой русское правительство, начиная с Петра Великого, старается привить нашему обществу, совершенно не заботясь о том, чтобы оно прониклось подлинными и серьезными элементами культуры» (*Тютчева*. С. 11–12).

[2] В те времена был в большой моде сад Излера при Заведении искусственных минеральных вод. В России наиболее распространены были сельтерская и содовая искусственные воды. В Петербурге (в отличие от Москвы) существовали специальные нормативы со-

держания в воде различных химических веществ, и заводчики могли привлекаться к ответственности в случае отступления от норм.

[3] М.К. Зеебах (дочь министра иностранных дел гр. К.В. Нессельроде), жена посла Саксонии в Париже Л. Зеебаха, давняя светская знакомая Тютчева. «Мой муж часто видает г-жу Хрептович и г-жу Зеебах» (*ЛН-2.* С. 245).

Е.К. Хрептович — старшая дочь Нессельроде. «Он встретил в Париже г-жу Зеебах и г-жу Калерджи, и они не дадут ему скучать в великом городе», — писала Эрн. Ф. Тютчева брату (там же. С. 256).

М.Ф. Калерджи — воспитанница Нессельроде.

Речь идет о «благородном спектакле», где исполнялся водевиль в одном действии «Заколдованная яичница, или Видит глаз, да зуб неймет» Ф. Дювера и Л. Буайе; пьеса обычно давалась на русском языке в переводе с немецкого, но в данном случае могла идти во французском оригинале.

[4] Речь идет о Е.А. Карамзиной, вдове писателя и историка Н.М. Карамзина, и ее дочери Софье Николаевне. А.Ф. Тютчева, как правило, настроенная к людям доброжелательно, любила Карамзиных и особенно Софью: «Бедная и дорогая Софи, я как сейчас вижу, как она, подобно усердной пчелке, порхает от одной группы гостей к другой, соединяя одних, разъединяя других, подхватывая остроумное слово, анекдот, отмечая хорошенький туалет, организуя партию в карты для стариков...» Софья Николаевна, по словам Тютчевой, была истинной вдохновительницей знаменитого салона Карамзиных. «Софи была очень некрасива, и ей было уже сорок лет, когда я с ней познакомилась. Она никогда не была хорошенькой: крупные и грубые черты, глаза, окаймленные страшными черными бровями, мужской рост — делали ее несколько похожей на переодетого женщиной Пьеро. И тем не менее под этой некрасивой оболочкой скрывалась какая-то обаятельность, какая-то женственная грация, или, лучше сказать, грация мотылька; грация мотылька чувствовалась и в ее уме, который так любил перелетать от одного предмета разговора на другой и порхать по цветущим верхам мысли» (*Тютчева.* С. 20).

[5] Железнодорожный транспорт в 1851 г. был в России далеко не новинкой: Царскосельская линия была открыта более десяти лет назад; с 1846 по 1851 г. по отдельным участкам линии Петербург — Москва, на которых движение открывалось последовательно, было перевезено целых 450 тысяч пассажиров и невиданное количество грузов — почти 700 тысяч пудов. Николаевская железная дорога, связавшая Петербург и Москву, была построена быст-

ро. Проекты вокзалов, разрабатывавшихся под наблюдением ведущего архитектора России К.А. Тона, были типовыми; конечные вокзалы абсолютно идентичными; вся дорога поделена на четыре участка, разделенные тремя одинаковыми станциями в Твери, Бологом и Малой Вишере. При строительстве дороги выдвинулся инженер Н.И. Миклуха, который стал первым начальником Николаевского вокзала (пост не только почетный, но и крайне ответственный). Он известен еще и тем, что был отцом путешественника Н.Н. Миклухи-Маклая и командира броненосца «Адмирал Ушаков» В.Н. Миклухи.

Отъезд двора вызвал в обществе подлинный ажиотаж и послужил популяризации железной дороги.

21. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 32–33 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980*. С. 132–133.

[1] Гр. О. К. Г. фон Брай, баварский дипломат, был старым мюнхенским знакомым Тютчева; в 1840–1850-е гг. занимал пост посланника в Петербурге.

22. С.С. УВАРОВУ

С.С. Уваров — президент Академии наук с 1818 г., входил в карамзинский литературный круг. С 1833 по 1849 г. — министр народного просвещения. С его именем связана разработка официальной идеологии николаевского времени. Во всеподданнейшем докладе, который он представил императору Николаю I к десятилетию своего пребывания на посту министра, он писал о задаче, возложенной на него императором и находившейся в тесной связи с «самою судьбою отечества»: «Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; со-

брать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения».

Русскими национальными началами Уваров провозгласил православие, самодержавие и народность. Эти начала «надлежало включить в систему общественного образования, чтобы она соединяла все выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего: чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было бы не чуждо европейского духа». Назначение сформулированной им идеологии Уваров излагал четко: «Изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в оных душах радушное уважение к отечественному... оценить с точностью все противоположные элементы нашего гражданского образования, все исторические данные, которые стекаются в обширный состав империи, обратить сии развивающиеся элементы и пробужденные силы, по мере возможности, к одному знаменателю; наконец, искать этого знаменателя в тройственном понятии *православия, самодержавия и народности*». Уваровская триада была необходимым и важным компонентом правительственной системы Николая I, она давала идейное обоснование особому месту России среди европейских государств (см.: Цимбаев Н.И. «Под бременем познанья и сомненья». Идейные искания 1830-х годов. — В кн.: Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989).

В 1849 г. Николай I отправил Уварова в отставку, будучи недоволен робким заступничеством министра за российские университеты, которые император считал рассадником вольнодумства. Находясь в отставке, Уваров не утратил связей в сановном мире. Тютчев познакомился с Уваровым во второй половине 1840-х гг., он бывал у министра, хотя относился к его деятельности скептически.

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — ГИМ ОПИ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 184–185.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН*. М., 1935. Т. 19–21. С. 582–583.

На л. 1 помета рукой С.С. Уварова: «Rép<ondu> le 2 sept<emre> a Poretch» (отвечено 2 сентября в Поречье).

[1] Подмосковное имение Уварова в Можайском уезде, куда министр, играя роль просвещенного мецената, приглашал в летнее

время известных профессоров Московского университета. Для хозяина Поречья и узкого круга избранных лиц, главным образом представителей высшего света, они должны были читать лекции по своей специальности. В Поречье часто бывали профессора М.П. Погодин, И.И. Давыдов, С.П. Шевырев, за что московские острословы прозвали их «холопами Поречья». Бывал там и профессор Т.Н. Грановский, кумир студенчества и ученых дам, лидер западников.

[2] Нередкая у Тютчева ошибка: на 15 августа приходился день рождения Уварова, на 25 сентября — день его именин.

[3] Имея в виду открытие движения по железной дороге между Петербургом и Москвой, Тютчев истолковывает это событие в духе своей историософии, в рамках которой Петр I был повинен в отрыве верхних классов, дворянства, от народной жизни. Символом этого отрыва был Петербург, противостояние которого с Москвой — давняя тема русской литературы и публицистики.

[4] Пространство России, ее бескрайняя равнина воспринимались Тютчевым как главное препятствие к ее благополучному существованию, ее материальному прогрессу и исполнению ею исторической миссии объединения и обновления христианского мира. В политических статьях Тютчева эта сторона его историософии не получила развития, но нашла отражение в поэзии и в переписке. В письме к Эрн. Ф. Тютчевой из Варшавы от 23 июня 1843 г. он писал: «Краков тебе понравился бы. Это достойный брат Праги, но это не более как прекрасный покойник. В то же время это последний живописный ландшафт, какой видит путешественник, направляющийся к Востоку. Ибо едва выедешь за ворота этого города, как попадаешь на необъятную *равнину*, скифскую равнину, которая так часто поражала тебя на моей рельефной карте, где она образует огромную плоскость, а в действительности она не привлекательней, чем на карте». И добавлял: «Закутайся покрепче в свои горы, чтобы возместить для меня отвратительную равнину, в которую я погружаюсь» (т. 4 наст. изд. С. 237–238).

[5] «Русский Колосс» — устойчивое определение Российской империи, своеобразный штамп официальной правительственной идеологии, широко использовавшийся в литературе и журналистике. Историк Погодин, который играл важную роль в утверждении уваровской триады «православие, самодержавие и народность», в университетских лекциях предлагал студентам взглянуть на Россию в «настоящую минуту» ее бытия: «Занимая такое пространство, какого не занимала ни одна монархия в свете, ни Македонская, ни Рим-

ская, ни Аравийская, ни Франкская, ни Монгольская, она заселена преимущественно племенами, которые говорят одним языком, имеют, следовательно, один образ мыслей, исповедуют одну веру и, как кольца электрической цепи, потрясаются внезапно от единого прикосновения, между тем как все предшествовашие состояли из племен разноязычных, которые не понимали, ненавидели друг друга и были соединяемы временно, механически, силою оружия или другими слабейшими связями под влиянием одного какого-нибудь могущественного гения. Даже нынешние европейские государства в малых своих размерах не могут представить такой целости и, занимая несравненно меньшее пространство, состоят из гораздо большего количества разнородных частей.

А сколько единоплеменных нам народов обитает в средней Европе даже до Рейна и Адриатического моря, народов, которые составляют с нами одно живое целое, которые соединены с нами неразрывными узами крови и языка, узами крепчайшими всех прочих географических и политических соединений, в чем соглашаются дальновиднейшие из наших противников». Далее он восклицал: «Какое же прошедшее соответствовало этому блистательному, почти бесконечному будущему! Как сложился этот колосс, стоящий на двух полушариях? Как сосредоточились, как сохраняются в одной руке все сии силы, коим ничто, кажется, противостоять не может?» (Погодин М.П. Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 2, 4–5).

В знаменитой статье «За русскую старину» (1845) Погодин обличал своих оппонентов, главным из которых был Грановский, в непонимании органической связи европеизированной России, созданной Петром, со старой Русью: «Не странно ли встретить, даже в образованном классе, людей столько запоздалых, столько отсталых или столько ослепленных, которые, имея пред своими глазами Петрову Россию, могут смело, не запинаясь, выговаривать, что этот колосс, готовый и вооруженный, произошел из ничего, беэ всякого предварительного приуготовления, без Среднего века» (там же. С. 438–439).

В иностранной печати враждебные России авторы обыгрывали тему «колосса», вспоминая судьбу одного из чудес античного мира, Колосса Родосского, который был разрушен землетрясением. Николаевская Россия нередко понималась как «колосс на глиняных ногах». Тютчев склонен противопоставлять идеям государственного величия России ее величие духовно-нравственное.

[6] На зиму Уваров возвращался в Петербург. Эрн. Ф. Тютчева в марте 1852 г. сообщала В.Ф. Вяземской: «Что касается графа Уварова, мой муж бывает у него довольно часто» (*ЛН-2*. С. 250).

25 Зак 7712

23. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 36–40 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 135–137.

[1] Хлопоты Тютчева завершились определением сына в петербургский пансион Тами. Об этом учебном заведении чуть позже крайне резко отзывалась А.Ф. Тютчева в письме к сестре Екатерине (17/29 декабря 1855), приводя аргументы в пользу переселения семьи из столицы в Москву: «Мальчики <...> будут воспитываться в более здоровой и нормальной обстановке, чем здесь, в этом скверном пансионе Тами» (*ЛН-2.* С. 280).

[2] Модная петербургская портниха.

[3] Вел. кн. Мария Николаевна с 1839 г. была замужем за Максимилианом, герцогом Лейхтенбергским, который благодаря браку получил титул императорского высочества. Их младший сын Георгий родился 17 февраля 1852 г.

[4] К. Пфёль — известный московский врач, долгие годы был домашним врачом Сушковых и лечил дочь Тютчева Екатерину.

[5] В.В. Пеликан был крупным врачом, специалистом по хирургической патологии и клинике наружных болезней; наиболее прославился как специалист по военной и гражданской ветеринарии.

[6] К.К. Гартман — придворный лейб-медик, лечивший Тютчева, его жену и старшую дочь Анну.

24. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 41–42 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 138–139.

[1] Александр Ярославич, правнук Владимира Мономаха, один из самых выдающихся героев Русской земли, по словам летописца, «много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение отдавая живот свой и за правоверную веру», умер во Владимире в 1263 г.; оповещая о его смерти, митрополит Кирилл возвестил народу: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли!» Был канонизирован. День переноса мощей благоверного кн. Александра Невского из Владимира в Петербург-

ский Александро-Невский монастырь, 30 августа 1724 г., с тех пор ежегодно отмечается Православной Церковью. В императорской России 30 августа – официальное событие, с особой торжественностью отмечаемое в Петербурге.

[2] Речь идет о возвращении в Петербург вел. кн. Марии Николаевны.

25. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 43–44 об.

Первая публикация – в русском переводе: *Изд. 1980*. С. 139–141.

[1] Е.А. Карамзина – вторая жена Н.М. Карамзина, по отцу родная сестра князя П.А. Вяземского. В 1830–1850-е гг. ее дом был одним из центров литературно-общественной жизни Петербурга. А.Ф. Тютчева вспоминала: «Я познакомилась с этим салоном лишь в самые последние годы жизни Екатерины Андреевны, уже в то время, когда самые выдающиеся писатели, входившие в него, как Пушкин, Дашков, Боратынский, Лермонтов, сошли со сцены. Но традиции остроумной беседы и умственных интересов сохранялись по-прежнему, и в этой скромной гостиной, с патриархальной обстановкой, с мебелью, обитой красным шерстяным штофом, сильно выцветшим от времени, можно было видеть самых хорошеньких и самых нарядных петербургских женщин в элегантных бальных туалетах, прямо с придворного бала или пышного празднества, расположившимися на красной оттоманке за затянувшейся иногда до четырех часов утра беседой. Вельможи, дипломаты, писатели, светские львы, художники – все дружески встречались на этой общей почве: здесь всегда можно было узнать самые последние политические новости, услышать интересное обсуждение вопроса дня или только что появившейся книги; отсюда люди уходили освеженные, отдохнувшие и оживленные. Трудно объяснить, откуда исходило то обаяние, благодаря которому гость, переступив порог салона Карамзиных, чувствовал себя свободнее и оживленнее, мысли становились смелей, разговор живей и остроумней. Серьезный и радушный прием Екатерины Андреевны, неизменно разливавшей чай за большим самоваром, создавал ту атмосферу доброжелательства и гостеприимства, которой мы все дышали в большой красной гостиной» (*Тютчева*. С. 18–19).

[2] Андр. Н. Карамзин, сын Е.А. и Н.М. Карамзиных. Отношения Тютчевых со всей семьей Карамзиных были очень близкими.

[3] Кн. П.И. Мещерский и его жена Екатерина Николаевна, дочь Е.А. и Н.М. Карамзиных.

[4] Е.Н. Карамзина, дочь Е.А. и Н.М. Карамзиных, подруга А.Ф. Тютчевой.

26. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 19. Л. 45–46 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 141–143.

[1] Классическая цитата из монолога Гамлета (Шекспир У. Гамлет, акт III, сц. 1).

[2] О.А. Петерсон, сын Эл. Ф. Тютчевой от первого брака, сводный брат старших дочерей Тютчева.

[3] П.В. Муравьева, двоюродная сестра Тютчева, жена гр. М.Н. Муравьева.

[4] Младший сын М.Н. и П.В. Муравьевых Леонид в 1851 г. женился первым браком на Е.Г. Гежелинской.

[5] А.К. Карамзина, придворная красавица, статс-дама. В первом браке за богачом П.Н. Демидовым, во втором — за Андр. Н. Карамзиным, который был младше ее несколькими годами и которого она страстно любила.

[6] Речь идет о доме на Б. Конюшенной улице около Мойки, принадлежавшем М.И. Пущину, брату друга Пушкина, декабриста И.И. Пущина.

[7] В те годы путешественники, отъезжавшие из Петербурга в Западную Европу, предпочитали плыть пароходом. Путешествие в почтовой карете было утомительным, более долгим и дорогим. Таурогген стоял на прусской границе. Н.И. Тютчев направлялся в Париж.

27. Д. И. СУШКОВОЙ

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 11. Л. 1.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 491.

Слева вверху надпись рукой Д.И. Сушковой: «Voici quelques mots qui doivent vous revenir, chère amie» («Вот несколько слов, ко-



торые вам следует передать, моя дорогая». — *Фр.*). Видимо, Сушкова переслала письмо брата Эрн. Ф. Тютчевой в Овстуг.

Год устанавливается по содержанию — четверг приходился на 20 сентября в 1851 г.

[1] Эрн. Ф. Тютчева с детьми должна была из Овстуга приехать в Москву к Сушковым. Волнения Тютчева были преждевременны.

28. Н. В. СУШКОВУ

Н.В. Сушков — автор нескольких пьес и стихотворного сборника «Книга печалей». Он издавал также непериодические сборники «Раут» (Москва, 1851–1854), где публиковались исторические документы за разные периоды русской истории и произведения многих русских литераторов, в том числе и самого Тютчева.

В Сушкове Тютчев нашел понимающего читателя и тонкого ценителя и издателя, правда неудачливого, своих поэтических произведений. В начале 1850-х гг. Сушков начал было подготовку к печати стихотворений Тютчева, но издание в то время по неизвестным причинам не состоялось. Однако тексты, собранные им, легли в основу публикации «Стихотворений Ф. Тютчева», предпринятой И.С. Тургеневым в 1854 г. в Петербурге. Тютчев высоко ценил Сушкова, любил бывать в его доме и однажды, не застав того в Москве, просил сестру передать ему, что «без тебя Москва для него — не Москва, это то же, что Царь-Колокол без языка, и что ты принадлежишь к числу тех немногих, кто воодушевляет его» (*ЛН-2.* С. 272). Тютчев горестно отозвался на смерть Сушкова, которая последовала в 1871 г.: «Не могу представить себе, что он, такой добрый и жизнелюбивый, так живо всем интересовавшийся даже во время своей смертельной болезни, — так просто и спокойно ожидавший смерти — не могу осознать, что он тоже ушел от нас, унося с собой целый мир традиций, который уже не вернуть» (*Изд. 1984.* С. 352).

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 70. Л. 5–6 об.

Первая публикация — *Мурановский сб.* С. 67–68.

[1] Восходит к библейскому тексту: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах» (3 Царств. 4–33).

[2] Речь идет о попытке Сушкова собрать воедино стихотворения Тютчева и выпустить их отдельным изданием.

[3] Впервые в переписке Тютчева возникает тема исполнения пророчества, согласно которому Константинополь, завоеванный турками в 1453 г., будет освобожден по прошествии четырех веков. Пророчество охотно обсуждалось в европейской прессе и в петербургском светском обществе. Первоначально «роковым» годом освобождения Константинополя называли 1852-й, когда, по предвидению Тютчева, должен был начаться «всемирный водоворот».

[4] В 1851 г. Сушков издал литературный сборник «Раут» и деятельно готовился к изданию второй книги сборника.

[5] В «Рауте» за 1852 г. были напечатаны стихотворения Тютчева «Ночь в дороге» («Не остывшая от зною...»), «Kennst du das Land? (Из Гёте)», «Первый лист», «Волна и дума», «Графине Е.П. Ростопчиной».

[6] А.Н. Попов, воспитанник Московского университета, историк, близкий к славянофилам. Характер поручения Сушкова установить не удалось.

29. А. И. КОЗЛОВОЙ

Александра Ивановна Козлова, дочь поэта И.И. Козлова, добрая знакомая семьи Тютчевых. Настоящее письмо — отклик Тютчева на смерть В.А. Жуковского, которая последовала 12/24 апреля 1852 г. в Баден-Бадене. Жуковский был другом отца А.И. Козловой и издателем его посмертного собрания стихотворений (1840).

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. Разр. I. Оп. 12. Ед. хр. 73.
Первая публикация — *ЛН-1*. С. 520.

[1] Тютчев высоко ценил поэтическое творчество Жуковского. Не менее высоко он ставил его душевное благородство. В 1847 г. в Эмсе Жуковский читал Тютчеву свой перевод «Одиссеи» Гомера. Ему он посвятил стихотворение «Памяти В.А. Жуковского».

30. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 21–22 об.

Публикуется впервые.

[1] Е.П. Эйлер, фрейлина вел. кн. Елены Павловны.

[2] Дочь вел. кн. Михаила Павловича и вел. кн. Елены Павловны Екатерина Михайловна, в замужестве с 4 февраля 1851 г. вел. герцогиня Мекленбург-Стрелицкая.

[3] А.И. Козлова, дочь поэта И.И. Козлова.

[4] Письмо неизвестно.

31. А.Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 23–24.

Публикуется впервые.

Датируется по содержанию. Тютчев сообщает дочери, что одновременно пишет письмо жене Эрн. Ф. Тютчевой о том, что будет в Москве в конце сентября. Это письмо датировано 30 августа 1852 г. (см.: РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 20. Л. 30–32 об. Цит.: *Летопись 1999*. С. 148–149).

[1] *Проект* Анны — видимо, предложение остаться ей вместе с сестрами в деревне на зиму. См. ее запись в дневнике 16 августа 1852 г.: «Мама́ больна. Ее положение не внушает мне иллюзий. Она кашляет, худеет, у нее постоянный жар. Она так слаба, утомлена, что не в силах сделать лишнего движения. Она так и не поправилась после того, как заболела весной. <...> Мне почти смешно, оттого что ничего нельзя сделать, чтобы изменить, поправить то, что я считаю хуже смерти. Может быть, у нее нет чахотки и она поправится, поехав в теплые края вдвоем с папа́, туда, где у нее не будет ни забот, ни хлопот. Может быть, она выздоровеет. Но нет денег. Деньги на эту поездку будут, если мы останемся здесь и не поедем на зиму в Москву. Но на это мама́ ни за что не согласится. Чтобы она приняла такую *жертву* от своих *падчериц*?! Если бы мы были ее родными дочерьми, мы бы имели право не дать ей умереть, но — увы — это не так. Мы поедем в Москву, где заботы и хлопоты по устройству новой квартиры, дурной климат усугубят болезнь мама́. И все это для того, чтобы мы томились скукой среди своей родни и в кругу московских знакомых, которые нам безразличны. Считается, что молодых девиц следует веселить и развлекать. Оставшись здесь, мы, по крайней мере, будем утешаться тем, что принесли кому-то пользу. Но мы никогда не убедим в этом наших родителей» (*Тютчева*. С. 88–89).

[2] Н.И. Тютчев.

[3] 31 августа 1852 г. Тютчев обратился с письмом к вел. кн. Марии Николаевне, в котором просил место при дворе для одной из своих дочерей (см. письмо 32).

32. Вел. кн. МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ

Вел. кн. Мария Николаевна, любимая дочь императора Николая I. Тютчев был представлен ей в 1840 г., вскоре после того, как она вышла замуж за Максимилиана, герцога Лейхтенбергского, во время ее пребывания на курорте Тегернзее близ Мюнхена. Тогда же он посвятил ей стихотворение «Живым сочувствием привета...». В 1845 г. Мария Николаевна содействовала помещению его дочерей Екатерины и Дарьи в Смольный институт.

В 1852 г. умер муж великой княгини герцог Максимилиан. Почти сразу после его смерти она тайно вышла замуж за гр. Г.А. Строганова. Морганатический брак, которому содействовали наследник-цесаревич Александр Николаевич, брат Марии Николаевны, и его супруга Мария Александровна, не остался неизвестным в высшем свете, но держался в строжайшей тайне от Николая I.

Мария Николаевна была известна своим живым характером, тонким художественным вкусом и открытостью в общении с окружающими, что не было характерно для членов императорской семьи и нередко воспринималось чопорными придворными как вульгарность и даже цинизм. Давнее знакомство с великой княгиней, особенности ее характера позволяли Тютчеву надеяться на то, что его обращение будет благосклонно принято.

Печатается по черновому автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 20. Л. 84–85.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 522–523.

[1] Письмо было передано Марии Николаевне 1 сентября 1852 г., а 3 сентября Тютчев сообщал жене: «...первого числа этого месяца я отнес свое письмо великой княгине и не могу помешать тебе надеяться — до такой степени я испытываю потребность, неумолимую необходимость успеха... В случае успеха сообщу тебе содержание этого письма с чувством настоящей авторской гордости, как это сделал бы Чадаев или Северин, и ты увидишь, что невозможно было написать письмо более убедительное и более на-

стоятельное... более почтительно настоятельное. Не скажу, чтобы это стоило мне особенного труда, ведь я обращался к женщине» (*ЛН-1*. С. 521).

33. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 20. Л. 40–41 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 188.

[1] Осенью 1852 г. Тютчев предполагал взять отпуск и провести его вместе с семьей в Москве, что должно было порадовать его мать Екатерину Львовну. Планы Тютчева не исполнились. Эрн. Федоровна, Анна и ее сестры остались до зимы в Овстуге.

[2] «Записки охотника» И.С. Тургенева вышли в свет в начале августа 1852 г.

[3] Княжна С.И. Мещерская принимала самое живое и активное участие в И.С. Тургеневе во время его ссылки в Спасское-Лутовиново за публикацию в «Московских ведомостях» 13 марта 1852 г. письма о смерти Гоголя, которое ранее было запрещено петербургской цензурой.

[4] Речь идет о Е.А. Сухозанет.

34. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 20. Л. 78–79 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 189–192.

[1] 6 декабря, Николин день, тезоименитство императора Николая I, и к этому дню Тютчев надеялся получить положительный ответ на свою просьбу о предоставлении места при дворе одной из его дочерей, прежде всего имелась в виду старшая, Анна.

Не без горечи отмечает она в своих воспоминаниях причину выбора: «Я надеялась, что ко двору будет назначена одна из моих сестер. Дарье, старшей, было семнадцать лет, Китти, младшей, — шестнадцать, они обе были очень миловидны, на виду в Смольном». Но жене наследника-цесаревича Марии Александровне сказали, «что мне двадцать три года, что я некрасива и что я воспитывалась за

границей. Великая княгиня больше не хотела иметь около себя молодых девушек, получивших воспитание в петербургских учебных заведениях, так как благодаря одной из таких неудачных воспитанниц она только что пережила испытание, причинившее ей большое горе». Юные красивые фрейлины нередко оказывались в центре придворных любовных приключений, и жертвой одной из недавних интриг оказался любимый брат цесаревны, принц Александр Гессенский, старше ее всего на один год и неразлучный товарищ ее детства. Принц был очень привлекателен, красив и элегантен. Цесаревна обожала своего брата. Император Николай относился к нему благосклонно. При цесаревне в то время состояла Юлия Гауке, которая решила развлечь принца и «исполнила это с таким успехом, что ей пришлось броситься к ногам цесаревны и объявить ей о необходимости покинуть свое место». Принц Александр, выказавший готовность жениться, был разгневанным императором выдворен из России, лишен жалованья и дружеских отношений с семьей. Все это послужило причиной назначения А.Ф. Тютчевой ко двору: «Меня выбрали как девушку благоразумную, серьезную и не особенно красивую; правда, великая княгиня знала меня исключительно по моим письмам к Карамзиным, которые ей прочли, чтобы познакомить ее с моим литературным развитием» (*Тютчева.* С. 14–16).

Анна была до 1857 г. фрейлиной Марии Александровны, цесаревны, позже императрицы, потом стала воспитательницей ее младших детей и закончила придворную службу, выйдя замуж в январе 1866 г. за И.С. Аксакова.

[2] Шифр — это металлический вензель царствующей императрицы. Он вручался во время выпускного торжества лучшим институткам. Шифр носили на левом плече на банте из белой ленты с цветными полосками; у каждого института был свой цвет полосок: у Смольного, например, розово-палевая, у Екатерининского — красная и пр. Если же институтка, имевшая шифр, становилась фрейлиной, которой шифр полагался как знак придворного звания, она носила его на двойном банте: нижняя часть институтских цветов, верхняя же — фрейлинская, из голубой ленты.

В данном случае пожалование шифром означало назначение во фрейлины императрицы Александры Федоровны. А.Ф. Тютчева шифра не имела, и Тютчев был осведомлен, что ее прочат во фрейлины цесаревны Марии Александровны, что и позволяло ему говорить об устранении конкуренток.

[3] А.В. Трубецкой действительно был героем достаточно шумной истории, связанной с именем М. Тальони, одной из самых вы-

дающихся танцовщиц первой половины XIX в., необычайно грациозной и изящной, отдававшей предпочтение классическим балетным традициям. Она была младшей сестрой известного танцовщика П. Тальони, позже балетмейстера, и дочерью Ф. Тальони, тоже балетмейстера, самый знаменитый балет которого «Сильфида» прославил его дочь. Семейство Тальони блистало во всей Европе, кочуя из Парижа в Вену, из Вены в Штутгарт, Варшаву, Стокгольм... Двадцати восьми лет М. Тальони вышла замуж за гр. де Вуазена, но сцену не бросила.

[4] Романы Жорж Санд, необычайно популярные в то время, содержали проповедь свободы любви и отстаивали права женщин.

[5] Историю Жадимировской см. письмо 8, примеч. 9.

[6] А.М. Виельгорская была приятельницей А.Ф. Тютчевой, тоже фрейлиной. Однажды на Новый год несколько фрейлин, в том числе Тютчева и Виельгорская, собрались у вел. кн. Ольги Николаевны и «занялись гаданиями, давали петуху клевать овес, топили олово» (*Тютчева.* С. 153).

[7] Имя П. Виардо-Гарсиа связано с именем Тютчева не только через И.С. Тургенева, но и потому, что крупнейшая певица своего времени, ученица Ф. Листа, активнейшая участница музыкальной жизни и Европы, и России, была не только исполнительницей романсов на стихи Тютчева, но и писала к ним музыку.

35. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 20. Л. 80–81 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984.* С. 192–195.

[1] А.Н. Мальцова (из большой и разветвленной княжеской семьи Урусовых, с некоторыми членами которой Тютчевы были дружны многие годы) была замужем за С.И. Мальцовым, из крупнейшего рода фабрикантов и землевладельцев. Еще в начале XVIII в. они создали стекольный завод около Можайска, который, по указу Сената 1747 г. о ликвидации заводов вокруг Москвы и Петербурга в целях сохранения природных богатств, был частично перенесен на реку Гусь и стал Гусь-Хрустальным, а также в с. Дятьково; эти заводы снабжали стеклом половину России. С начала XIX в. «мальцовское дело» ширилось и развивалось, создавались новые отрасли, строились заводы в разных губерниях. С.И. Мальцов, гвардеец, адъютант

принца Ольденбургского, прервав блестящую карьеру и выйдя в отставку, поселился в Брянском уезде Орловской губернии, недалеко от Овстуга.

Лозунгом его промышленной деятельности было: «Всё из русского материала». Он старался разумно сочетать успешное и прибыльное производство с заботой о благосостоянии, здоровье и пенсионном обеспечении рабочих: строил небольшие каменные домики на три-четыре комнаты городского типа с большими приусадебными участками, бесплатно отводил выгон и выдавал топливо; при заводах открывал школы; строил церкви, больницы и амбулатории; даже организовывал большие хоры певчих из среды мастеров. С.И. Мальцов был двоюродным братом печально известного И.С. Мальцова, уцелевшего в «тегеранской резне» 1829 г., когда было разгромлено русское посольство и убит А.С. Грибоедов. После этого ему отказала его невеста, А.О. Россет, будущая Смирнова.

Мальцовы и Тютчевы были знакомы домами.

[2] «Мы же возмещаем отсутствие столичных развлечений тем, что ждем визита г-на Тургенева, Ивана Сергеевича, автора недавно напечатанных "Записок охотника", — писала Эрн. Ф. Тютчева 10/22 декабря этого же года В.Ф. Вяземской. — Как вы, вероятно, знаете, он был арестован и выслан в свое имение, где живет с весны; поскольку это имение находится в Орловской губернии, он может посетить нас, не испрашивая на это особого разрешения. Пока мы знаем его только по рассказам княжны Софи Мещерской, горячей его поклонницы, но если судить о нем по тому немногому, что я прочитала из написанного им, он кажется мне человеком добрым, очень талантливым и умным» (*ЛН-2*. С. 252).

[3] А.П. Мельников занимал должность советника придворной конюшенной конторы. Дмитрий, сын Тютчева, в описываемое время еще ребенок, много позже женился на его дочери.

[4] Известие о назначении фрейлиной к цесаревне А.Ф. Тютчева получила в Овстуге 26 декабря 1852 г. Тютчев приехал в Овстуг. Анна писала в ночь на 1 января 1853 г.: «Сегодня во время всенощной приехал папа́... Мы не прервали молитвы, и я очень рада, что мама́ получила законную возможность побыть с ним час наедине. Позднее папа́ спустился в гостиную. Он много рассказывал о Петербурге, об обществе, о балах и раутах. По мере того как я смотрела на него и слушала, мной овладевало уныние и чувство пустоты, которое всегда вызывал во мне свет и светский образ жизни» (*Тютчева*. С. 113).

Присутствие отца не облегчило Анне вынужденный и нежеланный переход от радостей спокойной домашней жизни к тяго-

там страшившей ее жизни придворной. Через день она записала в дневнике: «Между папá и мамá вышел спор. Папá не слишком желает брать на себя роль моего опекуна. Он хочет, чтобы я ехала в Петербург без него и поступила ко двору самостоятельно. Мамá находит это неприличным и настаивает на том, чтобы он ехал со мной. Папá обижается, что мамá не удерживает его после полугодовой разлуки. Между ними произошли тяжелые объяснения» (там же. С. 114). Не желая быть причиной раздоров в доме, Анна настояла на том, чтобы ехать одной, с горничной и в сопровождении управляющего В.К. Стрелкова. В Петербурге она предполагала поселиться у Карамзиных, которые должны были представить её ко двору.

Тютчев искренне любил своих детей, но его отношение к ним было неровным и часто воспринималось как проявление невнимательности. Дружбой и взаимной любовью дети от первого и второго брака поэта были обязаны Эрн. Ф. Тютчевой. «Когда ты вчера уехала, — написала Е.Ф. Тютчева в письме, отправленном вслед Анне, — мамá вернулась бледная и в слезах, бедная, милая мамá, она очень, очень сильно любит тебя, я никогда не видела, чтобы она так рыдала. После мы — Дарья, Мари, Иван и я сидели в гостиной и плакали, а мамá поднялась наверх. Через полтора часа она вернулась, и папá читал нам "Бориса Годунова", время от времени прерывая себя словами: "Что делает сейчас Анна? А если она заболела?! Это было бы ужасно, я никогда не простил бы себе, что не поехал с нею вместе"» (*ЛН-2*. С. 253).

Именно в эти дни перед самым Новым годом, 31 декабря 1852 г., Тютчев написал стихотворение «Чародейкою Зимою...» (т. 2 наст. изд. С. 58).

7 января 1853 г. Эрн. Ф. Тютчева писала Анне из Овстуга в Петербург: «Вечерами папá читает нам по-русски и по-французски, и я так счастлива, что понимаю почти все, когда он читает по-русски. Вечера, проведенные таким образом, под звук его мягкого и звонкого голоса, для нас, его слушательниц, очаровательны, но и сам он, кажется, вовсе ими не тяготится. Но страшно подумать, что мы уже привыкаем к обществу твоего отца, а скоро он тоже уедет». Эрнестина, вступая в брак с Тютчевым, не знала русского языка, и его поэзия долгие годы ускользала от ее понимания. В том же письме она просила: «Милая Анна, отложи, если можешь, немного денег, чтобы бедный папá мог немного приодеться по возвращении, он ужасно оборвался» (*ЛН-2*. С. 253). Будучи фрейлиной, А.Ф. Тютчева стала получать жалованье 4000 рублей в год.

36. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 21. Л. 13–14 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 195–197.

[1] Тютчев вернулся в Петербург 31 января 1853 г.

[2] К числу этих «привычек» (именно этим эвфемизмом в семье называли вторую семью Тютчева) относилась Е. Денисьева. Тютчев не делал из нее секрета и даже порой стремился к поддержанию хотя бы видимости отношений между своими дочерьми и их прежней подругой. В январе 1853 г. Анна с раздражением писала Екатерине: «Что до твоего вопроса о том, нужно ли тебе писать Денисьевой (Анне Дмитриевне. — *Ред.*), думаю, к тому времени, как дойдет до тебя мой ответ, вопрос этот уже отпадет. Если же нет, просто скажи мама́: папа́ советует нам написать старушке Денисьевой, нам очень этого не хочется. Думаешь ли ты, что это необходимо? — Таким образом вы сразу узнаете, считает ли она это желательным. Сама же я считаю все эти фальшивые и неловкие демонстрации смехотворными и ненужными. Старушке Денисьевой не нужны ни вы, ни ваша дружба, ни ваши письма, и не будь она старой дурой, она бы понимала, что вы ее терпеть не можете на законном основании. Несчастье не в том, что люди не понимают друг друга, а в том, что они делают вид, что не понимают» (*ЛН-2*. С. 254).

[3] Визит Тургенева к Тютчевым не состоялся. Ни с кем из современных ему мастеров русского слова не чувствовал Тютчев такой духовной близости, как с Тургеневым, проникновение в глубины *души* природы были свойственны им обоим как никому.

[4] Е.В. Апраксина.

37. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Письмо написано в ожидании приезда Эрн. Ф. Тютчевой из Овстуга через Москву в Петербург, где после долгого перерыва должна была собраться семья поэта.

Предполагалось, что супруги Тютчевы вместе поедут за границу. В мае 1853 г. Эрн. Ф. Тютчева писала К. Пфеффелю из Петербурга: «Я долго медлила с ответом на ваше письмо, ожидая, когда смогу сообщить вам что-то определенное по поводу моей поездки за грани-

цу. Теперь поездка эта почти решена. Другими словами, я решила ехать, а мой муж просил предоставить ему в конце этого месяца (старого стиля) курьерскую экспедицию в Париж и получил согласие на эту просьбу. Тем не менее, прежде чем блаженный час нашего отъезда наконец наступит, нам предстоит преодолеть еще несколько препятствий. Как всегда, они возникают из-за двух моих падчериц, которых надо устроить на время нашего отсутствия. Одна из них приглашена провести три-четыре месяца у своей московской тетки, и, хотя подобная перспектива не вполне отвечает надеждам этой девицы, а вернее, совсем им не отвечает, мы все же склонны принять это предложение... Другая сестра, Дарья, сможет во время моего отсутствия жить с Анной» (*ЛН-2*. С. 255). С этих пор Е.Ф. Тютчева постоянно жила у Сушковых.

Путешествие началось летом отъездом одной Эрн. Ф. Тютчевой с детьми; 16/28 июня 1853 г. она сообщала брату о муже: «Его курьерская экспедиция не была готова ко дню моего отъезда из Петербурга... Сегодня он, вестник войны или мира, должен быть в Берлине» (там же. С. 256). А чуть позже писала Вяземскому: «10-го числа я вместе с Мари и Иваном села на пароход, направлявшийся в Любек. Через несколько дней мой муж последовал за мной на пароходе, который шел в Штеттин, — он вез депеши, в которых сообщалось о том, что русская армия заняла Княжества. <...> Я поселилась в долине Мюнмора в уединенном домике, принадлежавшем мама́. Мой муж остался в Париже; время от времени я приезжаю туда повидаться с ним, а он в свою очередь изредка навещает нас. <...> Я думаю пробыть здесь до конца июля нового стиля, а затем поеду к брату» (там же).

Дочери радовались за отца: «В субботу <13/15 июня> папа́ отправился на пароходе в Штеттин; он находится в добром здоровье и очень рад поездке. Какая удача для него — в такой момент оказаться в Париже, в центре политических сплетен», — писала Анна Екатерине 15/27 июня 1853 г. (там же).

Однако уже 5/17 июля 1853 г. Эрн. Ф. Тютчева сообщала Анне: «Папа́ так скучает в Париже, что долго оставаться здесь я не смогу. <...> Твой отец провел несколько дней в Энгиене, чтобы быть ближе к Франконвилю, однако по прошествии двух или трех дней поспешил возвратиться в Париж, хотя там он особенно остро чувствует свою неприкаянность. Правда, общества в Париже в настоящее время нет никакого. Граф Киселев отнюдь не проявляет гостеприимства в отношении своего соотечественника, и только г-жа Зеебах и г-жа Калерджи были внимательны и любезны с твоим бедным от-

цом. Я очень тронута тем, что он сопровождает меня в поездке за границу, или, точнее, тем, что, приехав за границу, он встретился со мной; однако признаюсь, его скучающий вид несколько отравляет мне удовольствие». А через неделю добавляла в письме к Дарье: «Сегодня я жду твоего отца во Франконвиле. Он должен приехать сюда на целый день, но ведь он изменчив, как погода, на него никогда нельзя положиться» (там же).

21 августа/2 сентября 1853 г. Эрн. Ф. Тютчева писала Анне из Линдау: «Третьего дня мы проводили твоего отца... Все лето он был здоров, однако несколько раз испытывал приступы тоски, которые были поистине ужасны. Я надеюсь, что радость возвращения в Россию несколько поднимет его дух» (там же. С. 258). Эрн. Ф. Тютчева с Марией и Иваном оставалась за границей у брата до середины мая 1854 г.

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 1.

Первая публикация — Мир филологии. Посвящается Л.Д. Опульской-Громовой. М., 2000. С. 65–67.

38. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 21. Л. 39–40 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 396–397.

[1] Весной и летом 1853 г. обострение отношений России с Османской империей вступило в новую фазу. Спор о «святых местах», в котором султан, опираясь на поддержку французского и английского правительств, проявил нежелание считаться с волей императора Николая I, перерос в военно-дипломатическую подготовку открытого столкновения. 8 июня 1853 г. Николай I подписал манифест о введении войск на территорию Дунайских княжеств, Молдавии и Валахии, которые находились формально под протекторатом Османской империи. В июле авангардные части русской армии вошли в Бухарест, вслед за тем они были рассредоточены по всей территории княжеств. Командовал русской армией генерал М.Д. Горчаков.

В ответ власти Порты запросили английского и французского послов о возможном вводе эскадр западных государств в Дарданел-

лы в случае появления русского флота вблизи Босфора. Николай I рассчитывал на дипломатическое урегулирование конфликта и даже надеялся на совместные с Наполеоном III действия по решению будущего Османской империи, которая, как он полагал, быстро шла «к падению, в сторону анархии и революционных принципов». Дальнейшие события показали, что это был грубый политический просчет. 25 сентября 1853 г. на совещании высших сановников Османской империи было принято решение прекратить переговоры и объявить России войну. Четыре дня спустя был обнародован соответствующий указ султана Абдул Меджида I. В нем говорилось, что Порта сделала все возможное для решения конфликта о «святых местах», но она не может позволить России вмешиваться в ее внутренние дела и потому требует, чтобы в 15-дневный срок русские войска покинули Дунайские княжества. Особо отмечалось совпадение позиций Порты и западных держав.

Это был ультиматум, 4 октября переданный генералу М.Д. Горчакову. Одновременно Порта официально обратилась к Англии и Франции о введении эскадры в Мраморное море. Война была предрешена.

[2] В 1848–1849 гг. Тютчев неоднократно предсказывал наступление грандиозных исторических событий. В статье «Россия и Революция» (12 апреля 1848 г.) он писал: «И как могло бы случиться, чтобы в столь беспощадной войне, в готовящемся крестовом походе нечестивой Революции, уже охватившей три четверти Западной Европы, против России Христианский Восток, Восток Славяно-Православный, чье существование нераздельно связано с нашим собственным, не ввязался бы вслед за нами в разворачивающуюся борьбу. И, быть может, с него-то и начнется война, поскольку естественно предположить, что все терзающие его пропаганды (католическая, революционная и проч., и проч.), хотя и противоположные друг другу, но объединенные в общем чувстве ненависти к России, примутся за дело с еще большим, чем прежде, рвением. Можно быть уверенным, что для достижения своих целей они не отступят ни перед чем... Боже праведный! Какова была бы участь всех этих христианских, как и мы, народностей, если бы, став, как уже происходит, мишенью для всех отвратительных влияний, они оказались покинутыми в трудную минуту единственной властью, к которой они взывают в своих молитвах? — Одним словом, какое ужасное смятение охватило бы страны Востока в их схватке с Революцией, если бы законный Государь, Православный Император Востока, медлил еще дальше со своим появлением!

26 Зак 7712

Нет, это невозможно. Тысячелетние предчувствия совсем не обманывают. У России, верующей страны, достанет веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своих судеб, не отступит перед своим призванием.

И когда еще призвание России было более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными стрелами на помраченных от бурь Небесах. Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками...

И когда над столь громадным крушением мы видим еще более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, ее детям, проявлять неверие и малодушие?..» (т. 3 наст. изд. С. 156–157).

Чаемый исход роковой всемирно-исторической борьбы Тютчев предсказал осенью 1849 г. в <Отрывке> (см. письмо 3, примеч. 1). Тогда же им было написано стихотворение «Рассвет», которое содержало обращение:

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?

Раздайся благовестный звон,
И весь Восток им огласися!..
Тебя зовет и будит он, —
Вставай, мужайся, ополчися,

В доспехи веры грудь одень,
И с Богом, исполин державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!

[3] Спиритизм, т. е. вера в возможность непосредственного общения живущих людей с загробным миром, возник в глубокой древности. В Библии рассказывается о «волшебнице из Аэндора», которая умела вызывать души умерших (см.: 1 Царств. 28, 7 и др.). В светских и придворных кругах разных стран в периоды общественной напряженности столоверчение и иные виды спиритизма

становились особенно популярными. Столоверчением увлекались и при русском дворе. А.Ф. Тютчева описала подобный спиритический сеанс в дневнике за октябрь 1853 г.: «Вечер у императрицы. Опять вертящиеся столы. Сестра моя написала про свой стол довольно забавное трехстишие.

Table ne daigne,
Esprit ne puis,
Mensonge je suis*.

Это все, что можно о них сказать при некотором остроумии, но по поводу этих столов люди обнаруживают глупейшее легковерие и еще более глупую склонность к мелкому обману, которые приводят к самым печальным размышлениям о природе человеческой» (*Тютчева*. С. 147–148).

[4] Манифест императора Николая I, содержавший объявление войны Османской империи, появился 20 октября 1853 г.

[5] Речь идет об ожидании письма от Эрн. Ф. Тютчевой, которая в это время была у брата К. Пфеффеля в Мюнхене. Там она прожила до весны следующего года.

39. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 21. Л. 42–43 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 199–200.

[1] Встреча Тютчева и бар. Эрн. фон Дёрнберг произошла в Мюнхене в феврале 1833 г.

[2] См. письмо 17, примеч. 6.

[3] Восточный вопрос — общепринятое название сложного комплекса проблем, связанных с ослаблением военной и политической мощи Османской империи, которое вполне определилось к середине XVIII в. Правительства великих европейских государств пристально следили за событиями, которые происходили на огромной территории империи — на Балканах, в Египте, в Северной Африке. На Османскую империю нередко смотрели как на «больного человека Европы» и так или иначе готовились к ее разделу. Для России и ее дипломатии восточный вопрос в екатерининские времена озна-

---

* Столом быть не хочу, / Духом быть не могу, / Я — обман (*фр.*).

чал утверждение в Северном Причерноморье и оказание помощи христианским и славянским подданным Порты. Ко времени Николая I в сфере реальной дипломатии и внешней политики восточный вопрос сводился к выяснению того, под чьим влиянием находится султанское правительство. Главными оппонентами России в восточном вопросе были Англия и Франция.

Тютчевский подход к восточному вопросу был преимущественно историософский. В «Записке», которую можно отнести к 1845 г., говорилось: «Есть и другой вопрос, столь же важный, который обыкновенно называют восточным вопросом: это вопрос об Империи. Здесь не идет речь о дипломатии; слишком хорошо известно, что Россия, как никакая иная держава, всегда будет соблюдать заключенные ею договоры, пока существует теперешний порядок вещей. Но договоры и дипломатия в конечном итоге упорядочивают лишь повседневные вопросы. Постоянные вопросы, вечные отношения может разрешить только история. И что же говорит нам история?

Она говорит нам, что православный Восток, весь этот огромный мир, возвышенный греческим крестом, един в своем основополагающем начале и тесно связан во всех своих частях, живет своей собственной жизнью, самобытной и неразрушимой. Физически он может быть разделен, нравственно же он всегда будет единым и неделимым. Порою он испытывал латинское господство, веками претерпевал нашествие азиатских племен, но никогда не подчинялся ни тому, ни другому. <...> В самом деле, что бы ни делали, что бы ни воображали, если Россия останется самой собою, ее император необходимо и будет единственным законным государем православного Востока, к тому же осуществляющим свою верховную власть в той форме, которую сочтет подходящей. Делайте же что хотите, но повторяю еще раз: пока вам не удалось уничтожить Россию, вы никогда не сумеете воспрепятствовать действию этой власти.

Кто не видит, что Запад со всей своей филантропией, с мнимым уважением прав народов и неистовством против неумолимого честолюбия России, рассматривает населяющие Турцию народности лишь как добычу для раздела» (т. 3 наст. изд. С. 134–135).

[4] Обращает на себя внимание поразительный факт: события Крымской войны, столкновение России с ведущими западноевропейскими государствами, которые до некоторой степени предсказал Тютчев, не побудили его к возвращению к политической публицистике, интерес к которой он исчерпал к 1850 г. (см. наст. том, письма 3, 4 и 6 и примеч. к ним).

40. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 21. Л. 47–48 об.

Первая публикация – в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 201–203.

[1] «Папа́ находится в таком унынии и так раздражен, что мне трудно описать тебе его состояние. Он бродит, как неприкаянный, и, кроме вопроса о возможности возвращения мама́, его ничто не занимает», – писала А.Ф. Тютчева сестре Екатерине в начале ноября 1853 г. (*ЛН-2*. С. 258). К сетованиям Тютчева, то шутливым, то звучащим трагически, семья старалась относиться хладнокровно; редко, но это удавалось: «Один папа́ скучает, но ведь папа́ не скучающий – это уже не папа́» (из письма Анны Екатерине летом 1853. – Там же. С. 257). «Я в отчаянии от того, что вы пишете мне о состоянии духа вашего отца, – отвечала Эрн. Ф. Тютчева дочерям в ноябре того же, 1853 г. – Правда, могу сказать, что мне тоже не сладко. Порой я испытываю непреодолимое желание повидать его, и меня удерживает только одно – я твердо знаю, что расходы на поездку и на зимнее пребывание в Петербурге приведут к тому, что мне придется снова ехать в Овстуг, то есть приведут к новой разлуке» (там же. С. 258).

[2] Речь идет о стихотворении П.А. Вяземского «Ночь в Венеции».

[3] Еще в статье «Россия и Германия», написанной в 1844 г., Тютчев говорил о настроениях, которые он считал характерными для немецкого общества: «Ту самую державу, которую великое поколение 1813 года приветствовало с восторженной благодарностью, а верный союз и бескорыстная деятельная дружба которой и с народами, и с правителями Германии не изменяет себе в течение тридцати лет, почти удалось превратить в пугало для большинства представителей нынешнего поколения, сызмальства не перестававшего слышать постоянно повторяемый припев. И множество зрелых умов нашего времени без колебаний опустилось до младенчески простодушного слабоумия, чтобы доставить себе удовольствие видеть в России какого-то людоеда XIX века» (т. 3 наст. изд. С. 113–114).

[4] Лабарум, государственное знамя императорского Рима, которое установил для своих войск император Константин Великий, увидевший в небе знамение креста. Форма знамени менялась, так, например, Юлиан снял с него монограмму Иисуса Христа, позже опять восстановленную.

[5] Здесь Тютчев имеет в виду столоверчение, которым он увлекался в 1853–1854 гг. «Отец провел у меня вчерашний день, — писала Анна в дневнике 14 ноября 1853 г. — Он с головой увлечен столами, не только вертящимися, но и пророчествующими. Его медиум находится в общении с душой Константина Черкасского, которая поселилась в столе после того, как, проведя жизнь далеко не правоверно и благочестиво, ушла из этой жизни не совсем законным образом (утверждают, что он отравился). Теперь эта душа, став православной и патриотичной, проповедует крестовый поход и предвещает торжество славянской идеи. Странно то, что дух этого стола как две капли воды похож на дух моего отца: та же политическая точка зрения, та же игра воображения, тот же слог. Этот стол очень остроумный, очень вдохновенный, но его правдивость и искренность возбуждают во мне некоторые сомнения.

Мы часами говорили об этом столе, отец страшно рассердился на меня за мой скептицизм, и хотя я отстояла независимость своего мнения, однако душа моя была очень смущена, и я поспешила отправиться к великой княгине, чтобы восстановить нравственное равновесие своих чувств и мыслей. Какая разница между натурой моего отца, его умом, таким пламенным, таким блестящим, таким острым, парящим так смело в сферах мысли и особенно воображения, но беспокойным, не твердым в области религиозных убеждений и нравственных принципов, и натурой великой княгини, с умом совершенно другого рода» (*Тютчева.* С. 150–151).

Одно из предсказаний, сделанных во время сеанса, он изложил в стихотворении «Спиритистическое предсказание» (т. 2 наст. изд. С. 63).

Характерна запись, сделанная А.Ф. Тютчевой в дневнике за апрель 1854 г.: «Мой отец находится в состоянии крайнего возбуждения, он весь погружен в предсказания своего стола, который по поводу восточного вопроса и возникающей войны делает множество откровений, как две капли воды похожих на собственные мысли моего отца. Стол говорит, что восточный вопрос будет тянуться 43 года, что он разрешится только в 1897 г., когда потомок теперешнего императора вступит на константинопольский престол под именем Михаила I. Он говорит, что русские дойдут до Константинополя и там глупейшим образом остановятся, Австрия развалится и, как повешенный на дереве, будет задушена своей собственной политикой. Политика Англии изменится в конце восточного кризиса, и она вступит в союз с Россией. Наполеон III погибнет; после его смерти во Франции вспыхнет анархия и красные на время возьмут верх, но

скоро будут раздавлены. Я предоставляю моим племянникам проверить эти предсказания, которые, думаю, гораздо больше выражают политическую программу моего отца, чем предвидение стола» (*Тютчева*. С. 157–158).

41. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 21. Л. 57–58 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 203–205.

[1] Праздник римско-католической церкви в честь Сильвестра I, римского папы первой половины IV в., который крестил императора Константина Великого и был причислен к лику святых. Silvesterabend у немцев празднуется 31 декабря. Кроме богослужений этот день отмечался праздничными красочными гуляниями.

[2] Гр. А. Дёнгоф-Фридрихштейн — прусский посланник в Баварии в 1833–1842 гг. Он и его семья были светскими знакомыми Ф.И. и Эрн. Ф. Тютчевых.

[3] В.-А.-И. Шлагентвейт, известный мюнхенский врач-окулист, отец пяти сыновей — незаурядных немецких естествоиспытателей и путешественников, которые изучали Альпы, Гималаи, Тибет, Непал, первыми из европейцев посетили Куэнь-Лунь; оставили обширные научные описания своих экспедиций; один из братьев был убит в Кашгаре (Восточный Туркестан), через тридцать лет Русское географическое общество на месте его гибели воздвигло обелиск в его честь.

[4] Англо-французская эскадра прошла Босфор, вошла в Черное море, взяв курс на Варну 23 декабря 1853 г. Фактически это было началом необъявленной европейскими правительствами войны России.

[5] Начало Крымской войны, когда России противостояла одна Османская империя, было успешным для русского оружия. На Кавказском театре генерал И.М. Андронников 14 ноября разбил турок под Ахалцыхом, 19 ноября генерал В.О. Бебутов одержал победу в Башкадыкларском сражении. С началом войны русский флот блокировал корабли противника в портах, а 18 ноября русская эскадра под командованием адмирала П.С. Нахимова уничтожила в Синопском сражении основные силы турецкого флота.

[6] Ф.П. Фонтон — дипломат, с 1846 по 1855 г. советник посольства в Вене, автор мемуаров.

[7] И.С. Тургеневу было позволено вернуться в столицу в декабре 1853 г. «Мы делим наши вечера между Блудовыми, Карамзиными и Софи Мещерской, чей салон очень привлекателен, ибо там бывает множество интересных людей и всегда обсуждается какая-нибудь любопытная новость, — писала А.Ф. Тютчева сестре Екатерине 28 декабря 1853 г. — Важную роль в этом салоне играет г-н Тургенев. Он по-прежнему не проявляет ни малейшего желания вступить в брак ни с одной из сестер Тютчевых, вопреки всем стараниям милой княжны, которая с каждым днем все более убеждается в том, что мой колючий характер (непредубежденные наблюдатели нередко замечали, что, несмотря на все различия, Анна была очень похожа на отца. — *Ред.*) должен как нельзя лучше сочетаться с благодушием Тургенева. <...> Но если г-на Тургенева не трогают чары дочерей, то в их отца он положительно влюблен. Папа́ и он — лучшие друзья; встретившись, они проводят целые вечера один на один. Они так хорошо соответствуют друг другу — оба остроумны, добродушны, вялы и неряшливы» (*ЛН-2*. С. 259).

Тургенев понимал Тютчева. Позже он скажет о его поэзии: «...от его стихов не веет сочинением, они все кажутся написанными на известный случай, как того хотел Гёте, то есть они не придуманы, а выросли сами, как плод на дереве» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1980. Т. 4. С. 525).

В разговорах о вероятном сватовстве Тургенева к одной из девиц Тютчевых желаемое, вероятно, принималось за действительное: «Итак, которой же из вас Тургенев нравится больше? И которая из вас больше нравится ему? — спрашивала Эрн. Ф. Тютчева Анну в начале 1854 г. — Я понимаю, что у вас есть основание сердиться на милую княжну Софи, которая устроила вам своего рода западню, хотя Тургеневу и было совершенно ясно показано, что вы отнюдь не потакаете его приятельнице, устраивающей эти встречи. Что он рассказывает о своем изгнании и как объясняет то, что не посетил нас в Овстуге прошлой зимой? Я полагаю, что он очень хорошо сделал, не приехав к нам, — не из-за меня, конечно, — а потому, что вы могли бы оказаться в ложном положении. Вы чувствовали бы себя неловко, да и он, вероятно, тоже, поскольку задняя мысль о свадьбе всегда возникает в тех случаях, когда неженатый мужчина оказывается в обществе девиц на выданье» (*ЛН-2*. С. 259).

«Княжна Софи, — жаловалась А.Ф. Тютчева Екатерине в январе 1854 г., — не теряет надежды убедить Тургенева жениться на мне. Она передает нам обоим самые приятные вещи, будто бы ска-

занные нами друг о друге, — вещи, которые мы никогда не говорили, и теперь при встречах мы молчим, испытывая взаимное недоверие и неприязнь». Однако Анна могла отрешиться от неприятностей личной жизни, и в этом же письме к сестре продолжала: «Советую тебе прочесть в январском номере “Современника” его рассказ “Два приятеля”. По моему совету вел. княгиня прочла его вместе с императрицей и другими членами семьи. Они были очарованы и поручили мне передать автору самые лестные отзывы. Таковы превратности судьбы — сначала его ссылают, а затем он входит в моду» (там же).

[8] С.Ф. Яковлев, помещик Брянской губернии, добрый знакомый семьи Тютчевых. Речь идет о книге Яковлева «Essai d'une solution en économie politique» (Москва, 1853).

42. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 13–14 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957*. С. 397–399.

[1] Положение Эрн. Ф. Тютчевой было нелегким: с одной стороны, она действительно испытывала «непреодолимое желание повидать» мужа, с другой — вовсе не стремилась домой. В январе 1854 г. она писала Анне: «Я много думала о том, что ты говорила в одном из предыдущих писем по поводу того, как хорошо было бы для нас провести несколько лет за границей. Если бы я только была уверена, что получу разрешение увезти Дмитрия из России на два года — а это было бы очень полезно для его здоровья, — и если бы я знала, что там можно найти русского гувернера (или немца, хорошо знающего Россию и знакомого с системой обучения, принятой в русских учебных заведениях), я не колебалась бы ни минуты и убедила бы твоего отца просить о таком месте, которое дало бы ему возможность провести за границей года два или три. В сущности, мне хотелось бы, чтоб это было не место, а, скорее, некое поручение, которое не влекло бы за собой никаких бесповоротных решений, ибо я менее всего думаю о том, чтобы покинуть Россию навсегда, но в силу тысячи разных причин ему необходимо порвать с некоторыми дурными привычками, возникшими в Петербурге, и я не вижу для этого иного средства, как

удалить его оттуда — удалить на несколько лет. Если это осуществимо, я предпочла бы не возвращаться теперь в Россию, а напротив, ждать твоего отца, Дарью и Дмитрия. <...> Прошу тебя, пусть все останется между нами. <...> И умоляю, используй все, что можешь, для осуществления нашего плана — твоего и моего» (*ЛН-2*. С. 259–260).

Этот план не осуществился.

[2] *Гапсаль*, уездный город в Эстляндии, окруженный с трех сторон неглубоким морским заливом, был известен как курорт с целебными грязями. Весной он был особенно интересен: говорили, что там нередко можно было наблюдать fata-morgana (миражи), а в конце зимы — северное сияние.

А.А. Суворов — внук генералиссимуса А.В. Суворова, с 1848 г. генерал-губернатор лифляндский, эстляндский и курляндский; он заслужил упрек в «слабости к немецкому элементу». Обладатель богатейшей библиотеки и обширного личного архива, которые позже передал в Императорскую публичную библиотеку.

[3] Еще в апреле 1850 г. Эрн. Ф. Тютчева отмечала эту особенность мужа, которая стала одной из причин прекращения его работы над политическим трактатом «Россия и Запад»: «...физический акт писания для него истинное мучение, пытка, которую, мне кажется, мы даже представить себе не можем» (там же. С. 245). Ср. письмо 39, примеч. 4.

Отвращение к письменным трудам никак не мешало Тютчеву деятельно следить за происходившими событиями. «Папа́ здоров, — писала сестре Анна в марте 1854 г., — и всецело погружен в восточный вопрос. Он в прекрасном настроении, как бывает всегда, когда ум его находит пищу» (там же. С. 261).

[4] Тютчев неоднократно предсказывал столкновение России и Европы, Востока и Запада. В третьем номере «Современника» за 1854 г. была опубликована подборка стихотворений Тютчева и в числе прочих — «Пророчество»:

Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде —
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе, —
Свершится он — и грянет час!

И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь».
Пади пред ним, о царь России, —
И встань — как всеславянский царь!

Последние две строки были собственноручно вычеркнуты Николаем I с резолюцией «Подобные фразы не допускать». Эрн. Ф. Тютчева писала П.А. Вяземскому 18/30 марта 1854 г., что эти стихи «поразили и даже испугали всех», кто опасался неблагоприятного впечатления от тютчевских слов на сторонников России среди балканских славян (там же). Стихотворение было написано не позже 1 марта 1850 г., и Эрн. Ф. Тютчева подчеркивала в письме к Анне 19/31 марта 1854 г.: «Я очень довольна, что стихи твоего отца появились сейчас — все увидят, что он думал, что предчувствовал еще тогда, когда все умы были в оцепенении. Нет сомнения, что в нем есть нечто от пророка — ведь поэт — пророк» (там же).

[5] Характерно, что в эти же мартовские дни А.С. Хомяковым было написано его знаменитое стихотворение «России», обращаясь к которой он высказал упреки еще более суровые, чем тютчевские:

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная,
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная,
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело.
Своих рабов он судит строго,
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

О недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

[6] Речь идет о Наполеоне III.

[7] Какое-то время Тютчев надеялся, что «Красный Запад», как он именовал силы европейской революции, станет помехой тем силам старой Европы, против которых воевала Россия. Эти надежды исчезли к лету 1854 г., когда началась севастопольская эпопея.

43. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 15–16 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 399–400.

[1] 15/27 марта 1854 г. Великобритания объявила войну России. Днем позже это сделала и Франция. В Балтийское море вошли британские и французские корабли под командованием адмиралов Ч. Непира и А. Парсеваля-Дешена. Их целью было уничтожение русского Балтийского флота, базировавшегося в Кронштадте. Активность союзного флота была невелика, ее сдерживали минные заграждения, поставленные русскими моряками, и мощная артиллерия кронштадтских фортов. Осенью 1854 г. союзный флот, после безуспешных попыток высадить десант на балтийском побережье, ушел из Балтики.

[2] Тютчев не был одинок в своих историософских предвидениях. Весной 1854 г. славянофил И.С. Аксаков написал стихотворение, которое расходилось в списках и по общему настроению своему было близко к тому, что думал Тютчев:

На Дунай! туда, где новой славы,
Славы чистой светит нам звезда,
Где на пир мы позваны кровавый,
Где, на спор взирая величавый,
Целый мир ждет Божьего суда!

Чудный миг! миг строгий и суровый!
Там, в бою сшибаясь роковом,
Стонут царств могучие основы,
Старый мир об мир крушится новый,
Ходят тени вещие кругом.

И века над ратными полками
Грозными виденьями встают,
Мрачными глядят на них очами,
Держат свитки длинные руками —
К страшному ответу их зовут.

44. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 27–28 об.

Первая публикация – в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 400–403.

[1] Эрн. Ф. Тютчева возвратилась в Петербург 11 мая 1854 г. после 11 месяцев пребывания за границей. «Итак, мама́ возвратилась, спокойная и ясная, восстановив свои силы — духовные и физические. <...> Помни, милая Китти, — наставляла сестру Анна в середине мая 1854 г., — что твой долг — помочь ей и поддержать ее своей любовью» (*ЛН-2*. С. 263).

Тютчев очень ждал жену, однако в столице она не задержалась. 31 мая она выехала в Овстуг. Незадолго до ее приезда, в начале мая 1854 г., Анна писала Екатерине: «Боюсь, что она огорчится при виде квартиры, которую приготовил для нее папа́ и где ей будет чрезвычайно неудобно. Надеюсь, что это побудит ее сократить свое пребывание здесь и поскорее отправиться в Овстуг. В настоящий момент это единственно разумное решение. <...> Я сделаю все, что смогу, чтобы убедить ее уехать, и надеюсь преуспеть в этом, ибо и она, и папа́ — оба совершенно лишены воли, и для того, чтобы принять решение, им обоим необходим толчок извне» (там же. С. 262).

[2] Речь идет о гибели Андр. Н. Карамзина, который добровольно отправился на войну и был убит 16 мая 1854 г. в стычке с турками на Дунае. 3 июня А.Ф. Тютчева записывала в дневнике: «Петергоф. <...> 1 июня пришло известие, что Андрей Карамзин убит. Ему было поручено произвести разведку, и он неосторожно продвинулся за реку в болотистую местность; с ним было 1800 человек и 4 пушки. Неожиданно его окружил отряд в 3000 башибузуков под командой какого-то поляка. Несчастный Андрей защищался отчаянно, он и несколько офицеров были изрублены саблями у своих пушек, доставшихся затем врагам. Много людей погибло. <...> Тело Андрея не было найдено. <...> Андрея Карамзина обвиняют в неосторожности, и пушки, попавшие в руки врагов, первые потерянные нами во время этой войны». «Приходилось спешить, — приписывает Анна, — чтобы семья не узнала о его смерти из бюллетеня, который должен был появиться в газетах на другое утро. Великая княгиня Мария Николаевна послала Александру Толстую в город, чтобы сообщить семье об ужасном несчастии, постигшем ее. Когда она приехала, никого не было дома. Они стали возвращаться около десяти

часов вечера одна за другой, веселые, без малейшего беспокойства, и бедная Александра должна была им нанести этот неожиданный удар» (*Тютчева*. С. 161).

И.С. Аксаков писал родителям 13–14 июня 1854 г.: «Как жаль Андрея Карамзина! Его поступление в военную службу безо всякой надобности, предпочтение, оказанное им трудам военным перед роскошными удобствами жизни вследствие искренних русских, как он понимал их по-своему, убеждений...» Андрей погиб в Валахии; по-видимому, он «совершил военную ошибку и стал причиною смерти многих, но искупил вину подвигом: сражался, пока не был изрублен» (*Аксаков-2*. С. 271, 583).

А.К. Карамзина тяжело перенесла смерть мужа. В ноябре А.Ф. Тютчева писала в дневнике: «В Севастополе недостаток почти во всем. Здесь делается все возможное. Усиливаем сборы денег, отправляем огромные посылки чая, сахара, белья и медикаментов. В эту деятельность вкладывает всю свою душу Аврора Карловна, вдова бедного Андрея Карамзина, и это ее несколько отвлекает от ее большого горя» (*Тютчева*. С. 185).

45. М. П. ПОГОДИНУ

Первую половину 1854 г. Тютчев провел в Москве, где бывал у Сушковых, обсуждал политические известия в Английском клубе. Его частым собеседником был Погодин. Давний знакомый Тютчева во многом разделял его представления об освободительной миссии России в отношении балканских христианских и славянских народов. Погодин вспоминал: «Услышав его в первый раз, после всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, я не верил ушам своим; я заслушался его, хоть этот вопрос давно уже сделался предметом моих занятий и коротко был мне знаком. Как в самом деле мог он, проведя молодость, половину жизни за границей, не имев почти сообщения с своими, среди враждебных элементов, живущий в чуждой атмосфере, где русского духа редко бывало слышно, как мог он, барич по происхождению, сибарит по привычке, ленивый и беспечный по природе, ощутить в такой степени, сохранить, развить в себе чистейшие русские и славянские начала и стремления? Этого мало: сблизившись с ним впоследствии больше, имев случаи познакомиться короче с его задушевными мыслями, услышав его мнения, я удостоверился, что никто в России не понимает так ясно, не убежден так твердо, не верит так искренно в ее всемирное, общече-

ловеческое призвание, как он. Многие имеют, может быть, мысли более или менее верные о разных предметах, сюда относящихся, но никому не представлялись они в таком цельном виде, так конкретно, употреблю модное выражение, как ему. Как это случилось — это принадлежит к числу удивительных явлений русской жизни и русской истории.

В последнее время возникшие на Западе религиозные распри подали ему повод выразить свои мысли о православии, и оказалось, что он, не занимавшись никогда этим предметом, не принимав, кажется, много к сердцу, уразумел его силу, его историческое значение, лучше, живее многих его законных служителей» (*ЛН-2*. С. 24–25).

Печатается по автографу — РГБ. Ф. Пог/П. К. 33. Ед. хр. 102. Л. 4.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 421–422.

Год и место написания устанавливаются по дневниковой записи Погодина от 10 июня 1854 г. о получении этого письма (см.: *ЛН-2*. С. 14).

[1] Речь идет о решении вывести русские войска из Дунайских княжеств и о том, что с согласия Порты австрийское правительство готово ввести туда свои войска. При встрече с Тютчевым 11 июня Погодин счел его известие «нелепостями» (там же).

46. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 31–32 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957*. С. 403–406.

[1] Тютчев вернулся в Петербург из Москвы 15 июня. Двумя днями позже, 17 июня 1854 г., А.Ф. Тютчева писала сестре Дарье: «Выйдя из дома, вдруг столкнулась лицом к лицу с маленьким человечком, в котором узнала собственного отца. “Это ты?” — “Это ты?”. И мы всенародно расцеловываемся. Он был побрит, загорел и выглядел довольно свежим старичком, что приятно контрастировало с бледным и поникшим видом, который был у него при отъезде. Я нашла его чрезвычайно взвинченным, в полном отчаянии от того, что

делается в политическом мире, и проклинающим все мироздание. Никогда не видела я человека столь непостижимо нервного; проведя с ним несколько часов, я чувствую сильнейшую потребность в чем-нибудь успокаивающем душу. Теперь, когда я сужу о нем на расстоянии, находясь в иной обстановке, нежели та, в которой живет он, своеобразие его еще более меня поражает.

Он представляется мне одним из тех недоступных нашему пониманию изначальных духов, что исполнены разума, проницательности и огня, однако лишены души, хотя и с материей не имеют ничего общего. Он совершенно вне всяких законов и общепринятых правил! Он поражает воображение, но есть в нем что-то жуткое, тревожное. Сегодня он показался мне еще более необыкновенным, чем всегда, и растревожил меня как никогда. <...> Папá отчаивается, ибо полагает, будто мир движется идеями и произволом людей. Но когда знаешь, что Провидение не только поэтическая метафора, начинаешь понимать, что все на свете имеет скрытую причину и цель» (*ЛН-2*. С. 264–265).

[2] Состояние С.Н. Карамзиной после получения известия о гибели брата Андрея было тяжелым. А.Ф. Тютчева писала в дневнике 3 июня: «...мне не удалось успокоить Софи. Заезжала также великая княгиня Мария Николаевна с изъявлением самого горячего участия к этой семье, столь тяжело потрясенной горем. Видя, в каком состоянии Софи, она решила увезти ее к себе в Сергиевку в надежде, что деревенская тишина, хороший воздух, перемена места, удаление от окружающих ее сцен отчаяния подействуют на нее успокоительно. Но ей стоило неимоверных трудов убедить Софи уехать, а после ночи, проведенной в Сергиевке, где великая княгиня окружила ее лаской и заботой, нервное ее возбуждение приняло такие размеры, она с такими криками требовала возвращения в город, что невозможно было ее удерживать, и пришлось отвезти ее обратно в Петербург» (*Тютчева*. С. 162).

[3] Англо-французская эскадра бросила якорь на виду Кронштадта и Ораниенбаума 14 июня.

[4] Под впечатлением от начавшегося военного столкновения России и Запада, о неизбежности которого он писал и говорил с конца 1840-х гг., Тютчев создал одно из самых глубоких своих стихотворений: «Теперь тебе не до стихов...»

[5] Вена, где российские интересы представлял давний знакомый и добрый друг Тютчева кн. А.М. Горчаков, была центром всех дипломатических переговоров. В июне 1854 г. австрийские и французские дипломаты готовили план, известный как «Четыре пункта». Горчаков должен был помешать согласию на этот план Англии и Пруссии.



[6] Введя войска в Дунайские княжества, Австрия продемонстрировала открыто недружелюбное отношение к России и получила возможность, угрожая войной, оказывать на нее давление. Надежды Николая I на «австрийскую благодарность» были разбиты.

47. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 42–43 об.

Первая публикация – в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 406–409.

[1] В 1848 г. Тютчев был назначен чиновником особых поручений и старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел.

[2] Тютчев продолжал надеяться, что силы Запада будут ослаблены революционными выступлениями (см. письмо 42, примеч. 7). В связи с началом осады союзниками русского укрепления Бомарзунд на Аланских островах Тютчев 5 августа 1854 г. утверждал: «Россия восторжествует над своими врагами не силой оружия, вся эта башня Вавилонская, восставшая на нее, должна обрушиться сама собой под тяжестью собственного безумия. Мы тоже, наверное, получим свою долю наказания, и это, конечно, справедливо и законно. Но наказание, которое будет послано нам, будет только исправительной мерой, тогда как их кара будет окончательной и бесповоротной» (*СН.* Кн. 19. С. 216).

Предсказание Тютчева не сбылось. К. Пфеффель писал сестре из Швейцарии 28 августа/9 сентября 1854 г.: «Что же до политических предсказаний, то их несколько опровергает взятие Бомарзунда, происшедшее в промежутке между датой письма вашего мужа и днем получения вашего письма. Впрочем, хоть я искренно желаю спасения России, но еще более желаю, чтобы Господу Богу угодно было отвести от остальной Европы катастрофу, которую предсказывает ваш муж и одной из первых жертв которой я неминуемо стану» (*ЛН-2.* С. 266).

После смерти Тютчева, 6 августа 1873 г., Пфеффель писал: «...человек, рожденный для размышлений, для кабинетного труда, чья жизнь по странному капризу судьбы в течение почти пятидесяти лет протекала в гостиных. Родись и живи он во Франции, он, без сомнения, оставил бы после себя монументальные труды, ко-

27 Зак. 7712

торые увековечили бы его память. Родившись и живя в России, имея перед собой в качестве единственной аудитории общество, отличающееся скорее любопытством, нежели образованностью, он бросал на ветер светской беседы сокровища остроумия и мудрости, которые забывались, не успевая распространиться» (там же. С. 37). Слова, словно бы списанные из дневника дочери Тютчева середины 1850-х гг.

[3] Тютчевская вера в скорое наступление революционных событий на Западе поддерживалась газетными сообщениями о событиях в Испании, где в июле 1854 г. произошло народное восстание в Мадриде. Восстание привело к власти партию «прогрессистов», которая до этого много лет боролась с клерикально-консервативными силами, стоявшими у власти.

48. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 44–45 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 409–412.

[1] В это время из шестерых детей Тютчева от обоих браков старшая, Анна, уже служила при дворе; ожидалось назначение фрейлиной второй дочери, Дарьи; Екатерина должна была переехать жить к Сушковым в Москву; Дмитрий жил в пансионе; с родителями оставались четырнадцатилетняя Мария и восьмилетний Иван.

[2] <15>/27 июля 1854 г. К. Пфеффелль сообщал сестре: «Муж ваш должен был получить мое письмо, приложенное к заметке милейшего г-на Лоренси, предлагающего ему в качестве советника императора Николая использовать свое влияние для содействия объединению обеих церквей — Восточной и Западной» (*ЛН-2.* С. 265). «Заметка» П. Лоренси неизвестна.

[3] Выйдя замуж за русского поэта, Эрн. Ф. Тютчева всей душой приняла Россию. С самого начала она предполагала, что жить они должны именно там.

[4] П.-С. Лоренси, французский публицист, автор предисловия к статье Тютчева «Папство и Римский вопрос» (Revue des Deux Mondes. 1849, янв.), с которой он неоднократно полемизировал; позже редактор газеты «L'Union». Подробнее о Лоренси и его многолет-



ней полемике с Тютчевым см.: Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х – начала 1850-х гг. (*ЛН-1*. С. 237–248).

[5] Тимофей, легендарный древнегреческий поэт и музыкант, один из искуснейших исполнителей на кифаре и флейте, мастер дифирамбов.

[6] Дятьковичи, имение неподалеку от Овстуга.

49. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 52–53 об.

Первая публикация – в русском переводе: *Изд. М., 1957*. С. 412–414.

[1] «Коня, коня! Все царство за коня!» (Шекспир У. Ричард III, акт V, сц. 4).

[2] См. письмо А.Ф. Тютчевой сестре Екатерине от 12/24 августа 1854 г.: «Папа́ провел у меня целый день. Он снова решил не ездить в Овстуг, но хочет отправиться в начале сентября в Москву, вам навстречу. Если природа вознамерилась воплотить идеал непостоянства, то она вполне преуспела в этом, создав папа́. После дня, проведенного в его обществе, хочется спросить себя: “Bin ich oder bin ich nicht?” (“Существую я или нет?” – *Нем.*)» (*ЛН-2*. С. 265).

[3] Бар. Ф.А. Мальтиц познакомился с Тютчевым в 1830-х гг. в Германии, где состоял на русской дипломатической службе; сначала заменил Тютчева на посту младшего секретаря российской миссии в Мюнхене, позже стал русским поверенным в делах в Веймаре. Он был женат на сестре первой жены Тютчева; автор первых переводов стихотворений Тютчева на немецкий язык. Письма Мальтица к Тютчеву неизвестны.

[4] Гарнизон Бомарзунда вынужден был капитулировать 4 августа 1854 г.

[5] Флагелланты, или бичующиеся, представители сектантского движения в католической церкви, распространенного в Западной Европе в XII–XVI вв.; идейной основой секты была мысль об искуплении грехов путем бичевания.

[6] Кульм, самая большая (1800 м) из шести вершин горного массива Риги в Швейцарии, который расположен между кантонами Люцерн и Швиц, а на севере граничит со Шварцвальдом; прароди-

на европейского международного туризма; на Риги-Кульм еще в начале XIX в., сразу после окончания Наполеоновских войн, были проложены удобные пешеходные тропы, и десятки тысяч туристов (вначале преимущественно из Англии, позже из других европейских стран, в том числе из России) поднимались наверх, откуда открывался величественный вид на леса, озера и далекие снежные вершины. До проведения зубчатой железной дороги (после 1871 г.) туристы шли пешком (пеший путь занимает часа четыре) или их несли на носилках местные жители, за туристский сезон зарабатывавшие на жизнь в течение целого года.

[7] См. письмо 41, примеч. 8. В середине лета 1854 г. С.Ф. Яковлев лишился зрения.

50. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 54–55 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 224–226.

[1] Эпидемия холеры, которая свирепствовала в России во время Крымской войны, была частью пандемии, охватившей Европу в продолжение революционных событий 1848–1849 гг., перекинулась на Британские острова и в Америку.

[2] Тютчев посвятил «приснопамятному лету» стихотворение «Лето 1854».

[3] В августе 1854 г. Австрия от имени великих держав предъявила России в качестве предварительных условий «Четыре пункта», которые до конца войны стали основой возможного мирного урегулирования: 1) Замена русского покровительства над Дунайскими княжествами протекторатом пяти великих держав. 2) Свобода судоходства по Дунаю с установлением контроля держав над устьем реки. 3) Пересмотр Лондонской конвенции 1841 г. о черноморских проливах «в интересах европейского равновесия» (т. е. пересмотр ее условий в пользу союзников). 4) Замена покровительства Российской империи православному населению Османской империи коллективной гарантией прав христианских подданных султана со стороны всех великих держав. Принятие этих пунктов лишило бы Россию самостоятельности в восточном вопросе и установило бы коллективный протекторат западных держав над Османской империей. Николай I медлил с ответом, что дало возможность союзни-

кам приступить к высадке десанта в Крыму. Их главной целью был Севастополь — база русского Черноморского флота. Запоздалое согласие России сделать «Четыре пункта» основой для мирных переговоров привело лишь к затяжной и безрезультатной дипломатической борьбе, ареной которой стала Вена.

[4] Э. Форкад, французский политический писатель и публицист, опубликовал в журнале «Revue des Deux Mondes» за 1854 г. статью «Австрия и политика Венского кабинета в Восточном вопросе», в которую были включены выдержки из писем Тютчева к жене, переданные ему Пфеффелем без ведома поэта. В конце августа — начале сентября 1854 г. Пфеффель писал сестре из Интерлакена: «Ограничиваюсь благодарностью за выдержки из писем вашего мужа, приложенные к вашему письму...» (*ЛН-2*. С. 266). А двумя месяцами раньше, в июне 1854 г., он писал ей из Мюнхена более подробно: «В "Allgemeine Zeitung" от 7 июня напечатано несколько выдержек из последнего номера "Revue des Deux Mondes", в которых воспроизведены извлечения из писем вашего мужа, сообщенные мною редактору этого журнала. Я еще не читал оригинал, а лишь просмотрел его, но даже этот беглый просмотр вызвал у меня опасение, что статья произведет неблагоприятное впечатление на графа Нессельроде и некоторых других важных особ, которых следует считать не столько русскими, сколько немцами. Прошу вас, успокойте меня на этот счет и еще раз попросите вашего мужа, чтобы он написал для "Revue" что-нибудь примечательное и "расправился" бы, как говорит наш добрый полковник, не только с римским вопросом, но и с великим восточным вопросом, который с каждым днем представляется все более неразрешимым» (там же. С. 263–264).

Добрый полковник — Н.И. Тютчев.

51. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 62–63 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 414–417.

[1] 17 ноября 1854 г. К. Пфеффель отослал сестре копию своего письма к Лоренси, рассчитывая, что Тютчев поспособствует ее публикации в России. Месяцем раньше, 7/19 октября 1854 г., он писал

ей: «Общественное мнение, которое в Германии трусливее, чем где бы то ни было, все более и более склоняется к следующему: при первой же серьезной неудаче России Германия взорвется с такой силой, что ни одно из наших жалких правительств не посмеет бороться против течения. Я восхищаюсь провидческим даром вашего мужа, позволившим ему предсказать подобную развязку, однако сам я предпочел бы считать ее невозможной» (*ЛН-2*. С. 266).

[2] За день до этого письма отца, 29 ноября/11 декабря 1854 г., А.Ф. Тютчева писала Вяземскому: «Папа́ теперь похож на зверя, который мечется в клетке. Он чрезвычайно обескуражен поворотом событий и находит, что люди изрядно глупы, а мир нелеп. Он говорит, что это война прохвостов с кретинами» (там же). Во французском оригинале письма: «c'est la guerre des gredins contre les crétins» — (труднопереводимая игра слов).

[3] Речь идет о высадке союзных войск в Крыму в районе Евпатории 2–6 сентября, о начале их движения на Севастополь, о поражении русской армии 8 сентября на реке Альма. 13 сентября союзники осадили Севастополь, и началась одиннадцатимесячная Севастопольская оборона. 5 октября союзники предприняли первый штурм города, который для них окончился неудачей. Русская армия в Крыму, которой командовал адмирал А.С. Меншиков, потерпела поражение 13 октября под Балаклавой и 24 октября под Инкерманом. Ее попытки оказать помощь осажденному гарнизону Севастополя не имели успеха. Российская общественность воспринимала военные неудачи в Крыму крайне болезненно.

[4] Речь идет об известном эпизоде Второй самнитской войны IV века до н. э., когда римские легионы попали в засаду, организованную самнитами в высоком лесистом Кавдинском ущелье недалеко от древнего города Каудиума на дороге из Капуи к Беневенту; были разоружены и вынуждены совершить унизительный для воинов обряд прохождения под «игом» или «ярмом», т. е. под воротами из скрещенных копий.

[5] Речь идет о болезни императрицы Александры Федоровны. В это время двор находился в Гатчине.

[6] 23 ноября Тютчев приехал в Москву, где пробыл до середины декабря. Е.Ф. Тютчева писала сестре Дарье 30 ноября/12 декабря 1854 г.: «Папа́ — герой дня, его приглашают наперебой» (там же. С. 267). Е.Ф. Тютчева была свидетельницей политических дискуссий, разворачивавшихся в салоне Сушковых, понимала их значение, высоко ценила роль в них своего отца, но одновременно жила обычной жизнью светской молодой девицы. «Вчера, — писала она

сестре Дарье неделей позже предыдущего письма, 7/19 декабря 1854 г., – в понедельник 6-го, у нас была масса народу (Николин день – именины Сушкова. – *Ред.*). <...> К двум часам, когда все разъехались, остались только Колошин, Соболевский, папá, дядя, тетя и я. Я подождала четверть часа, но поскольку эти господа принялись курить, а у меня была мигрень, я поднялась к себе, чтобы раздеться. Десять минут спустя тетя пришла ко мне, и когда мы разговаривали, я – в пеньюаре и с распущенными волосами, вошел дядя и без всяких предисловий объявил, что г-н Полуденский просил моей руки. Я не знала, что сказать, и просила дядю пойти к нему сегодня и сообщить ему, что, посоветовавшись с тетей, они оба решили ничего мне не говорить, чтобы это внезапное предложение не испугало меня. Пусть он бывает по-прежнему, чтобы мы узнали друг друга поближе, а через несколько месяцев мы оба увидим, чего хотим. <...> Утром я говорила об этом с папá, и он очень помог мне правильно взглянуть на вещи. У этого господина 600 душ, но отец его так мало заботился о своем состоянии, что в настоящее время он имеет 3000 р. серебром в год, а это мало, почти ничего. Но Бог все устроит к лучшему!» (там же).

[7] Усадьба Сушковых удобно располагалась между Тверской улицей и Малой Дмитровкой, в Старопименовском переулке, недалеко от Садового кольца. Салон Сушковых с удовольствием посещали многие как московские, так и приезжие литераторы, ученые, общественные деятели, среди которых часто видели Тургенева и Льва Толстого. В московской общественной жизни салон Сушковых нередко воспринимался как олицетворение отходящих в прошлое литературных вкусов и представлений. Его хозяин, вместе с Ф.Н. Глинкой, Д.И. Коптевым и М.Н. Лихониным, резко критиковался А.И. Герценом, который считал, что они в совокупности образуют «замкнутую котерию бездарности, догнивающих остатков чего-то загнившего прежде зрелости» (*Герцен-2*. С. 397).

[8] «И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо!» (Мф. 9.2).

52. К. ПФЕФФЕЛЮ

Печатается по первой публикации – *РА*. 1900. Кн. 3. № 11. С. 418–419 (ошибочно, как письмо к П.Я. Чаадаеву); с уточнением адресата, в новом русском переводе.

Местонахождение автографа неизвестно.

[1] Вступая на престол 18 февраля 1855 г., император Александр II издал манифест, в котором обращался к русскому народу «перед лицом Бога» и заявлял, что будет руководствоваться всегда единственной целью — благоденствием Отечества. Заканчивался манифест словами: «Да руководимые и покровительствуемые призвавшим нас к сему великому служению Провидением, утвердим Россию на высшей степени могущества и славы, да исполняются через нас постоянные желания и виды августейших наших предшественников: Петра, Екатерины, Александра Благословенного и незабвенного нашего родителя» (*РА*. Кн. 3. № 11. С. 418).

[2] В Вене с 15 марта по 4 июня 1855 г. велись переговоры об условиях мира в Крымской войне на конференции послов, так и не сумевших договориться о «Четырех пунктах», сформулированных Наполеоном III 18 июля 1854 г. и предъявленных России от имени Франции, Англии и Австрии. Император Александр II писал в мае 1855 г.: «Я остаюсь при прежнем своем убеждении, что все эти переговоры были одна фарса» (История внешней политики России. Первая половина XIX века. М., 1999. С. 403).

«Ложный и невозможный мир», о котором пишет Тютчев, завершил Крымскую войну и был подписан в Париже в феврале–марте 1856 г. на унизительных для России условиях. Главными потерями России были: возвращение Турции Карса, взятого в конце 1855 г., уступка Бессарабии и нейтрализация Черного моря с запрещением иметь там военный флот и базы.

53. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 23. Л. 3–4 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 417–419.

[1] Эрн. Ф. Тютчева беспокоилась о здоровье мужа. В эти же дни, 15/27 мая 1855 г., она писала Анне: «Если увидишь своего дорогого папа́, посмотри на него внимательно, как посмотрела бы я. Как он выглядит? Подстрижены ли у него волосы? Радуют ли его приятели и, главное, приятельницы?» (*ЛН-2*. С. 269). За Тютчевым, увы, следовало приглядывать. Злоязычная А.О. Смирнова так описывала в эти годы Тютчева: «Он целый день рыскает пехтурой или ездит на самом гадком ваньке — теперь гитары (т. е. длинные



дрожки. — *Ред.*) вывелись, опять пролетки, т. е. дрожки, в которых могут ехать двое рядом. Он в старом плаще, седые волосы развеваются во все стороны, видна большая лысина; голова его качается, и извощики говорят: "Вот барин извозился с утра"». Зная Смирнову-мемуаристку, можно утверждать, что правды в этом описании немного, но и этого немногого достаточно, чтобы вообразить, каков был облик Тютчева. «Он такое сложное существо: поэтическое, очень возвышенное воображение, глубокое благочестие или, точнее, чувство благочестия, а вместе с тем его нравы далеки от безупречных. <...> В сущности же он ничему не придает значения и живет в идеальном мире», — подводила итог Смирнова (*Смирнова-Россет.* С. 500).

[2] А.Ф. Тютчева писала сестре Екатерине незадолго до этого, в феврале 1855 г.: «Папа́ совсем болен, злополучные ноги не позволяют ему подняться с его длинного кресла. Ты знаешь, что значит для него быть привязанным к месту. И все же он так ласков и так терпелив» (*ЛН-2.* С. 267).

[3] Эрн. Ф. Тютчева уехала в начале мая вместе с Дарьей и младшими детьми. 1 июня 1855 г. она писала Анне: «Я могла бы находить определенную прелесть в этом растительном образе жизни, если бы была спокойна за твоего отца, но я пребываю в постоянной тревоге за него» (там же. С. 270).

[4] Речь идет о присяге императору Александру II.

[5] Блеск политических разговоров Тютчева был признан всеми. Однако порой они вызывали беспокойство. К. Пфеффель писал сестре еще в конце марта 1855 г.: «Граф Д<митрий> Нессельроде проявил к нам дружеское внимание и даже оказал нам честь провести с нами вечер. <...> Вы сами понимаете, что я много говорил ему о вас и о вашем муже и не упустил случая сказать ему, как признательны были бы мы его отцу, если бы тот мог, а лучше сказать — захотел, дать Тютчеву должность за границей, ибо это приблизило бы вас к вашим родственникам. Граф Дмитрий говорил с восхищением о таланте, уме и особенно о поэтическом гении вашего мужа, но, не скрою от вас, — мне показалось, что его весьма задевает та оппозиция по отношению к правительству, в которой он обвиняет Тютчева; из этого я заключаю, что канцлер рассматривает чрезмерно пылкие речи, которые Тютчев произносит в гостиных по поводу злободневных политических вопросов, как выступления ему враждебные». И добавлял: «Считаю своим долгом вас об этом предупредить, дабы вы убедили Тютчева утихомириться. Если не ошибаюсь, он имеет сейчас более шансов, чем это было

при прежнем царствовании, получить должность, соответствующую его вкусам и достойную его талантов, лишь бы он не свел на нет эти шансы высказываниями *чрезмерно* патриотическими». Однако, успокаивал он сестру, ему характеризовали канцлера «как человека от природы благожелательного, хотя и эгоистичного, но прежде всего — *царедворца*. А потому отец фрейлины императрицы является в его глазах важной особой, следовательно, он быстро забудет все действительные или вымышленные упреки, которые он, как ему кажется, мог бы сделать вашему мужу» (там же. С. 268–269).

[6] Камчатский люнет, Селенгинский и Волынский редуты были взяты союзниками после долгой и ожесточенной борьбы 26 мая.

[7] Керчь была занята англо-французскими войсками 13 мая 1854 г.

[8] Англо-французский флот, подошедший к Кронштадту и подвергший бомбардировке отдельные населенные пункты побережья, превратился в своеобразное зрелище. А.Ф. Тютчева писала сестре Дарье 14/26 июня 1855 г.: «...я повезла папа́ в Ораниенбаум посмотреть на англичан. Мы их прекрасно видели в зрительную трубу. <...> Папа́ приедет сюда, если бомбардирование продолжится» (там же. С. 270). А днем раньше Тютчев писал жене: «...судя по маневрированиям неприятельских флотов, находящихся на расстоянии пушечного выстрела от Кронштадта, ожидают с минуты на минуту чего-нибудь серьезного. Я предполагаю провести на этой неделе дня два в Петергофе. Может быть, мне посчастливится быть свидетелем того, что разразится». И день спустя: «И эти две силы стоят друг перед другом, пока еще молчаливые и будто равнодушные, но готовые на все» (там же).

Весь июнь 1855 г. Тютчев то и дело ездил к дочери в Петергоф. «Папа́ провел у меня день», — то и дело отмечала Анна в своей памятной книжке. 3/15 июля 1855 г. она писала Дарье: «Папа́ провел у меня весь день. Вяземский, который с позавчерашнего дня находится в Петергофе, пришел повидаться со мной и провел три часа в разговорах с папа́. <...> Флот покидает Кронштадт. <...> Папа́, который находится здесь только ради впечатлений, считает, что его обкрадывают» (там же).

[9] В.Н. Карамзин, младший брат Андрея, добровольцем отправлялся в Крым; через пятнадцать лет стал сенатором. А.Ф. Тютчева вспоминала: «Сыновья Карамзина всегда пользовались репутацией очень умных людей, но эта репутация так и не вышла за пределы салонов. Интересно было бы разрешить вопрос, почему самые талант-



ливые натуры в нашей русской жизни не дают того, что они наверное бы дали во всякой другой стране в Европе. Вероятно, причина заключается в низком уровне общего интеллектуального развития; успех слишком легок, нет достаточно стимулов, достаточно точек опоры, нет пищи для сравнения, нет ничего, что бы поощряло развитие умов и характеров; вот почему самые одаренные натуры долго остаются детьми, подающими блестящие надежды, чтоб затем сразу, без перехода стать стариками, ворчливыми и выжившими из ума» (*Тютчева.* С. 21).

[10] Н.П. Мещерский, внук историографа.

[11] Д.Н. Блудов многократно предлагал Тютчеву для перевода на французский язык свои статьи и составленные им официальные документы.

54. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 23. Л. 15–16 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 419–422.

[1] Принц Петр Георгиевич Ольденбургский находился в родстве с императорской фамилией. Был известен своими гуманными воззрениями и благотворительной деятельностью. С 1845 г. состоял председателем Главного совета женских учебных заведений. В покровительствуемом им Училище правоведения учился И.С. Аксаков.

[2] «Allgemeine Zeitung», газета, выходившая в Аугсбурге; в ней в 1844 г. Тютчев поместил <Письмо русского>.

[3] Речь идет о предпринятом союзниками первом общем штурме Севастополя, который завершился их полной неудачей.

[4] Журнал российского Министерства иностранных дел, выходил в Петербурге.

[5] Речь идет о К.В. Нессельроде.

[6] Г. фон Штейн — известный государственный деятель, в 1812 г. был приглашен Александром I в качестве советника; к моменту появления Тютчева в Германии был знаменит как крупный реформатор. Книга «Das Leben des Ministers von Stein» вышла в 1855 г.

[7] «Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете» (Иезек. 37. 1–15).

55. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Е.Ф. Тютчева вскоре по выходе из Смольного института, где она обучалась с 1845 по 1851 г., стала жить в Москве у Сушковых. Здесь с ней познакомился молодой Лев Толстой, который серьезно увлекся ею. В 1857 г. отношения молодых людей вызывали живой интерес окружающих. Анна Федоровна писала сестре: «...он очень обаятелен, у него такое открытое, честное, доброе лицо. Не понимаю, как можно устоять, когда такой человек тебя любит» (*ЛН-1.* С. 457). На письма родных Екатерина отвечала: «Я так разборчива, что не выйду замуж; ну что ж, тем хуже для мужской половины рода человеческого» (там же).

Неудачный роман Е.Ф. Тютчевой и Льва Толстого завершился зимой 1858 г. Ее имя — Китти, как и имя ее сестры Дарьи Федоровны, Долли, остались дороги Л. Толстому, впоследствии так назвавшему героинь «Анны Карениной».

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 3–4 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 458.

[1] Е.Л. Тютчева, как и ее внучка, жила у Сушковых.

[2] 28–29 июля англо-французская эскадра бомбардировала крепость Свеаборг, нанеся ей большие повреждения.

56. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 23. Л. 27–28 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 422–425.

[1] 3 сентября 1855 г. Тютчев вернулся в Москву из Овстуга, где он провел с женой и детьми бóльшую часть августа.

[2] 27 августа 1855 г. французские войска штурмом взяли господствующий над городом Малахов курган. Русский гарнизон оставил город, затопив последние корабли и взорвав укрепления. С падением Севастополя военные действия в Крыму прекратились.

[3] Речь идет о Е.В. Стрелковой, дочери управляющего имением Тютчевых.

[4] Александр II, все члены императорской фамилии и двор находились в Москве, где им представлялось московское дворянство.

[5] Княжна А.С. Долгорукова — фрейлина цесаревны, будущей императрицы Марии Александровны; Е.П. Захаржевская — статс-дама, обладавшая большим влиянием при дворе.

[6] «Греза» Тютчева восходит к его представлениям, изложенным в политическом трактате «Россия и Запад» и в <Отрывке>, работа над которыми была прекращена в начале 1850 г. (см. т. 3 наст. изд. С. 196).

«Греза» — вероятно, последняя по времени дань историософскому визионерству. Характерно, что Тютчев излагает свое видение будущего в письме к жене.

[7] Вильгельм II Нидерландский, супруг вел. княжны Анны Павловны, сестры Александра I, скончался в 1849 г. Анна Павловна славилась тяжелым и вспыльчивым характером.

57. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 23. Л. 31–32 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 425–427.

[1] Кн. З.И. Юсупова, одна из самых богатых женщин России.

[2] Семья П.В. Муравьевой, двоюродной сестры поэта.

[3] Речь идет о поездке из Овстуга в Москву.

[4] «Мне бы так хотелось, чтобы в этом семействе научились рассудительности и здравомыслию, чтобы не убивались из-за воображаемых огорчений и вкладывали больше сил в саму жизнь. Это небрежение собой кажется мне самой печальной вещью в мире», — писала в декабре этого же 1855 г. А.Ф. Тютчева сестре Екатерине в письме, где она рассказывала о своих попытках помочь семье (*ЛН-2.* С. 281). «Ты знаешь, что место попечителя Московского университета свободно. <...> Все эти соображения могут перевесить скуку, которая будет одолевать папа́, и в конечном счете, когда он приобретет новые привычки, а главное, когда у него появится дело и сознание ответственности, тогда, быть может, ему понравится и этот новый образ жизни» (там же. С. 280–281).

Речь шла о месте попечителя Московского учебного округа.

[5] Тютчев пишет о Николае I. В том же году им написана эпиграмма-эпитафия на царя «Не Богу ты служил и не России...» (т. 2 наст. изд. С. 73).

В ответ на постоянные нападки на покойного императора, которые исходили от его долгие годы обреченных на молчание подданных, К. Пфеффель через месяц, 16/28 октября 1855 г., писал сестре из Баден-Бадена: «Я полагаю, что русские, здесь находящиеся, должны были бы поменьше развлекаться в то время, когда потоками льется кровь тысяч их соотечественников. <...> Ваш муж, я уверен, со мной согласится, его патриотическая струна вибрирует в каждой строке присланных вами выдержек. Я прочел их с восхищением, но протестую против суждения об императоре Николае. Верьте мне, друзья мои, это был великий человек, которому не хватало только более умелых и, возможно, более честных исполнителей, дабы он мог осуществить предназначение России. Но муж ваш преувеличивает зло, когда ставит в зависимость от результата настоящей войны осуществление или гибель этого предназначения. И не вернее ли было бы вместо того, чтобы подталкивать события, временно покориться, даже поступаясь в некоторой степени самолюбием, и согласиться на перемирие, о котором как-то говорил ваш муж, для того чтобы дождаться больших шансов на успех? Таково мое мнение, но я сомневаюсь, чтобы его разделяло большинство в России» (*ЛН-2*. С. 278–279).

[6] К. Пфеффель опасался за судьбу своего капитала, на которой могла пагубно отразиться затянувшаяся война.

[7] Александр II находился в Николаеве, где знакомился с положением дел на юге России.

[8] П.А. Вяземский в августе 1855 г. был назначен товарищем министра народного просвещения и руководителем Главного управления цензуры. «У него с государем был разговор о цензуре довольно утешительный, который вам, верно, Тютчев пересказал», — сообщала А.Д. Блудова М.П. Погодину 21 августа 1855 г. (там же. С. 277–278).

21 августа/2 сентября 1855 г. К. Пфеффель с сожалением писал сестре: «Мы уже узнали из газет о назначении князя Вяземского. Но я предпочел бы, чтобы этот счастливый случай выпал на долю вашего мужа, который, кстати, имеет больше прав на эту должность, — разумеется, если полагать, что люди более сведущие имеют больше прав» (там же. С. 277).

Продолжая свое письмо, Пфеффель утешал Эрнестину: «И не таким уж большим комплиментом является для вашего мужа мое предсказание, что стихи его все это переживут; ведь в мире, в котором он существует и в котором существуем мы все, ценят только посредственность» (там же).

58. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 5–5 об.

Публикуется впервые.

[1] По поводу этого обеда А.Ф. Тютчева сделала в своем дневнике пространную и в высшей степени характерную запись (4 октября 1855 г.): «Сегодня утром пришли мне сказать, что мой отец, Лиза Карамзина, Вяземский и Блудовы приглашены обедать к государыне. Я была чрезвычайно обижена, что меня не включили в этот семейный обед. Я стала размышлять о том, что государыня слишком любит моих друзей в ущерб мне. Должна признаться, что я даже серьезно рассердилась по этому поводу и довольно резко выразила свое неудовольствие Александре Долгоруковой и Лизе Карамзиной, которая зашла ко мне и была также очень удивлена таким образом действия. После этого у меня сделались спазмы в желудке, которые отвлекли меня от испытанного мною укола самолюбия. После двух часов от императрицы пришли меня звать к обеду, но я никак не могла отделаться от этих спазм, которые продолжались почти до самого момента, когда пришлось одеваться к обеду. Кроме названных лиц за обедом присутствовали: Александра Долгорукова, Олсуфьев и граф Алексей Толстой. Государыня была чрезвычайно любезна и милостива» (*Тютчева*. С. 274).

[2] Императрица на многих, знавших ее близко, производила подобное впечатление. Так, поэт и драматург А.К. Толстой, по словам А.Ф. Тютчевой, после аудиенции у императрицы находился «под сильным впечатлением той поразительной ясности и точности мысли и глубины, с которыми она говорила об очень многих серьезных вопросах». Тютчева в дневнике приводит слова Толстого: «Своим умом она превосходит не только других женщин, но и большинство мужчин. Это небывалое соединение ума с чисто женским обаянием и более прелестным характером» (там же).

[3] А.Ф. Тютчева оставила интересные живые зарисовки с натуры частной жизни императорской семьи, записав в дневнике 5 октября 1855 г.: «Великой княжне Марии Александровне исполнилось сегодня два года. Вчера вечером мы поздравляли государыню по этому случаю. Малышка сидела за маленьким столиком у подножия огромного Baumkuchen с двумя свечками с каждой стороны и Lebenslicht – свечой жизни – посередине; она с большой серьезностью была поглощена своими игрушками и делала вид, что наливает чай своей матери в маленьком сервизе, ей подаренном; братья столпились кругом нее, не менее ее

заинтересованные игрушками. Императрица сидела на полу рядом с малышкой. Она смотрела на ее игру и улыбалась, глядя на нее, но в то же время у нее было такое грустное и озабоченное выражение лица, что было больно на нее смотреть. Великие князья бегали и играли кругом.

Какой контраст в жизни государыни. С одной стороны, семейная жизнь — счастливая, мирная и безмятежная, с другой стороны, положение царицы, доставляющее столько тревог и забот, столько печалей и огорчений. Этот контраст проглядывал в ее выражении лица, когда взор ее был устремлен на милую игру ребенка» (там же. С. 275).

59. М. П. ПОГОДИНУ

В годы Крымской войны Погодин прославился «Историко-политическими письмами» — циклом статей, посвященных внутреннему положению России и ее внешней политике. Статьи распространялись в списках. Резкая критика политики, приведшей к Крымской войне, была усилена Погодиным после смерти императора Николая I. Он доказывал, что николаевская система «дурна», и настаивал на немедленных преобразованиях. Погодин придавал своим письмам большое значение, рассчитывая оказать ими влияние на императора Александра II и его окружение.

Печатается по автографу — РГБ. Ф. Пог/П. К. 33. Ед. хр. 102. Л. 5–6 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 422.

[1] Хлопоча об аудиенции у Александра II, Погодин высказывал желание ехать в Николаев, где тогда находился царь.

[2] 10 сентября 1855 г. Погодин поместил в «Московских ведомостях» (№ 109) статью, посвященную пребыванию в Москве Александра II. Размышляя об исторической судьбе России и перечисляя «любезные имена» российских императоров, он не упомянул Николая I. Напечатанная по личному разрешению Александра II, статья вызвала разноречивые общественные отклики.

60. К. ПФЕФФЕЛЮ

Печатается по первой публикации — *СН*. Кн. 22. С. 285–287, в новом русском переводе.

Местонахождение автографа неизвестно.

[1] Письмо написано под непосредственным впечатлением от объявленного России от имени союзных держав накануне 1856 г. ультимативного требования Австрии принять предварительные условия мира, бывшие гораздо тяжелее и унизительнее для России известных «Четырех пунктов». 4/16 января 1856 г. канцлер К.В. Нессельроде известил австрийского посланника В.Л. Эстергази о том, что российский император принял условия, и 20 января/1 февраля в Вене был подписан протокол, зафиксировавший предварительные условия мира и послуживший основой для переговоров и заключения мирного договора в Париже.

[2] Оттоны — императоры «Священной Римской империи». Основатель ее (с 962 г.) германский король Оттон I завоевал Северную и Среднюю Италию, победил венгров при Лехе (955 г.). Оттон III, император с 983 г., пытался осуществить план воссоздания «мировой империи» с центром в Риме.

61. Н.Ф. ЩЕРБИНЕ

Н.Ф. Щербина, поэт, известный автор сатирических и антологических стихотворений. Тютчев посвятил ему стихотворение «Вполне понятно мне значенье...» (т. 2 наст. изд. С. 80).

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. 7152/XXXVI.6.136.
Первая публикация — *Изд. 1984*. С. 240.

[1] Цикл стихотворений Н.Ф. Щербины.
[2] Выражение из «Сатир» Горация, книга II, сатира 3.

62. Е.Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 6–7 об.
Публикуется впервые.

[1] 19 июня 1856 г. А.Ф. Тютчева писала сестре Китти: «Папá провел у меня целый день. Он непрерывно дрожал от холода и жаловался на дурную погоду в самых остроумных выражениях» (*ЛН-2*. С. 284).

[2] Погода в Петербурге и его окрестностях часто бывала холодной, ветреной и дождливой в любое время года. Так, в продолжение этого

же визита Тютчева к дочери в Царское Село она писала сестре Дарье 11/23 июля 1856 г.: «Вчера папá провел у меня весь день. По особому невезению он всегда попадает ко мне в ужасающе холодную и дождливую погоду и остается взаперти со мной вдвоем, что ему вовсе не весело. <...> Вчера я злоупотребила его простодушием. Он по небрежности не взял пальто, и на нем был лишь легонький сюртучок. Был жестокий холод, и я, опасаясь, как бы он не простудился на пароходе, заставила его надеть мое черное суконное пальто. <...> Представь себе, как он выглядел в этом нелепом одеянии, удаляясь небрежным шагом с важностью, достойной римского сенатора. Никогда я так не смеялась. Чтобы успокоить мамá, нужно сказать ей, что это происходило вечером, когда пассажиров было немного. Впрочем, папá настолько своеобразен, что никогда не выглядит смешным» (там же).

63. М. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

М.Ф. Тютчева — дочь Эрн. Ф. и Ф.И. Тютчевых. Подолгу жила вместе с матерью в Овстуге. В 1865 г. вышла замуж за морского офицера Н.А. Бирилева. Лето 1856 г. Мария провела вместе с матерью, братьями и сестрой Дарьей на острове Эзель, небольшом балтийском курорте.

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 1–2.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 482–483.

[1] Речь идет об участии дочери Тютчева в любительских спектаклях. В 1853 г. она сыграла мужскую роль майора, о чем охотно вспоминал поэт, в 1861 г. написавший шутливое стихотворение «Когда-то я была майором...».

[2] М.Ф. Тютчева имела слабое здоровье, в 1872 г. она умерла от чахотки.

[3] Гувернантка Ц.И. Капелло.

[4] Речь идет о княжне С.И. Мещерской.

64. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 23. Л. 54–55 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 427–429.

[1] 22 июля – день мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; тезоименитство императрицы Марии Александровны. При дворе было принято принимать поздравления накануне самого дня торжества.

Один из таких праздников 1854 г., когда Мария Александровна была еще цесаревной, лаконично, но ярко описан фрейлиной А.Ф. Тютчевой: «Цесаревна показала нам чудные подарки, полученные ею, и между прочим икону Божьей Матери со Спасителем, написанную Неффом, которая привела меня в восхищение. Выражение обоих лиц до идеальности божественно и прекрасно. Маленькие великие князья Николай и Александр поднесли своей матери виды Фермы, нарисованные ими самими, а хорошенький Владимир, который еще не умеет рисовать, принес ей корзину яиц, снесенных собственными его курами. Царская семья вся собралась в Сергиевке к чаю у великой княгини Марии Николаевны, которая тоже именинница. Вечер был чудесный, и дворец в Сергиевке со своими террасами, украшенными экзотическими растениями, статуями и вазами самого изящного вкуса, имел совершенно волшебный вид» (*Тютчева*. С. 173).

Впрочем, безрадостно добавляла дочь Тютчева, почти незаметно для себя самой впитавшая душевный настрой отца, «я <...> мало наслаждаюсь такого рода видами. Мой дух слишком демократичен, чтобы я могла чувствовать себя хорошо в этих собраниях полубогов, где постоянно боишься повернуться некстати спиной к кому-нибудь из великих мира сего или пропустить случай сделать реверанс тем, кому подобает. Это совершенно лишает меня свободы мыслей и создает мне такое дурное настроение, что даже трельяж из роз производит на меня впечатление тюремной решетки, сидя за которой я могу только вздыхать о своей свободе» (*Тютчева*. С. 173–174).

[2] С.В. Мещерский скоропостижно скончался на острове Эзель.

[3] Тютчев имел в виду предстоящую 26 августа 1856 г. коронацию Александра II, на которой он обязан был быть.

[4] В данном случае речь идет о поездке в Аренсбург для лечения Эрнестины Федоровны. Отъезды-приезды – чуть ли не главная тема всех личных разговоров в письмах между Тютчевым и женой. Весной 1856 г. Пфеффель опять звал сестру за границу. «Я хорошенько подумала над тем, что вы предлагаете нам на будущую зиму, – отвечала Тютчева 14/26 марта 1856 г., – и вы понимаете, дорогой брат, что для меня нет ничего более привлекательного, чем перспектива встретиться с вами на берегу Средиземного моря. <...> Препятствия возникли бы со стороны моего мужа – я сильно сомневаюсь, что он решится покинуть Россию на сколько-нибудь про-

должительное время или разрешит мне отлучиться самой, без него, как я сделала это два года тому назад» (*ЛН-2*. С. 283).

Пфеффель настаивал, напоминал, что в свое время Тютчев не находил ничего привлекательного в этих морозах. «Прежде он только и говорил о стремлении к югу и охотно цитировал: "Dahin! Dahin!" из "Миньоны". Ни в обществе, ни в беседе, ни в развлечениях всякого рода в Ницце недостатка не будет. А если он обязательно хочет остаться в обстановке, окружающей его ныне, — не мог сдержать раздражения Пфеффель, — я не вижу, какие разумные доводы могут заставить вас жертвовать реальной пользой ради его личного удобства. Вы должны поговорить с ним или разрешить мне написать ему. Или Тютчев очень переменился со времен, когда я знавал его, или мне не трудно будет его убедить» (там же).

Эти планы, как и многие другие, осуществлены не были; причина крылась не только в служебных обязанностях Тютчева и его светских связях, не только в его «привычках», но и в материальном положении семьи. 18/30 1856 г. апреля Эрн. Ф. Тютчева писала брату: «...граф Нессельроде смещен с должности. Его преемник кн. Горчаков всегда был расположен к моему мужу — быть может, он даст ему какую-нибудь должность за границей. Это то, что нам нужно было бы на несколько лет. <...> В данный момент муж мой находится у своего нового начальника кн. Горчакова. Все чиновники Министерства приглашены к нему сегодня утром» (там же). Материальное обеспечение семьи было, казалось бы, не слишком плохим, однако средств всегда не хватало. «У моего мужа 600 душ крестьян, — отчитывалась Эрн. Ф. Тютчева перед братом, — и его доход приблизительно равен тому, что будет у меня (в то время на ее имя покупалось имение в Брянском уезде: 500 душ крестьян, 20–24 тысячи франков годового дохода. — *Ред.*). Итак, 48 или 50 тысяч франков позволят нам благополучно просуществовать везде, кроме Петербурга, однако здесь этих денег далеко не достаточно» (там же).

[5] Мария, мачеха Эрн. Ф. Тютчевой, и ее второй муж К.-М. Ментк, поддерживали дружеско-родственные связи с семьей Тютчевых.

65. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 23. Л. 64–65 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957*. С. 429–432.

[1] Здесь речь идет о коронационных торжествах. Коронация Александра II состоялась 26 августа. Сценарий театрализованного действа представлял собой аллегорию — символ величия Российской империи. Интересно сравнить отношение к коронации Тютчева и его дочери Анны: «В этом возвышенном и величественном акте выражается религиозный символ, которым церковь освящает союз между государем и народом. Присутствуя при этом, естественно испытывать волнение, но, не знаю почему, я почувствовала в эту минуту, что моя душа полна печали; я горько заплакала, и сердце мое невыразимо сжалось» (*Тютчева*. С. 352–353).

[2] Полонез, или полакка, изначально старинный польский народный танец, позже торжественный бальный, очень медленный и величавый; наиболее известны полонезы М. Огинского, К. Вебера, Ф. Шопена, М.И. Глинки, П.И. Чайковского. Тютчев особенно любил К. Вебера, под романтические звуки оперы которого «Вольный стрелок» он, по его словам, в молодости прибыл в Германию.

Е.Ф. Тютчева 11/23 сентября 1856 г. писала сестре Дарье по поводу этого бала: «В воскресенье состоялся знаменитый бал в сарафанах. <...> Я прошлась в полонезе с дядей, с кн. Урусовым и в заключение с папа́» (*ЛН-2*. С. 285). Несколькими днями раньше, 5/17 сентября 1856 г., она жаловалась сестре: «Бедный папа́ совсем замерзает; он не снимает пальто с меховым воротником даже во время обеда. Мне так больно видеть, как он пешком подходит к нашему дому при этой омерзительной погоде, а его поношенный мундир вызывает во мне смешанное чувство нежности и печали. Бедный старичок, он кажется мне таким заброшенным!»

И чуть позже: «Скажи ему, что я люблю его, и нежно поцелуй его за меня» (там же. С. 284–285).

[3] Статс-даме М.Г. Разумовской было уже 84 года; Е.Ф. Тизенгаузен была моложе на тридцать лет, но при этом уже сорок лет состояла во фрейлинах. В уважение к заслугам ее деда, М.И. Кутузова, она была взята ко двору ребенком, и приобрела в конечном счете положение, приближенное к императрице. А.Ф. Тютчева, обычно сурово судившая людей, о ней отзывалось легко и доброжелательно: «Говорили, что в молодости она была очень красива и что ее любил король прусский. <...> При внешности дамы, это было доброе существо с легкими и невинными претензиями на роль умной женщины и на политическое влияние. Но главной ее заботой было охранять доступ в приемную государыни, удалять из нее всех незаконно и законно стремящихся туда проникнуть и победоносно отстаивать

свое первенствующее положение. Преобладающей страстью в ней было желание знать новости и тайны двора раньше всех прочих. Будь она злой по природе, эта властность характера могла бы сделать ее неприятной или даже опасной. Но она была так безобидна, что все ее усилия и мелкие интриги делали ее скорее комичной, чем опасной» (*Тютчева*. С. 36).

[4] «Муж вот уже три недели как вернулся из Москвы, где он проводил время очень деятельно, хотя не всегда занимательно, — писала из Петербурга 16/28 октября 1856 г. Эрн. Ф. Тютчева брату. — Одним из приятнейших моментов его пребывания в святом граде, среди царящей там суеты, было знакомство с молодым Эктоном (Э. Грэнвилл — сын лорда Д. Грэнвилла, чрезвычайного посла Англии на коронации Александра II. — *Ред.*). Я сожалею за них обоих, что виделись они так мало, и если вы встретите г-на Эктона, скажите ему, как очарован был муж знакомством с ним» (*ЛН-2*. С. 286).

[5] А.Н. Бахметьев через два года займет тот самый пост попечителя Московского учебного округа, на который рассчитывала для отца Анна.

[6] В данном случае имеется в виду кп. С.М. Голицын, которому уже было за восемьдесят (см. письмо 7, примеч. 9), сохранявший в 1856 г. «привычки милой старины». *Амфитрион*, или *Амфитрио*, — в греческой мифологии царь Фив, супруг Алкмены, отец Ификла, единоутробного брата-близнеца Геракла, отцом которого был Зевс, обманом проникший к Алкмене. Ификл был слабее брата, но их связывала дружба и некоторые совместные приключения. Полная драматических событий жизнь Амфитриона послужила сюжетом сначала комедии Плавта, потом Мольера, Клейста, Камю и др. Благодаря мольеровской пьесе это имя стало нарицательным для обозначения гостеприимного хозяина.

[7] Речь идет об О.А. Петерсоне.

66. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 1–2 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 245–247.

[1] Работа почты (если судить по датам получения и отправления писем, почти безукоризненная!) всегда досаждала Тютчеву, когда он



ждал сообщений. Семья Тютчевых уехала из Петербурга в Овстуг в начале мая 1857 г. В апреле 1857 г. Д.Ф. Тютчева писала сестре Екатерине: «Мы по-прежнему собираемся уехать в первых числах мая — папа́ едет с нами» (*ЛН-2*. С. 288). Он действительно проводил жену и детей до Москвы, задержался там на несколько дней, а 19 мая 1857 г. уже был в Петербурге.

[2] С.Т. Аксаков в это время работал над книгой «Детские годы Багрова-внука», которая продолжала «Семейную хронику».

[3] Речь идет о свадьбе В.А. Шереметевой, двоюродной племянницы Тютчева, и гр. В.И. Мусина-Пушкина 12 мая 1857 г.

[4] 13/25 апреля 1857 г. Д.Ф. Тютчева писала сестре Екатерине: «Вчера мы получили ваши поздравительные письма. Папа́ был очень доволен радостью бабушки. Мундир заказан. Это стоит 800 рублей». Здесь говорится о поздравлениях по случаю производства Тютчева в чин действительного статского советника (7 апреля); по этому случаю следовало сшить мундир, соответствующий новому чину. «Папа́ ездил благодарить Горчакова, — добавляла Дарья, — который был с ним очень любезен» (там же).

[5] Речь идет о предстоящей церемонии крещения вел. кн. Сергея Александровича.

[6] Это были месяцы, когда, в связи с новым царствованием и появлением новой моды, повсеместно вводились новые мундиры, настолько отличные от прежних, что на них нельзя было перенести даже старые пуговицы; портные были завалены работой и, пользуясь безвыходным положением клиентов, поднимали цены.

67. Н. В. СУШКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп.1. Ед. хр. 70. Л. 7–8 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 492.

[1] Ф.И. Прянишников, главноначальствующий Почтового департамента Министерства внутренних дел.

[2] Профессор Московского университета О.М. Бодянский, известный славист, просил за своего ученика А.А. Майкова, который написал книгу «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицею, в связи с историей народа». Давний интерес Тютчева к славянской проблематике делал его естественным ходатаем за книгу, которая была издана в том же 1857 г.

[3] Е.П. Ковалевский занимал пост попечителя Московского учебного округа, в марте 1858 г. он был назначен министром народного просвещения.

[4] Тютчев пишет о хлопотах Бодянского по возобновлению непериодического издания «Чтения в Обществе истории и древностей Российских». В 1848 г. оно было прекращено в связи с попыткой Бодянского напечатать записки англичанина Флетчера о России XVI в., где содержались уничижительные отзывы о стране. В 1852 г. «Чтения» вновь стали выходить под редакцией Бодянского.

[5] Гр. А.С. Уваров — сын С.С. Уварова, известный археолог и один из создателей Исторического музея в Москве.

68. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2898. Л. 11–12.

Первая публикация — *Мурановский сб.* С. 50, 55.

[1] Поэт Л.А. Мей входил в круг «молодой редакции» журнала «Москвитянин», был близок к А.Н. Островскому, известность ему принесли исторические драмы «Царская невеста» и «Псковитянка». Стихотворение «Вихрь» было написано в 1856 г., точное название второго стихотворения «Хозяин».

[2] Мей был запойным пьяницей, что мешало ему претендовать на занятие штатных должностей по Министерству просвещения, несмотря на покровительство Вяземского.

[3] 12 июля — день рождения кн. П.А. Вяземского.

69. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 29–31 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984.* С. 248–249.

[1] С 5 по 20 августа Тютчев с семьей жил в Овстуге, откуда вернулся в Москву, где остановился на несколько дней. Письмо написано перед отъездом в Петербург.

[2] За несколько дней до этого письма Тютчев создал стихотворение «Есть в осени первоначальной...» (т. 2 наст. изд. С. 84).

О том, как оно было создано, сообщала Д.Ф. Тютчева в письме к Екатерине. Дочери поэта не писали стихов, но многие их письма в высшей степени поэтичны. «Путешествие наше было прекрасно, — описывала 24 августа/5 сентября 1857 г. Дарья свой с отцом отъезд из Овстуга, — погода божественна, земля и небо как будто нарочно принарядились, чтобы попрощаться с нами. Это были чарующие хрустальные дни, а сияющее небо казалось таким глубоким. Папá изобразил очарование этой поры в стихах, которые я послала мамá. <...> Он такой милый, наш папá. Эта поездка очень сблизила меня с ним — теперь я люблю его еще больше, чем прежде. Он так нежен и преисполнен сочувствия. Он много говорил о мамá. Когда я увижусь с тобой, я передам тебе то, что он мне сказал. <...> Было так грустно смотреть в его старческие глаза, полные слез» (*ЛН-2*. С. 290).

Стихотворение было написано «в коляске на третий день нашего путешествия» на обороте первого попавшегося листка с перечнем почтовых станций и путевых расходов, а последняя строфа — начиная с середины первой строки — рукой Д.Ф. Тютчевой. Д.И. Сушкова 23 августа/4 сентября 1857 г. откликнулась на них: «Это верно, что стихи твоего отца очень хороши, так тонко чувствовать и...» (там же). Многоточие, поставленное сестрой Тютчева, обозначало вечную боль семьи: несчастную Е.А. Денисьеву.

[3] Тютчев, неспособный долго находиться на одном месте, плохо переносил тряску в экипаже. В 1855 г. дочь Дарья описывала предстоявшую ему поездку из Овстуга в Москву, в общем-то недалекую: «...бабушка, возможно, будет беспокоиться по поводу путешествия папá. Между тем, все обстоит совсем не так ужасно, как это кажется по сравнению с тем, что было. Папá будет останавливаться для ночлега; затем будет останавливаться еще раз в полдень, чтобы испить чаю, — и так, помаленьку, он доберется до Москвы без утомления» (там же. С. 277).

[4] «Достоверный источник» ошибался. Первое гласное заявление правительства о стремлении решить вопрос о крестьянах, находящихся в крепостной зависимости, было сделано в форме рескрипта Александра II от 20 ноября 1857 г. на имя виленского генерал-губернатора В.И. Назимова.

[5] Александр II в это время путешествовал за границей.

[6] Эрн. Ф. Тютчева методично записывала даты получения писем, отмечая каждое особым именем, прозвищем или фамилией.

70. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 6–7 об.

Публикуется впервые.

[1] Эрн. Ф. Тютчева с детьми Иваном и Марией приехала из Овстуга в Москву и 23 сентября вернулась в Петербург.

[2] А.Ф. Тютчева находилась за границей в свите императрицы Марии Александровны. На обратном пути в начале октября вопреки ее первоначальному предположению она вместе с царской семьей побывала в Киеве. Вернулась в Петербург 15 октября (см.: *Тютчева.* С. 391).

[3] Встреча императора Александра II с Наполеоном III состоялась в Штутгарте 13/25 сентября 1857 г.; на ней было условлено, что обе страны будут координировать свои внешнеполитические действия.

[4] Амалия (урожд. принцесса Ольденбургская), королева Греции.

[5] Фельдман, секретарь Совета Главного общества российских железных дорог.

71. М. П. ПОГОДИНУ

Печатается по автографу – РГБ. Ф. Пог/II. К. 33. Ед. хр. 102. Л. 1–2 об.

Первая публикация – отрывок: *Барсуков.* 1901. Кн. 15. С. 105–106, 110–111; полностью: *ЛН-1.* С. 423–424.

[1] М.П. Погодин хлопотал о разрешении издания «Историко-политических писем» и обращался к Тютчеву как к давнему знакомому и как к человеку, влиятельному в петербургских сферах. Он рассчитывал и на тютчевские советы, и на его посредничество (см.: Записи о Тютчеве в дневнике М.П. Погодина. Публикация Л.Н. Кузиной. – *ЛН-2.* С. 14). Отношение Д.Н. Блудова к политической публицистике Погодина было благожелательным, но разрешение на публикацию погодинских «Писем» он не дал.

[2] Погодин воспользовался советом Тютчева и напечатал «Историко-политические письма» в Лейпциге (ч. 1–3, 1860–1861 гг.).

[3] Речь идет прежде всего о созданной А.И. Герценом в Лондоне Вольной русской типографии, первая печатная прокламация которой вышла в 1853 г.

[4] В первые годы царствования Александра II издания Герцена «Полярная звезда», «Голоса из России», «Колокол» почти беспрепятственно ввозились в Россию и пользовались огромной популярностью. Чтение герценовского «Колокола» входило в распорядок жизни императора.

[5] Речь идет об избиении полицией нескольких студентов Московского университета. Под давлением общественного мнения полицейские были отданы под суд.

[6] Шекспир У. Гамлет, акт III, сц. 1.

72. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 38–39 об., 42–43 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957*. С. 435–439.

[1] Тютчев намекает на нарастающее беспокойство крестьян накануне реформы.

[2] Чуть позже, 27 февраля/11 марта 1859 г., в письме к брату Эрн. Ф. Тютчева буквально повторяла эти слова: «В петербургском обществе умеют забываться и совершенно равнодушно относиться даже к таким вещам, которые имеют значение не только всеобщее. Так, здесь весьма мало интересуются вопросом, который в большей или меньшей степени касается каждого, — я имею в виду великое дело освобождения крестьян. В этой стране люди решительно легкомысленны, да к тому же еще глупы и невежественны, — говорит Тютчев. В общем, бедняга задыхается от всего, что ему хотелось бы высказать; другой постарался бы избавиться от преизбытка мучающих его мыслей статьями в разные газеты, но он так ленив и до такой степени утратил привычку (если она только у него когда-нибудь была) к систематической работе, что ни на что не годен, кроме обсуждения вслух вопросов, которые было бы, вероятно, полезнее довести до всеобщего сведения, излагая и анализируя их письменно». И добавляла характерную мысль: «Прочитав ваше недавнее письмо, он просил меня, чтобы я убедила вас написать для газеты “Nord” статью о современном положении в Европе. То, что приходит извне, всегда производит в России большее впечатление, чем то, что печатается в самой стране и на русском языке» (*ЛН-2*. С. 299–300).

[3] Здесь речь идет о Г.А. Щербатове, в те годы попечителе Петербургского учебного округа.

[4] Н.Ф. Павлов, по жалобе жены, поэтессы К.К. Павловой, был призван к ответу за то, что проиграл в карты ее состояние, сослан в 1853 г. в Пермь, возвратился в Москву в 1856 г., начал активно сотрудничать в «Русском вестнике» как критик и публицист и тогда же познакомился с Тютчевым. В это время Тютчев поддерживал Павлова в попытках того добиться разрешения на издательство журнала и считал его «человеком большого ума и таланта». В записочках, которые посылали друг другу Д.И. Сушкова, Е.Ф. и Д.Ф. Тютчевы, то и дело говорится: «обедал Павлов», «сегодня утром приходил Павлов» (там же. С. 288, 298 и др.).

[5] В 1850-е гг. К.К. Павлова была уже признанной поэтессой и прозаиком. Далеко в прошлом остались и бегство в Ярославль, и возвращение к сгоревшему московскому дому, и первые уроки «прекрасного» в русских ландшафтах подмосковного Братцева, и широко известный в свете неудачный роман с А. Мицкевичем. Она много переводила на французский и немецкий языки первостепенных русских поэтов; ее оригинальное творчество высоко ценилось современниками.

[6] В 1860 г. Павлов стал издавать газету «Наше время».

[7] А.Д. Боратынская (из знатной и богатой армянской семьи Абамелек-Лазаревых) была поэтессой и переводчицей; в молодости светской красавицей, фрейлиной, в 1830-е гг. адресатом стихотворений многих русских поэтов от Пушкина до С. Раича; была замужем за И.А. Боратынским, младшим братом поэта; в 1856 г. была награждена орденом Св. Екатерины II степени за участие в попечительской деятельности Ведомства Марии Федоровны по женским учебным заведениям; в 1859 г. овдовела.

[8] И.Д. Делянов, в 1858–1866 гг. попечитель Петербургского учебного округа, с женой Анной Христофоровной (урожд. Абамелек) жил одно время в том же доме, что и Тютчевы.

[9] Речь идет о праздновании в честь освящения Исаакиевского собора. Строительство задуманного еще Петром I главного храма Петербурга, посвященного св. Исаакию Далматскому, затягивалось из-за пожаров, перемены места, смены власти, замены архитекторов и было окончено только к 1858 г. Освящение собора, в возведении которого принимали участие крупнейшие архитекторы и живописцы — А. Монферран, В. Стасов, И. Витали, К. Брюллов и многие другие, — происходило 30 мая 1858 г. в день св. Исаакия и день рождения Петра Великого.



73. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 40–41 об. Публикуется впервые.

[1] А.Ф. Тютчева сообщала в письме к сестре Екатерине подробности пребывания отца в Петербурге: «Папа́ и дядя обедали у меня в воскресенье. Папа́ выглядит прекрасно. Он бывает на Островах, на павловском Вокзале, и этот цыганский образ жизни его вполне устраивает» (4 июня 1858 г.). 6 июля она добавляла: «Папа́ недавно провел здесь целый день. Я очень довольна его видом и его настроением» (*ЛН-2.* С. 295). В письме к сестре Дарье тем же летом Анна Федоровна писала: «Папа́ приезжает ко мне раз в неделю. <...> Он хорошо выглядит и не кажется мне слишком утомленным своим бродячим образом жизни» (там же).

[2] Ю.П. Строганова (урожд. гр. д'Альмейда-Ойенгаузен), жена обер-камергера и дипломата гр. Г.А. Строганова (см. также письмо 16, примеч. 6).

[3] См. письмо 72, примеч. 4, 6.

74. Н. В. СУШКОВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 70. Л. 9–10 об.

Первая публикация – *ЛН-1.* С. 493.

[1] См. письмо 72, примеч. 4, 6. Журнал, по поводу возможного издания которого Павлов обращался к Тютчеву, не удался.

[2] А.Н. Бахметьев в 1858–1859 гг. был попечителем Московского учебного округа.

[3] Эолова арфа, музыкальный инструмент, состоящий из деревянного ящика, в котором натянуты струны, от движения воздуха издающие нежные гармоничные звуки, воспринимающиеся слушателями как таинственные, поскольку их происхождение труднообъяснимо. Название восходит к Эолу, мифологическому богу ветров.

[4] См. письмо 67, примеч. 3.

[5] См. письмо 35, примеч. 1.

[6] Бар. А.Л. Штиглиц – известный петербургский банкир, управляющий Государственного банка, основатель художественного училища в Петербурге; знаком Тютчеву с 1830-х гг. (см.: *Летопись 1999.* С. 174).

[7] Речь идет о крестинах вел. кн. Константина Константиновича, намеченных на 26 сентября.

[8] Д.Ф. Тютчева была назначена фрейлиной императрицы Марии Александровны 22 августа 1858 г. Ее сестра Анна записала в дневнике 8 сентября: «10-го из Москвы приехала моя сестра Дарья и 13-го ее взяли во дворец, чтобы заменить меня в должности фрейлины, что возбуждает по отношению к нам много зависти и недоброжелательства и вызвало много неприятных разговоров по поводу оказываемых мне милостей и моих интриг» (*Тютчева*. С. 415).

75. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 8.

Публикуется впервые.

На л. 9 рукой Ф.И. Тютчева: «Дарье Федор<овне> Тютчевой».

Датируется по содержанию. 13 сентября 1858 г. Д.Ф. Тютчева поступила ко двору, заменив в должности фрейлины свою сестру Анну, ставшую в августе 1858 г. воспитательницей вел. княжны Марии Александровны. Тютчев поздравляет вел. княжну с днем рождения — 5 октября 1858 г. ей исполнилось 5 лет. В письме упоминается бал, который давала в Царском Селе императрица Александра Федоровна 4 октября в честь дня рождения ее внучки, принцессы Марии Максимилиановны Лейхтенбергской (см.: *Тютчева*. С. 419).

76. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 8–9 об.

Публикуется впервые.

[1] 10 октября 1858 г. двор переехал в Гатчину. «Погода была чудная», — писала А.Ф. Тютчева в дневнике (*Тютчева*. С. 422). Местом вечерних сборов общества обычно был Арсенал, где проходили музыкальные, театральные, танцевальные вечера. В дневниковой записи Анны от 11 октября содержится любопытное описание одного из таких вечеров: «Вечером, уложив великую княжну, я пошла в Арсенал. Там была музыка. Играл Рубинштейн, пела некая Штубе, обладающая прекрасным голосом, которую великая княгиня Елена

Павловна привезла из Германии. К несчастью, императрица-мать, которая любит оживление, пожелала, чтобы молодежь бегала в горелки в одном конце Арсенала, в то время как в другом конце происходила музыка. Это и делалось с ужасным гвалтом. Я краснела, глядя на лицо Рубинштейна; он совершенно не старался скрывать впечатления, которое производил на него этот шум. В настоящее время это первый пианист в Европе, всюду его слушают с восторгом и благоговением, а здесь он принужден играть перед двумя русскими императрицами под крики и шум веселящейся молодежи. Присутствие артистов в императорских салонах причиняет мне всегда страдание» (там же. С. 424).

[2] Здесь речь идет о кн. Д.С. Горчакове, флигель-адъютанте, постоянном участнике вечеров и чтений у императрицы. А.Ф. Тютчева часто упоминает о нем в дневнике: «Государыня пригласила к себе на вечер несколько человек — графиню Толстую, графиню Шувалову, адъютанта Горчакова, мою сестру и меня. Александра Долгорукова не могла присутствовать, потому что вчера упала на балу и ушиблась» (6 октября 1858 г.) (там же. С. 421, 433 и др.).

77. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 10–10 об.

Публикуется впервые.

[1] Вероятно, Тютчев посылает дочери адресованное ему письмо Эрн. Ф. Тютчевой от 15 октября 1858 г., в котором она сообщает, что выехала 11 октября с дочерью Марией из Овстуга в Москву, предполагает быть в Петербурге в субботу 18 октября или на следующий день и просит прислать за ними коляску на вокзал и в субботу, и в воскресенье (см.: РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 7–8. На фр. яз.).

78. Евг. П. КОВАЛЕВСКОМУ

Евг. П. Ковалевский, министр народного просвещения (1858–1861), в ведомстве которого находился Комитет цензуры иностранной, возглавлявшийся с 17 апреля 1858 г. Ф.И. Тютчевым.

Печатается по автографу — РГИА. Ф. 772 (Главное управление цензуры). Оп. 1. Д. 4818. Л. 1–2.

Публикуется впервые.

[1] В ответном письме 4 апреля 1859 г. Ковалевский извещал Тютчева, что ему Высочайшим указом разрешен отпуск на три месяца (см.: *Летопись 1999*. С. 317). Тютчев воспользовался отпуском с 9 мая 1859 г. и, получив курьерскую экспедицию в Берлин, выехал на пароходе за границу.

79. В КАНЦЕЛЯРИЮ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Печатается по автографу — РГИА. Ф. 772 (Главное управление цензуры). Оп. 1. Д. 4818. Л. 4.

Публикуется впервые.

80. А. М. ГОРЧАКОВУ

А.М. Горчаков, в 1854–1856 гг. посланник в Вене, с 1856 по 1862 г. министр иностранных дел, с 1867 г. государственный канцлер; лицейский товарищ Пушкина, тот самый «счастливец с первых дней» из пушкинского стихотворения «19 октября» (1825), которому было суждено пережить всех своих соучеников и одному торжествовать «под старость день Лицея».

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 2–3 об.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН*. Т. 19–21. С. 219–220.

[1] В апреле 1859 г. Тютчев постоянно виделся с Горчаковым. «Папа́ обедал у Горчакова. Занят современными событиями, т. е. угрожающей войною», — отмечала М.Ф. Тютчева в дневниковой записи от 12/24 апреля 1859 г. (*ЛН-2*. С. 300). Неделей позже, 21 апреля/3 мая, Эрн. Ф. Тютчева в письме к К. Пфеффелю писала: «Мой муж с нетерпением ждет встречи с вами, чтобы обстоятельно обсудить все происходящее. Надеюсь, что кн. Горчаков не замедлит предоставить ему курьерскую экспедицию, о которой он просит» (там же). Просьба была удовлетворена. Дочь Тютчева Дарья написала сестре Екатерине 5/17 мая 1859 г.: «Папа́ едет в субботу, он получил курьерскую экспедицию» (там же. С. 301).



[2] «Настоящее положение» стало ухудшаться еще в январе 1859 г., когда парижская газета «Constitutionnel» опубликовала 4 января сообщение, что на новогоднем приеме членов дипломатического корпуса Наполеон III сказал австрийскому посланнику Иосифу Хюбнеру: «Я крайне сожалею, что наши отношения с вашим правительством уже не так хороши, как это было прежде». Слова были восприняты как прямая угроза Австрии, которая не соглашалась на требуемые Францией уступки в итальянском вопросе. Когда в апреле 1859 г. Австрия, отстаивая свои итальянские территории, начала войну против Сардинского королевства, Наполеон III объявил Австрии войну.

Сразу после парижской публикации, 23 января/4 февраля 1859 г., Эрн. Ф. Тютчева сообщала брату из Петербурга: «Наполеоновская отповедь г-ну Хюбнеру чрезвычайно возбудила умы в Петербурге, — во всяком случае некоторые умы, и среди них муж мой первый оценил все ее значение» (там же. С. 299). И месяцем позже, 27 февраля/11 марта 1859 г.: «Муж мой в восторге от той части вашего письма, где речь идет о важнейших событиях дня. Он, как вы сами понимаете, очень озабочен и много дал бы сейчас за возможность иметь с вами несколько длинных доверительных бесед, ибо здесь нет никого, кто бы так же горячо, как он сам, интересовался этими вопросами всеобщего значения» (там же).

Решительная поддержка Францией Сардинского королевства потенциально угрожала целостности Австрийской империи, что как нельзя лучше понимал Тютчев. 3 марта 1859 г. в Париже было заключено соглашение с Россией о нейтралитете в предстоящей войне; Англия предпринимала шаги по созданию австро-прусской коалиции против Франции. Когда 21 апреля 1859 г. Пьемонт отверг ультиматум Австрии о разоружении Сардинского королевства и 29-го началась война, Тютчев был обеспокоен возможностью нарушения российского авторитета в пользу Австрии под влиянием австрофильских тенденций в правящих кругах России. Он считал это губительным и для России, и для дела освобождения славян Австрийской империи (см.: там же. С. 300).

Просьба об отъезде была удовлетворена, и 9 мая 1859 г. Тютчев выехал в Берлин, а потом и в Мюнхен, любимую им столицу Баварии. «Папá уехал вчера, — сообщала из Царского Села Д.Ф. Тютчева сестре Екатерине в Москву 10/22 мая 1859 г., — на прощанье он написал мне несколько слов... Кажется, папá отправился в многочисленной и приятной компании. Я напишу тебе, когда получу от него весточку из Берлина. Оттуда он поедет в

29 Зак. 7712

Веймар повидаться с Мальтицами, а затем присоединится к мамá» (там же. С. 302).

[3] Тютчев приехал в Москву 25 апреля, а 1 мая уехал в Петербург.

81. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 2. Л. 1–2 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 441–442.

[1] Все пятидесятые годы, за редким исключением, Тютчевы в сущности жили врозь: поэт значительную часть времени проводил в Петербурге, где его удерживали служебные и личные дела; Эрн. Ф. Тютчева жила то в Овстуге, то — в течение нескольких месяцев — за границей. Их семейная жизнь была непростой. Но можно с уверенностью утверждать, что их духовная близость преодолевала раздельное существование. Подавляющее большинство писем Тютчева 1850-х гг. обращено к жене. Ее ответных писем известно меньше, но по тону писем поэта видно, что она писала ему много, интересно, с пониманием разбираясь в его общественно-политических представлениях, а к концу 1850-х гг. — и в его поэзии.

«В прошлую пятницу почта принесла мне письмецо от моего Любимого с очаровательными стихами его сочинения», — писала Эрн. Ф. Тютчева Дарье из Овстуга 31 августа/12 сентября 1858 г. (*ЛН-2.* С. 296). Она имела в виду вольный перевод стихотворения Н. Ленау «Успокоение» («Когда, что звали мы своим...». Т. 2 наст. изд. С. 90).

Ленау — псевдоним Николауса Нимбш фон Штреленау, австрийца, считавшегося талантливейшим немецким поэтом после Гейне и его антагонистом: известно, что он был жестоко высмеян Гейне за участие в штутгартском «швабском кружке», продолжавшем в начале XIX в. традиции миннезингеров. Пессимизм, романтическая меланхолия, аполитичность — отличительные черты поэзии Ленау. Тютчев находился в Мюнхене в то время, когда Ленау был в Штутгарте, но близких отношений между ними не было. Важно то, что Тютчев и его первая жена — Эл. Ф. Тютчева — были дружны с Гейне, путешествовали вместе ним, и тот посвящал стихи К. Ботмер, сестре Эл. Ф. Тютчевой. Вполне понятно некое ревнивое ощущение второй жены поэта по отношению к друзьям

Тютчева из тех давних, незнакомых времен, до того, как она вошла в его жизнь. Не исключено, что посылка Эрн. Ф. Тютчевой именно этого стихотворения была жестом примирения с прошлым и намеком на примирение с будущим.

Тютчева сближало с Ленау лирическо-приподнятое восприятие природы и — отсутствие способности достичь материального благополучия и даже тяги к нему: «verpasst» («Ich habe verpasst» — я прозевал. — *Нем.*) — было любимым изречением Ленау, о котором всегда помнил Тютчев.

Ленау оставил яркий след не только в немецкой романтической поэзии, но в европейской социокультурной мысли: посетив еще в 1832 г. Северную Америку, он, разочарованный и подавленный заокеанской жизнью, назвал ее «закатом человечности».

[2] Имеется в виду намечавшийся на 6 мая отъезд Эрн. Ф. Тютчевой с детьми (Марией, Дмитрием и Иваном) за границу.

[3] В речи, прочитанной в публичном заседании 26 апреля, Хомяков поставил важный вопрос: «Взгляните на все страны Европы: каждая имеет столицу — одну. Наша русская земля имеет две столицы, признанные государством и жизнию народною. Как ни странен этот факт, но он существует и следует понять его смысл. Одна столица есть, несомненно, столица государства; что же другая?» Отвечая на него, он излагал основополагающий тезис славянофильства: «Чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение русское и в отношения к нему Москвы, тем более убедимся мы, что именно в ней постоянно совершается постоянный размен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столковаться с русскими, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нынче вырабатывается завтрашняя мысль русского общества. В этом убедится всякий, кто только проследит ход нашего просвещения. Все убеждения, более или менее охватывающие жизнь нашу или проникающие ее, возникали в Москве» (*Хомяков 1988*. С. 323–324).

[4] Общество любителей российской словесности, открытое при Московском университете в 1811 г. под председательством А.А. Прокоповича-Антонского, ставило целью «распространение сведений о правилах и образцах здравой словесности и доставление публике обработанных сочинений в стихах и прозе на русском языке, рассмот-

ренных предварительно и прочитанных в собраниях», в первые годы действовало очень активно; так, только в 1811 г. было издано четыре тома трудов Общества. После войны, к середине 1830-х и особенно к середине 1840-х гг., заседания Общества проходили все реже, пока не прекратились вовсе. Возобновилась деятельность Общества только в марте 1858 г., а с 1859 г. вновь начались публичные заседания. В 1858 г. из действующих членов Общества остались только С.А. Маслов, М.П. Погодин, А.М. Кубарев, А.Ф. Вельтман, А.С. Хомяков и М.А. Максимович. Во время председательствования Хомякова (1858–1860) были предприняты ценные в историко-культурном плане публикации писем Карамзина и Грибоедова.

Тютчев еще в 1818 г. был избран членом-сотрудником Общества, а 21 января 1859 г. – действительным членом. Заседание, о котором идет речь, состоялось 26 апреля/8 мая 1859 г. и было вторым после почти тридцатилетнего перерыва. На нем Хомяков произнес программную речь, посвященную «причинам учреждения Общества любителей российской словесности в Москве»; Н.П. Гиляров-Платонов представил повесть Л. Толстого «Семейное счастие»; Н.Ф. Павлов открыл дискуссию по поводу «Военного сборника», против которого выступала газета «Русский инвалид», а также прочел стихотворение Вяземского «Желание» и предложил обсудить тему «несправедливых нападений на литературу».

Через несколько дней, 1/13 мая 1859 г., С.П. Шевырев писал своему брату Б.П. Шевыреву: «В воскресенье в публичном заседании Общества любителей российской словесности был мне неожиданный триумф. Утром, до обедни, нашло на меня поэтическое вдохновение — и я написал стихи к Италии. Я повез их в Общество — и прочел в соседней комнате Хомякову, которому они очень понравились, но он затруднился читать их, потому что протокол предварительного совещательного заседания был уже составлен и подписан членами. Но Погодин, прочитав стихи вместе с Тютчевым, которому также они понравились, настоял на прочтении. В промежутке чтений Хомяков подошел ко мне, взял у меня стихи и открыл ими вторую половину заседания» (*ЛН-2*. С. 301).

[5] В стихотворении «К Италии» С.П. Шевырев восхваляет борьбу за независимость свободолюбивого итальянского народа:

И для тебя настанет миг свободы,
Раба своих тиранов и чужих!

Накануне заседания, 25 апреля/7 мая 1859 г., Ю.Ф. Самарин писал М.П. Погодину: «Любезнейший Михаил Петрович, Тютчев, приехавший сюда сегодня из Петербурга, Хрущов, Ех-министр и Д. Оболенский очень желают с вами встретиться. Все они будут у меня завтра вечером. Пожалуйста, приезжайте. Тогда же мы условимся, когда придем к вам на чтение» (там же).

[6] Спустя месяц, в конце мая 1859 г., Д.Ф. Тютчева писала сестре Екатерине: «Полагаю, что ты знаешь все политические новости. Вступление Виктора Эммануила в Милан, прокламация Наполеона и т. д. Каждый день мы читаем газеты, выдержки, депеши. Как должен наслаждаться папа́!» (там же. С. 302).

82. В. А. ЧЕРКАССКОМУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. Черк./II. К. 4. Ед. хр. 101. Л. 112.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 193.

[1] Здесь речь идет об участии Черкасского в подготовке Крестьянской реформы 1861 г.

[2] В XIX в. женщины нередко занимали активную общественную позицию, деятельно участвовали в литературной и общественно-политической жизни. Не была исключением и А.Ф. Тютчева. Через нее уже в ранние годы ее пребывания в столице шла переписка между Тютчевым и его друзьями, этот опыт ей пригодился, когда она стала женой крупного общественного деятеля И.С. Аксакова. Так, сразу после встречи с В.А. Черкасским, 15 мая 1859 г. она встречалась с писателем А.В. Рачинским, с которым обсуждала болгарский вопрос (см.: *Тютчева.* С. 453).

83. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 25–26 об.

Публикуется впервые.

[1] В мае 1859 г. Франция начала войну против Австрии. Во второстепенных государствах Германского союза, где преобладала так называемая великогерманская программа воссоединения Герма-

нии вокруг Австрии, существовало сильное течение в пользу Австрии. Эти государства начали занимать угрожающую позицию по отношению к Франции, опасаясь ее намерений расширить свои границы в направлении Рейна. Некоторые государства, в том числе Бавария, в начале мая потребовали мобилизации федеральных войск. Такие воинственные настроения подметил в Баварии и Тютчев. Но сильнее в Германии было течение, возглавляемое Пруссией, поддерживавшее «малогерманский» план воссоединения германских государств вокруг Пруссии, без Австрии, выразителем которого был прусский посол в Петербурге, будущий канцлер Германии гр. О. фон Бисмарк, видевший в Австрии главного врага Пруссии. Пруссия в сложившейся обстановке не желала прийти Австрии на помощь, к тому же Россия категорически высказалась против вмешательства Германского союза на стороне Австрии.

Успехи французских войск в Италии, упоминаемые Тютчевым, выразились в ряде побед на Австрией — при Монтебелло и Палестро (20–31 мая), при Мадженте (4 июня).

В Англии 11 июня 1859 г. сформированная при поддержке Наполеона III парламентская коалиция свергла министерство Дерби, стоявшее за нейтралитет между Австрией и Францией; пост премьер-министра занял Пальмерстон, а пост министра иностранных дел — Д. Рассел (см.: История дипломатии: В 3 т. М., 1941. Т. 1. С. 476; Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814–1878: В 3 т. Ростов н/Д, 1995. Т. 2. С. 167–172).

84. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 2. Л. 9–10 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 260–261.

[1] Бар. Г. Пфеффель, сын К. Пфеффеля.

[2] С семьей гр. Ф. Люксбурга, камергера баварского двора, Тютчев познакомился еще в Мюнхене в молодые годы.

[3] Один из сыновей С. Эйхталя, баварского придворного банкира, ведшего денежные дела Эрн. Ф. Тютчевой.

[4] Тютчев имеет в виду поражение австрийских войск у Мадженты и Сольферино.

85. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 2. Л. 19–22 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 261–265.

[1] За две с небольшим недели до этого письма, 12/24 июня 1859 г., Эрн. Ф. Тютчева писала падчерице Дарье из Рейхенхаля: «...пишу тебе под грустным впечатлением отъезда Любимого, который покинул нас сегодня утром и отправился в Вильдбад, чтобы пройти там курс лечения. Две недели, которые он провел с нами здесь, принадлежат к лучшим в моей жизни. *Чаровник* неизменно оправдывал это свое наименование; несмотря на то что мы обречены здесь на почти полное одиночество, он был так добр и ласков, что я была в восторге и не узнавала его. Однако в конце концов простая и здоровая жизнь ему надоела, и сегодня он покинул своеобразную воронку, на дне которой мы обретаемся. Завтра он будет в Тегернзее, где увидится с моим братом и его семьей, в воскресенье вечером — в Мюнхене, откуда уедет в понедельник 15/27, и в тот же день будет в Штутгарте, где спустится с небес на землю и возьмет в руки нить, соединяющую эти ворота Европы с Россией. В Штутгарте Чаровник останется, вероятно, дня два и будет просить разрешения представиться великой княгине, если только она в городе и если это возможно будет сделать в обычном фраке; затем он отправится в Вильдбад, почти столь же уединенный, как и Рейхенхаль, и посещаемый только настоящими больными. Не знаю, долго ли там выдержит Любимый, боюсь, что нет, а как было бы хорошо, если бы он проделал весь курс лечения, который ему предписан и наверное был бы ему полезен в том случае, если бы он прошел его целиком и последовательно. <...> Мы совершили с Любимым несколько экскурсий, одну в Зальцбург, другую — в Айген возле Зальцбурга и, наконец, третью в горы Берхтесхадена. Это благословенный край, мой милый друг, — прекрасная растительность, великолепие и величие, описать которые невозможно, — это сплошная история. Чаровник был в восторге, а уж я-то!.. Убеждена, что сегодня в пути он сочиняет стихи, навеянные увиденным за последние дни» (*ЛН-2*. С. 302–304).

Летом 1859 г. Тютчеву не сиделось на месте. Не успев приехать в семьей в Рейхенхаль, он менее чем через две недели уехал в Тегернзее, потом переехал в Париж, уехал в Эмс, при этом родные не

всегда знали, где он находится, с трудом успевали уследить за ним и часто волновались.

Вильдбад — известный вюртембергский курорт на северо-востоке Шварцвальда, расположенный очень удобно между Баден-Баденом и Штутгартом; лесистая местность не только живописна, но и богата теплыми, роскошно устроенными источниками и бассейнами, где лечили разнообразные, в том числе тяжелые, болезни. Жизнь и лечение там были довольно дороги.

Рейхенхаль — тоже курортное место, на границе Баварии и Австрии, в долине, окруженной горами, покрытыми лесом. Кроме водолечения там было распространено лечение козьим молоком, сывороткой, соками.

Вел. кн. Ольга Николаевна была женой наследника Вюртембергского престола.

[2] К. Пфейфер — немецкий врач, в 1840-е гг. директор клиники в Цюрихе, позже в Гейдельберге, с 1852 г. в Мюнхене, давний знакомый Тютчева.

[3] Здесь речь идет об А.В. Трубецком.

[4] В данном случае Тютчев имел в виду В.И. Мусина-Пушкина, который жил в то время в курортном месте Гессен-Нассау, Швальбахе.

[5] Имеется в виду сепаратное перемирие, заключенное 11 июля 1859 г. Наполеоном III с Австрией в обход Пьемонта, который участвовал на стороне Франции в австро-итало-французской войне. Союзники преследовали цель создания Итальянской конфедерации под главенством папы римского. Тютчев здесь сопоставляет Итальянскую конфедерацию с Рейнским союзом 1806–1815 гг., который представлял собой конфедерацию германских государств под протекторатом Наполеона I.

[6] Речь идет о М.А. Мещерской (урожд. Паниной). В конце августа 1859 г. Екатерина сообщала из Москвы Анне: «На днях я повидала Мари Мещерскую. <...> Она часто виделась с папа́ в Вильбаде, а потом в Париже и восхищается им так же, как и все мы» (*ЛН-2.* С. 305). Мещерская была женой внука Н.М. Карамзина, сына его дочери Екатерины.

86. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ, Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 27–30 об.

Публикуется впервые.

[1] О болезни Д.Ф. Тютчевой см. письмо 87, примеч. 2; *Тютчева.* С. 455–458.

[2] Кузина Тютчева П.В. Муравьева и ее муж М.Н. Муравьев, министр государственных имуществ.

[3] Тютчев пробыл в Париже с 30 июля/11 августа по 12/24 августа 1859 г. 2/14 августа он наблюдал торжественный въезд Наполеона III и его армии в Париж в честь победы над Австрией.

[4] См. письмо 78, примеч. 1.

[5] Мачеха Эрн. Ф. Тютчевой М. Ментк, ее муж виконт К. Ментк.

87. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 11–12 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 440–441.

[1] Все лето и осень 1859 г. Тютчев провел за границей. 17/29 июля он приехал в Эмс для встречи с тяжелобольной дочерью Дарьей. 21 июля/2 августа выехал в Париж и вскоре предполагал возвратиться в Эмс. 13/25 августа брат Тютчева Николай Иванович писал его жене: «Мой брат, кажется, очень доволен поездкой в Париж, вчера я проводил его на Страсбургский вокзал, и в половине шестого он уехал, намереваясь переночевать в Шато-Тьерри. Завтра вечером он должен быть в Эмсе» (*ЛН-2.* С. 304). Однако в пути Тютчев задержался, чем вызвал крайнее беспокойство родных, не осведомленных о его местопребывании. Они обменивались взволнованными письмами.

Эрн. Ф. Тютчева писала Дарье 21 августа/2 сентября 1859 г.: «Если бы дядя Николай не написал мне 25-го, что он проводил своего брата на Страсбургский вокзал, я не знала бы даже, что он покинул Париж. Последнее письмо от этого ужасного Любимого я получила пятнадцать дней назад. Он исчез Бог знает куда» (там же. С. 304–305). В этот же день М.Ф. Тютчева отметила в дневнике: «Мама́ писала к Дарье, от которой получила телеграфическую депешу с вопросом: где папа́? Вопрос, который нас занимал весь день». На следующий день Мария продолжала недоумевать: «От папа́ все нет известий, мама́ очень беспокоится» (там же. С. 305). 24 августа/5 сентября Н.И. Тютчев писал жене поэта: «Дорогой друг, я только что получил ваше письмо. То, что вы сообщаете по поводу моего брата, удивляет и тревожит меня так же, как и вас.

Как я вам уже сообщил, он выехал отсюда в среду 12/24 августа, при мне, с тем чтобы переночевать в Шато-Тьерри, т. к. не хотел проводить ночь в поезде. <...> В газетах нет сообщений о каких бы то ни было происшествиях на железной дороге; с другой стороны, если бы он захворал и не мог продолжать свое путешествие, Щука написал бы вам или Дарье, если только письма не пропали. Самое неприятное во всем этом, что мы не представляем себе, куда следует обратиться, чтобы избавиться от этой тревоги» (там же).

Наконец Тютчев дал о себе знать из Франкфурта, куда прибыл 21 августа/2 сентября. Н.И. Тютчев написал Эрн. Ф. Тютчевой 26 августа/7 сентября: «Дорогой друг, посылаю вам письмо моего брата, которое я только что получил. Посылаю его вам, поскольку вы сообщили мне, что приедете сюда не ранее 14-го. Конечно, никому не могло прийти в голову, что по железной дороге можно путешествовать короткими переездами, потратив таким образом неделю, чтобы проделать путь, на который обычно уходит день, самое большее два, даже в том случае, если хотят ехать со всеми удобствами. Как бы то ни было, мы успокоились, и это главное» (там же).

[2] Д.Ф. Тютчева лечилась за границей от тяжелого нервного расстройства. Она заболела 8 июня 1859 г. Об этом подробно рассказано в дневнике ее сестры Анны 9 июня: «Моя сестра Дарья опасно заболела. Мы были на вечере у императрицы и разговаривали о навязчивой идее Натальи Бартеневой; государь обратился к моей сестре, но она ему не ответила. Я взглянула на нее; глаза ее куда-то уставились; лицо совершенно исказилось. Она делала усилия что-то сказать, но издавала только нечленораздельные звуки. Я поспешила увести ее, думая, что это нервный припадок. Вернувшись к себе в комнату, она вдруг разразилась слезами и криками, а вскоре потеряла сознание. Когда она открыла глаза, с ней вдруг сделались судороги. Она не могла говорить, и совершенно неподвижные глаза как бы выходили из орбит. Знаками она объяснила мне, что хочет причаститься.

Я поняла, что у нее прилив к голове, и поспешила послать за докторами, но они все не являлись. Я велела поставить ей горчичники и послала за пиявками. Припадки становились все сильней, и я побежала к императрице за имевшимися у нее мощами, о которых, как мне казалось, просила сестра. Государь и государыня спустились к ней. Между тем прибыли Енохин, врач государя, и Жуковский, врач епархиального училища. <...> Доктора сказали, что это прилив к голове, и были очень озабочены. <...> Никогда, ни-

когда в жизни не испытывала я такого глубокого ужаса, тем более что все это совершилось в течение полутора часа. Я готова была убежать куда-нибудь в сад (у меня и была только одна мысль — бежать), если бы императрица не удержала меня силой, не поставила на колени перед образами и не приказала мне молиться» (*Тютчева*. С. 455).

Доктора прописали Дарье лечение водами в Эмсе, а потом в Швейцарии виноградом и советовали оставаться там целый год.

[3] Здесь речь идет о жене кн. Н.П. Мещерского Марии Александровне и родителях ее мужа кн. Е.Н. и П.И. Мещерских.

[4] Анна, бывшая воспитательницей вел. княжны Марии Александровны, которой было в это время пять лет, провела в Гапсале несколько недель. Она писала в дневнике: «Это место унылое и некрасивое. <...> Мы помещались в самом лучшем доме местечка, принадлежавшем графине де Лагарди. Но и здесь нам было очень тесно и плохо, так как большинство комнат было необитаемо вследствие сильного запаха от уборной. Сад, принадлежавший дому, был обширный и нравился детям, которые собирали в нем всякого рода плоды и овощи. Мы вставали в семь часов, пили чай и отправлялись на целое утро в сад» (там же. С. 459).

[5] См. письмо 78. Эрн. Ф. Тютчева писала Анне Федоровне 29 августа/10 сентября: «Папа́ остался в Бадене, весьма обескураженный и расстроенный неизвестностью по поводу того, удовлетворена ли его просьба о продлении отпуска; а в ожидании ответа он разрешает себе продлевать его и далее, при том что в действительности его отпуск кончился 9 августа. Надеюсь, что это не обернется для него неприятностями и он не потеряет своего места. Это было бы поистине ужасно» (*ЛН-2*. С. 305–306).

[6] Тютчев имеет в виду министра государственных имуществ М.Н. Муравьева.

88. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 31–33 об.

Публикуется впервые.

[1] Старший цензор гр. Е.Е. Комаровский заменял Тютчева в должности председателя Комитета цензуры иностранной во время его отсутствия с 13 мая до начала ноября 1859 г. (см.: *Летопись 1999*. С. 322).

[2] Тютчев имеет в виду обожание и страстную привязанность Анны к императрице Марии Александровне, которые она в качестве наставницы переносила и на ее дочь, вел. княжну Марию Александровну.

[3] Подробно о впечатлении, которое на Тютчева произвел Наполеон III, см. письмо Тютчева к Эрн. Ф. Тютчевой от 5/17 августа из Парижа 1859 г. (*СН*. Пг., 1916. Кн. 21. С. 164–165, 158–159; цит.: *Летопись 1999*. С. 331).

89. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 13.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 441–442.

[1] Тютчев приехал в Баден-Баден 25 августа/6 сентября 1859 г. 6/18 или 7/19 сентября он выехал в Веве, где в это время жила его дочь Дарья, и провел с ней около трех недель. Город Веве в Швейцарии на Женевском озере был широко известен как недорогой курорт, куда осенью съезжались туристы, нуждающиеся в лечении виноградом.

[2] Отсылка к крылатому латинскому изречению «Платон мне друг, но истина дороже».

90. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 14–15 об.

Публикуется впервые.

[1] Сохранилось одно из этих писем – от <30 сентября/12 октября 1859 г.> из Мартиньи (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 1–1 об.).

[2] Тютчев вспоминает о своем пребывании в Генуе в июне 1839 г. вместе с Эрн. Дёрнберг за месяц до их венчания в Берне.

[3] Принц Кариньянский (Е. Э. Савойский-Виллафранкский), наместник Сардинского королевства (1848, 1849, 1859 и 1866).

[4] Ф.И. Гильфердинг, сенатор, управляющий Государственным архивом Министерства иностранных дел, отец слависта А.Ф. Гильфердинга, близкого знакомого Тютчева, служившего с 1859 г. столо-

начальником Азиатского департамента. Письмо его к Тютчеву неизвестно.

[5] Пасынок Тютчева К. Петерсон в это время служил старшим советником посольства в Берлине.

[6] Воспоминания о встречах в Веве с императрицей Александрой Федоровной нашли отражение в стихотворении Тютчева «Memento» («Ее последние я помню взоры...». Т. 2 наст. изд. С. 102), посвященном памяти императрицы, скончавшейся 19 октября 1860 г.

[7] Тютчев в Веймаре навестил Ап. и К. Мальтиц, провел с ними 31 октября и 1 ноября (н. ст.) «и с грустным удовлетворением вновь узнал, вновь ощутил натуру Мальтица, такого умного, впечатлительного, деятельного, без устали вращающегося все в том же кругу впечатлений, мыслей, чтений, привычек...» (Тютчев. Письмо Эрн. Ф. Тютчевой. 20 октября/1 ноября 1859 г. Веймар // *СН*. Пг., 1916. Кн. 21. С. 170, 163). На прощание Тютчев получил от Мальтица в подарок книгу стихов Овидия.

91. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 16–17.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 442–444.

[1] Тютчев возвращался в Россию через Веймар. Он приехал туда 19/31 октября и провел там несколько дней. 15/27 сентября Д.Ф. Тютчева писала сестре Екатерине из Веве: «Папá здесь и рассчитывает возвратиться в Россию после нашего отъезда. По пути он заедет в Веймар повидаться с дядей Мальтицем. Императрица уже дважды приглашала его — один раз на обед, а вчера он был украшением ее вечера. Она просила у него книжку его стихов, которую папá постоянно забывает принести» (*ЛН-2*. С. 306). Немного позже, 22 октября/3 ноября, Дарья писала Эрнестине Федоровне: «Императрица читает и перечитывает стихи папá, которые попросила у него, — она сказала мне, что он еще очень молод душой» (там же).

[2] Д.Ф. Тютчева писала отцу 16/28 октября из Ниццы, куда она приехала вместе со вдовствующей императрицей Александрой Федоровной: «Я живу у самого моря. <...> День и ночь я слышу шум волн, а во время бури, которая случилась на днях, шум этот был

ужасен и огромные волны, грозно рвущиеся к берегу, являли устрашающее зрелище» (*ЛН-1*. С. 444).

[3] Осенью 1859 г. Екатерина Федоровна заболела, о чем Дарья сообщила отцу.

92. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — *Собр. Пигарева.*

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 444–445.

Датируется по содержанию: по-видимому, письмо написано через два-три дня по возвращении Тютчева из заграничного путешествия в Петербург, куда он прибыл 2/14 ноября 1859 г. (см.: *Летопись-2*. С. 133).

[1] Одно из названий Женевского озера.

[2] Стихи написаны в конце октября 1859 г. по пути из Кенигсберга в Петербург. Незадолго до его приезда, 18/30 сентября, Эрн. Ф. Тютчева писала Дарье: «Бедный папа́, который не без сожаления расстался с тобой и так был счастлив во время трехнедельного пребывания в Веве, все еще не вернулся в Петербург... Сердце мое сжимается при мысли о возвращении бедняги Любимого в Петербург, особенно мрачный в это ужасное время года» (*ЛН-2*. С. 307). А 24 сентября/6 октября она в письме к брату, Пфеффелю, замечала, что теперь Тютчеву «придется возвращаться домой... Он, конечно, постарается проделать этот путь как можно медленнее» (там же).

[3] Гр. А.С. Панина.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абдул Меджид I (1823–1861), турецкий султан с 1839 г. – *401.*

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист и общественный деятель; зять Тютчева – *333, 343, 348, 353, 357, 364, 394, 412, 414, 427, 453.*

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель – 254, 256, *439.*

Аксакова Анна Федоровна (урожд. Тютчева; 1829–1889), старшая дочь поэта, фрейлина императрицы Марии Александровны, мемуаристка – 29, 32, 78, 80, 86, 87, 101, 103, 106, 109, 111–116, 118, 124, 127, 129–132, 134, 137, 163, 166, 171, 174, 178, 181, 183, 186, 189, 192, 194, 197, 206, 209, 212, 215, 217, 218, 226, 229, 239, 240, 254–258, 263–265, 268, 272, 278, 280–282, 291–298, 309–314, 316–320, 326, 327, 329, 330, *334, 335, 339, 358, 360–362, 365–367, 374, 376, 380, 381, 386–388, 390–400, 403, 405–411, 413–416, 418, 419, 422, 424–426, 428, 429, 431, 433, 435, 437, 438, 442, 445–447, 453, 454, 456–460.*

Александр I Павлович (1777–1825), с 1801 г. российский император – 204, 205, 270, 275, *352, 424, 427, 429.*

Александр II Николаевич (1818–1881), с 1855 г. российский император – 203, 204, 207, 210, 220, 221, 223, 226, 229, 231, 248, 250, 253, 255, 257, 258, 261–264, 270, 274, 285, 287, 311, 313, 317, 319, *377, 392, 393, 424, 425, 429, 430, 432, 433, 435, 437, 438, 441–443, 458.*

Александр Александрович, цесаревич (1845–1894), с 1881 г. император Александр III – *435.*

Александр (Людвиг Георг Фридрих Эмиль; 1823–1888), принц Гессен-Дармштадтский – *394.*

Александр Невский, вел. кн. Владимирский (1220–1263), св. – *386.*

Александра Иосифовна, вел. кн. (урожд. Александра Фридерика, принцесса Саксен-Альтенбургская; 1830–1911) – 249, 251, *375.*

Александра Федоровна (урожд. Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, принцесса Прусская; 1798–1860), российская императрица с 1825 г., жена императора Николая I – 62, 65, 81–84, 96, 98, 112, 114, 129, 131, 226, 229, 248, 251, 303, 307, 310, 312, 317, 319, *370, 372, 377, 378, 394, 403, 409, 422, 446, 447, 461.*

Амалия (урожд. герцогиня Ольденбургская; 1818–1875), греческая королева — 263, 264, *442*.

Андронников Иван Малхазеевич (1798–1868), генерал от кавалерии — *407*.

Анна Павловна (1795–1865), нидерландская королева, тетка императора Александра II — 221, 223, *429*.

Апраксина Екатерина Владимировна (урожд. кнж. Голицына; 1768–1854) — 135, 137, *398*.

Арендт Николай Федорович (1785–1859), лейб-медик — 62, 65, *375*.

д'Арко-Валлей (d'Arco-Valley) Максимилиан, гр. (1806–1875), камергер — 293, 296.

Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт — *338*.

Бартенева Наталья Арсеньевна (1829–1893), фрейлина — *458*.

Бахметева Александра Николаевна (урожд. Ховрина; 1823–1901), писательница — *377*.

Бахметьев Алексей Николаевич (1801–1861), управляющий Московской дворцовой конторой, попечитель Московского учебного округа в 1858–1859 гг. — 249, 252, 277, *438*, *445*.

Бебутов Василий Осипович, кн. (1791–1858), генерал от инфантерии — *407*.

Бегинина Анастасия Кирилловна (урожд. Пигарева), праправнучка Тютчева — *336*.

Беккер Василий Васильевич (1811–1874), врач — 55, 56, 58, 59, *373*.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик — *338*.

Белорукова Варвара Арсеньевна, классная дама Смольного института — *361*.

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич; 1880–1934), писатель — *367*.

Берновы — 138, 139.

Биланд (Biland), секретарь нидерландской миссии в Петербурге — 86, 87.

Бирилев Николай Алексеевич (1823–1882), флигель-адъютант, капитан первого ранга, участник обороны Севастополя; муж М.Ф. Тютчевой — *434*.

Бирилева Мария Федоровна (урожд. Тютчева; 1840–1872), дочь Тютчева от второго брака — 29, 32, 183, 186, 241–245, 247, 255, 257, 260–264, 289, 291, *335*, *355*, *362*, *397*, *399*, *400*, *418*, *425*, *434*, *442*, *447*, *448*, *451*, *457*.



Бисмарк (Bismarck) Отто, кн. (1815–1898), германский государственный деятель, прусский посланник в России в 1859–1862 гг. – *454.*

Блудов Дмитрий Николаевич, гр. (1785–1864), государственный и литературный деятель, президент С.-Петербургской академии наук с 1855 г. – 46, 47, 49, 50, 88, 89, 122, 125, 207, 210, 265, 266, *354, 355, 358, 427, 442.*

Блудова Антонина Дмитриевна, гр. (1813–1891), камер-фрейлина; дочь Д.Н. Блудова – 46, 49, 50, 112, 114, 128, 131, 135, 137, 206, 207, 209, 210, 212, 215, *358, 359, 430.*

Блудовы, семья Д.Н. Блудова – 29, 31, 32, 38, 41, 47, 49, 112, 114, 212, 215, 217, 218, 226, 228, 242, *359, 408, 431.*

Бобринский Алексей Алексеевич, гр. (1800–1868), шталмейстер, сахарозаводчик – *375.*

Бобринская София Александровна, гр. (урожд. Самойлова; 1799–1866) – 62, 65, 69, 72, 194, 197, *375.*

Бодянский Осип Максимович (1808–1877), профессор Московского университета, славист, издатель литературных и исторических памятников – 258, *439, 440.*

Боратынская Анна Давыдовна (урожд. кнж. Абамелек; 1814–1889), переводчица русских поэтов – 269, 273, *444.*

Боратынский (Баратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт – *387, 444.*

Боратынский Ираклий Абрамович (1802–1859), брат Е.А. Баратынского – 269, 273, *444.*

Борх Александр Михайлович, гр. (1804–1867), обер-церемониймейстер – 57, 60.

Борх София Ивановна, гр. (урожд. гр. Лаваль; 1809–1871), жена гр. А.М. Борха – 57, 60, 157, 159.

Ботмер (Bothmer) Клотильда – см. Мальтиц К.

Брай (Brai) Ипполита, гр. (урожд. кнж. Сан-Джакомо-Дентиче), жена баварского посланника в Петербурге – 57, 60.

Брай-Штейнбург (Brai-Steinburg) Отто, гр. (1807–1899), баварский государственный деятель и дипломат, посланник в Петербурге в 1840–1850-е гг. – 86, 87, *382.*

Буркгард, врач – 301, 305.

Валуев Петр Александрович, гр. (1815–1890), коллежский советник (1847), государственный деятель, министр внутренних дел в 1861–1868 гг. – 268, 272.

Валуева Мария Петровна, гр. (урожд. кнж. Вяземская; 1813–1849), дочь кн. П.А. и В.Ф. Вяземских; жена П.А. Валуева – *369.*

30 Зак 7712

Вельтман Александр Фомич (1800–1870), писатель – *452*.

Виардо-Гарсиа (Viardo-Garcia) Полина (1821–1910), французская певица — 124, 127, 129, 132, *395*.

Вигель Филипп Филиппович (1786–1856), литератор, мемуарист – *339*.

Виельгорская Анна (Анолида) Михайловна, гр. (1822–1861), фрейлина, в замужестве кн. Шаховская — 38, 41, 123, 126, *395*.

Виельгорская Луиза Карловна, гр. (урожд. Бирон; 1791–1853), жена гр. М.Ю. Виельгорского — 123, 126.

Виельгорский-Матюшкин Михаил Михайлович, гр. (1822–1855), дипломат — 165, 168.

Виельгорский Михаил Юрьевич, гр. (1788–1856), государственный деятель, композитор-дилетант — 38, 41, 56, 59, 85, 86, 165, 168, *366, 367*.

Виктор Эммануил II (Vittorio Emanuele II; 1820–1878), король Сардинского королевства в 1849–1861 гг. – *453*.

Виллизен, генерал — 292, 295.

Вильгельм II (Виллем; Willem) Фредерик Георг Лодевейк, принц Оранский (1792–1849), нидерландский король – *429*.

Владимир Александрович, вел. кн. (1847–1909), третий сын Александра II – *435*.

Водовозов Василий Иванович (1825–1886), педагог, детский писатель – *380*.

Водовозова Елизавета Николаевна (урожд. Цевловская; 1844–1923), писательница – *370, 380*.

Воейкова Александра Александровна (1817–1893), фрейлина — 62, 65, 189, 192, 212, 215, *375*.

Воейкова Александра Андреевна (урожд. Протасова; 1795–1829), племянница В.А. Жуковского – *375*.

Воейкова Мария Александровна (1826–1906), фрейлина – *375*.

Воронцова-Дашкова Александра Кирилловна, гр. (урожд. Нарышкина; 1818–1856) – 123, 125.

Воронцовы-Дашковы, гр. — 38, 41.

Вяземская Вера Федоровна, кн. (урожд. княж. Гагарина; 1790–1886), жена П.А. Вяземского – 29, 32, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 82, 84–86, 189, 192, 212, 215, *385, 396*.

Вяземская Мария Петровна — см. Валуева М.П.

Вяземская Прасковья Петровна, княж. (1817–1835), дочь П.А. и В.Ф. Вяземских – 143, 145.

Вяземские, кн., семья П.А. Вяземского — 47, 50, 55, 56, 58, 59, 81, 84–86, 94, 96, 143, 145, 147, 150, 170, 173, 189, 192, 208, 211, 212, 215, 226, 229, 269, 273.

Вяземский Павел Петрович, кн. (1820–1888), дипломат, литератор; в 1856 г. помощник попечителя Петербургского учебного округа – 56, 59, 63, 66, *369, 374*.

Вяземский Петр Андреевич, кн. (1792–1878), поэт, друг семьи Тютчевых – 12–18, 26, 27, 29, 32, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 82, 84–87, 92, 95, 111, 147, 150, 212, 215, 258–260, 318, 320, *334, 335, 339, 343–349, 354, 355, 358, 369, 374, 375, 387, 399, 405, 411, 422, 426, 430, 431, 440, 452*.

Гагарин Иван Сергеевич, кн. (1814–1882), атташе при русской дипломатической миссии в Мюнхене (1833–1835), впоследствии эмигрант – *377*.

Гагарина Софья Андреевна, кн. (урожд. Дашкова; 1822–1908), фрейлина – 255, 257.

Галеота ди Реджина, посланник Обеих Сицилий в Петербурге в 1848–1862 гг. – 57, 60.

Гартман Карл Карлович, придворный лейб-медик – 85, 87, 93, 96, 106, 108, *386*.

Гаттенберг, эконом Смольного монастыря – *361*.

Гауке Юлия Маврикиевна (1825–1895), фрейлина; с 1851 г. замужем за принцем Александром Гессен-Дармштадтским с титулом принца и принцессы Баттенбергских – *394*.

Гейне (Heine) Генрих (1797–1856), немецкий поэт – *378, 450*.

Георгиевский Александр Иванович (1830–1911), член редакции журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» – *361–363, 373*.

Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель, издатель «Колокола» – *423, 442, 443*.

Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий поэт – 110, *390, 408*.

Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872), историк-славист, фольклорист, публицист – 322, 325, *460*.

Гильфердинг Федор Иванович (1798–1864), сенатор – 323, 325, *460*.

Гиляров-Платонов Никита Платонович (1824–1887), публицист – *452*.

Гладкова Людмила Викторовна, литературовед, переводчик – *336*.

Глинка Авдотья Павловна (урожд. Голенищева-Кутузова; 1795–1863), поэтесса; жена Ф.Н. Глинки – 12, *341*.

Глинка Федор Николаевич (1786–1880), поэт, публицист – 11, 12, *340, 341, 423*.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – *358, 393.*

Голицын Леонид Михайлович, кн. (1806–1860), камергер — 166, 169.

Голицын Михаил Александрович, кн. (1804–1860), дипломат — 9, 11, 29, 31, 249, 252, *339, 359.*

Голицын Михаил Михайлович, кн. (1793–1856), генерал-майор — 122, 125.

Голицын Сергей Михайлович, кн. (1774–1859), попечитель Московского учебного округа в 1830–1835 гг., член Государственного совета — 29, 31, 38, 41, 249, 252, *359, 438.*

Голицына Елена Михайловна, кнж. (1832–1885), фрейлина — 122, 125.

Голицына Мария Ильинична, кн. (урожд. кнж. Долгорукова), жена кн. М.А. Голицына – 9–11, *339.*

Горчаков Александр Михайлович, кн. (1798–1883), министр иностранных дел с 1856 по 1882 г. — 140, 142, 172, 175, 259, 266, 284–288, *335, 416, 436, 439, 448–450.*

Горчаков Дмитрий Сергеевич, кн., флигель-адъютант — 280, 281, *447.*

Горчаков Михаил Дмитриевич, кн. (1793–1861), генерал-адъютант, командующий Южной армией в 1853–1855 гг. — 225, 227, *400, 401.*

Гофман Андрей Логгинович (1798–1863), управляющий IV Отделением собственной его императорского величества канцелярии — 67, 70, 77, 78, 80, 83, 92, 94, *375.*

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, профессор Московского университета в 1839–1855 гг. – *384, 385.*

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), писатель – *396, 452.*

Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог, историк литературы — *374.*

Грэнвилл (Granville) Эктон, сын английского государственного деятеля гр. Джорджа Грэнвилла, чрезвычайного посла Англии на коронации Александра II — 249, 252, *438.*

Грэнвилл (Granville), леди, жена гр. Дж. Грэнвилла — 249, 252.

Гюбер — см. Пфеффель Гюбер.

Давыдов — см. Орлов-Давыдов В.П.

Давыдов Иван Иванович (1794–1863), философ и филолог, профессор Московского университета – *384.*

Дашков Дмитрий Васильевич (1788–1839), писатель, член «Арзамаса» – *387.*

Делянов Иван Давыдович (1818–1897), до 1866 г. попечитель Петербургского учебного округа — 269, 273, *444*.

Делянова Анна Христофоровна (урожд. Абамелек-Лазарева; 1830–1895), жена И.Д. Делянова — *444*.

Демидов Павел Николаевич (1798–1840), владелец уральских и сибирских заводов, егермейстер — *388*.

Ден Владимир Иванович (1823–1888), флигель-адъютант — 253, 255.

Денисьев Александр Дмитриевич (ум. 1865), отец Е.А. Денисьевой — *360, 361*.

Денисьева Анна Дмитриевна (ум. 1880), инспектриса Смольного института — *360, 361, 373, 398*.

Денисьева Елена Александровна (1826–1864), гражданская жена Ф.И. Тютчева — *335, 356, 360–363, 373, 398, 441*.

Дёнгоф-Фридрихштейн (Doenhof-Friedrichstein) Август Герман, гр. (1797–1874), прусский посланник в Мюнхене (1833–1842) — 152, 154, *407*.

Дерби (Derby) Эдуард Джефри Смит (лорд Стэнли), гр. (1799–1869), премьер-министр Великобритании — *454*.

Дёрнберг (Doernberg) Эрнестина — см. Тютчева Эрн. Ф.

Долгорукова Александра Сергеевна, кнж. (1836–1913), в замужестве Альбединская, фрейлина — 219, 222, 270, 274, *429, 431, 447*.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862), генерал, управляющий III Отделением — 122, 125.

Дубельт Михаил Леонтьевич (1822–1900), муж Н.А. Пушкиной, впоследствии генерал-лейтенант — 122, 125.

Дубельт Наталья Александровна (урожд. Пушкина; 1836–1913), дочь А.С. Пушкина, во втором браке гр. Меренберг — 122, 125.

Дюбуа, голландский посланник — 224, 226.

Екатерина II Алексеевна (урожд. София, принцесса Ангальт-Цербстская; 1729–1796), жена императора Петра III, российская императрица с 1762 г. — 204, 205, 270, 275, *379, 424*.

Екатерина Михайловна, вел. кн. (1827–1894), в замужестве герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, дочь вел. кн. Елены Павловны — 112, 114, 269, 273, *391*.

Екатерина Павловна, вел. кнж. (1788–1819), дочь Павла I, в первом браке принцесса Ольденбургская, во втором браке принцесса Вюртембергская — *369*.

Елена Павловна, вел. кн. (урожд. Фридерика Шарлотта Мария, принцесса Вюртембергская; 1806/1807–1873), жена вел. кн. Михаи-

ла Павловича — 52, 53, 56, 57, 59, 60, 134, 135, 137, 183, 184, 186, 187, 249, 251, *373, 377, 391, 447*.

Жадимировская Лавиния (урожд. Бравур) — 30, 32, 33, 123, 126, *359, 360, 395*.

Жадимировский — *360*.

Жерве Андрей Андреевич, сослуживец Тютчева — 38, 41, 46, 49, 61, 64, *365*.

Жихарев Михаил Иванович (1820 — после 1882), мемуарист; двоюродный племянник П.Я. Чаадаева — *371*.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — 111, *338, 358, 375, 390*.

Закревский Арсений Андреевич, гр. (1783–1865), генерал-адъютант, московский генерал-губернатор (1848–1859) — 269, 273.

Захаржевская Елена Павловна (урожд. гр. Тизенгаузен; 1804–1890), статс-дама — 219, 222, *429*.

Зеебах (Seebach) Лео Альбин (ум. после 1856), саксонский посол во Франции; зять К.В. Нессельроде — *381*.

Зеебах (Seebach) Мария Карловна (урожд. гр. Нессельроде; 1820 — после 1881), дочь канцлера К.В. Нессельроде — 57, 60, 81, 84, 123, 126, *381, 399*.

Зографо, жена греческого посланника в Петербурге — 57, 60.

Зубов Алексей Николаевич (1798–1864), тайный советник — 270, 274.

Зубова Александра Александрова (урожд. Эйлер; 1808–1870), жена А.Н. Зубова — 270, 274.

Иван III Васильевич (1440–1505), великий князь Московский с 1462 г. — 248, 251.

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь Московский с 1533 г., русский царь с 1547 г. — 248, 251.

Излер, содержатель заведения искусственных минеральных вод — 81, 84.

Калерджи Мария Федоровна (1822–1874), воспитанница К.В. Нессельроде — 123, 126, 127, 130, 132, 183, 186, *381, 399*.

Капелло (Capello) Цецилия Ивановна (ум. 1885), гувернантка детей Тютчева — 73, 76, 97, 98, 119, 121, 130, 132, 184, 187, 242, 243, *378, 434*.

Карамзин Александр Николаевич (1815–1888), сын Н.М. Карамзина — 289, 291, *426*.

Карамзин Андрей Николаевич (1814–1854), сын Н.М. Карамзина — 99–104, 107, 123, 126, 130, 132, 135, 137, 153, 155, 164, 167, 170, 173, *388, 413, 414, 416, 426.*

Карамзин Владимир Николаевич (1819–1879), сын Н.М. Карамзина — 207, 210, *426.*

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк — 45, 48, 62, 65, *369, 381, 387, 388, 426, 427, 452, 456.*

Карамзина Аврора Карловна (урожд. бар. Шернваль, в первом браке Демидова; 1808–1902), жена Андр. Н. Карамзина — 104, 107, 135, 137, 138, 153, 155, 163, 164, 166, 167, 171, 174, 207, 210, *388, 414.*

Карамзина Екатерина Андреевна (урожд. Колыванова; 1780–1851), вторая жена Н.М. Карамзина — 82, 84, 99–105, 107, 108, *381, 387, 388.*

Карамзина Екатерина Николаевна — см. Мещерская Е.Н.

Карамзина Елизавета Николаевна (1821–1891), дочь Н.М. Карамзина — 101, 103–105, 107, 163, 166, *388, 431.*

Карамзина Наталья Васильевна, жена Ал. Н. Карамзина — 289, 291.

Карамзина Софья Николаевна (1802–1856), дочь Н.М. Карамзина — 82, 84, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 130, 132, 163, 166, 170, 171, 173, 174, *381, 416.*

Карамзины, семья историка Н.М. Карамзина — 135, 138, 163, 166, 170, 173, 212, 215, 310, 312, *381, 387, 388, 394, 397, 408, 413.*

Карель Филипп Яковлевич (1806–1886), лейб-медик — 310, 312.

Кариньянский Эудженио, герцог (1816–1888) — 322, 324, *460.*

Карл Великий (Carolus Magnus) (742–814), франкский король с 768 г., с 800 г. император Римской империи — *402.*

Картемон, отец А. Пирлинг, в прошлом гувернер Тютчева — *372.*

Катков Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, редактор-издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» — 289, 291.

Киреева Александра Васильевна (урожд. Алябьева; 1812–1891), московская знакомая Тютчевых — 238, 240.

Кирилл III (ум. 1280), митрополит Киево-Владимирский — *386.*

Киселев Николай Дмитриевич (1802–1869), чрезвычайный посланник во Франции — *399.*

Кислова Наталья Владимировна, переводчик, литературовед — *336.*

Кобел, врач — 310, 312.

Ковалевский Евграф Петрович (1790–1867), сенатор, министр народного просвещения в 1858–1861 гг. — 258, 277, 282, 283, 311, 313, 315–320, *335, 440, 447, 448.*

Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001), писатель, литературовед — *340.*

Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт — *369, 390, 391.*

Козлова Александра Ивановна (1812–1903), дочь поэта И.И. Козлова – 46, 49, 111–114, 208, 211, 226, 228, *335, 369, 390, 391*.

Колошин Дмитрий Павлович (1828–1877), дипломат – 56, 59, 68, 71, 72, *373, 423*.

Колошин Сергей Павлович (1825–1868), литератор – *373*.

Колумб (Colon) Христофор (1451–1506) – 19, 22.

Комаров – 181, 184.

Комаровский Егор Евграфович, гр. (1803–1875), старший цензор Комитета цензуры иностранной – 317, 319, *459*.

Константин I Великий (ок. 285–337), римский император с 306 г. – *405*.

Константин Константинович, вел. кн. (1858–1915), сын вел. кн. Константина Николаевича – *446*.

Константин Николаевич, вел. кн. (1827–1892), генерал-адмирал – 243, 245, 249, 251, *376*.

Коптев Дмитрий Иванович (1820–1867), поэт, переводчик – *423*.

Корде (Corday d'Armont) Шарлотта (1769–1793), французская роялистка, убившая Ж.-П. Марата – *338*.

Костич – 206, 209.

Крюденер (Krüdener) Амалия Максимилиановна, бар. (урожд. гр. Лерхенфельд; 1808–1888), жена А.С. Крюденера, во втором браке гр. Адлерберг – 77, 79, 86, 87, 183, 186, *378*.

Кубарев Алексей Михайлович (1796–1881), историк, филолог – *452*.

Кузина Лия Николаевна, литературовед – *442*.

Кузнецова Елена Владимировна – *340*.

Кутузов Михаил Илларионович, светл. кн. Смоленский (1745–1813), полководец, генерал-фельдмаршал – *437*.

Кушелев-Безбородко Александр Григорьевич, гр. (1800–1855), сенатор – *360*.

Ладомирская Софья Федоровна (урожд. кнж. Гагарина; 1794–1855), сестра В.Ф. Вяземской – 170, 173.

Лазарев Христофор Акимович, домовладелец – 176, 178, 179.

Лейхтенбергская (Leuchtenberg) Мария Максимилиановна, герцогиня (1841–1914), дочь вел. кн. Марии Николаевны, в замужестве принцесса Баденская – *446*.

Лейхтенбергская (Leuchtenberg) Мария Николаевна, герцогиня – см. Мария Николаевна, вел. кн.

Лейхтенбергский Георгий Максимилианович, герцог, (1852–1912) – *386*.

Лейхтенбергский (Leuchtenberg) Максимилиан Евгений Иосиф Наполеон, герцог (1817–1852), муж вел. кн. Марии Николаевны — *386, 392.*

Ленау (Lenau) Николаус (1802–1850), немецкий поэт — *450, 451.*

Леонтьев Николай Николаевич, камергер, инженер-генерал-майор — *370.*

Леонтьева (урожд. Пестель) — *370.*

Леонтьева Мария Павловна (урожд. Шипова; 1792–1870), начальница Смольного института — 47, 50, 51–55, 58, 62, 65, 67, 70, 77, 79, 80, 83, 91, 92, 94, 96–98, 105, 106, 108, *369–371, 379.*

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — *338, 366, 387.*

Липранди Павел Петрович (1796–1864), генерал — 164, 167.

Лист (Liszt) Ференц (1811–1886), венгерский композитор — *395.*

Лихонин Михаил Николаевич (1802–1864), поэт, критик, переводчик — *423.*

Лопатин, петербургский домовладелец — 66, 69, *375.*

Лоренси (Laurentie) Пьер Себастиан (1793–1871), французский публицист — 182, 185, *418, 421.*

Львова Екатерина Александровна, кнж. (1834–1855) — 9–11, *339.*

Львова Мария Андреевна, кн. (урожд. кнж. Долгорукова; 1805–1889) — 9, 10, *339.*

Лэйн (Lane) Роналд Чарлз, литературовед (Великобритания) — *419.*

Людовик Бонапарт — см. Наполеон III.

Люксбург (Luxbourg) Фридрих (1783–1856), камергер баварского двора; мюнхенский знакомый Тютчева — *454.*

Люксбурги (Luxbourg) — 299, 300.

Майков Аполлон Александрович (1826–1902), славист — 258, *439.*

Максимович Михаил Александрович (1804–1873), историк, фольклорист; издатель альманаха «Денница» — *452.*

Мальтиц (Maltitz) Аполлоний Петрович (Фридрих Аполлоний), бар. (1795–1870), немецкий поэт — 188, 191, 326, 327, *419, 450, 461.*

Мальтиц (Maltitz) Клотильда, бар. (урожд. гр. Ботмер; 1809–1882), сестра Эл. Тютчевой — 326, 327, *419, 450, 461.*

Мальцов Иван Сергеевич (1807–1880), член Совета Министерства иностранных дел — 213, 216, *396.*

Мальцов Сергей Иванович (1810–1890), владелец заводов в Брянском уезде Орловской губернии; сосед Тютчевых по имению — 104, 107, 184, 187, 277, *395, 396.*

Мальцова Анастасия Николаевна (урожд. кнж. Урусова; 1820–1894), фрейлина; жена С.И. Мальцова — 124, 127, 129, 131, *395.*

Мария Александровна, вел. кн. (урожд. Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария, принцесса Гессен-Дармштадтская; 1824–1880), жена наследника Александра Николаевича, с 1855 г. императрица — 129, 131, 178, 181, 229, 230, 258, 263, 264, 280, 281, 317, 319, 323, 325, *365, 378, 392–394, 396, 409, 429, 431, 432, 435, 442, 446, 447, 458–460.*

Мария Александровна, вел. кнж. (1853–1920), дочь императора Александра II, в замужестве герцогиня Эдинбургская, герцогиня Саксен-Кобург-Готская — 178, 181, 229, 230, 278, 314, 316, *431, 432, 446, 459, 460.*

Мария Николаевна, вел. кн. (1819–1876), герцогиня Лейхтенбергская, дочь императора Николая I — 62, 65, 81, 83, 92–94, 96–98, 116–119, 178, 181, 249, 251, *336, 370, 374, 375, 377, 378, 386, 387, 392, 413, 416, 435.*

Мария Павловна (1786–1859), вел. герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская — 178, 181.

Мария Федоровна (урожд. София Доротея Августа Луиза, принцесса Вюртемберг-Штутгартская; 1759–1828), российская императрица с 1796 г., жена Павла I — *369, 444.*

Маслов Степан Алексеевич (1786 или 1793 — 1879), сотрудник ОЛРС — *452.*

Межан (Méjan) Этьен, гр. (Bouvreuil; Снегирь; 1766–1846), французский адвокат и публицист — 69, 72, 143, 145, *376.*

Мей Лев Александрович (1822–1862), поэт и драматург — 259, 260, *440.*

Мейендорф Елизавета Васильевна, бар. (урожд. д'Оггер; 1802–1873) — 130, 132.

Мейендорф Петр Казимирович, бар. (1796–1863), советник русского посольства в Вене в нач. 1830-х гг.; посланник в Берлине (1839–1850) и Вене (1850–1856) — 130, 132.

Мейендорф Софья Рудольфовна, бар. (урожд. гр. Буоль-Шауенштейн; 1800–1868), жена П.К. Мейендорфа — 130, 132.

Мейендорфы, бар. — 130, 132.

Мельников Александр Петрович (1797–1873), советник придворной конюшенной конторы — 226, 229, *396.*

Мельников Павел Петрович (1804–1880), железнодорожный инженер, министр путей сообщения — 249, 252.

Мельниковы, семья А.П. Мельникова — 130, 132.

Ментк (Mentque) Мария Марта, виконтесса (урожд. Филиппс, в первом браке бар. Пфеффель; 1792–1872), мачеха Эрн. Ф. Тютчевой — *436, 457.*

Ментк (Mentque) Карл Мартин, виконт (1796–1872), второй муж мачехи Эрн. Ф. Тютчевой — *436, 457.*

Ментки (Mentque) — 245, 247, 311, 313, *457.*

Меншиков Александр Сергеевич, светл. кн. (1787–1869), адмирал, морской министр (1836–1855) — *422.*

Местр (Maistre) Жозеф де, гр. (1753–1821), французский публицист и религиозный философ — *377.*

Местр (Maistre) Ксавье де, гр. (1763–1852), французский писатель, ученый, художник-миниатюрист — 69, 72, 94, 96, *376, 377.*

Местр (Maistre) София Ивановна, гр. (урожд. Загряжская; 1778–1851), жена К. де Местра — 69, 72, 80, 82, *377.*

Мещерская Екатерина Николаевна, кн. (урожд. Карамзина; 1809–1867) — 56, 59, 99, 101, 105, 108, 212, 215, 310–313, *388, 456, 459.*

Мещерская Мария Александровна, кн. (урожд. гр. Панина; ум. 1903) — 304, 308, *456, 459.*

Мещерская Софья Ивановна, кнж. (ум. 1881) — 120, 121, 124, 127, 129, 132, 134, 136, 242–244, 246, *393, 396, 408, 434.*

Мещерский Владимир Петрович, кн. (1839–1914), писатель, публицист — *344, 362.*

Мещерский Николай Петрович, кн. (1829–1901), внук Н.М. Карамзина — 207, 210, *427, 459.*

Мещерский Петр Иванович, кн. (1802–1876), муж Ек. Н. Мещерской — 56, 59, 99–103, 105, 108, 212, 215, *388, 459.*

Мещерский Сергей Васильевич, кн. (1828–1856) — 243, 245, *435.*

Михаил Всеволодович (1179–1246), кн. Черниговский — *373.*

Михаил Павлович, вел. кн. (1798–1849), генерал-фельдцейхмейстер — *373, 391.*

Мицкевич Адам (1798–1855), польский поэт – *444.*

Моллерус (Mollerus) Вильгельм, бар., нидерландский посланник в Петербурге в 1842–1855 гг. — 57, 60.

Муравьев Леонид Михайлович (1821–1881), герольдмейстер — 104, 107, *388.*

Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866), государственный деятель — 315, 316, *388, 457, 459.*

Муравьева Елизавета Григорьевна (урожд. Гежелинская; 1830–1853) — *388.*

Муравьева Пелагея Васильевна (Полина; урожд. Шереметева; 1802–1871), двоюродная сестра Тютчева, жена М.Н. Муравьева — 104, 106, 107, 315, 316, *356, 388, 429, 457.*

Муравьевы, семья двоюродной сестры Тютчева П.В. Муравьевой — 224, 226, 311, 313, *388.*

Мусин-Пушкин Владимир Иванович, гр. (1830–1886) — 302, 307, *439, 456.*

Мусина-Пушкина Варвара Алексеевна, гр. (урожд. Шереметева; 1832–1885), жена В.И. Мусина-Пушкина, двоюродная племянница Ф.И. Тютчева — 302, 307, *439.*

Муханов Николай Алексеевич (1802–1871), знакомый Пушкина, Вяземского, Мицкевича; в 1830-е гг. адъютант петербургского генерал-губернатора, впоследствии чиновник Министерств народного просвещения и иностранных дел — *339.*

Назимов Владимир Иванович (1802–1874), попечитель Московского учебного округа в 1849–1855 гг., позднее виленский генерал-губернатор — *441.*

Наполеон I (Napoléon) (Наполеон Бонапарт; 1769–1821), французский император в 1804–1814 гг. и в марте–июне 1815 г. — *338, 376, 456.*

Наполеон III (Napoléon) (1808–1873), французский император в 1852–1870 гг. — 158, 160, 221, 223, 263, 264, *401, 406, 412, 424, 442, 449, 453, 454, 456, 457, 460.*

Нахимов Павел Степанович (1802–1855), адмирал — *407.*

Небольсина Аграфена Петровна (урожд. Демидова; 1824–1855), вдова сенатора Н.А. Небольсина — 29–32.

Нессельроде Дмитрий Карлович, гр. (1816–1891), гофмейстер, секретарь канцелярии Министерства иностранных дел — *425.*

Нессельроде Елена Карловна — см. Хрептович Е.К.

Нессельроде Карл Васильевич, гр. (1780–1862), министр иностранных дел в 1816–1856 гг., государственный канцлер (с 1845) — 62, 63, 65, 66, 198, 201, 213, 214, 216, 217, *352, 381, 421, 425–427, 433, 436.*

Николай I Павлович (1796–1855), российский император с 1825 г. — 18, 19, 20–22, 24, 164, 167, 172, 175, 203–205, 225, 228, 270, 275, *340, 351–353, 359, 360, 374, 378, 382, 383, 392–394, 400, 401, 403, 404, 411, 417, 420, 429, 430, 432.*

Николай Александрович, цесаревич (1843–1865), старший сын Александра II — *435.*



Оболенский Дмитрий Александрович, кн. (1822–1881), статс-секретарь — 244, 246, *453*.

Одоевская Ольга Степановна, кн. (урожд. Ланская; 1797–1872), жена кн. В.Ф. Одоевского — 56, 59, 212, 215, *373, 374*.

Одоевский Владимир Федорович, кн. (1803 или 1804 — 1869), писатель, музыкальный критик — 56, 59, 212, 215, *373, 374*.

Олсуфьев Василий Дмитриевич, гр. (1796–1858), гофмаршал двора вел. кн. Александра Николаевича с 1840 г., обер-гофмейстер с 1855 г. — *431*.

Ольга Николаевна, вел. кнж. (1822–1892), с 1846 г. принцесса, с 1864 г. королева Вюртембергская — *377, 395, 455, 456*.

Ольденбургская Александра Петровна (1838–1900), принцесса, дочь Петра Ольденбургского — 304, 308.

Ольденбургский Петр (Константин Фридрих Петр) Георгиевич (1812–1881), принц — 212, 215, 303, 307, *396, 427*.

Орлов Владимир Григорьевич, гр. (1743–1831), генерал-поручик, директор Петербургской АН (с 1776) — *364*.

Орлов-Давыдов Владимир Петрович, гр. (1809–1882), известный общественный деятель — 36, 39, 122, 123, 125, 126, *364, 365*.

Орлова-Давыдова Мария Владимировна, гр., фрейлина — 122, 125.

Орлова-Давыдова Ольга Ивановна, гр. (урожд. кнж. Барятинская; 1814–1876) — *364*.

Орлова Наталья Владимировна, гр., в замужестве Давыдова — *364*.

Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург — *440*.

Оттон I (912–973), император «Священной Римской империи» с 962 г. — *433*.

Оттон III (980–1002), император «Священной Римской империи» с 983 г. — *433*.

Павел I Петрович (1754–1801), российский император (с 1796) — 270, 275.

Павлов Николай Филиппович (1803–1864), писатель — 269, 273, 276, 277, 289–291, *444, 445, 452*.

Павлова Каролина Карловна (урожд. Яниш; 1807–1893), поэтесса, жена Н.Ф. Павлова — 269, 273, *444*.

Палагея, горничная А.Ф. Тютчевой — 226, 229.

Пальмерстон (Palmerston) Генри Джон Темпл (1784–1865), английский политический деятель, премьер-министр с 1859 по 1865 г. — *454*.

Панина А.С., гр. — 329, 330, *462*.

Пеликан Венцеслав Венцеславович (1790–1873), доктор медицины – 93, 96, 106, 108, *386*.

Перовский Василий Алексеевич, гр. (1795–1857), генерал-адъютант – *375*.

Перовский Лев Алексеевич, гр. (1792–1856), министр внутренних дел в 1841–1852 гг. – 224, 226.

Петерсон Карл Александрович (1819–1875), сын Эл. Тютчевой от первого брака – 323, 325, *461*.

Петерсон Оттон Александрович (1820–1883), сын Эл. Тютчевой от первого брака – 104, 106, 250, 253, *388, 438*.

Петр I (1672–1725), русский царь; первый российский император с 1721 г. – 88, 90, 204, 205, 270, 275, *380, 384, 385, 424, 444*.

Пигарев Кирилл Васильевич (1911–1984), правнук Тютчева; литературовед, исследователь творчества Тютчева – *336, 350*.

Пий IX (1792–1878), римский папа с 1846 г. – 21, 22, 25, *354*.

Пикеев – 157, 159.

Пирлинг Анжелика (урожд. Картемон; 1798–1862), классная дама Смольного института – 51–53, 55, 58, 62, 65, 67, 70, 80, 83, *372*.

Плетнев Петр Александрович (1791–1865/66), поэт, литературный критик – 73, 75, 93, 95, 212, 215, *338, 374, 377*.

Плетнева Александра Васильевна (урожд. кнж. Щетинина; 1826–1901), вторая жена П.А. Плетнева – *377*.

Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк и публицист; товарищ Тютчева по Московскому университету – 12, 169, 231, 232, 265–267, 289, 290, *335, 341–343, 384, 385, 414, 415, 430, 432, 442, 452, 453*.

Полуденский Михаил Петрович (1828–1868), библиограф – *423*.

Попов Александр Николаевич (1820–1877), историк – 110, *390*.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1763–1848), первый председатель ОЛРС (1811–1826) – *451*.

Прянишников Федор Иванович (1793–1867), главноначальствующий Почтового департамента МВД – 258, *439*.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – *338, 359, 377, 387, 388, 444, 448*.

Пушкина Мария Александровна (1832–1919), дочь А.С. Пушкина – 122, 125.

Пушкина Наталья Александровна – см. Дубельт Н.А.

Пушкина Наталья Николаевна (урожд. Гончарова; 1812–1863), жена А.С. Пушкина, во втором браке Ланская – *377*.

Пущин Михаил Иванович (1800–1869), брат лицейского друга А.С. Пушкина, декабриста И.И. Пущина – 105, 108, 170, 173, *388*.



Пфейфер (Pfeiffer) Карл (1806–1869), немецкий врач — 301, 305, *456*.

Пфёль (Pfoehl) Карл (1801–1873), домашний врач Сушковых и Е.Л. Тютчевой — 93, 96, 106, 108, *386*.

Пфеффель (Pfeffel) Гюбер, бар. (1843–1922), сын К. Пфеффеля, племянник Эрн. Ф. Тютчевой — 298, 299, *454*.

Пфеффель (Pfeffel) Карл, бар. (1811–1890), публицист, камергер баварского двора; брат Эрн. Ф. Тютчевой — 18–25, 27, 28, 96, 97, 143–146, 182, 185, 188, 190–192, 198, 201, 203–205, 226, 228, 232–238, 298–300, 303, 308, *333–335, 345, 349–355, 367, 368, 372, 376, 381, 398, 399, 400, 403, 417, 418, 421, 423–426, 430, 432, 433, 435, 436, 438, 443, 448, 449, 454, 455, 462*.

Радовиц (Radowitz) Иосиф (1797–1853), прусский государственный деятель — 18, 19, 22, *351*.

Разумовская Мария Григорьевна (урожд. кнж. Вяземская; 1772–1865), статс-дама — 123, 126, 248, 251, *437*.

Раич Семен Егорович (1792–1855), поэт, переводчик; домашний учитель Тютчева — *341, 444*.

Рассел (Russel) Джон, гр. (1792–1878), министр иностранных дел Великобритании в 1859–1865 гг. — *454*.

Раух Егор Иванович (1789–1864), лейб-медик — 310, 312.

Реджина — см. Галеота ди Реджина.

Ростопчин Андрей Федорович (1813–1892), шталмейстер, тайный советник — *338*.

Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), генерал от инфантерии, генерал-адъютант, московский генерал-губернатор — *338*.

Ростопчина Евдокия Петровна (урожд. Сушкова; 1811–1858), поэтесса — 9, 10, 46, 47, 49, 110, 280, 281, *338, 339, 390*.

Рохов (Rochow) Теодор, бар., прусский посланник в Петербурге в 1845–1854 гг. — 18, 19, 22.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), композитор — *446, 447*.

Рябинин Михаил Андреевич (1814–1867), петербургский знакомый Тютчева — 163, 164, 166, 167.

Салтыкова Екатерина Васильевна, кн. (урожд. Долгорукова; 1791–1863), статс-дама, гофмейстерина — 189, 192.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876), публицист, общественный деятель, философ, историк — *453*.

Санд (Sand) Жорж (1804–1876), французская писательница — 123, 126, *395*.

Светоний (Suetonius) Гай (ок. 70 – ок. 140), римский историк — 35, 39.

Северин Дмитрий Петрович (1792–1865), русский посланник в Берне (с апреля 1836) и Мюнхене (с 1837) — 122, 125, *392*.

Семевский Василий Иванович (1848–1916), историк — *380*.

Сен-При Алексей Карлович (1805–1851), сын К.Ф. Сен-При, историк — 29, 31, 38, 41, 47, 49, *359*.

Сен-При Карл Францевич (1782–1863), французский эмигрант — 29, 31, 47, 49, *359*.

Сергей Александрович, вел. кн. (1857–1905), сын императора Александра II, воспитанник А.Ф. Тютчевой — *439*.

Сетто (Cetto) Мария Анна, бар. (урожд. Цвейбрюккен; 1785–1857), мюнхенская знакомая Тютчева — 143, 145.

Симеон Столпник (359–459), христианский аскет — 9, 11, *340*.

Смирнов Николай Михайлович (1807–1870), калужский губернатор (1845–1851), петербургский гражданский губернатор (1855–1860), камергер, сенатор — 220, 223.

Смирнова Александра Осиповна (урожд. Россет; 1809–1882), знакомая Жуковского, Вяземского, Пушкина, Гоголя; мемуаристка — 122, 125, 189, 192, 208, 211, 220, 223, *335, 339, 359, 375, 396, 424, 425*.

Смирнова Ольга Николаевна (1834–1893), дочь А.О. Смирновой — 122, 125, 134, 137, *335*.

Снегирь — см. Межан Э.

Соболев, управляющий Вяземских — 212, 215.

Соболевский Сергей Александрович (1803–1870), библиограф, автор эпиграмм — *358, 423*.

Соллогуб Владимир Александрович, гр. (1813–1882), писатель — 30, 32, *366*.

Соллогуб Софья Михайловна (урожд. гр. Виельгорская; 1820–1878), жена В.А. Соллогуба — 30, 32, *366*.

Солсбери — 298, 300.

Стрелков Василий Кузьмич (1819–1881), воспитанник И.Н. Тютчева, управляющий брянскими имениями Тютчевых — 184, 187, 254, 256, *397, 428*.

Стрелкова Екатерина Васильевна, дочь В.К. Стрелкова — 219, 221, *428*.

Строганов Александр Григорьевич, гр. (1795–1891), генерал-лейтенант, военный губернатор Петербургской части и Васильевского острова в Петербурге (1854) — 183, 186.

Строганов Григорий Александрович, гр. (1770–1857), обер-камергер, дипломат — 69, 72, 81, 84, 86, 87, 120, 121, *376, 445*.

Строганов Григорий Александрович, гр. (1824–1879), шталмейстер, морганатический супруг вел. кн. Марии Николаевны – *392.*

Строганова Наталья Викторовна, гр. (урожд. кнж. Кочубей; 1800–1855), жена гр. А.Г. Строганова – 183, 186.

Строганова Юлия Петровна, гр. (урожд. гр. д'Альмейда-Ойенгаузен; 1782–1864), жена гр. Г.А. Строганова – 57, 60, 69, 72, 81, 84, 86, 87, 120, 121, 275, 276, *445.*

Суворов Александр Аркадьевич, кн. (1804–1882), внук полководца; лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор в 1848–1861 гг. – 157, 159, *410.*

Суворов Александр Васильевич, гр. Рымникский, кн. Италийский (1729 или 1730 – 1800), русский полководец, генералиссимус – *376, 410.*

Сухозанет Екатерина Александровна (урожд. кнж. Белосельская-Белозерская) – 120, 121, *393.*

Сушков Николай Васильевич (1796–1871), литератор; муж сестры Тютчева – 9, 10, 106, 108–111, 257–259, 261–263, 265, 277, 278, 289, 291, *335, 337–339, 356, 389, 390, 423, 439, 440, 445, 446.*

Сушкова Дарья Ивановна (урожд. Тютчева; 1806–1879), сестра Тютчева; с 1836 г. жена Н.В. Сушкова – 9–11, 36, 39, 106, 108–111, 133, 136, 193, 196, 217, 218, 239, 241, 258, 263, 265, 278, *335, 337, 356, 362, 363, 373, 388, 389, 399, 423, 441, 444, 446.*

Сушкова Евдокия Петровна – см. Ростопчина Е.П.

Сушковы, семья сестры Тютчева Д.И. Сушковой – 28, 30, 46, 49, 119, 121, 166, 169, 200, 202, 250, 253, 280, 281, 288, 290, *355, 370, 386, 389, 399, 418, 422, 423, 428.*

Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) Шарль Анжелик, бар., первый секретарь французской миссии в Петербурге – 86, 87.

Тальони (Taglioni) Мария (1804–1884), французская балерина – 123, 126, *394, 395.*

Тами, содержатель пансиона в Петербурге, где воспитывался Д.Ф. Тютчев – 157, 159, 183, 186, 206, 209, 269, 273, 275, 276, *386.*

Таше (Tascher) де ла Пажери Шарль, гр. (1822–1869), камергер французского двора – 302, 307.

Тиберий (Tiberius) (42 до н. э. – 37 н. э.), римский император с 14 г. – 35, 36, 39.

Тизенгаузен Екатерина Федоровна, бар. (1803–1888), камер-фрейлина – 248, 251, *437.*

Титов Владимир Павлович (1807–1890), писатель, критик, дипломат – 318, 320.

31 Зак. 7712

Толстая Александра Андреевна, гр. (1817–1904), фрейлина, писательница — *413, 414, 447.*

Толстая Софья Егоровна, гр. (урожд. бар. Аретин; 1811–1893) — 86, 87.

Толстой Алексей Константинович, гр. (1817–1875), поэт, драматург — 224, 226, *431.*

Толстой Лев Николаевич, гр. (1828–1910) — *423, 428, 452.*

Тон Константин Андреевич (1794–1881), архитектор — *382.*

Трубецкая Софья Николаевна, кн. (урожд. Смирнова; 1836–1884), дочь А.О. Смирновой — 302, 307.

Трубецкой Александр Васильевич, кн. (1813–1889) — 123, 126, *394.*

Трубецкой Андрей Васильевич, кн. (1824–1881) — 302, 306, 307, *456.*

Трубецкой Сергей Васильевич, кн. (1815–1859) — 30, 32, 123, 126, *360.*

Тума Эммануил (Brochet; Щука; 1802–1886), камердинер Тютчева — 38, 41, 46, 49, 92, 93, 95, 120, 121, 212, 215, 224, 227, 241, 242, 275, 276, *367, 458.*

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — 120, 121, 124, 127, 129, 132, 134, 136, 137, 153, 156, 269, 273, *374, 389, 393, 395, 396, 398, 408, 409, 423.*

Тьебо — 73, 75.

Тюнькина Марина Константиновна, литературовед, переводчик — *336, 340.*

Тютчев Дмитрий Федорович (1841–1870), старший сын поэта от второго брака — 73, 75, 76, 93, 95, 106, 108, 130, 132, 157, 159, 183, 186, 206, 209, 226, 229, 249, 252, 258, 269, 273, 275, 276, *355, 362, 386, 396, 409, 410, 418, 451.*

Тютчев Иван Николаевич (1776–1846), отец поэта— *339, 356, 357, 372.*

Тютчев Иван Федорович (1846–1909), младший сын поэта от второго брака — 261–264, 275, 276, *335, 355, 356, 362, 386, 397, 399, 400, 418, 425, 442, 451.*

Тютчев Николай Андреевич (ум. 1791), дед поэта — *356.*

Тютчев Николай Иванович (1801–1870), брат поэта; полковник, с 1842 г. в отставке — 9–11, 30, 32, 34, 35, 43, 44, 47, 50, 61, 64, 67, 68, 70, 71, 73–76, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 94, 97–99, 105, 108, 111, 114, 115, 177, 180, 183, 186, 200, 202, 206, 209, 219, 221, 261–263, 265, 268, 272, 275–277, 280, 281, 314, 316, *340, 350, 356, 364, 369, 372, 375, 377, 388, 392, 421, 423, 445, 457, 458.*

Тютчева Анна Федоровна — см. Аксакова А.Ф.

Тютчева Дарья Ивановна — см. Сушкова Д.И.

Тютчева Дарья Федоровна (1834–1903), вторая дочь поэта от первого брака — 29, 32, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 75, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 92, 94, 96–98, 105, 108, 116, 118, 183, 186, 189, 192, 194, 197, 208, 211, 241, 242, 255, 257, 258, 261–265, 278–282, 288, 290, 302, 304, 307–330, *335, 357, 361, 362, 373, 375, 377, 378, 380, 388, 391–393, 397, 399, 400, 403, 410, 415, 418, 422, 423, 425, 426, 428, 434, 437, 439, 441, 442, 444–450, 453, 455, 457–462.*

Тютчева Екатерина Львовна (урожд. Толстая; 1776–1866), мать поэта — 119–121, 200, 202, 217, 218, 239, 241, 245, 247, 248, 251, 254, 257, 258, 261–265, 278–281, *339, 356, 368, 372, 393, 428, 439, 441.*

Тютчева Екатерина Федоровна (Китти; 1835–1882), младшая дочь поэта от первого брака — 29, 32, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 75, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 92, 94, 96–98, 105, 108, 116, 118, 133, 136, 166, 169, 184, 187, 199, 202, 217, 218, 229, 230, 238–242, 248, 250, 254, 256, 261–264, 278, 279, 281, 302, 307, 326, 327, *335, 337, 361–364, 371, 373, 375, 377, 378, 380, 386, 388, 391–393, 397–399, 405, 408, 409, 413, 418, 419, 422, 425, 428, 429, 431, 433, 434, 437, 439, 441, 444–449, 453, 456, 461, 462.*

Тютчева Елена Федоровна (1851–1865), дочь Тютчева и Е.А. Денисьевой — *356, 363.*

Тютчева Мария Федоровна — см. Бирилева М.Ф.

Тютчева Элеонора Федоровна (урожд. гр. Ботмер; в первом браке Петерсон; 1800–1838), первая жена поэта — *368, 388, 419, 450.*

Тютчева Эрнестина Федоровна (Нести; урожд. бар. Пфеффель; в первом браке бар. Дёрнберг; 1810–1894), вторая жена поэта – 5, 18, 22, 28–87, 91–110, 114–203, 205–230, 241–258, 260–264, 267–277, 279–282, 288–291, 298–309, 311, 313, 318, 320, *333–335, 339, 344, 345, 347–350, 355–382, 384–389, 391–431, 434–445, 447–462.*

Тютчевы — 47, 50, 57, 60, 304, 309, *340, 361, 362, 372, 374, 378, 388, 390, 395, 396, 398, 409, 428, 436, 439, 444.*

Уваров Алексей Сергеевич, гр. (1825–1884), археолог — 258, *440.*

Уваров Сергей Семенович, гр. (1786–1855), государственный деятель, министр народного просвещения (1834–1849) — 87–91, 169, *335, 382–385, 440.*

Урусов Сергей Николаевич, кн. (1816–1883), член Государственного совета — *437.*

Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870), педагог, инспектор классов Смольного института — *371.*

Фанни, петербургская портниха — 93, 95, 96, *386.*

Фельдман — 263, 265, *442.*

Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867), митрополит Московский и Коломенский с 1826 г. — 29, 31, 47, 49, *359*.

Фонтон Феликс Петрович, дипломат, мемуарист — 153, 155, *407*.

Форкад (Forcade) Эжен (1820–1869), французский публицист — *421*.

Франк, врач — 310, 312.

Франц I (Franz I) (1768–1835), германский император под именем Франц II (1792–1806); австрийский император (1806–1835) — *352*.

Фридрих Вильгельм III (Friedrich Wilhelm III) (1770–1840), прусский король с 1797 г. — *352*.

Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) (1795–1861), прусский король с 1840 г. — 18, 19, 22.

Хованская Анна Сергеевна, кн. (урожд. Щербатова; ум. 1887) — 69, 72.

Хованский Александр Петрович, кн. (ум. 1896) — 69, 72.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), философ, поэт, писатель, публицист — 38, 41, 269, 273, 276, 277, 289, 290, *333, 346, 347, 358, 365, 366, 411, 451, 452*.

Хрептович Елена Карловна (урожд. гр. Нессельроде; р. 1813), дочь канцлера — *381*.

Хрущов Дмитрий Петрович (1816–1864), сенатор, в 1856–1857 гг. товарищ министра государственных имуществ — 268, 272, *453*.

Хюбнер (Hubner) Иосиф, бар., австрийский посланник в Париже — *449*.

Цимбаев Николай Иванович, историк — *336, 383*.

Цурикова Анна Сергеевна, знакомая семьи Тютчевых — 34, 35, *364*.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856), философ, публицист — 9, 11, 29, 31, 50, 51, *335, 339, 340, 359, 371, 372, 392, 423*.

Черкасский Владимир Александрович, кн. (1824–1878), славянофил, общественный деятель — 291, 292, *335, 453*.

Черкасский Константин Александрович, кн. (ум. 1853) — *406*.

Шаховской Александр Иванович, кн. (1822–1891), генерал-лейтенант — 123, 126.

Шевырев Борис Петрович, брат С.П. Шевырева — *452*.

Шевырев Степан Петрович (1806–1864), критик, поэт, профессор Московского университета — 289, 290, *384, 452*.

Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564–1616) — 129, 132, *388*, *419*, *443*.

Шелен (Chelins), врач — 317, 319.

Шереметев Сергей Дмитриевич, гр. (1844–1918), историк — *357*.

Шереметева Варвара Алексеевна — см. Мусина-Пушкина В.А.

Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт — *338*.

Шипов Иван Павлович (1793–1845), полковник; декабрист — *370*.

Шипов Павел Антонович (1762 — после 1835), солигаличский уездный предводитель дворянства — *369*.

Шипов Сергей Павлович (1790–1876), генерал-адъютант, сенатор; близкий знакомый Сушковых — *370*.

Шлагентвейт (Schlagentweit) Вильгельм Август Иозеф (1792–1854), мюнхенский врач — 152, 154, *407*.

Шмидт — 86, 87.

Штейн (Stein) Генрих, бар. (1757–1831), прусский государственный деятель — 214, 217, *427*.

Штиглиц Александр Людвигович, бар. (1814–1884), банкир — 278, *445*.

Штубе, певица — *446*.

Шуберт (Schubert) Франц (1797–1828), австрийский композитор — *366*.

Шубина — 255, 257.

Шувалова, гр. — 327, 328, *447*.

Шуман (Schumann) Роберт (1810–1856), немецкий композитор — *366*.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), артист Малого театра — *374*.

Щербатов Григорий Алексеевич, кн. (1819–1881), попечитель Петербургского учебного округа в 1857–1858 гг. — 268, 272, 273, *444*.

Щербатов Сергей Григорьевич, кн. (1779–1855) — 69, 72.

Щербатова Анна Михайловна, кн. (урожд. кн. Хилкова; ум. 1868), жена кн. С.Г. Щербатова — 69, 72.

Щербатова Анна Сергеевна — см. Хованская А.С.

Щербина Николай Федорович (1821–1869), поэт — 238, *335*, *433*.

Щука (Brochet) — см. Тума Э.

Эбленц, знакомый Тютчева — 314, 315.

Эйлер Елизавета Павловна, фрейлина императрицы Марии Александровны — 112, 113, 114, 270, 274, *391*.

Эйхтали (Eichthal) — 299, 300, *454*.

Эйхталь (Eichthal) Симон Арон, бар. (в крещении Леонард; ум. 1854), баварский придворный банкир — *454*.

Эстергази (Eszterházy) В.Л., австрийский посланник в Петербурге — *433*.

Юлиан Отступник (331–363), римский император с 361 г. — *405*.

Юсупова Зинаида Ивановна, кн. (урожд. Нарышкина; 1809–1893) — 189, 192, 195, 197, 224, 226, *429*.

Яковлев Семен Федорович (ум. в конце 1850-х), помещик сельца Суздальцева Брянского уезда — 29, 32, 153, 156, 190, 192, *409*, *420*.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аксаков-2 — Аксаков И.С. Письма к родным. 1849–1856. М., 1994.

Биогр. — Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. Репринтное воспроизведение издания 1886 года. М., 1997.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Москва.

ГИМ ОПИ — Государственный Исторический музей. Отдел письменных источников. Москва.

Герцен-2 — Герцен А.И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954. Т. 2.

Изд. М., 1957 — Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. К.В. Пигарева. М., 1957.

Изд. 1980 — Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2 т. / Составление, подгот. текста Л.Н. Кузиной. Общая редакция К.В. Пигарева. М., 1980. Т. 2.

Изд. 1984 — Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2 т. / Составление, подгот. текста Л.Н. Кузиной. Коммент. Л.Н. Кузиной и К.В. Пигарева. М., 1984. Т. 2.

Изд. 1987 — Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений / Подгот. текста и примеч. А.А. Николаева. Л., 1987 (Б-ка поэта. Большая серия).

Институтки — Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2001.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Санкт-Петербург.

Летопись 1999 — Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. 1803–1844. М., 1999. Кн. 1.

ЛН — Литературное наследство.

ЛН-1, ЛН-2 — Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. I. М., 1988; Кн. II. М., 1989.

Мещерский. Воспоминания — Князь В.П. Мещерский. Воспоминания. М., 2001.

Мурановский сб. — Мурановский сборник. Вып. I. Мураново, 1928.

РА — ж. «Русский архив». М., 1863–1917. В 1873–1912 гг. изд. П.И. Бартеневым.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.

РГБ — Российская государственная библиотека. Москва.

РГИА — Российский государственный исторический архив. Санкт-Петербург.

Ростопчина — Ростопчина Е.П. Счастливая женщина. М., 1991.

РП-1 — Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1.

Смирнова-Россет — Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989 (Лит. памятники).

СН — «Старина и новизна». Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей исторического просвещения в память имп. Александра III. Кн. 18–22. Пг., 1914–1917.

Собр. Пигарева — Собрание К.В. Пигарева. Москва.

Тютчева — Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания и дневники. М., 2004.

Хомяков 1988 — Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988.

Шереметев — Мемуары графа С.Д. Шереметева. М., 2001.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Федор Иванович Тютчев. Петербург. 1856. *Фотография С. Левицкого.*

Карл фон Пфеффель. 1860. *Худ. Ф. Ленбах. Холст, масло.*

Николай Иванович Тютчев — брат поэта. Петербург. 1856. *Фотография С. Левицкого.*

Анна Федоровна Тютчева — дочь поэта. 1851. *Худ. О. Петерсон. Акварель, белила.*

Мария Федоровна Тютчева — дочь поэта. 1854. *Худ. Й. Риш. Бумага, карандаш.*

Семен Егорович Раич. 1855. *Фотография с портрета А. Кавелина (оригинал утрачен).*

Василий Андреевич Жуковский. Баден-Баден. 1851–1852. *Фотография.*

Иван Сергеевич Тургенев. 1856. *Фотография К.-А. Бергнера.*

Николай Федорович Щербина. 1850-е гг. *Худ. П. Иванов. Литография с дагерротипа.*

Император Александр II. 1860. *Худ. Н. Лавров. Холст, масло.*

Императрица Мария Александровна. Петербург. 1857. *Худ. Ф. Винтерхальтер. Фотография с портрета.*

Дарья Федоровна Тютчева — дочь поэта. 1870-е гг. *Фотография.*

Фрейлинский шифр Д.Ф. Тютчевой, полученный ею в 1858 г.

А.Ф. Тютчева, великий князь Сергей Александрович и великая княжна Мария Александровна. 1862. *Фотография.*

Федор Иванович Тютчев. Петербург. 1862. *Фотография И. Робийяра.*

Елена Александровна Денисьева. Конец 1850-х гг. *Раскрашенный дагерротип.*

Эрн. Ф. Тютчева, жена поэта, и его дочь Мария. Петербург. Конец 1850-х гг. *Фотография С. Левицкого.*

Николай Алексеевич Бирилев. 1855. *Литография А. Мюнстера с рис. В.Ф. Тимма.*

Адмирал Павел Степанович Нахимов. *Худ. Л. Блинов.*

Кронштадт. 1850-е гг. *Гравюра неизв. худ.*

Галерея Санкт-Петербургской пассажирской станции. 1851. *Худ. А. Петцольт. Акварель.*

Автографы писем Тютчева Ф.Н. Глинке от 16 февраля 1850 г. и Н.В. Сушкову от 24 сентября 1858 г.

Освящение Исаакиевского собора 30 мая 1858 г. *Худ. Ф. Тимм. Литография.*

Овстуг. Усадебный дом. 1861. *Худ. О. Петерсон. Акварель.*



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ

В канцелярию министра народного просвещения – 79.
Вяземскому П.А. – 4, 6, 68.
Глинке Ф.Н. – 2.
Горчакову А.М. – 80.
Ковалевскому Евг. П. – 78.
Козловой А.И. – 29.
Марии Николаевне, вел. кн. – 32.
Погодину М.П. – 3, 45, 59, 71.
Пфеффелю К. – 5, 7, 52, 60.
Сушковой Д.И. – 1, 27.
Сушкову Н.В. – 28, 67, 74.
Тютчевой А.Ф. – 30, 31, 83, 86, 88.
Тютчевой Д.Ф. – 70, 75, 77, 87, 89–92.
Тютчевой Е.Ф. – 55, 58, 62, 76.
Тютчевой М.Ф. – 63.
Тютчевой Эрн. Ф. – 8–12, 14–21, 23–26, 33–44, 46–51, 53, 54, 56, 57, 64–66, 69, 72, 73, 81, 84, 85.
Уварову С.С. – 22.
Чаадаеву П.Я. – 13.
Черкасскому В.А. – 82.
Щербине Н.Ф. – 61.

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Перевод	Коммен-тарии
От редакции	5		
Письма 1850–1859 годов			
1. Д.И. Сушковой. 4 января 1850 г.	9	10	337
2. Ф.Н. Глинке. 16 февраля 1850 г.	11	—	340
3. М.П. Погодину. Март 1850 г.	12	—	341
4. П.А. Вяземскому. Конец марта 1850 г.	12	15	343
5. К. Пфеффелю. 12/24 ноября 1850 г.	18	22	349
6. П.А. Вяземскому. Начало января 1851 г.	26	26	354
7. К. Пфеффелю. 22 января 1851 г.	27	27	355
8. Эрн. Ф. Тютчевой. 29 июня 1851 г.	28	30	355
9. Эрн. Ф. Тютчевой. 2 июля 1851 г.	33	34	360
10. Эрн. Ф. Тютчевой. 6 июля 1851 г.	35	39	364
11. Эрн. Ф. Тютчевой. 9 июля 1851 г.	42	43	367
12. Эрн. Ф. Тютчевой. 13 июля 1851 г.	45	47	369
13. П.Я. Чаадаеву. 14 июля 1851 г.	50	51	371
14. Эрн. Ф. Тютчевой. 23 июля 1851 г.	51	53	372
15. Эрн. Ф. Тютчевой. 25 июля 1851 г.	54	57	372
16. Эрн. Ф. Тютчевой. 31 июля 1851 г.	60	63	374
17. Эрн. Ф. Тютчевой. 3 августа 1851 г.	66	69	375
18. Эрн. Ф. Тютчевой. 6 августа 1851 г.	72	75	377
19. Эрн. Ф. Тютчевой. 10 августа 1851 г.	77	78	378
20. Эрн. Ф. Тютчевой. 14 августа 1851 г.	80	82	378
21. Эрн. Ф. Тютчевой. 17 августа 1851 г.	85	86	382
22. С.С. Уварову. 20 августа 1851 г.	87	89	382
23. Эрн. Ф. Тютчевой. 28 августа 1851 г.	91	94	386
24. Эрн. Ф. Тютчевой. 31 августа 1851 г.	96	97	386
25. Эрн. Ф. Тютчевой. 4 сентября 1851 г.	99	101	387
26. Эрн. Ф. Тютчевой. 17 сентября 1851 г.	103	106	388
27. Д.И. Сушковой. 20 сентября 1851 г.	109	109	388
28. Н.В. Сушкову. 27 октября 1851 г.	110	—	389

29. А.И. Козловой. Вторая половина апреля 1852 г. 111 111 390
30. А.Ф. Тютчевой. 2 августа 1852 г. 111 113 390
31. А.Ф. Тютчевой. 30 августа 1852 г. 114 115 391
32. Вел. кн. Марии Николаевне. 31 августа 1852 г. . . . 116 117 392
33. Эрн. Ф. Тютчевой. 13 сентября 1852 г. 119 120 393
34. Эрн. Ф. Тютчевой. 10 декабря 1852 г. 122 124 393
35. Эрн. Ф. Тютчевой. 17 декабря 1852 г. 128 130 395
36. Эрн. Ф. Тютчевой. 25 февраля 1853 г. 133 135 398
37. Эрн. Ф. Тютчевой. 22 марта 1853 г. 138 139 398
38. Эрн. Ф. Тютчевой. 3/15 октября 1853 г. 140 141 400
39. Эрн. Ф. Тютчевой. 16/28 октября 1853 г. 142 144 403
40. Эрн. Ф. Тютчевой. 16/28 ноября 1853 г. 146 148 405
41. Эрн. Ф. Тютчевой. 19/31 декабря 1853 г. 151 153 407
42. Эрн. Ф. Тютчевой. 24 февраля/8 марта 1854 г. . . . 156 158 409
43. Эрн. Ф. Тютчевой. 10/22 марта 1854 г. 160 162 412
44. Эрн. Ф. Тютчевой. 9 июня 1854 г. 163 166 413
45. М.П. Погодину. 10 июня 1854 г. . . . . 169 – 414
46. Эрн. Ф. Тютчевой. 19 июня 1854 г. 169 172 415
47. Эрн. Ф. Тютчевой. 23 июля 1854 г. 175 178 417
48. Эрн. Ф. Тютчевой. 27 июля 1854 г. 181 184 418
49. Эрн. Ф. Тютчевой. 18 августа 1854 г. 187 190 419
50. Эрн. Ф. Тютчевой. 25 августа 1854 г. 193 195 420
51. Эрн. Ф. Тютчевой. 30 ноября 1854 г. 198 200 421
52. К. Пфеффелю. 20 февраля/4 марта 1855 г. 203 204 423
53. Эрн. Ф. Тютчевой. 21 мая 1855 г. 205 208 424
54. Эрн. Ф. Тютчевой. 20 июня 1855 г. 211 214 427
55. Е.Ф. Тютчевой. 30 июля 1855 г. 217 218 428
56. Эрн. Ф. Тютчевой. 9 сентября 1855 г. 218 221 428
57. Эрн. Ф. Тютчевой. 17 сентября 1855 г. 224 226 429
58. Е.Ф. Тютчевой. 5 октября 1855 г. 229 230 431
59. М.П. Погодину. 11 октября 1855 г. . . . . 231 – 432
60. К. Пфеффелю. Январь 1856 г. 232 235 432
61. Н.Ф. Щербине. 21 апреля 1856 г. . . . . 238 – 433
62. Е.Ф. Тютчевой. 22 июня 1856 г. 238 240 433
63. М.Ф. Тютчевой. 3 июля 1856 г. 241 242 434
64. Эрн. Ф. Тютчевой. 23 июля 1856 г. 243 245 434
65. Эрн. Ф. Тютчевой. 9 сентября 1856 г. 247 250 436
66. Эрн. Ф. Тютчевой. 13 мая 1857 г. 253 255 438
67. Н.В. Сушкову. 30 июня 1857 г. . . . . 257 – 439
68. П.А. Вяземскому. 9 июля 1857 г. 259 259 440

69. Эрн. Ф. Тютчевой. 6 сентября 1857 г. 260 261 440
70. Д.Ф. Тютчевой. 19 сентября 1857 г. 262 264 442
71. М.П. Погодину. 13 октября 1857 г. .... 265 – 442
72. Эрн. Ф. Тютчевой. 5 июня 1858 г. 267 271 443
73. Эрн. Ф. Тютчевой. 6 июня 1858 г. 275 276 445
74. Н.В. Сушкову. 24 сентября 1858 г. .... 277 – 445
75. Д.Ф. Тютчевой. 4 октября 1858 г. 278 278 446
76. Е.Ф. Тютчевой. 14 октября 1858 г. 279 280 446
77. Д.Ф. Тютчевой. 18 октября 1858 г. 281 282 447
78. Евг. П. Ковалевскому. 25 марта 1859 г. .... 282 – 447
79. В канцелярию министра народного
просвещения. 27 марта 1859 г. .... 283 – 448
80. А.М. Горчакову. 21 апреля 1859 г. 284 286 448
81. Эрн. Ф. Тютчевой. 27 апреля 1859 г. 288 290 450
82. В.А. Черкасскому. 5 мая 1859 г. 291 292 453
83. А.Ф. Тютчевой. 3/15 июня 1859 г. 292 295 453
84. Эрн. Ф. Тютчевой. 15/27 июня 1859 г. 298 299 454
85. Эрн. Ф. Тютчевой. 5/17 июля 1859 г. 301 305 455
86. А.Ф. Тютчевой. 19/31 июля 1859 г. 309 311 456
87. Д.Ф. Тютчевой. 8/20 августа 1859 г. 314 315 457
88. А.Ф. Тютчевой. 25 августа/6 сентября 1859 г. ... 316 318 459
89. Д.Ф. Тютчевой. 1/13 сентября 1859 г. 321 321 460
90. Д.Ф. Тютчевой. 11/23 октября 1859 г. 321 323 460
91. Д.Ф. Тютчевой. 24 октября/5 ноября 1859 г. 326 327 461
92. Д.Ф. Тютчевой. 4/16 или 5/17 ноября 1859 г. 328 329 462

Комментарии 331

Указатель имен 463

Условные сокращения 487

Список иллюстраций 489

Алфавитный указатель писем по адресатам 491

Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений. Письма. В 6-ти
Т 98 томах. Т. 5 / Сост. Н.И. Цимбаев. — М.: Издательский Центр «Классика», 2005. — 496 с.: 16 с. пл.

В пятый том Полного собрания сочинений Ф.И. Тютчева включены письма (1850–1859 гг.) на русском и французском языках (последние в оригинале и в переводе), а также комментарии к ним. Ответственный редактор тома Н.Н. Скатов.

Международный Пушкинский Фонд «Классика»
благодарит ОАО Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ»,
ее президента Вагита Юсуфовича Алекперова
за активную поддержку классического искусства
и литературы

Федор Иванович
ТЮТЧЕВ

Полное собрание сочинений
Том 5

Редакторы *Е.М. Устинова, С.В. Чумаков*
Художник *В.А. Белкин*
Корректоры *Л.А. Галайко, В.Б. Захарова*
Корректор французского текста *Р.Т. Кабина*
Компьютерная верстка *О.Н. Блажкова, Т.Ю. Удачина*

ISBN 5-7735-0146-5



Издательский Центр «Классика»,
109004, Москва, ул. Б. Коммунистическая, д. 30, стр. 1.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 12.05.05.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Петербург».
Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 27.5
Тираж 9000. Заказ № 7712

Отпечатано в ОАО «Янтарный сказ».
236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18.

